



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические запросы.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические запросы.
Не отправляйте в систему Google автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

О программе Поиск книг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>

A

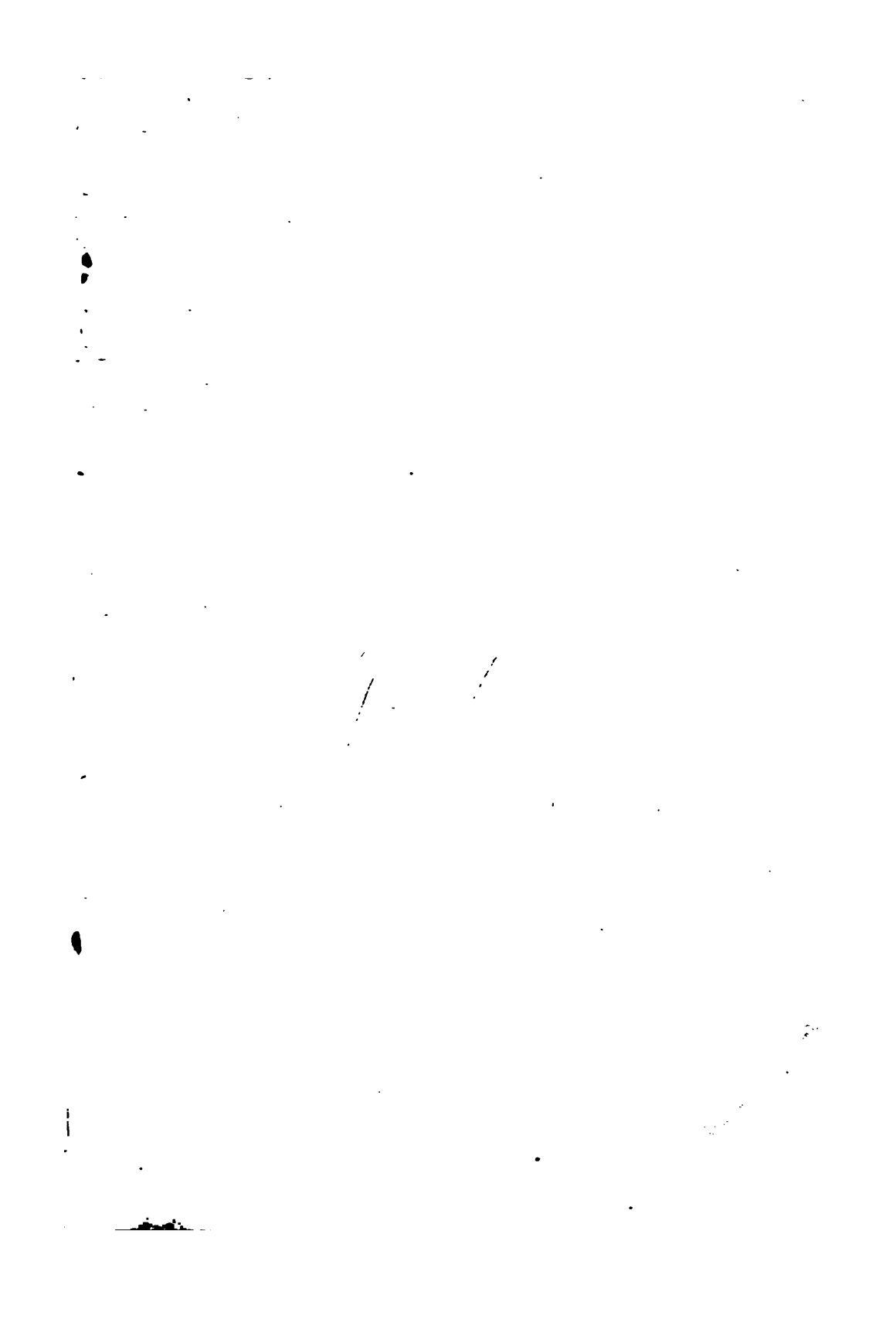
469493

DUPL

PROPERTY OF
*University of
Michigan
Libraries*
1817

ARTES SCIENTIA VERITAS





PROPERTY OF
*University of
Michigan
Library*

1817

ARTES SCIENTIAE



PROPERTY OF
*University of
Michigan
Libraries*
1817

ARTES SCIENTIA VERITAS

4-1



11
12
13
14

СОДЕРЖАНІЕ:

	СТРАН.
М. Горькій. Варвары.	1
Ив. Бунинъ. Стихотворенія	193
Н. Телешовъ. Надзиратель	211
А. Серафимовичъ. Среди ночи.	233
А. Серафимовичъ. Похоронный маршъ	253
Л. Сулержицкій. Путь.	263
Скиталецъ. Стихотворенія	317

М. ГОРЬКІЙ.

ВАРВАРЫ.

СЦЕНЫ ВЪ УЪЗДНОМЪ ГОРОДѢ.

Въ четырехъ дѣйствіяхъ.

М. Горькій. Варвары.

Право собственности въ Россіи закрѣплено за авторомъ во
всѣхъ странахъ, гдѣ это допускается существующими законами.

*Гг. переводчиковъ просятъ обращаться за разрѣшеніемъ
на переводъ и за справками къ представителю автора,
Ив. П. Ладыжникову, по слѣдующему адресу:*

*Berlin W, 15, Uhlandstrasse, 145;
„Bühnen-und-Buch-Verlag russischer Autoren
J. Ladyschnikow“.*

ДѢЙСТВУЮЩІЯ ЛИЦА:

ЧЕРКУНЪ Егоръ Петровичъ, 32 л., инженеръ.

АННА ФЕДОРОВНА, 23 л., его жена.

ЦЫГАНОВЪ Сергѣй Николаевичъ, 45 л., инженеръ.

БОГАЕВСКАЯ Татьяна Николаевна, 55 л., домовладѣлица, дворянка.

ЛИДІЯ ПАВЛОВНА, 28 л., ея племянница.

РѢДОЗУВОВЪ Василій Ивановичъ, 60 л., городской голова

ГРИША, 20 л. } Его дѣти.
КАТЯ, 18 л. }

ПРИТЫКИНЪ Архипъ Фомичъ, подъ 35 л., купецъ, лѣсопромышленникъ.

ПРИТЫКИНА Пелагея Ивановна, 45 л., его жена.

МОНАХОВЪ Маврикій Осиповичъ, 40 л., акцизный надзиратель.

МОНАХОВА Надежда Поликарповна, 28 л., его жена.

ГОЛОВАСТИКОВЪ Павлинъ Савельевичъ, подъ 60 л., мѣщанинъ
ДРОВЯЗГИНЪ, 25 л., служить въ казначействѣ.

ДОКТОРЪ МАКАРОВЪ, 40 л.

ВЕСЕЛКИНА, 22 л., дочь почтмейстера

ИСПРАВНИКЪ, 45 л.

ИВАКИНЪ, 50 л., садовникъ и пчеловодъ.

ЛУКИНЪ Степанъ, 25 л., студентъ, его племянникъ.

ДУНЬКИНЪ мужъ, подъ 40 л., личность неопредѣленная.

ГОГИНЪ Матвѣй, 23 л., деревенскій парень.

СТЕПА, 20 л., горничная Черкуна.

ЕФИМЪ, 40 л., рабочій Ивакина.

М. Горький. Варвары.

ДѢЙСТВІЕ ПЕРВОЕ.

Луговой берегъ рѣки; за рѣкою виденъ маленькій уѣздный городъ, ласково окутанный зеленью садовъ. Передъ зрителями—садъ; яблони, вишня, рябина и липы, нѣсколько штукъ ульевъ, круглый столъ, врытый въ землю, скамейки. Вокругъ сада—растрепанный плетень, на кольяхъ торчатъ валеные сапоги, виситъ старый пиджакъ, красная рубаха. Мимо плетня идетъ дорога—отъ перевоза черезъ рѣку на почтовую станцію. Въ саду направо—уголъ маленькаго, ветхаго дома; къ нему примыкаетъ крытый ларь—торговля хлѣбомъ, баранками, сѣмечками и брагой. Съ лѣвой стороны у плетня—какая-то постройка, крытая соломой,—садъ уходитъ за нее. Лѣто. время—послѣ полудня, жарко. Гдѣ-то дергается коростель, чуть доносится заунывный звукъ свирѣли. Въ саду, на завалинкѣ подъ окномъ сидитъ Ивакинъ, бритый и лысый, съ добрымъ, смѣшнымъ лицомъ, и внимательно играетъ на гитарѣ. Рядомъ съ нимъ—Павлинъ, чистенькій, аккуратный старичокъ, въ поддевкѣ и тепломъ картузѣ. На окнѣ стоитъ красный кувшинъ съ брагой и кружки. На землѣ у плетня сидитъ Матвѣй Гогинъ, молодой деревенскій парень, и медленно жуетъ хлѣбъ. Съ правой стороны, гдѣ станція, доносится лѣнивый и больной женскій голосъ: „Ефимъ“... Молчаніе. Слѣва, по дорогѣ идетъ Дунькинъ, мужъ, человекъ неопредѣленнаго возраста, оборванный и робкій. Снова раздастся крикъ: „Ефимъ!“

ПВАКНПЪ.

Ефимъ... Эй!

ЕФИМЪ

(идеть по саду вдоль плетня).

Слышу... (Матвѣю) Ты чего тутъ?

МАТВѢЙ.

Ничего... вотъ--сичу...

(Третій разъ, уже раздраженно, зовутъ „Ефимъ!“)

ПВАКНПЪ.

Ефимъ! Что-жь ты, братецъ ты мой...

ЕФИМЪ.

Сейчасъ.. (Матвѣю) Пошелъ прочь!.. (Снимаетъ рубаху съ плетня, Дунькинъ мужъ кашляетъ и кланяется ему)
А... явился! Чего надо?

ДУНЬКИНЪ МУЖЪ.

Изъ монастыря иду, Ефимъ Митричъ...

ЕФИМЪ (идеть).

Выгнали? У, дармоѣды... черти!

Мавлину) Лю-

... желаютъ, чтобы па

... .

... отъ людей не заслу-
... всѣ нуждаются.

... .

... можно играть на друго
... (играетъ)

ДУПЬКИНЪ МУЖЪ.

... обругалъ человѣкъ всѣхъ видимыхъ и
... за что?

МАТВѢЙ.

... .

ДУПЬКИНЪ МУЖЪ.

И мнѣ жарко, но я терплю молча... Просто—чело-
вѣкъ, который хоть нѣсколько сытъ, уже почитаетъ
себя начальствомъ... Хлѣбъ да соль!

МАТВѢЙ.

... да свой...

ДУПЬКИНЪ МУЖЪ.

Деревенскій? Хорошо въ деревняхъ хлѣбъ пекутъ.

МАТВѢЙ.

Когда мука есть, ничего, испечь могутъ... А это—у
Пвакина я купилъ...

ДУНЬКИНЪ МУЖЪ.

Скажите! Запахъ у него, однако, какъ у деревен-
скаго... Позвольте мнѣ кусочекъ... отвѣдать.

МАТВѢЙ.

Самому мало...

(Дунькинъ мужъ, вздохнувъ,
двигаетъ губами)

ПВАКИНЪ.

Вотъ... можно играть еще медленнѣе.

ПАВЛИНЪ.

Говорите,—называется это—„Вальсъ сумасшедшаго
священника?“

ПВАКИНЪ.

Именпо...

ПАВЛИНЪ.

Почему-же такъ? Чувствую въ этомъ нѣкоторый со-
блазнъ и какъ-бы неуваженіе къ духовному сану...

ПВАКИНЪ.

Ну, пошелъ мудрить! Экой ты, Павлинъ, придира!

ПАВЛИНЪ.

Напрасно такъ осуждаете, ибо всѣмъ извѣстно, что
скелеть души моей—смиреніе... но только умъ у меня
безпокойный...

ИВАКПНЪ.

Не располагаешь ты къ себѣ, братецъ мой... вотъ что!

ПАВЛПНЪ.

Ибо возлюбилъ правду превыше всего... На гонимъ же не ропщу и, будучи въ намѣреніяхъ моихъ твердъ, ничего, кромѣ правды, не желаю.

ИВАКПНЪ.

Чего тебѣ желать? Домишко есть, деньжонки есть... (Слѣва слышны голоса, Ивакинъ смотритъ) Почтмейстеровъ дочь идетъ... куда это?

ПАВЛПНЪ.

Вертихвостка... Пагубнаго поведенія дѣвица...

(Идутъ Дробязгинъ и Веселкинъ)

ВЕСЕЛКПНЪ.

Я вамъ говорю: она была замужемъ за инженеромъ.

ДРОБЯЗГПНЪ.

Марья Ивановна! Отчего у васъ такое недоверіе къ фактамъ?

ВЕСЕЛКПНЪ.

Я вѣрю только въ то, что знаю...

ДРОБЯЗГПНЪ

(почти съ отчаяніемъ).

Но этотъ пессимизмъ совершенно не совпадаетъ съ вашей наружностью! Повѣрьте мнѣ,—мужъ Лидіи Павловны былъ директоромъ лакричнаго завода, и она его

не бросила, а просто онъ умеръ, подавившись рыбьей костью...

ВЕСЕЛКПНА.

Опа его бросила, говорю вамъ!

ДРОВЯЗГПНЪ.

Марья Ивановна! У насъ въ казначействѣ все извѣстно...

ВЕСЕЛКПНА.

У насъ на почтѣ знаютъ больше вашего. Онъ укралъ деньги и теперь—подъ судомъ... и она сама въ это дѣло запутана, да-съ!

ДРОВЯЗГПНЪ.

Лидія Павловна? Марья Ивановна! Сама Татьяна Николаевна...

ВЕСЕЛКПНА.

А за то, что вы спорите, вы должны угостить меня брагой...

(Ивакинъ встаетъ и уходитъ за уголь дома. Павлинъ беретъ оставленную имъ гитару, заглядываетъ внутрь ея, трогаетъ струны)

ДРОВЯЗГПНЪ.

Извольте! А все-таки она вдова!

ВЕСЕЛКПНА.

Да? Хорошо-же... Вы увидите... (Уходятъ направо)

ДУНЬКННЪ мужъ (негромко).

Слушай... дай кусочекъ, Христа ради!

...
...
...
...
...
...

...
...

...
...
...

...
...
...

...
...

...
...

...
...
...
...
...
...

МАТВЕЙ.

Ты что будешь?

МУНИКОВИЧЪ МУЖЪ.

Младший... изъ города...

МАТВЕЙ.

У насъ мѣщане богатые... а ты что?

ДУНЬКИНЪ МУЖЪ.

А я—ослабъ. Раззорила меня жена... жена, братъ... Сначала—ничего была... жили дружно. Красивая она, бойкая... да. А потомъ—скучно, говорить, мнѣ. Начала вино пить... и я съ ней тоже...

МАТВѢЙ.

И ть?

ДУНЬКИНЪ МУЖЪ.

И я... что подѣлаешь? Въ распутство она удари-лась... сталъ я тогда бить ее... да. А она—сбѣжала... Дочь была у меня... и дочь сбѣжала на пятнадцатомъ году... (Замолчалъ; задумался)

ДРОВЯЗГИНЪ (громко).

Это неправда, Марья Ивановна! Докторъ и Надежда Поликарповна... они оба люди романическіе...

ВЕСЕЛИНА.

Т-ссь! Тихе!

МАТВѢЙ.

Она тоже распутная?

ДУНЬКИНЪ МУЖЪ.

Кто?

МАТВѢЙ.

Дочь?

ДУНЬКИНЪ МУЖЪ.

Нѣтъ... не знаю. Неизвѣстно мнѣ, гдѣ она... Опять же мнѣ вотъ, пьяному, кто-то внутренности отбилъ... нездоровъ я теперь, въ работу—не гожусь... да и не умѣю ничего...

МАТВѢЙ.

Ишь ты... какъ-же ты?

ДУНЬКИНЪ МУЖЪ.

Такъ ужъ... какъ придется...

ДРОВЯЗГНЪ (вскакиваетъ).

Марья Ивановна! Это удивительно... и даже ужасно!
Вы совсѣмъ не вѣрите ни во что свѣтлое..

ВЕСЕЛКИНА.

Не кричать! Вы совсѣмъ безумный.

ДРОВЯЗГНЪ.

Нѣтъ! Чтобы Лидія Павловна... чтобы исправникъ..

ВЕСЕЛКИНА.

Сядьте вы..

ДУНЬКИНЪ МУЖЪ.

Сегодня инженеры пріѣдутъ...

МАТВѢЙ.

Дорогу строить?

ДУНЬКИНЪ МУЖЪ.

Да... Дороги строить, а идти человѣку куда...

МАТВѢЙ.

Работа будетъ... а? Вотъ бы... поработать-бы!

(Въ саду является Павликъ—
онъ идетъ къ столу, Веселкина
видитъ его)

ВЕСЕЛКИНА (негромко).

Головастикивъ идетъ...

ДРОВЯЗГИНЪ.

А, мудрецъ! Что скажете?

ПАВЛИНЪ.

Желаю добраго здоровья...

ДРОВЯЗГИНЪ.

Спасибо...

ПАВЛИНЪ.

Сейчасъ черезъ рѣку городской голова переѣхалъ, сюда идетъ...

ВЕСЕЛЕППА.

Это онъ инженеровъ хочетъ встрѣтить... скажите! Такой гордый старикъ...

(Ивакинъ идетъ, отдуваясь)

ДРОВЯЗГИНЪ.

Да... Что, Иванъ Ивановичъ, жарко?

ИВАКИНЪ

(смотреть вдаль налѣво).

Да-а...

ПАВЛИНЪ.

Это ваше нетерпѣніе увеличиваетъ жару... Я вотъ никого не жду и потому жары не чувствую...

ИВАКИНЪ.

Докторъ идетъ... акцизный...

ВЕСЕЛЕППА.

Кого-жъ мы ждемъ? Намъ ждать некого. .

ПАВЛИНЪ.

Я не про васъ—это вотъ онъ племянника ждетъ...

ДРОВЯЗГИНЪ.

Студента?

ИВАКИНЪ.

Да... Архипъ Притыкинъ съ ними...

ВЕСЕЛКИНА.

Первый студентъ въ нашемъ городѣ. Это очень интересно!

ДРОВЯЗГИНЪ.

Не первый ужъ, Марья Ивановна! Статистикъ, который застрѣлился...

ВЕСЕЛКИНА.

Онъ не кончилъ учиться...

ПАВЛИНЪ.

Да, его исключили вонъ за политическое поведѣніе...

ИВАКИНЪ (грубовато).

А застрѣлился онъ потому, что ты доносъ на него написалъ... а зачѣмъ это тебѣ понадобилось—песъ тебя знаетъ! (Идетъ прочь)

ПАВЛИНЪ

(вслѣдъ ему).

Вредоносному всегда буду противорѣчить... Грубаго характера человѣкъ Иванъ Ивановичъ! И притомъ—несправедливъ. Мнѣ доподлинно извѣстно, что господинъ статистикъ Рыбинъ отъ безнадежности своей любви къ Надеждѣ Поликарповнѣ застрѣлился...

ДРОВЯЗГИНЪ.

Почему это вамъ все извѣстно?

ПАВЛИНЪ.

Потому что я внимателенъ...

(Идутъ съ лѣвой стороны по дорогѣ докторъ, Монаховъ и При-
тыкинъ. Дунькинъ мужъ не-
замѣтно исчезаетъ. Матвѣй вста-
етъ, кланяется)

ПРИТЫКИНЪ.

Нѣтъ, докторъ, вы меня извините, а какая пріят-
ность въ томъ, чтобы рыбу удить, я не могу понять!

ДОКТОРЪ (угрюмо).

Рыба—молчить...

МОНАХОВЪ.

Что вы, батя, вообще, понимаете? Весьма немного...
лѣтомъ—купаться, зимой—въ банѣ париться—вотъ всё
ваши духовныя наслажденія...

(Павлинъ отходить къ завалин-
кѣ и садится поближе къ плетню)

ПРИТЫКИНЪ.

Тѣло человѣчье любить чистоту...

ДРОВЯЗГИНЪ (кричить).

А мы уже здѣсь!..

ДОКТОРЪ

(остановился у плетня).

Спросите браги, Дровязгинъ...

ДРОВЯЗГИНЪ (кричить).

Ивакинъ! Давайте браги, похолоднѣе, побольше!

ПРИТЫКИНЪ.

Играя въ стуюлку, пріятно обремизить человѣка...

МОНАХОВЪ.

Не спорю...

ПРИТЯЖИТЕЛЬ.

Опять же музыка... Когда трубачи дѣйствуютъ, я чувствую себя военнымъ.

ДОКТОРЪ

(Монахову, сумрачно усмѣхаясь).

Это онъ льститъ вамъ...

(Дробязгинъ подходитъ къ плетню и стоитъ, слушая. Замѣтно, что ему хочется вступить въ разговоръ, но онъ не успѣваетъ въ этомъ. Веселки на отходить въ глубь сада, смотреть на городъ, тихо напѣвая)

ПРИТЯЖИТЕЛЬ.

Какая мнѣ въ этомъ польза? А что, обучивъ пожарныхъ музыкальному дѣлу, Маврикій Осиповичъ передъ всѣмъ городомъ славу заслужилъ на-вѣки—или это не вѣрно?

МОНАХОВЪ.

Н-да! Могу сказать—потрудился я съ ними! Вѣдь ко люди,—моржи...

ПРИТЯЖИТЕЛЬ.

Я теперь, Маврикій Осиповичъ, даже на самоваръ глядя — васъ вспоминаю.

ДОКТОРЪ (безъ улыбки).

Развѣ онъ похожъ на самоваръ?

(Дробязгинъ смѣется)

ПРИТЯЖИТЕЛЬ.

Нисколько! Я хочу сказать, что все мѣдное напоминаетъ мнѣ про васъ...

ДОКТОРЪ.

Опъ васъ изувѣчитъ похвалами...

ПРИТЫКПНЪ.

Т.-с. про ваши труды въ музыкѣ...

МОНАХОВЪ.

Что это вы, батя, такъ сладко поете, а?

(Ивакинъ принесъ брагу, идетъ къ плетню)

ПРИТЫКПНЪ.

Ежели я и пою, то какъ жаворонокъ, безо всякой ксерысти... А что докторъ насмѣхается, такъ онъ лицо мрачнаго характера и, кромѣ рыбы, ничего не любитъ...

МОНАХОВЪ

(смотреть въ сторону).

А дамы наши, видно, устали: вонъ едва идутъ...

ДРОВЯЗГНЪ.

Татьянѣ Николаевнѣ всѣхъ трудѣе при ихъ полпотѣ и годахъ...

ИВАКПНЪ.

Пожалуйте брагу кушать...

ДОКТОРЪ.

Ну, кругомъ я не пойду... (Шагаетъ черезъ плетень)

МОНАХОВЪ.

А Лидія Павловна къ нашей компаніи интереса не чувствуетъ...

ДРОВЯЗГНЪ.

Дама свѣтская... гордаго образа жизни...

ПРИТЫКИНЪ.

Хорошо она на лошади скачетъ...

МОПАХОВЪ.

Н-да-а! Это, батя, она умѣетъ...

ПРИТЫКИНЪ.

Вотъ, о пріятномъ говоря, женскій полъ забыли мы, а что можетъ быть пріятнѣе? Я, конечно, не про супругу мою говорю...

МОПАХОВЪ (смѣясь).

Идемте, Фомичъ, брагу пить... (Идутъ вдоль плетня)

ПРИТЫКИНЪ.

Однако, времени не мало, пора-бъ ужъ почтѣ быть... Посмотримъ, каковы они, строители-то...

МОПАХОВЪ.

Н-да, интересно... Картежники, павърпо...

ПРИТЫКИНЪ.

И выпить любятъ, я полагаю... а?

(Уходятъ. Дунькинъ мужъ является)

МАТВѢЙ.

Это они инженеровъ встрѣчать собрались?

ДУНЬКИНЪ МУЖЪ.

На ярмарку ходили въ село... для прогулки. Но, конечно, которые люди съ деньгами, они всякому нужны...

(Съ правой стороны является Лидія Павловна въ amazонокъ, съ хлыстомъ)

Л И Д І Я П А В Л О В Н А .

Послушайте—будьте добры поддержать мою лошадь,
я вамъ заплачу...

М А Т В Ъ Й .

Ладно... я могу...

Л И Д І Я П А В Л О В Н А .

Пожалуйста. . (Уходитъ направо)

М А Т В Ъ Й .

Эхъ ты... какая!

Д У Н Ъ К И Н Ъ М У Ж Ъ

(завистливо и безпокойно).

Вотъ... кабы тебя не было, пришлось бы за лошадью
мнѣ смотрѣть... эхъ! Ежели она много дастъ, дай ты
мнѣ хоть пятакъ, а?

М А Т В Ъ Й .

А, можетъ, она всего пятакъ дастъ.

(Уходятъ оба направо. Въ саду
разговариваютъ докторъ и Ве-
селкина)

Д О К Т О Р Ъ (угрюмо).

Сочиняютъ—въ молодости...

П А В Л И П Ъ (вставая).

Осмѣлюсь заявить,—святые отцы и въ преклонномъ
возрастѣ сочиняли...

Д О К Т О Р Ъ .

Ну-съ?

ПАВЛИПЪ.

Больше ничего-съ...

(Идутъ Притыкина и Монахова, — женщина очень красивая, большая, съ огромными, неподвижными глазами. Сзади Богаевская)

ПАДЕЖДА.

Тогда онъ говоритъ ей: Алиса! Моя любовь не умретъ раньше меня, а пока я живъ — я твой!

ПРИТЫКИНА.

Вонъ какъ! Наши мужчины и словъ такихъ не знаютъ...

ПАДЕЖДА

(садится на бревно).

Французъ невѣренъ, но любитъ страстно и благородно... Испанецъ въ любви доходитъ даже до свирѣпости, а влюбленный итальянецъ обязательно ночью на гитарѣ играть подъ окномъ женщины, въ которую влюбленъ.

БОГАЕВСКАЯ.

Напрасно тебя, Надежда, грамотѣ выучили!

НАДЕЖДА.

Вы, Татьяна Николаевна, въ такомъ возрастѣ, когда все это уже совсѣмъ не интересно, а я...

БОГАЕВСКАЯ.

А ты — только языкъ чешешь...

ПАДЕЖДА (серьезно).

Подождите...

ПРИТЫКИНА

А я вамъ завидую, милая вы моя.. Сколько вы лю-

Бовнихъ исторіи знаетъ и какія все хорошія исторіи!
Какъ сны дѣвчьи... Гдѣ же мой Архипъ?

БОГАЕВСКАЯ.

Лидочкина лошадь стоитъ...

НАДЕЖДА.

Познакомьте меня съ ней...

БОГАЕВСКАЯ.

Съ лошадью?

НАДЕЖДА (серьезно).

Нѣтъ, съ Лидіей Павловной...

БОГАЕВСКАЯ.

Вотъ ты, душа моя, тысячи романовъ прочитала, а
правильно спросить не умѣешь... въ смѣшное положе-
ніе ставишь себя, да!

НАДЕЖДА (спокойно).

Ничего... Всякъ по-своему уменъ.

БОГАЕВСКАЯ

(кричитъ и идетъ направо).

Лидуша!

ПРИПЫКИНА (негромко).

Какъ она груба съ вами.. ай-ай!

НАДЕЖДА (спокойно).

Дворяне съ простыми людьми всегда такъ гово-
рятъ—и даже въ романахъ, гдѣ все описывается лучше
правды, дворяне—дерзкіе... Смотрите, какая она кра-
савица!

(Богаетская, за ней Лидія)

БОГАЕВСКАЯ.

Вотъ, Лидуша, Надежда Поликарповна просить познакомиться ее съ тобой... (Монахова присѣдаетъ) Видишь, даже присѣдать умѣетъ...

(Докторъ подходитъ)

НАДЕЖДА.

Я васъ знаю... вы каждый день мимо нашего дома на лошади скачете... А я смотрю и люблюсь—точно вы графиня или маркиза... Очень красиво это.

ЛИДІЯ.

Я часто вижу ваше лицо въ окнѣ и тоже люблюсь имъ...

НАДЕЖДА.

Благодарю васъ! Похвалу красотѣ своей и отъ жепцины слышать пріятно...

БОГАЕВСКАЯ.

Ишь ты!

ДОКТОРЪ (сумрачно).

Отъ женщины пріятнѣе, или отъ мужчины?

НАДЕЖДА.

Какъ слѣдуетъ оцѣнить красоту, конечно, только мужчина...

ЛИДІЯ.

Какъ вы... увѣренно сказали это...

ПРИТЫКИНЪ (кричить).

Господа! Ъдутъ! Чу!

(Всѣ прислушиваются,—звонъ бубенцовъ)

НАДЕЖДА (Лидіи).

Вамъ интересно знать, какіе они?

ЛИДІЯ.

Кто? Тетя, намъ пора идти.

НАДЕЖДА.

Инженеры...

ПРИТЫКИНЪ (выбѣгаетъ).

Сейчасъ пріѣдутъ!

ЛИДІЯ (Монаховой).

Нѣтъ...

БОГАЕВСКАЯ.

Устала я, Лидуша... подожди!

НАДЕЖДА.

А я жду ихъ, какъ праздника...

ПРИТЫКИНА.

И вдругъ—они старые!

ЛИДІЯ

(теткѣ, негромко).

Это похоже на торжественную встрѣчу и—смѣшно.

БОГАЕВСКАЯ.

Идемъ въ садъ... я только выпью чего-нибудь..
Идемте въ садъ!

(Всѣ идутъ за нею)

ПРИТЫКИНЪ.

Пріѣхали... а, докторъ? Интересно!

ДОКТОРЪ (угрюмо).

Почему? Вотъ если-бы они пѣшкомъ пришли... ну,
это туда-сюда'

ПАДЕЖДА.

Какія глупости!

БОГАЕРСКАЯ.

Она хотѣла-бы видѣть ихъ верхами, въ латахъ, въ плащахъ...

(Уходятъ всѣ направо, ихъ медленный говоръ заглушаетъ звонъ бубенцовъ. Справа медленно идетъ, заложивъ руки за спину, Рѣдозубовъ,—сѣдой, суровый старикъ съ черными лохматыми бровями. Останавливается, слушая шумъ на станціи. Является Павлинъ, издали снимая картузь)

РѢДОЗУБОВЪ.

Здорово... ну?

ПАВЛИНЪ.

О вашемъ драгоценномъ здравіи что услышу пріятнаго?

РѢДОЗУБОВЪ.

У доктора спроси. Пріѣхали? Они?

ПАВЛИНЪ.

Именно—всѣми ожидаемые инженеры; одинъ пожилой, бритый, съ усами, и какъ-бы уже нѣсколько хмѣлень... другой—помоложе и весьма рыжеватъ. При нихъ дама—молодая, красивая—и прислуга съ нею—дѣвица франтовитая. Въ двухъ экипажахъ ѣхали, а третий съ вещами и со студентомъ, племянникомъ Пзаккина..

РѢДОЗУБОВЪ.

А онъ какъ... съ ними?

П А В Л П Н Ъ.

Видимо, по бѣдности состоянія приспособился изъ милости...

Р Ѣ Д О З У Б О В Ъ.

Лошадь—Богоавеской?

П А В Л П Н Ъ.

Пхияя. Она въ Фокино ѣздила на прогулку... А теперь—у Дарьи Ивакиной туалетъ оправляетъ... Дарья-то вѣдь у нихъ долго въ горничныхъ жила... а мать ея — ихъ же ключница...

Р Ѣ Д О З У Б О В Ъ

(угрюмо усмѣхаясь).

Про бабушку ничего не знаешь?

П А В Л П Н Ъ.

Не припомню...

(Притыкинъ идетъ)

П Р И Т Ы К И Н Ъ.

Мое почтеніе, Василій Ивановичъ!

Р Ѣ Д У З О Б О В Ъ

(не давая руки).

Здравствуй...

П Р И Т Ы К И Н Ъ.

Гостей встрѣтить пожелали?

Р Ѣ Д О З У Б О В Ъ.

На что они мнѣ?

П Р И Т Ы К И Н Ъ.

Вообще. Люди, городу полезныс.

Р Ѣ Д О З У Б О В Ъ

(идетъ къ станціи).

Ну, пускай городъ и встрѣчаетъ...

ПРИТЫКИНЪ (негромко).

Вреть?

ПАВЛИНЪ.

Врутъ. О подрядѣ на шпалы мечтають...

ПРИТЫКИНЪ.

Ишь, старый чортъ! Ты, Павлинъ, познакомься съ прислугой ихней и разузнай... вообще... какъ и что... поцалъ?

ПАВЛИНЪ.

Поцалъ...

(Оба идутъ къ станціи; въ саду являются Ивакинъ, обрадованный, и Степанъ Лукинъ)

СТЕПАНЪ.

Ну, какъ живешь?

ИВАКИНЪ.

Видишь — здоровъ... а еще чего-же надо? А ты — желтовать... эхъ ты! Брандахлысть... Зачѣмъ въ тюрьмѣ сидѣлъ?..

СТЕПАНЪ.

Безъ этого — нельзя. Это, братъ, теперь всеобщая повинность, вродѣ воинской... А впрочемъ — пустяки... п ты объ этомъ не говори, братъ, — ладно?

ИВАКИНЪ.

Тоже, братъ! Я тебѣ не братъ, а дядя...

СТЕПАНЪ.

Ну, вотъ еще! Какой ты дядя? Просто ты — другъ моего дѣтства... Ты смотри — у меня въ нѣкоторомъ родѣ борода и грива, а у тебя еще волосы не отросли...

И В А К И Н Ъ .

Ну-ну! Пей брагу-то... а старшихъ почитай... (Притыкинъ выбѣгаетъ, оглядывается) Вы чего, Архипъ Фомичъ?

П Р И Т Ы К И Н Ъ .

Да вотъ... Эй, парень, поди сюда!

М А Т В Ъ Й .

Чего?

П Р И Т Ы К И Н Ъ .

Ты меня знаешь? Бѣги въ городъ, ко мнѣ, скажи, чтобы лошадей подали къ перевозу и пролетку, и бричку, и телѣгу еще для багажа—понялъ? Катай!

(Бѣжитъ къ станціи)

М А Т В Ъ Й (скрывался).

Землячокъ, гляди за лошадью...

П В А К И Н Ъ .

Завертѣлся городъ Верхополье!

С Т Е П А Н Ъ .

Что у васъ съ мостомъ?

П В А К И Н Ъ .

Дождь шелъ, ну и сорвало... а голова чинить не то-ропится, перевозъ-то въ его рукахъ... Ты знакомъ съ инженерами-то?

С Т Е П А Н Ъ .

Служить у нихъ буду... А какъ твои пчелы? Гитара? Удочки?

ПАВЛИНЪ.

Все въ порядкѣ...

(Идутъ докторъ, Монаховъ, Дробязгинъ, Веселкина. Ивакинъ и Степанъ уходятъ изъ сада. Намѣсто ихъ является Павлинъ,—постоявъ, исчезаетъ и снова появляется во время разговора Цыганова съ Дунькинымъ мужемъ)

МОНАХОВЪ (съ завистью).

А Притыкинъ живо познакомился, шельма!

ВЕСЕЛКИНА.

Докторъ, вы замѣтили, какой этотъ молодой... точно факель!

ДОКТОРЪ.

Ну, гдѣ вы видѣли факелы?

ВЕСЕЛКИНА.

А на похоронахъ... помните—князя Хрящеватаго хоронили?

ДРОБЯЗГИНЪ.

Какіе у нея глаза! Маврикій Осиповичъ, вы обратили вниманіе?

ВЕСЕЛКИНА.

Глупости! Глаза вполне обыкновенные...

ДРОБЯЗГИНЪ.

Вовсе нѣтъ! Замѣчательно поэтическіе...

МОНАХОВЪ.

При одной дамѣ невѣжливо говорить о красотѣ другой дамы... вотъ что!

ДОКТОРЪ.

Противно. Бросились всё... какъ осеннія мухи на огонь...

ПРИТЫКНИИЪ (кричить).

Докторъ! Пожалуйте сюда...

ДОКТОРЪ.

Сатѣмъ это?

ПРИТЫКНИИЪ.

По спеціальности... нужно...

ДОКТОРЪ (идеть).

Грунда...

МОПАХОВЪ (съ завистью).

Вотъ и вы, Сатя, познакомитесь...

(Вселкина идетъ вслѣдъ за докторомъ, навстрѣчу ей — Цыгановъ, изящно одѣтый баринъ, немного хмѣльной; она смущается и почему-то рѣзко отворачивается отъ него. Цыгановъ вопросительно поднятъ брови. Дробязгинъ кланяется ему)

ЦЫГАНОВЪ

(дотрагиваясь до шляпы).

Мое почтеніе... съ кѣмъ имѣю честь?

ДРОБЯЗГИИЪ (смущень).

Порфирій... т.е. служащій въ казначействѣ Порфирій Дробязгинъ... чиновникъ-съ!

ЦЫГАНОВЪ.

А-а! Очель пріятно... Скажите, — съ этимъ городѣ гостиница есть?

ДРОВЯЗГИНЪ.

Есть... съ билліардомъ! Прогимназія есть... женская...

ЦЫГАНОВЪ.

Прогимназія? Благодарю васъ, это мнѣ не такъ необходимо... А извощики есть?

ДРОВЯЗГИНЪ.

Три! Около церкви стоятъ.

ЦЫГАНОВЪ

(смотреть на городъ).

Не услышать, если позвать?

ДРОВЯЗГИНЪ (улыбаясь).

Гдѣ же-съ! Тутъ—разстояніе...

ДУНЬКИНЪ МУЖЪ

(съ лѣвой стороны).

Ваше благородіе! Помогите больному и несчастному...

ЦЫГАНОВЪ

(доставая монету).

Пожалуйста... извольте!

ДУНЬКИНЪ МУЖЪ

(вздрагивая отъ радости).

Дай вамъ, Господи... пошли вамъ... (Захлебнулся и исчезаетъ)

ЦЫГАНОВЪ.

Пьетъ?

ДРОВЯЗГИНЪ.

Нѣтъ. Дѣйствительно несчастный... боленъ и... вообще... жена у него сбѣжала...

МОНАХОВЪ (подходя).

Извините, что смѣю...

ЦЫГАНОВЪ.

Пожалуйста...

МОНАХОВЪ.

Маврикій Осиповичъ Монаховъ, акцизный надзиратель...

ЦЫГАНОВЪ.

Весьма польщенъ... Сергѣй Николаевичъ Цыгановъ...

МОНАХОВЪ.

Гостинница—грязная, позволю сообщить вамъ, и въ пей клопы...

ДРОВЯЗГИНЪ.

Несомнѣнные... и—множество!

МОНАХОВЪ.

Вамъ надо снять домъ Богаевской, лучший домъ въ городѣ... знаете, такой - барскій! Кстати, она здѣсь еще, кажется... Я вамъ сейчасъ устрою это...

(Быстро идетъ, навстрѣчу ему
Анна Федоровна и Степа)

ЦЫГАНОВЪ.

Но позвольте... вы такъ любезны... Послушайте!

ДРОВЯЗГИНЪ

(срываясь съ мѣста).

Сейчасъ я его ворочу...

ЦЫГАНОВЪ.

Да нѣтъ-же! Это неловко!.. Убѣжалъ!

Есть... с

Прогим
обходимо...

Есть.
Истинные дикари! Могу
нѣтъ гостиницы... т. е.
дѣла клопами.

Три! (

па.
Вотъ городъ... что-то случи-

Не ;

Дыгановъ
(пальцемъ).

Гдѣ

да! (Является Дунькинъ мужъ)
Вотъ городъ что-нибудь... замѣ-

Е

Дунькинъ мужъ.
Дикари!
(престально всматривается въ него)

Дыгановъ.
Когда. Но вѣдь они, вѣроятно, въ
въ городѣ?

Дунькинъ мужъ.
Живые—они въ водѣ.

Степа (тихо).
Вотъ онъ!

Аппа.

СТЕПА.

Отецъ мой... отецъ... какъ-же быть?

ЦЫГАНОВЪ.

А что-же есть въ городѣ?..

ДУНЬКИНЪ МУЖЪ.

Пожарные играютъ на трубахъ... на мѣдныхъ трубахъ... Акцизный научилъ.

АННА.

Молчите... встаньте сзади меня...

ЦЫГАНОВЪ.

Громко играютъ?

ДУНЬКИНЪ МУЖЪ.

Во весь духъ!

СТЕПА.

Я уйду туда.. на станцію... онъ не видѣлъ меня...

ЦЫГАНОВЪ.

Это меня не утѣшаетъ... нѣтъ! Ну, благодарю васъ... возьмите себѣ вотъ это.

ДУНЬКИНЪ МУЖЪ.

Ваше высокородіе... (Хочетъ поцѣловать руку)

ЦЫГАНОВЪ (брезгливо).

Это лишнее, мой другъ... идите!

СТЕПА

(глядя вслѣдъ отцу).

Ничій... Я говорила вамъ, что встрѣчу его.. что мнѣ нельзя сюда ѣхать... я говорила!

АННА.

Вы успокойтесь! Я все устрою для того, чтобы онъ не трогалъ васъ.

СТЕПА.

Я боюсь: онъ замучилъ мать... нищій!

ЦЫГАНОВЪ.

Въ чемъ дѣло—можно спросить?

АННА.

Это ея отецъ...

ЦЫГАНОВЪ.

О-о! Это оригинально...

АННА.

Только? Идите, Степа, на станцію...

ЦЫГАНОВЪ.

Мы не дадимъ васъ въ обиду...

ЧЕРКУНЪ

(кричитъ, не показываясь).

Анна! Иди сюда... Анна!

ЦЫГАНОВЪ

(смотреть по направленію голоса).

Съ кѣмъ онъ говорить? Позвольте... чортъ меня побери! Не можетъ быть...

АННА

(идя на зовъ).

Что съ вами?

ЦЫГАНОВЪ

(радостно простирая руки).

Лидія Павловна, это вы? Вы!

Л И Д І Я

(идетъ навстрѣчу).

Дядя Сержъ:

ЦЫ Г А Н О В Ъ.

Вы! Здѣсь, въ этой Огненной землѣ, у дикарей! Почему?

(Въ саду—Веселкина. Она гуляетъ, обмахивая лицо цвѣтами. Потомъ приходитъ Дробязгинъ. и они ходятъ рядомъ, прислушиваясь къ разговору)

Л И Д І Я.

Я пріѣхала къ теткѣ... рада видѣть васъ! Но вы, какъ всегда...

ЦЫ Г А Н О В Ъ.

Таковъ мой рокъ! Первое знакомство на этой землѣ—акцизный!

Л И Д І Я.

Дама—ваша жена?

ЦЫ Г А Н О В Ъ.

Моя? У меня не было и не будетъ собственности... А гдѣ-же вашъ почтеннѣйшій супругъ?

Л И Д І Я.

Не знаю, право... это меня интересуетъ меньше всего...

ЦЫ Г А Н О В Ъ.

Понять-ли вашъ отвѣтъ?.. браво! Вы разошлись, наконецъ? Да?

ВЕСЕЛКИНА

(слышала восклицаніе Цыганова).

Пу-съ? Чья правда?

(Дробязгинъ смущенно смѣется)

ЛИДІЯ.

Не надо шумѣть...

ЦЫГАНОВЪ.

Вы уже познакомились съ моимъ товарищемъ?.. Жоржъ, иди сюда... Это мужчина интенсивно рыжій и очень дерзкій... Ты знаешь, кто это, Жоржъ? Ты помнишь, я говорилъ тебѣ всегда и много о женщинѣ...

ЧЕРКУНЪ

(пожимая руку).

Да, помню... Дѣйствительно, онъ часто говорилъ о васъ...

ЛИДІЯ.

Это меня трогаетъ...

ЧЕРКУНЪ.

Но я не ждалъ, что встрѣчу васъ когда-нибудь... тѣмъ болѣе въ этой области мертвого унынія...

ЛИДІЯ.

Вамъ не нравится городъ?

ЧЕРКУНЪ.

Я не люблю пасторалей.

ЦЫГАНОВЪ.

Онъ любитъ только скандалы...

(Въ саду является Надежда, стоитъ и упорно смотритъ на Черкуна. Неподвижна, какъ статуя, лицо у нея каменное)

ЧЕРКУНЪ.

Маленькіе домики прячутся въ деревьяхъ, точно

птичьи гнѣзда... Это до тоски спокойно... и до отвращенія мило... И ужасно хочется растрепать эту идиллію.

ЦЫГАНОВЪ.

Ты познакомъ се съ женой.

ЧЕРКУНЪ.

Ахъ, да! Вы позволите?

ЛИДІЯ.

Пожалуйста... Но какъ вы... рѣзко отнеслись къ бѣдному городу...

ЦЫГАНОВЪ.

Теперь-то, я знаю, вы оцѣните нѣжность моей души и всѣ другія мои достоинства...

ЧЕРКУНЪ.

Все, что я вижу,—сразу нравится или не нравится мнѣ.

ЦЫГАНОВЪ.

У него—никакихъ достоинствъ!

ЛИДІЯ.

Человѣкъ изъ однихъ недостатковъ—это ужъ нѣчто опредѣленное...

ЦЫГАНОВЪ

(замѣтилъ Монахову).

Гм... Да познакомъ же ее съ твоей женой, Жоржъ!

ЧЕРКУНЪ.

Анна! Вотъ ей, вѣроятно, нравится эта милая картина... она у меня любитъ покой, тишину, любитъ мечтать...

ЛИДІЯ.

Многіе въ этомъ видятъ поэзію..

ЧЕРКУНЪ.

Трусы, лѣвтяи, усталые..

ЦЫГАНОВЪ.

Кто эта почтенная матрона, съ которой идетъ сюда твоя жена?

ЛИДІЯ.

Это моя тетя..

ЧЕРКУНЪ.

Знакомся, Анна.

БОГАЕВСКАЯ.

Вотъ, Лидуша, представляю... они сняли у меня большой домъ...

АННА.

Я очень рада... что все устроилось такъ быстро и хорошо.

ЦЫГАНОВЪ.

Да здравствуетъ акцизный надзиратель! Это опъ—ви-повникъ торжества...

ЛИДІЯ.

Тише,—въ саду его жена...

ЦЫГАНОВЪ.

Это его жена?.. Гм...

(Разсматриваетъ Надежду)

АННА.

Но я такъ устала... хотѣлось бы скорѣе пріѣхать куда-нибудь...

БОГАЕВСКАЯ.

Сейчасъ подадутъ паромъ...

(Надежда медленно уходитъ)

ЧЕРКУНЪ.

А на берегу — насъ уже дожидаются лошади этого купца... какъ его?

БОГАЕВСКАЯ.

Притыкинъ... Лидуша, я поѣду въ лодкѣ... распоряжусь тамъ... надо для нихъ...

А П П А.

О, не беспокойтесь...

ЧЕРКУНЪ.

Мы не безпомощны..

ЛИДИЯ (теткѣ).

Подожди! (Аниѣ) Вы ѣздите верхомъ?

А П П А.

О, нѣтъ!

ЛИДИЯ.

Жаль. Я хотѣла предложить вамъ мою лошадь... Тамъ, выше по рѣкѣ, есть бродъ...

А П П А.

Благодарю васъ... Я боюсь лошадей... Я видѣла однажды, какъ лошадь убила мальчика... Съ той поры мнѣ кажется, что всякая лошадь хочетъ убить человѣка.

ЛИДИЯ (улыбаясь).

Но въ экипажахъ вы ѣздите? Не боитесь?

АННА.

Нѣтъ, не такъ. Тамъ впереди меня сидитъ кучеръ или извозчикъ.

ЧЕРКУПЪ.

Можетъ быть, это очень трогательно, Анна, но, ей Богу... не остроумно!

АННА.

Я вовсе не пытаюсь быть остроумной...

ЦЫГАНОВЪ (Лидіа).

Итакъ, я снова вижу васъ!..

ЧЕРКУНЪ.

Иногда слѣдуетъ попытаться, знаешь ли!

ЦЫГАНОВЪ.

Вѣдь это почти чудо, а?

ЛИДІА.

А можетъ быть, это только доказательство, какъ тѣснѣ жизнь?

БОГАЕВСКАЯ (Аннѣ).

Вы посмотрите, какой нарядный городишко...

(Отводитъ Анну ближе къ плетню)

ЦЫГАНОВЪ.

Вы стали еще красивѣе... И что-то новое явилось у васъ въ глазахъ...

ЛИДІА.

Вѣроятно, это скука...

ЧЕРКУПЪ.

Вамъ скучно?..

ЛИДИЯ.

Мнѣ кажется,—жизнь, вообще, не очень весела.

(Идетъ Рѣдозубовъ со стороны станціи. Подходить, останавливается, кашляетъ. Его не замѣчаютъ. Поднимаетъ руку къ фуражкѣ—быстро опускаетъ ее, какъ бы испугавшись, что это движеніе замѣчено)

ЧЕРКУНЪ.

Не ожидалъ, что вы такъ скажете...

ЛИДИЯ.

Почему?

ЧЕРКУНЪ.

Не знаю... Но мнѣ казалось,—вы иначе должны смотреть на жизнь...

ЛИДИЯ.

Что такое жизнь? Люди. Я много видѣла людей, они однообразны...

РѣДОЗУБОВЪ.

Я—здѣшній градской голова... Василій Ивановъ Рѣдозубовъ... голова.

ЧЕРКУНЪ (холодно).

Что-же вамъ угодно?

РѣДОЗУБОВЪ.

Я къ старшему. Вы—начальникъ?

ЦЫГАНОВЪ.

Мы оба начальники,—можете это представить?

РѢДОЗУБОВЪ.

Все равно. Вамъ лѣсъ на шпалы понадобится?

ЧЕРКУНЪ (сухо).

Милѣйшій, о дѣлахъ я буду говорить черезъ недѣлю, не раньше...

(Пауза)

РѢДОЗУБОВЪ (удивленъ).

Вы... можетъ, не того...

ЧЕРКУНЪ.

Что?

РѢДОЗУБОВЪ.

Я сказалъ... я, молъ, голова здѣшній...

ЧЕРКУНЪ.

Я это слышалъ... ну-съ?

РѢДОЗУБОВЪ
(сдерживая гнѣвъ).

Мнѣ 63 года... я староста церковный... весь городъ мнѣ подчиненъ...

ЧЕРКУНЪ.

Почему вы думаете, что мнѣ нужно знать все это?

ЦЫГАНОВЪ.

Почтеннѣйшій! Когда мы нѣсколько придемъ въ себя — мы обязательно примемъ во вниманіе всѣ ваши рѣдкія качества...

ЧЕРКУНЪ.

А пока оставьте насъ въ покоѣ. Когда будетъ нужно — мы васъ позовемъ!

(Рѣдозубовъ, смѣривъ Черкуна гнѣвнымъ взглядомъ, молча идетъ прочь)

АННА.

Зачѣмъ ты... такъ обидно, Егоръ? Онъ-же старій...

ЧЕРКУНЪ.

Нахаль! Я знаю такихъ... Это не голова, а — пасть...
глупая и жадная пасть... я знаю...

ЦЫГАНОВЪ (Лидіи).

Какъ вамъ нравится этотъ рыжій буянъ?

ЛИДІЯ (сухо).

По совѣсти—не очень.

БОГАЕВСКАЯ.

Лидя, нужно идти.

АННА.

Мой мужъ всегда немного рѣзокъ... но въ сущности...

ЧЕРКУПЪ.

Онъ мягокъ и добръ—ты это хотѣла сказать? Не
вѣрьте ей... Я именно таковъ, какимъ кажусь...

ЛИДІЯ.

До свиданья... Ой! Этотъ человѣкъ не умѣетъ обра-
щаться съ лошадью...

(Быстро идетъ направо, за ней Богаевская)

БОГАЕВСКАЯ.

Такъ мы васъ ждемъ...

ЦЫГАНОВЪ.

Благодаримъ и не замедлимъ...

АННА.

А гдѣ этотъ студентъ... нашъ студентъ?

ЧЕРКУНЪ

(смотреть на городъ).

Не знаю...

АННА.

Можно его попросить, чтобы онъ посмотрѣлъ за вещами, какъ ты думаешь? Степѣ—неудобно...

ЧЕРКУНЪ.

Онъ—не лакей...

ЦЫГАНОВЪ.

Жоржъ! Ты смотришь на этотъ городъ, какъ Атила на Римъ... До чего все измельчало на свѣтѣ!

ЧЕРКУНЪ.

Отвратительный городишко... У этой женщины были любовники?

ЦЫГАНОВЪ.

Однако, братъ... это вопросъ!

АННА.

Егоръ! Фи!

ЧЕРКУНЪ.

Что? Ты шокирована? Ты не знаешь, что многія женщины имѣютъ любовниковъ?

АННА.

Объ этомъ не говорятъ такъ...

ЧЕРКУНЪ.

Они не говорятъ, я - говорю. Это безнравственно?

АННА.

Неприлично... и... грубо.

ЧЕРКУНЪ.

Я думалъ—безнравственно. Были, Сергѣй?

ЦЫГАНОВЪ.

Не знаю, мой другъ. Не допускаю... И если мнѣ скажутъ про нее что-нибудь... въ этомъ родѣ,—не повѣрю...

(Идутъ Притыкинъ, Дунѣиныхъ мужъ)

ПРИТЫКИНЪ.

Пожалуйте, готово! Вещи ваши унесли на паромъ; прошу покорно!

ЦЫГАНОВЪ.

Благодарю васъ! Захлопотались вы, а?

ПРИТЫКИНЪ.

Помилуйте!.. Пустякъ... къ тому же долгъ гостепріимства...

ЦЫГАНОВЪ.

Вы—милѣйшій человѣкъ, право! А скажите—что у васъ здѣсь пьютъ?

ПРИТЫКИНЪ.

Все!

ЦЫГАНОВЪ.

А что предпочитаютъ пить?

ПРИТЫКИНЪ.

Водку...

ЦЫГАНОВЪ.

Вкусъ грубый, но—здоровый... (Проходятъ)

ЧЕРКУПЪ (Аннѣ).

Идемъ...

АННА

(беретъ его подъ руку).

Почему ты вдругъ сталъ такой... сумрачный? Скажи!

ЧЕРКУНЪ.

Я усталъ...

АННА.

Это неправда... ты никогда не устаетъ...

ЧЕРКУНЪ.

Ну, такъ влюбился...

АННА (тихо).

Зачѣмъ такъ грубо, Егоръ? Зачѣмъ?

ДУНЬКИНЪ МУЖЪ (подходить).

Ваше сіятельство...

ЧЕРКУПЪ.

Пошелъ прочь...

АННА

(даетъ монету).

Возьмите...

(Уходятъ)

МАТВѢЙ (выскакиваетъ).

Сколько дала?

ДУПЬКИНЪ МУЖЪ.

Двугривенный. А всего мнѣ попало рубль двадцать...

МАТВѢЙ.

Эхъ ты... А мнѣ—два пятака...

ПРИТЫКННЪ (кричить).

Эй, парень!

МАТВѢЙ.

Бѣгу..

(Убѣгаетъ. Черезъ плетень лѣзетъ Павлинъ.)

ПАВЛИНЪ.

Рубль двадцать, говоришь?

ДУНЬКИНЪ МУЖЪ (робко).

Рубль двадцать.

ПАВЛИНЪ.

Покажи-ка... Н-да, вѣрно... А за что? а? Нѣ, паршивецъ! Ступай... Стой! Сказалъ бы я тебѣ одну штучку... сказать?

ДУНЬКИНЪ МУЖЪ.

Помилуйте, Павлинъ Савельичъ...

(Рѣдозубовъ идетъ.)

ПАВЛИНЪ (строго).

Иди, иди! Чего трешься тутъ?

РѢДОЗУБОВЪ.

Ушли?

ПАВЛИНЪ.

Ушли...

РѢДОЗУБОВЪ.

Съ дѣвицей ихней о чемъ говорилъ?

ПАВЛИНЪ.

Вообще... но ничего не могъ... Я даже рубль ей далъ.

РѢДОЗУБОВЪ.

Зачѣмъ? Она можетъ сказать, что ты подкупалъ ее..

ПАВЛИНЪ.

Я мысленно далъ, Василій Ивановичъ... Я только подумалъ: а что если я ей дамъ рубль? И рѣшилъ— непоможетъ! Избалованная дѣвица... (Рѣдозубовъ смотритъ на городъ, не слушая) Василій Ивановичъ! А вѣдь она — бѣгая, Дунькина мужа дочь... сама въ этомъ созналась...

РѢДОЗУБОВЪ

(вдругъ, строго).

А ты знаешь, что мнѣ самъ губернаторъ руку не даетъ?

ПАВЛИНЪ (благословѣнно).

Какъ-же не знать! Это всѣ знаютъ...

(Пауза. Изъ окна доносится голосъ Степана)

РѢДОЗУБОВЪ (негромко).

Кто это говорить?

ПАВЛИНЪ (тихо).

Иванкина племянникъ... студентъ...

РѢДОЗУБОВЪ (такъ же).

Молчи...

(Слушаютъ. Гдѣ-то жалобно воетъ собака, дергаетъ коростель)

СТЕПАНЪ.

Богъ построимъ новую дорогу и разрушимъ вашу старую жизнь... (Смѣется)

Слышалъ?

РѢДОЗУВОВЪ (негромко).

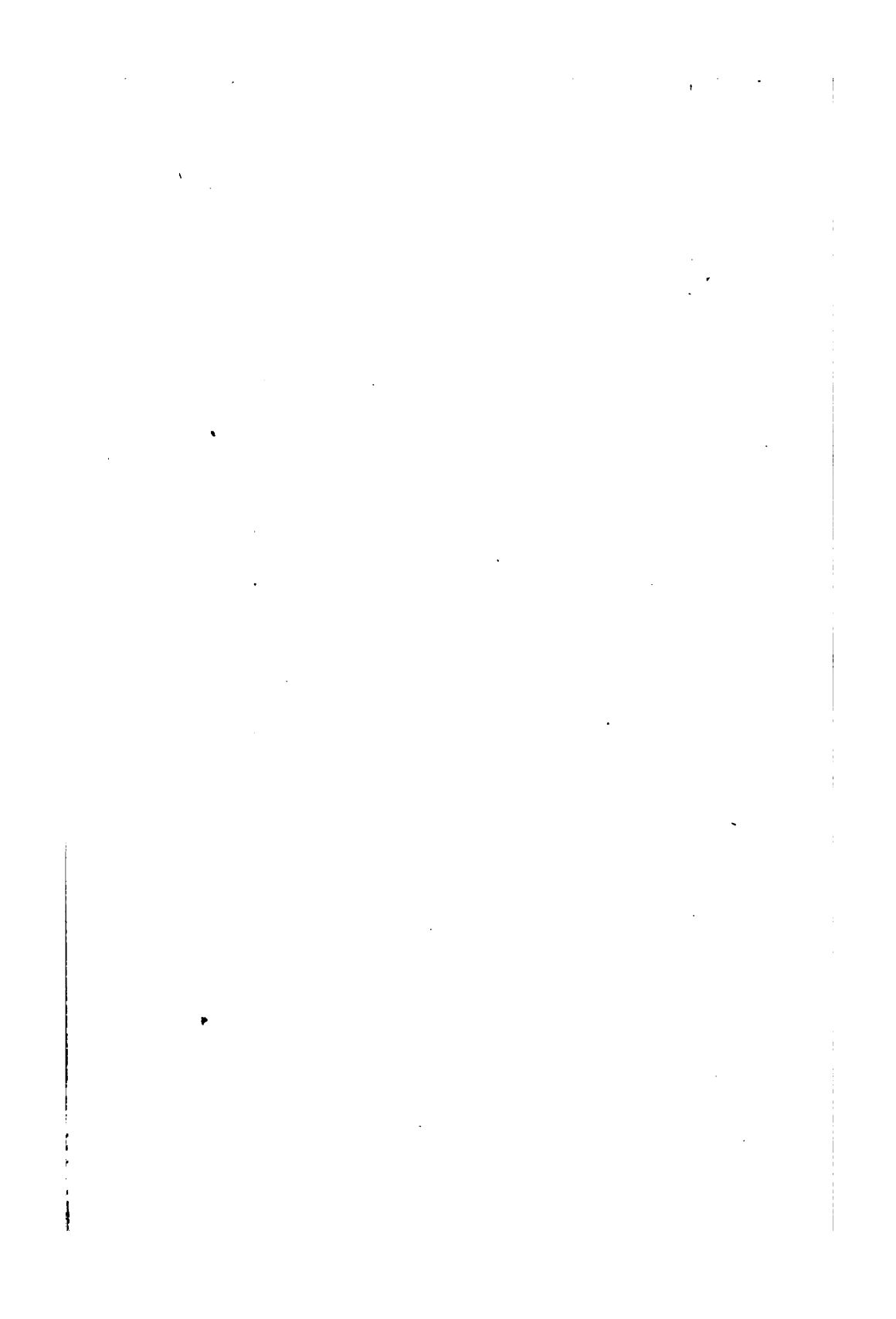
Вретъ онъ...

ПАВЛИНЪ (убѣжденно).

Помни!

РѢДОЗУВОВЪ.

(Идетъ прочь. П а в л и н ъ за нимъ)



М. Горькій. Варвары.

ДѢЙСТВІЕ ВТОРОЕ.

Садъ Богаевской. На деревьяхъ растянута парусина, подъ ней простой, некрашенный столъ, очень большой; за столомъ Черкунъ, передъ нимъ ворохъ бумагъ, карты, чертежи. Домъ— съ лѣвой стороны, къ нему ведетъ широкая дорожка, въ глубинѣ сада—заборъ. Подъ деревьями налѣво, въ плетеномъ креслѣ, сидитъ Анна съ книгой въ рукахъ.

АННА (потягиваясь).

Тебѣ жарко?

ЧЕРКУНЪ.

Конечно.

АННА.

А Сергѣя Николаевича все нѣтъ... Ты всегда больше работаешь — и всегда ты вмѣстѣ съ нимъ. Почему?

ЧЕРКУНЪ

(не поднимая головы).

Онъ имѣетъ то, чего у меня мало — опытъ, знанія...

АННА.

Но онъ такой... распушенный.

ЧЕРКУНЪ.

Знанія цѣнишь нравственности... (Пауза)

АННА.

Какіе любопытные всѣ здѣсь. Подсматриваютъ за нами, слѣдятъ... Наивные люди...

ЧЕРКУНЪ.

Говоря проще — идіоты ..

АННА.

Вотъ и теперь въ сосѣдномъ саду кто-то ходитъ вдоль забора и смотритъ въ щели. Я вижу, какъ блестятъ глаза.

ЧЕРКУНЪ.

Чортъ съ ними.. пускай блестятъ...

СТЕПАНЪ (идетъ).

Ну-съ, нанялъ я этого Матвѣя Гогина, вотъ его паспортъ...

АННА.

Дайте мнѣ...

ЧЕРКУНЪ.

Не давайте: она сунетъ его куда-нибудь и потомъ будетъ спрашивать у меня, куда сунула... Это не очень забавно...

СТЕПАНЪ.

Ну люди здѣсь! Удивительная дичь! Смотришь на нихъ и начинаешь сомнѣваться въ будущности Россіи... А какъ подумаешь, сколько тысячъ селъ и городовъ населено такими личностями,—душой овладѣваетъ пессимизмъ во сто лошадиныхъ силъ...

ЧЕРКУНЪ.

Пессимизмъ для рабочаго человѣка—излишенъ, какъ бѣлыя перчатки. Что, каковъ этотъ Матвѣй?

СТЕПАНЪ.

Кажется, не очень глупъ... Вотъ онъ самъ идетъ..Я вамъ не нуженъ?

(Матвѣй подошелъ. Одѣтъ чище, чѣмъ въ первомъ актѣ)

ЧЕРКУНЪ.

ПѢТЬ. (Матвѣю) Ну-съ, что скажете?

МАТВѢЙ.

Хочу поблагодарить васъ, баринъ, за то, что взяли меня...

ЧЕРКУПЪ.

Меня зовутъ Егоръ Петровъ, я такъ же, какъ и вы, крестьянинъ, а не баринъ. Благодарить намъ другъ друга не за что: вы будете работать, я буду платить вамъ деньги. А если вы вздумаете жульничать, я васъ прогоню и отдамъ подъ судъ... Это понятно?

МАТВѢЙ.

Попялъ. Ужъ постараюсь вамъ...

ЧЕРКУПЪ.

Увидимъ... Идите.

МАТВѢЙ

(подумалъ, помялся).

Покорно благодарю...

ЧЕРКУПЪ

(взглянувъ на него).

Все-таки?

МАТВѢЙ.

Чего-съ?

ЧЕРКУПЪ.

Ничего! Ступайте...

(Пауза)

АННА.

Какъ ты требовательно относишься къ людямъ, Егоръ...

ЧЕРКУНЪ.

Такъ они относились ко мнѣ...

(Пауза)

АННА.

Тебѣ нравится Татьяна Николаевна?

ЧЕРКУНЪ.

Ея племянница—больше.

АННА.

Зачѣмъ ты дразнишь меня?

ЧЕРКУНЪ.

Зачѣмъ позволяешь? Протестуй...

(На заборѣ показывается голова
Гриши Рѣдозубова)

АННА (пугливо).

Смотри, Егоръ! Смотри...

ЧЕРКУНЪ (удивленъ)

Вамъ что нужно?

ГРИША (улыбаясь).

Ничего. Я такъ... изъ любопытства только...

ЧЕРКУНЪ.

Вы кто?

ГРИША.

Рѣдозубовъ... сосѣдъ вашъ...

АННА.

Какъ онъ добродушно улыбается! Ты предложи ему,
пусть идетъ сюда...

ЧЕРКУНЪ.

Ну... идите же къ намъ! Познакомимся, что ли...

ГРИША.

Мнѣ тутъ не перелѣзть... я—толстый...

АННА (смѣясь).

А вы идите черезъ ворота...

ГРИША.

Мм... улицей, значить? Ладно...

(Исчезаетъ; идетъ Цыгановъ)

АННА.

Какой смѣшной!

ЧЕРКУНЪ.

Вотъ тебѣ и развлеченіе...

ЦЫГАНОВЪ.

Хотѣлъ уснуть и—не могъ, чортъ побери! Летаютъ уѣздныя мухи—джж, джж! И—съ размаха въ стекло—бумбъ! Садятся на носъ, щекочутъ...

ЧЕРКУНЪ.

И, вѣроятно, голова болитъ со вчерашняго...

ЦЫГАНОВЪ.

Да-а, знаешь... радушная встрѣча инженеровъ въ уѣздномъ городѣ для меня сошла не совсѣмъ благополучно... Что такое они здѣсь пьютъ?

ЧЕРКУНЪ.

Притыкинъ называетъ это звѣробоемъ...

ЦЫГАНОВЪ.

Штука високаго давленія... Ты знаешь, Жоржъ... такая странность! У меня, видимо, начинается... отрыжка, что ли. Вдругъ сегодня вспомнилъ эту... брюнеточка такая... какъ ее звали? Хористка изъ оперетки... она потомъ утопилась въ Мойкѣ... ты зналъ такую?

ЧЕРВУНЪ.

Нѣтъ...

ЦЫГАНОВЪ (задумчиво).

Маленькая... милые глазки... И вотъ сейчасъ одна муха, которой я поджегъ папирсой крылья, почему-то напомнила мнѣ эту дѣвочку... какъ ея имя?

АННА

(смотреть по направленію къ дому).

Что это? Ой... смотрите!

ЦЫГАНОВЪ,

Галлюцинація?

ЧЕРВУНЪ.

Фу, болванъ какой!

ГРИША

(въ тяжелой мѣховой шубѣ).

Вотъ и я... ф-фу! Трудно мнѣ!

ЧЕРКУНЪ.

Послушайте вы... типъ! Зачѣмъ это вы такъ нарядились?

ГРИША (улыбаясь).

Въ шубу-то? Это меня отецъ выпариваетъ... чтобы я

похудѣлъ: мнѣ осенью въ солдаты идти... такъ вотъ онъ жиръ изъ меня выпаривается...

ЦЫГАНОВЪ.

Остроумно...

ЧЕРКУНЪ.

И вы позволяете такъ издѣваться надъ собой?

ГРИША.

Чего-же? Съ нимъ много не поспоришь... дерется. Да, можетъ, и въ самомъ дѣлѣ, если похудѣю, не возьмутъ въ солдаты-то!

ЧЕРКУНЪ.

Ну, вотъ что — снимите шубу. На васъ противно смотрѣть. Какъ вамъ не стыдно? Надъ вами, навѣрное, дѣвицы смѣются — подумайте! Что за уродство! Вы должны сказать отцу, что больше не хотите... носить шубы въ жару—понимаете?

ГРИША.

Да-а, скажи-ка ему... попробуй!

ЦЫГАНОВЪ.

Послушайте, юноша: а вдругъ отецъ сядетъ на васъ верхомъ и въ праздникъ по улицѣ возить себя заставить?

ГРИША.

Ну, онъ срамиться не станетъ: онъ гордый!

ЧЕРКУНЪ (настойчиво).

Снимите шубу!..

ГРИША (снимаетъ).

Ладно... только бы онъ не увидалъ!

АННА.

Вы его любите, да?

ГРИША (не сразу).

Старый онъ... скоро, чай, помретъ... тогда ужъ я самъ себѣ хозяинъ буду!

ЧЕРКУНЪ.

Ступайте домой и пошлите его ко мнѣ.

ГРИША (изумленъ).

Это кого—отца... послать?

ЧЕРКУНЪ.

Ну, да... онъ дома?

ГРИША (теряется).

Да... какъ же я скажу? Ишь вы! Послать... тоже! Развѣ можно? Онъ первое лицо...

ЧЕРКУНЪ (вскакивая).

О, чортъ возьми! (Идетъ къ забору)

ГРИША (пугливо).

Что вы? Что онъ дѣлаетъ? Сударыня... Я уйду... ну васъ тутъ! Вотъ озорникъ!

ЧЕРКУНЪ.

Сергѣй! Не пускай его... (Кричитъ черезъ заборъ) Эй, кто тамъ? Эй!

АННА (смѣется).

Егоръ! Право же, это лишнее...

ГРИША.

Сударыня! Это озорство! Заманили меня... а теперь... Я уйду... Что такое?

ЦЫГАНОВЪ.

Юноша, будьте героемъ! Для этого вамъ нужно только смирно ждать... садитесь!

ЧЕРКУПЪ

(черезъ заборъ).

Это вы? Пожалуйте ко мнѣ... Что? Да, сейчасъ!

РѢДОЗУВОВЪ (за заборомъ).

Григорій! Гришка!

ГРИША (испуганъ).

Зовешь... У-у-у! Батюшки!

ЧЕРКУПЪ.

Опъ здѣсь, у меся...

ЦЫГАНОВЪ.

Вотъ двигается еще одинъ образецъ мѣстной фауны...

ГРИША (со страхомъ).

Разъ! Это Палагея Притыкина... ну!

ЦЫГАНОВЪ.

Знаете что, вамъ надо выпить для храбрости... это помогаетъ!

ГРИША.

Давайте... скорѣе! Ахъ ты... пу ужъ...

АННА (хохочетъ).

Да полпоте... охъ какой вы... чудакъ! Степа!

ПРИТЫКИНА.

Здравствуйте!

ЦЫГАНОВЪ (вздвигаясь)

Что вамъ угодно?

ПРИТЫКНУ.

Татьяна Николаевна дома?

ЦЫГАНОВЪ.

Къ сожалѣнію, это мнѣ неизвѣстно...

(Степа идетъ)

ПРИТЫКНУ.

Ахъ, Гриша. Здравствуй.

ГРИША (бормочетъ).

Ну, вотъ... теперь началось...

ЧЕРКУПЪ.

Съ вами здороваается дама, а вы сидите...

АННА (Степѣ).

Принесите портвейнъ и ликеръ...

ЦЫГАНОВЪ.

И кошьякъ, и водку...

ГРИША.

Я ее знаю...

ПРИТЫКНУ.

Мы знакомы, какъ-же! А это—ваша супруга? Какія
они красавицы у насъ...

ЧЕРКУПЪ.

Она тоже не знаетъ, гдѣ Татьяна Николаевна...

(Степа приноситъ водку съ бутылками)

ПРИТЫКИНА.

Это мнѣ не очень интересно. Я вѣдь, коли правду сказать, не къ ней, а къ вамъ пришла... ее-то я всегда видѣть могу, а вотъ съ вами мнѣ лестно познакомиться...

ЧЕРЕУНЬ.

Анна! Это къ тебѣ, я думаю...

ЦЫГАНОВЪ (Аннѣ).

Я увѣренъ, что это къ вамъ... Ну-съ, юноша, вамъ чѣго дать?

ГРИША.

Которое злѣе...

ПРИТЫКИНА.

Нѣтъ, я ко всѣмъ. Супруга ваша, конечно, со стороны туалетовъ, но и вы, судари мои, тоже очень интересные...

ГРИША (выпилъ).

Ухъ! Сладко, а... здорово!

ЦЫГАНОВЪ

(кланяясь Притыкиной).

Весьма польщенъ... Юноша, запомните: эта влага называется—шартрезъ...

АННА (Притыкиной).

Садитесь пожалуйста...

ПРИТЫКИНА.

Мерси! Я давно говорю Архипу, мужу то-есть:—окаянный! Познакомь съ инженерами! А онъ стращаетъ—они, говорить, строгіе. А вы вовсе не строгіе, но,

конечно, образованные и потому гордые... Что же? Всякому человѣку погордиться хочется—мы вотъ деньгами гордимся, а вы—науками... А у кого нѣтъ ничего, тотъ ужь—что онъ? Вродѣ младенца, который годъ прожилъ, да и померъ, и сказать про него нечего! Я этакъ-то родила...

А Н Н А

(быстро встаетъ).

Можетъ быть, вы пройдете туда, на веранду?

П Р И Т Ы К И Н А .

Съ удовольствіемъ, дорогая вы моя, пройдуся! Какая вы привѣтливая, какая милая... И такъ я рада, что вы пріѣхали, такъ рада! Городокъ у насъ—милый, красивый и кругомъ все окрестности... и лѣсныя окрестности, и полевая, и болотныя... и клюква, ужь столько клюквы!

Ц Ы Г А Н О В Ъ

(посмотрѣлъ вслѣдъ дамамъ).

Занятно, Жоржъ, право... интересная женщина!

Г Р И Ш А

(вдругъ засмѣялся).

Она —дуреха!

Ч Е Р К У Н Ъ .

Что?

Г Р И Ш А .

Дура, говорю, она. Старая, а вышла за молодого замужъ... Богатая она... онъ все забралъ у нея, а самъ, конечно, бѣгаетъ... Онъ—ловкій! Ухъ... отецъ идетъ! Заслоните меня... я еще хвачу...

(Цыгановъ закрываетъ собою Гришу. Гриша наливаетъ большую рюмку ликера, быстро проглатываетъ ее и дико таращитъ

глаза. Идетъ Рѣдозубовъ, гля-
дя изподлобья на Черкуна, за-
нимъ--Павлинъ съ толстой тет-
радью подъ мышкой)

РѢДОЗУБОВЪ (не кланяясь).

Гришка! Ты чего тутъ дѣлаешь?

Г Р И Ш А (ухмыляясь).

Такъ... ничего...

ЧЕРКУНЪ.

Это я его пригласилъ...

РѢДОЗУБОВЪ.

Зачѣмъ?

ЧЕРКУНЪ.

Нужно.

РѢДОЗУБОВЪ.

А онъ меня спросилъ, можно-ли идти?

ЧЕРКУНЪ.

Зачѣмъ?

(Молча смотреть другъ на друга)

РѢДОЗУБОВЪ.

Я его отецъ...

ЧЕРКУНЪ.

Ну-съ, долго разговаривать мнѣ некогда... Вашъ
сынъ долженъ снять эту дурацкую шубу. Что за глу-
пость!

РѢДОЗУБОВЪ (удивленъ).

Позволь... что такое?

(Павлинъ осторожно отодвигается
въ сторону отъ Рѣдозубова)

ЧЕРКУНЪ.

Если-же онъ будетъ носить шубу,—я напишу воинскому начальнику, что вы заставляете вашего сына уклоняться отъ исполненія воинской повинности... вы поняли?

ГРИША (вдругъ).

Папаша! Желаю въ солдаты... ей-Богу!

ЧЕРКУНЪ.

Вы поняли? Это—уголовное преступленіе...

РЪДОЗУВОВЪ (растерянь).

Погоди! По какому праву? Цавлинъ, будь свидѣтель... Гришка, ступай домой...

ГРИША.

Папаша! Не могу я похудѣть... не могу!

(Притыкинъ стоитъ слѣва за деревьями)

РЪДОЗУВОВЪ (спокойнѣе).

Ты, господинъ, пріѣхалъ дорогу строить... Строй! Я тебѣ не мѣшаю... и ты въ чужое дѣло не мѣшайся да! И... и глаза на меня... зеленые глаза—не таращ... Григорій, домой! А я—жаловаться буду... я къ губернатору поѣду...

ЦЫГАНОВЪ

(съ ласковой улыбкой).

И пріѣдете на скамью подсудимыхъ... Это въ шестьдесятъ-то лѣтъ! Будучи городскимъ головой, церковнымъ старостой, кумомъ пожарнаго и прочее, и прочее... Такая блестящая карьера и такой мрачный конецъ! Вы представьте себѣ это...

РЪДОЗУВОВЪ.

Григорій, иди домой, собака! Не слушай... не гляди на нихъ...

ГРИША

(пьяно заплакалъ).

Они тебя... въ острогъ! И меня... въ острогъ!

РѢДОЗУБОВЪ

(хватаетъ его за руку).

Иди, песъ... (Быстро идетъ прочь)

ЧЕРКУНЪ

(вслѣдъ, спокойно).

Почтенный, если вы побьете сына—это будетъ стоять
вамъ дорого... (Идетъ за ними)

ПРИТЯКИНЪ (удивленъ).

Испугался! Василій Ивановъ Рѣдозубовъ — испу-
гался!

ЦЫГАНОВЪ.

Любить почетъ, а?

ПРИТЯКИНЪ.

У-у, страсть! Ежели въ могилу человѣка съ поче-
томъ несутъ,—онъ и тутъ завидуетъ, такъ-бы на его
мѣсто и легъ! Столбы каменные видѣли передъ его
домомъ? Улицу онъ ими загородилъ—хотѣлъ парадное
крыльцо построить, какъ у князя Хрящеватаго.... За-
претили ему портить улицу—седьмой годъ судится,
не хочетъ уступить... И никогда никому онъ не усту-
палъ..

ПАВЛИНЪ

(выступаетъ и докладываетъ, считая на пальцахъ).

Человѣкъ, замѣтитъ смѣю, жестокой: одну супругу
въ гробъ забилъ, другая—въ монастырь сбѣжала, одинъ
сынъ—дурачкомъ гуляетъ, другой—безъ вѣсти пропалъ...

ЦЫГАНОВЪ.

Позвольте, мой дорогой, вы — что такое?

ПАВЛИНЪ.

Я-съ?.. Меня всѣ здѣсь знаютъ...

(Пришла Степа, собираетъ со
стола бутылки и уноситъ ихъ)

ПРИТЫКИНЪ.

Дружокъ Рѣдозубова-то... тоже---перець!

ПАВЛИНЪ.

Я со всѣми людьми желаю дружно жить...

ЦЫГАНОВЪ.

Вамъ угодно что-нибудь отъ меня?

ПАВЛИНЪ.

Точно такъ. Вотъ сочиненіе мною написано... и какъ вы человѣкъ ученый, то желалъ бы я знать вашъ взглядъ, о чемъ и прошу васъ усердно. Называется оно: „Нѣкоторое разсужденіе о словахъ, составленное для обнаженія лжи безкорыстнымъ любителемъ истины“... Я съ лѣтъ писалъ...

ЦЫГАНОВЪ

(беретъ тетрадь).

О чемъ-же вы здѣсь разсуждаете?

ПАВЛИНЪ.

Противъ новыхъ словъ я... Какъ поступки человѣческіе остались съ древности неизмѣнны, а названія имъ даны другія, то я и противорѣчу этому... Вообще—противъ новыхъ словъ.

ЦЫГАНОВЪ.

Что такое—новыя слова?

ПАВЛИНЪ.

Напримѣръ: раньше говорилось — ябеда, а теперь говорить—корреспонденція...

ПРИТЫКИНЪ.

Это онъ про то, какъ его въ газетѣ обругали за досъ на учителя... Небось, головѣ Рѣдозубову ты ни въ чемъ не противорѣчилъ...

ПАВЛИНЪ.

Кусть дерево тѣню не покроетъ, Архипъ Фомичъ! Онъ выше меня по значенію своему въ городѣ... Недоступное—недосягаемо!

ЦЫГАНОВЪ

(идеть къ дому).

Хорошо, я посмотрю вашу рукопись...

ПАВЛИНЪ.

Чувствительно благодаренъ...

ЦЫГАНОВЪ.

Вы зайдете какъ-нибудь...

ПАВЛИНЪ.

Сочту долгомъ...

(Всѣ трое уходятъ. Надъ заборомъ Рѣдозубова появляется Катя—она внимательно осматриваетъ садъ. Слышенъ голосъ Черкуна—Катя исчезаетъ. Идетъ Черкунъ съ нимъ Анна)

А Н Н А.

Такъ издѣваться надъ людьми за то, что они глухи,
нехорошо!

ЧЕРКУНЪ.

Они—злы...

А Н Н А.

Все равно—отъ глупости...

ЧЕРКУНЪ.

Ну, я знаю, что ты скажешь...

А Н Н А.

Какъ тяжело съ тобой, Егоръ!

ЧЕРКУНЪ.

Тебѣ—тяжело? Мнѣ пока только скучно... (Садится
за столъ) Тебя тамъ ждутъ эти... гости...

А Н Н А.

Иду. Ты... не хочешь поцѣловать меня?

ЧЕРКУНЪ.

Нѣтъ...

(Анна, быстро повернувшись, уходитъ. Черкунъ работаетъ. Надъ
заборомъ снова появляется Катя—
бросаетъ камень въ Черкуна.
Потомъ палку. Исчезаетъ)

ЧЕРКУНЪ

(по направленію къ забору).

Эй вы, дикарь! Я не терплю такихъ шутокъ!

КАТЯ (за заборомъ).

А мнѣ наплевать на васъ... слышали?!

ЧЕРКУНЪ (встаёт).

Вы—женщина?

КАТЯ.

Не ваше дѣло... рыжій!

ЧЕРКУНЪ.

Если вы и женщина... то все-таки и грубо и глупо швырять камнями...

КАТЯ.

А вы смѣете обижать людей?

ЧЕРКУНЪ.

Какихъ людей?

КАТЯ.

Ага, какихъ... Отца и брата...

ЧЕРКУНЪ.

Ахъ, вотъ что! Но—все же нечестно изъ-за угла кидаться... Вы бы показались, что-ли...

(Идетъ Степанъ и удивленно смотритъ на Черкуна)

КАТЯ.

Вы думаете, я боюсь васъ?

ЧЕРКУНЪ.

Могу подумать и это... Но, вѣриѣе, вы - очень некрасивая.

СТЕПАНЪ.

Это вы съ кѣмъ же бесѣдуете, патронъ?

ЧЕРКУНЪ.

Съ дамой...

... СТЕПАНЪ (оглядываясь).

А... гдѣ она?

ЧЕРКУНЪ.

Тамъ...

СТЕПАНЪ.

Ничего не понимаю! Васъ хочетъ видѣть исправникъ...

ЧЕРКУНЪ.

Ну, что такое?

СТЕПАНЪ.

Не знаю. Пойду посмотрѣть даму...

КАТЯ.

Попробуйте-ка!

ЧЕРКУНЪ (уходя).

Вы осторожниѣе... Она швыряетъ въ мужчинъ палками.

КАТЯ.

Я только въ рыжихъ...

СТЕПАНЪ.

Значить, меня вы не стукнете палкой?

КАТЯ.

Влѣзайте... увидите!

СТЕПАНЪ.

Гм... страшно! А все-таки—полѣзу!

КАТЯ

(является на заборѣ).

Не нужно.. Если увидить отецъ, онъ вамъ задастъ. Что вамъ надо?

СТЕПАНЪ.

Ничего. А вамъ?

КАТЯ.

Когда придетъ рыжій, — я непременно камнемъ въ носъ ему...

СТЕПАНЪ.

Ого! За что?

КАТЯ.

Ужъ я знаю! Скажите — красивая дама законная жена рыжаго?

СТЕПАНЪ.

А вамъ зачѣмъ знать это?

КАТЯ.

Пужно, значитъ. А онъ ее любитъ?

СТЕПАНЪ.

Вы объ этомъ у него спросите... или у нея...

КАТЯ.

А вы, будто, не знаете?

СТЕПАНЪ.

И не опытенъ въ этомъ...

КАТЯ.

Какъ-же... притворяйтесь! Всѣ студенты — распутные, въ Бога не вѣруютъ и читають запрещенныя книжки... я вѣдь знаю! И вы читаете запрещенныя книжки?..

СТЕПАНЪ.

Грѣшенъ...

(Идетъ Цыгановъ, останавливается и съ улыбкой слушаетъ)

БАТЯ.

Ахъ, вы... безстыдникъ! Зачѣмъ же вы это дѣлаете?

СТЕПАНЪ.

Такъ, знаете... привычка!

БАТЯ (негромко).

Дайте мнѣ одну... только которая интереснѣе... хорошо? Я очень люблю читать... ай!

(Исчезаетъ. Степанъ оглядывается)

ЦЫГАНОВЪ.

Похвально, юноша!

СТЕПАНЪ (смущенъ).

Ну... ужъ вы сейчасъ... Совсѣмъ ничего нѣтъ особеннаго... просто она просила книгъ... копечки, черезъ заборъ... ну, что-жъ такое?

ЦЫГАНОВЪ.

Да я же ничего не говорю!

СТЕПАНЪ.

Но... вотъ вы улыбаетесь...

ЦЫГАНОВЪ.

Не красно говорите—значить, еще не влюбились..

СТЕПАНЪ.

Вотъ... любовь! Къ чему это?

ЦЫГАНОВЪ.

Я тоже часто спрашивалъ себя — къ чему? Но это мнѣ не помогало, юноша, и я влюблялся... А она хоро-

шенькая, знаете... такая чертовочка растрепанная... Желая успѣха...

(Возвращается, взять со стола свертокъ картъ. Степанъ смотритъ на заборъ, потомъ — хочетъ влѣзть на него. Идутъ Богаевская и Монахова)

БОГАЕВСКАЯ.

Это вы зачѣмъ же на стѣну-то лѣзете, молодой человекъ?

СТЕПАНЪ.

Я фуражку... повѣсилъ фуражку, а она упала туда...

БОГАЕВСКАЯ.

Да вѣдь фуражка на головѣ у васъ?

СТЕПАНЪ.

Это—не та... та была... другая...

БОГАЕВСКАЯ.

Вы, кажется, голову потеряли, а не фуражку... Надежда Поликарповна, вотъ познакомься — Степанъ Даниловичъ Лукинъ...

НАДЕЖДА

(внимательно осматриваетъ).

Очень молоденькій...

БОГАЕВСКАЯ

(закуриваетъ папиросу).

Ну и оставимъ его лазить по заборамъ... Вотъ всѣ сюда идутъ... Ахъ, Надежда, говори ты меньше—можетъ быть, умнѣ покажешься людямъ...

(Степа является, приносить корзину съ посудой, бутылками ли

монада, ликеромъ, собираетъ со
стола бумаги, покрываетъ столъ
скатертью. Пѣсколько времени спу-
стя приходятъ докторъ, Цыга-
новъ. Анна)

НАДЕЖДА (спокойно).

У меня очень большой умъ...

БОГАЕВСКАЯ.

Не ври! Подумай — вѣдь кромѣ любви этой твоей...
ты ни о чемъ не можешь говорить...

НАДЕЖДА.

Ни о чемъ не могу...

ЦЫГАНОВЪ (доктору).

Сначала мы съ вами выпьемъ, докторъ, не такъ ли?

ДОКТОРЪ.

И потомъ выпьемъ.

ЦЫГАНОВЪ.

И потомъ, разумѣется... Степа, готово? Вотъ...

(Возится съ бутылкой. Докторъ
тяжелымъ, неподвижнымъ взгля-
домъ смотритъ на Монахову.
Анна подходитъ и садится ря-
домъ съ ней)

АННА.

А, должно быть, вамъ скучно жить здѣсь?

НАДЕЖДА.

Нѣкоторые жалуются на это... А мнѣ не скучно: я
цѣлые дни книжки читаю, или сижу и думаю...

АННА.

Вы что читаете? Романы?

НАДЕЖДА.

А что-же еще? Былъ здѣсь одинъ служащій въ земствѣ, застрѣлился онъ потомъ...

АННА.

Застрѣлился? Отчего?

НАДЕЖДА.

Не знаю...

ДОКТОРЪ
(угрюмо и зло).

Отъ любви къ ней...

БОГАЕВСКАЯ (укоризненно).

Экъ, вы, батюшка...

НАДЕЖДА (спокойно).

Онъ давалъ мнѣ какія-то другія книги, не романы... по онѣ скучныя были, и я ихъ не читала...

ЦЫГАНОВЪ.

А здѣсь, въ городѣ, въ жизни—бываютъ романы?

НАДЕЖДА.

Какъ же безъ этого? И здѣсь влюбляются...

АННА.

Должно быть, жалка эта мѣстная любовь...

НАДЕЖДА.

Любовь вездѣ одинакова, если она настоящая...

ЦЫГАНОВЪ.

А что такое настоящая любовь?

НАДЕЖДА.

Которая на всю жизнь...

ЦЫГАНОВЪ.

Гм... да! Вы много прочитали романовъ... Вамъ, вѣроятно, часто объясняются въ любви...

НАДЕЖДА.

Нѣтъ, не очень... Вотъ служащій этотъ, который застрѣлился, письма мнѣ писалъ, а до него—земскій начальникъ говорилъ, (докторъ медленно отходить въ сторону) но послѣ этого поѣхалъ на охоту, простудился тамъ пьяный и въ три дня умеръ..

АННА (вздрогнувъ).

Умеръ?

НАДЕЖДА.

Да. Не правился онъ мнѣ. Пилъ много, носомъ сопѣлъ и лицо у него было красное. Теперь встѣ докторъ говоритъ, что влюбленъ въ меня...

БОГАЕВСКАЯ (съ упрекомъ).

Матушка ты моя! Помолчать бы тебѣ!

(Встаетъ, идетъ къ дому. Среди деревьевъ стоитъ докторъ и неподвижно смотритъ на Монахову)

АННА (подавлена).

Какъ вы рассказываете... просто!

ЦЫГАНОВЪ (серьезно).

А вы... какъ относитесь къ нему?

НАДЕЖДА.

Никакъ. Онъ на мужа моего похожъ...

ЦЫГАНОВЪ.

Что вы! Мнѣ кажется,—нисколько!

НАДЕЖДА.

Нѣтъ, похожъ. Съ лица—не похожъ, а по душѣ они родные. Оба рыбу ловить любятъ, а кто любить рыбу удить,—онъ все равно что полумертвый: онъ сидитъ надъ водой, какъ будто смерти ждетъ...

ЦЫГАНОВЪ (Аннѣ).

Тутъ есть какая-то правда...

АННА.

Это понравилось бы Егору...

НАДЕЖДА.

Какіе у вашего супруга глаза обаятельные! И волосы... какъ огонь! И весь онъ — отличный мужчина... какъ увидишь—не забудешь! А у здѣшнихъ мужчинъ у всѣхъ глаза одинаковые, и даже .. какъ будто нѣтъ у нихъ глазъ...

АННА (негромко).

Какая вы... странная!

ЦЫГАНОВЪ (медленно).

Д-да-а... Я бы даже сказалъ—страшная...

НАДЕЖДА

(впервые улыбаясь).

Вы—это серьезно?

ЦЫГАНОВЪ.

Мое честное слово!

НАДЕЖДА.

Вотъ докторъ тоже говорить...

АННА (тихо).

Бѣдный докторъ...

(Раздается смѣхъ Монахова.
Идутъ Черкунъ, исправникъ,
Монаховъ, Лидія, Богаев-
ская)

ЧЕРКУНЪ.

Анна! Яковъ Алексѣвичъ уходитъ...

(Остается въ сторонѣ съ Лидіей)

АННА.

Вы не хотите посидѣть еще?

ИСПРАВНИКЪ.

Благодарствую! На первый разъ—довольно. А знаете, Сергѣй Николаевичъ, я какъ-то такъ... незамѣтно—выпилъ весь хересъ. Дѣйствительно, адское вино!

ЦЫГАНОВЪ (разсѣянно).

Вы подождите, — вотъ я скоро получу кое-что въ этомъ родѣ...

ИСПРАВНИКЪ.

Жду! Нетерпѣливо жду! (Хохочетъ)

МОНАХОВЪ

(подходить къ доктору).

Что, батя, а?

ДОКТОРЪ.

Ничего... думаю—надо пива выпить...

МОНАХОВЪ.

Пей! Тоска пройдетъ...

ИСПРАВНИКЪ.

Итакъ, завтра прогулка въ лодкахъ? Въ пять вечера пришла за вами пожарныхъ лошадей... А музыку—угодно?

БОГАЕВСКАЯ.

Ну, ужъ избавьте, батюшка... какая радость, если уши лопнуть? Да пожарные и въ городъ могутъ понадобиться.

ИСПРАВНИКЪ.

Чуръ меня! Я не люблю пожаровъ и вообще—жары (Хохочетъ) До свиданья, господа! Ужасно радъ, что въ моемъ городѣ будутъ жить такіе люди... и прочее... не умѣю говорить рѣчей...

НАДЕЖДА.

Вы на лошадахъ?

ИСПРАВНИКЪ.

Всенепремѣнно. Васъ доставить на домъ? Прошу!

ЦЫГАНОВЪ.

Куда вы, Надежда Поликарповна? Посидите!...

НАДЕЖДА.

Пора домой... До свиданья.. Маврикій, я ѣду домой.. До свиданья, Анна Федоровна!

МОНАХОВЪ.

Домой? Чудесно, Надя...

АННА.

Я всегда рада буду видѣть васъ...

ЦЫГАНОВЪ.

И—тоже...

ИСПРАВНИКЪ.

Ее пріятно видѣть, а? Вашу руку, маламъ! Анна Федоровна, будьте здоровы! Сергѣй Николаевичъ, такъ я жду... кое-чего! Почтенная Татьяна Николаевна, доброй ночи...

БОГАЕВСКАЯ.

Рано пожелаю, батюшка... больно щедръ!

ИСПРАВНИКЪ.

Для васъ мнѣ ничего не жалко... А, знаете, я благодаренъ головѣ, хоть онъ и вздорный мужикъ... Не пожалуйся онъ на васъ,—еще когда я познакомился-бы съ вами! Всѣхъ благъ!..

(Идетъ съ Монаховой)

АННА

(идетъ къ доктору).

Докторъ, хотите пройти по саду?

ДОКТОРЪ.

Пожалуй... идемте.

АННА.

Хоть-бы сказали,— съ удовольствіемъ...

ДОКТОРЪ.

Я разучился говорить человѣческимъ языкомъ...

(Идутъ разговаривая. Черкунъ и Лидія, говоря вполголоса, оба серьезные, идутъ къ столу. Цыгановъ, сосредоточенно смотрѣвшій вслѣдъ Монаховой, наливаетъ себѣ большую рюмку чего-то и

шьеть. Монаховъ, стоя около
стола, одобрительно шелкаетъ язы-
комъ)

ЧЕРКУНЪ.

Ну, Сергѣй, ты пьешь на смерть!

ЦЫГАНОВЪ.

Поучись галантности у исправника, мой другъ...

ЧЕРКУНЪ (Лидіи).

Извините меня... На минуту, Сергѣй... Послушай,
эта глупая баба, жена акцизнаго, смотреть на меня
такими жадными глазами...

ЦЫГАНОВЪ.

Ты глупъ, Жоржъ... какъ это пріятно мнѣ!

ЧЕРКУНЪ.

Нѣтъ, серьезно... мнѣ неловко...

ЦЫГАНОВЪ.

Иди! Тебя ждутъ... (Черкунъ, пожавъ плечамъ, идетъ
къ Лидіи) Маврикій Осиповичъ,—ликеру?

МОНАХОВЪ.

Не откажусь отъ удовольствія и въ смертный часъ...

ЦЫГАНОВЪ.

Правильно. И сигару... Вы въ карты играете?

МОНАХОВЪ.

А на что-жъ природа руки мнѣ дала?

ЦЫГАНОВЪ.

Э, да вы еще и остроумный человѣкъ... Обладатель

такой прекрасной женщины, (Монаховъ смѣется) пріятный собесѣдникъ...

МОНАХОВЪ (вдругъ).

Хотите пари?

ЦЫГАНОВЪ.

Какое пари?

МОНАХОВЪ.

Держу сто цѣлковыхъ противъ вашихъ пятидесяти, что вы влюбитесь въ мою жену! Идетъ?

ЦЫГАНОВЪ

(внимательно смотритъ на него и—съ изыщнымъ нахальствомъ барина).

Вы ничего не имѣете противъ этого?

МОНАХОВЪ

(чертитъ пальцемъ въ воздухъ).

Ноль! Благословляю!

ЦЫГАНОВЪ

(усиливая тонъ).

А если,—представьте казусъ!—она въ меня влюбится?

МОНАХОВЪ.

Держу пятьсотъ противъ ста за нѣтъ!

ЦЫГАНОВЪ (смѣясь).

Вы—премилый человѣкъ... Но, пока —оставимъ это, а? И поиграемъ въ карты... Зовите доктора. Притыкинъ тамъ съ нашимъ студентомъ занятъ провѣркой счетовъ... возьмемъ его—вѣдь онъ не опоздаетъ обокрасть насъ, не такъ-ли?

(Идетъ въ домъ. Тамъ Анна играетъ на піанино что-то грустное)

МОНАХОВЪ.

Конечно!

ЦЫГАНОВЪ.

Люди становятся мельче, жулики—крупнѣе.

(Монаховъ хохочетъ. Изъ-за деревьевъ выходятъ Черкунъ и Лидія, идутъ медленно, останавливаются у стола и говорятъ стоя)

ЧЕРКУНЪ.

Вы долго будете здѣсь жить?

ЛИДІЯ.

Не знаю. Вѣроятно, мѣсяць...

ЧЕРКУНЪ.

Я—до зимы почти... до поздней осени...

ЛИДІЯ.

Я не люблю маленькіе города: въ нихъ живутъ ничтожные люди... Когда я среди нихъ, я спрашиваю себя, почему-же они люди?

ЧЕРКУНЪ.

Да, да!.. Среди нихъ застываетъ энергія. Въ большихъ городахъ она кипитъ день и ночь. Тамъ неустанно треніе враждебныхъ силъ, тамъ никогда не прерывается битва за жизнь. Горятъ огни. Звучитъ музыка. Тамъ все чѣмъ жизнь красна.

ЛИДІЯ.

Большой городъ, онъ—какъ симфонія. Какъ сказочный залъ волшебника, гдѣ все есть и все можешь взять. Тамъ хочешь жить!

ЧЕРКУНЪ.

Да, жить! Я хочу жить много, жадно... Я видѣлъ, я испыталъ все пошлое, все тяжелое. Было время—меня унижали только за то, что я хотѣлъ ѣсть. А вы не знаете, какъ унижаютъ человѣка за то, что у него нечистое бѣлье и не острижены во-время ногти?

ЛИДІА.

Я вижу,—вамъ было плохо...

ЧЕРКУНЪ.

Ну, да! Миѣ очень нужно посчитаться съ людьми за прошлое, очень! Во миѣ нѣтъ жалости, нѣтъ снисхожденія къ тѣмъ жаднымъ и тупымъ животнымъ, которыя командуютъ жизнью... И безсиліе тѣхъ, которые подчиняются, меня приводитъ въ ярость...

ЛИДІА.

Вамъ и теперь нехорошо живется?..

ЧЕРКУНЪ.

Теперь? Да... и теперь...

ЛИДІА

(широкимъ жестомъ указывая вокругъ).

Вамъ нужно не это—нужно широкое поле битвы. Миѣ кажется, вы способны на что-то крупное... большое... Вы такой... прямой... Но—умѣете ли вы оцѣнить себя? Оцѣнить себя выше—это не ошибка, можно подняться, прыгнуть; но понизить цѣну себѣ—это значитъ наклониться, чтобъ другіе прыгали черезъ твою голову.

ЧЕРКУНЪ.

Я понимаю это..

Лидія.

Мнѣ кажется,—человѣкъ не долженъ имѣть много, но пусть то, что онъ имѣетъ, будетъ великолѣпно! Не нужно быть жаднымъ... не нужно загромождать свою душу дешевымъ, мелкимъ... Жизнь сдѣлается красива тогда, когда люди будутъ желать рѣдкаго...

Черкупъ.

Вы — романтичны.

Лидія.

[Развѣ это плохо... если это такъ? Кто это?

(Идетъ Дунькинъ мужъ. Онъ еще болѣе оборванъ, чѣмъ въ первомъ дѣйствіи. Пьянъ и шагаетъ смѣло)

Черкупъ.

Что вамъ угодно?

Дунькинъ мужъ (вдохновенно).

Позвольте вамъ сказать... я — отецъ!

Черкупъ.

Чей отецъ?

Дунькинъ мужъ.

Ея... которая у васъ, горничная... Степанида... Она — бѣглая... отъ меня. И я — требую... потому — отецъ! Что подѣлаете? Могу требовать...

Черкупъ (Лидіи).

Вотъ почти такимъ былъ мой отецъ...

Лидія.

Прогоните его,—онъ противенъ...

ЧЕРКУНЪ.

Что вамъ нужно?

ДУНЬКИНЪ МУЖЪ.

Жалованье... Дочь — чья? Моя. И жалованье — мое, оттого я и требую... А то—возьму ее, дочь свою... Павлинъ говоритъ: никто не можетъ держать у себя чужую дочь... если она бѣглая... а отецъ всегда можетъ требовать жалованье... Павлинъ говоритъ...

ЧЕРКУНЪ.

Вы—не отецъ. Родить ребенка, это еще не значить быть его отцомъ... Отецъ—это человѣкъ, но развѣ человѣкъ—вы?

ЛИДІА (усмѣхаясь).

Какъ вы молоды! Онъ не пойметъ; зачѣмъ вы говорите?

ЧЕРКУНЪ.

Да, не пойметъ... Ну, вы... ступайте прочь!

ДУНЬКИНЪ МУЖЪ (отступая).

А... жалованье?

(Идетъ Анна, остановилась, смотреть)

ЧЕРКУНЪ.

Ступайте прочь!

ДУНЬКИНЪ МУЖЪ

(испугался и нѣсколько отрезвѣлъ).

Ну, ничего... я уйду... только — дайте хоть полтипникъ!

ЛИДІА

(бросая монету).

Идите...

ЧЕРКУНЪ.

Живѣе! Но?

(Дунькинъ мужъ, не оглядываясь, исчезаетъ. Изъ кустовъ смотритъ Анна)

ЛИДІЯ (улыбаясь).

Какъ просто! Вотъ онъ и промѣнялъ свою дочь на маленькій кусокъ плохого серебра. А насъ хотятъ заставить жалѣть, даже любить такихъ людей... вамъ это нравится? Развѣ имъ поможетъ жалость? И развѣ можно ихъ любить? Вотъ... Анна Федоровна! Устали отъ гостей?

АННА (сухо).

Нѣтъ, ничего. Они играютъ въ карты... Я вышла посмотрѣть...

ЧЕРКУНЪ (подозрительно).

Посмотрѣть—на что?

АННА.

Я видѣла, какъ прошелъ въ садъ этотъ жалкій человекъ...

ЛИДІЯ.

Ну, я иду домой... Мы вечеромъ увидимся, я не прощаюсь...

ЧЕРКУНЪ.

Да... мы увидимся...

(Лидія уходитъ. Черкунъ смотритъ вслѣдъ ей. Анна наблюдаетъ за нимъ, кусая губы. Къ ней бросается Степа)

СТЕПА.

Онъ за мной приходилъ... за мной?

АННА.

Нѣтъ, Степа... это такъ... не бойся!

СТЕПА.

Христа ради... не отдавайте меня ему...

АННА.

Да нѣтъ же! Ты успокойся... иди.

СТЕПА.

Я въ монастырь уйду! Туда его не пустятъ... Туда вѣдь не пустятъ?

ЧЕРКУНЪ.

Идите, Степа! Все это чепуха... Онъ ничего не можетъ сдѣлать съ вами...

АННА.

Мы не дадимъ васъ ему...

СТЕПА (уходя).

О Господи...

АННА.

Мнѣ кажется, Егоръ, этого человѣка нужно какъ-нибудь...

ЧЕРКУНЪ (рѣзко).

Ничего не нужно дѣлать какъ-нибудь...

АННА (ласково).

Ты раздраженъ...

ЧЕРКУНЪ.

Нѣтъ. Но я хочу тебѣ сказать,—ты слишкомъ ярко подчеркиваешь свою неприязнь къ Лидіи Павловнѣ...

А Н Н А.

Позволь! Съ чего ты взялъ?

Ч Е Р К У П Ъ.

Неправда—вездѣ излишняя, тѣмъ болѣе межъ нами,
Анна... Она мнѣ нравится, съ ней — интересно; ты это
видишь и бойшься...

А Н Н А (тревожно).

Чего боюсь? Я... не боюсь, нѣтъ!

Ч Е Р К У П Ъ.

Я вѣдь вижу, Анна...

А Н Н А.

Что? Что ты видишь? Скажи... скажи... скорѣе... Нѣтъ,
не говори... прошу тебя—не надо!

Ч Е Р К У П Ъ (угрюмо).

Тише, Анна...

А Н Н А.

Молчи! Прошу тебя... Дай мнѣ привыкнуть къ мысли...

Ч Е Р К У П Ъ.

Эта мысль давно уже съ тобой, а ты все не при-
выкла...

А Н Н А.

Но если — не могу! Вѣдь я люблю тебя, люблю! Я
все тебѣ прощаю...

Ч Е Р К У П Ъ.

Прощенья мнѣ не нужно...

А Н Н А.

Я скучный, я обыкновенный человѣкъ... я знаю это,

да! Но я люблю тебя... И не могу я безъ тебя... я не могу. Развѣ за это можно презирать? Развѣ можно... такъ жестоко...

ЧЕРКУНЪ.

Я тебя не презираю... Это неправда... Но я уже не люблю тебя. Вотъ правда...

АННА.

Но ты любилъ меня... Нѣтъ.. подожди! Ты опшбаеишься.

ЧЕРКУНЪ.

Это сгорѣло. А не любя живутъ съ женами только развратники... или луны...

АННА.

О, подожди! Подожди... Дай мнѣ время... я попробую, быть можетъ, я буду... другой! Быть можетъ, я не буду такой неинтересной...

ЧЕРКУНЪ.

Эхъ, Анна! Стыдись! Какъ можно отречься отъ себя?

АННА.

Мой дорогой! Любимый мой... Я не могу жить безъ тебя...

ЧЕРКУНЪ (твердо).

А я—съ тобой..

(Идетъ къ дому. Анна, подавленная, медленно садится къ столу. Шумъ; кто-то перелѣзъ черезъ заборъ, какъ слышно по звукамъ. Анна не слышитъ. Изъ-за деревьевъ выбѣгаетъ Катя)

КАТЯ
(обнимая Анну).

Милая, славная моя! Вы не плачьте... онъ подлець...

АННА (вскакивая).

Уйдите! Кто вы?

КАТЯ.
Онъ—дуракъ. Развѣ такъ можно говорить? Развѣ
можно не любить васъ?

АННА.
Кто вы? Какъ вы...

КАТЯ.
Я—Катя, я Рѣдозубова! Вы его бросьте... вы моло-
дая, полюбите еще! Полюбите другого, хорошаго, доб-
раго.. А ему... Я бы отхлестала его по щекамъ...

АННА.
Зачѣмъ вы слушали? О Боже мой!

КАТЯ.
Я все знаю, что у васъ дѣлается... я цѣлые дни
слѣжу за вами въ щель... и такъ люблю васъ, такъ
люблю!

АННА
(нѣсколько оправляясь).
Это нехорошо... подслушивать...

КАТЯ.
А почему нехорошо? Надо все видѣть, это инте-
ресно! Вотъ, если-бъ я не пришла, вы бы сидѣли одна
и плакали... А теперь я буду утѣшать васъ...
(Идетъ Степанъ)

АННА.

Молчите... тише! Вы ничего не знаете, не слышали... прошу васъ!

КАТЯ (съ важностью).

Я понимаю! Ахъ, это... этотъ!

СТЕПАНЪ

(спимая фуражку, кланяется).

Тотъ самый... Черезъ заборъ извоилинн прибыть?

КАТЯ.

А вамъ какое дѣло? Вы думаете, если я черезъ заборъ, такъ ужъ и дурочка? Я не глупѣ васъ... уберите!

СТЕПАНЪ.

Вотъ тебѣ и разъ! Чѣмъ я прогнѣвалъ...

КАТЯ

(топая ногой).

Молчите! Съ вами не разговариваютъ... Идите!

(Беретъ Анну за руку)

АННА.

Я... простите меня... не могу... мнѣ некогда...

КАТЯ.

Я понимаю... Я буду съ вами... Идите!

(Ведетъ ее въ глубину сада. Степанъ недоумѣваетъ. Идутъ Рѣдозубовъ и Павлинъ, Рѣдозубовъ растрепанъ и взволнованъ)

РѣДОЗУБОВЪ.

Будь свидѣтелемъ, Павлинъ... давеча сына сманили..

напоили... теперь дочь... (Степану) Ты кто? Служащій?
Зови господь... Гляди, Павлинъ...

СТЕПАНЪ.

Вы ошибаетесь, почтенный...

РЪДОЗУБОВЪ.

Мнѣ все равно! Здѣсь — вертепъ, да! Ахъ, фармазоны,
а? Зови ихъ!

СТЕПАНЪ.

Не хочу...

РЪДОЗУБОВЪ.

Какъ? Я тебѣ говорю, а ты...

(Черкунъ идетъ)

ПАВЛИНЪ.

Они — студентъ...

РЪДОЗУБОВЪ.

Ага! Значитъ, одна шайка...

ЧЕРКУНЪ (спокойно).

Что такое? Въ чемъ дѣло?

РЪДОЗУБОВЪ.

Гдѣ дочь?

ЧЕРКУНЪ.

Не знаю..

РЪДОЗУБОВЪ.

Врешь, фармазонъ!..

ЧЕРКУНЪ (Степану).

Что такое — фармазонъ?

СТЕПАНЪ.

Первый разъ слышу...

РѢДОЗУБОВЪ.

Не шути, баринъ! Гдѣ дочь?

ПАВЛИНЪ.

По научному если,—франк-масонъ говорится.

ЧЕРКУНЪ.

Послушайте, старикъ: ваша дочь бросала въ меня камнями, а больше я ничего не знаю о ней... Вы понимаете?

(Катя бѣжитъ)

РѢДОЗУБОВЪ.

А это что? Катерина... кто велѣлъ...

КАТЯ.

Ну, не шуми... Иди сюда! Иди, иди... не бойся, опъ не поидеть...

РѢДОЗУБОВЪ.

Дочка моя! Не мѣсто тебѣ тутъ...

КАТЯ (Черкуну).

Вы—не ходите! Слышите... вы! Уродъ!..

(Уходить, увлекая за собой отца. Степанъ смѣется. Черкунъ, улыбаясь, смотритъ на него. Павлинъ поджаль губы и наблюдаетъ)

ЧЕРКУНЪ.

Цѣлѣно... но очень мило, право! Славная дѣвчушка... Пришла, командуеъ... гм...

СТЕПАНЪ (смѣясь).

Ахъ, чортъ возьми! Вѣдь ловко, патронъ?

ЧЕРКУНЪ.

Надо поговорить со старикомъ...

(На заборѣ появляется голова
Гриши. Лицо у него испуганное)

ПАВЛИНЪ.

Осмѣлюсь сказать,—вы его вполнѣ потрясли и на-
рушили...

ЧЕРКУНЪ (Степану).

Это кто?

СТЕПАНЪ (усмѣхаясь).

Мѣстный мудрецъ... и прочее, что погребется...

ГРИША.

Баринъ, эй!

ЧЕРКУПЪ.

Ну?

ГРИША.

А онъ меня не билъ... ей-Богу!

КАТЯ (бѣжить).

Послушайте... вы! Подите сюда... отецъ зоветъ васъ...
Пу, чего вы зубы оскалили? Я все знаю про васъ...
У-у, рыжій!

(Показываетъ ему языкъ и убѣ-
гаетъ. Степанъ раздражается хо-
хотомъ. Павлинъ не знаетъ,
какъ отнестись къ этому. Чер-
кунъ улыбается, идетъ на зовъ
Кати. Гриша опасливо слѣдитъ
за нимъ)

М. Горький. Варвары.

ДѢЙСТВІЕ ТРЕТЬЕ.

Тотъ-же садъ. Вечеръ. Солнце заходитъ. На деревьяхъ висятъ разноцвѣтные фонарики. Столъ уставленъ винами и закусками; вокругъ него, въ безпорядкѣ, разнообразные стулья. Около стола возится Степа; Матвѣй Гогинъ, одѣтый очень чисто, открываетъ подъ деревьями бутылки пиза. Въ глубинѣ сада, у забора, стоитъ Притыкинъ; рядомъ съ нимъ Монаховъ тихонько наигрываетъ на кларнетѣ. Въ домѣ — шумять. Кто-то однимъ пальцемъ играетъ на піанно „Чижика“ и все сбивается. Хоѹочеть и справникъ.

МАТВѢЙ.

Я уже около трехъ сотенъ накопилъ...

СТЕПА.

Какое мнѣ дѣло до этого?

МАТВѢЙ.

Значить—не дуракъ...

СТЕПА.

Я не говорила, что вы дуракъ. А вотъ вы жадный... все про деньги говорите... какъ всѣ мужики...

МАТВѢЙ.

Что-жъ—мужики?

(Черкунъ идетъ къ столу, вслѣдъ за нимъ Надежда)

ЧЕРКУНЪ.

Степа, дайте зельтерской! (Надеждѣ) И вы захотѣли освѣжиться? Душно тамъ, да?

НАДЕЖДА.

Нѣтъ... ничего...

ЧЕРКУНЪ.

Почему это вы такъ... странно смотрите на меня?

НАДЕЖДА (негромко).

Что-же тутъ страшнаго?

ЧЕРКУНЪ (усмѣхаясь).

Не дать ли вамъ холодной воды... зельтерской, а?

НАДЕЖДА.

Нѣтъ, я не желаю...

ЧЕРКУНЪ

(идеть обратно).

Ну-сѣ, пойду доигрывать...

(Надежда медленно идетъ за нимъ)

МАТВѢЙ (упрямо).

Что я мужикъ, ничего не значить! Степанъ Данилычъ—студентъ, онъ все знаетъ... онъ говорить,—раньше всѣ люди мужиками были, а потомъ — которые умные, господами сдѣлались... вотъ оно!

СТЕПА.

Отстаньте... не люблю я такихъ...

МАТВѢЙ.

Жешимся—полюбите... Я парень здоровый...

СТЕПА

(какъ бы про себя).

Я въ монастырь уйду...

(Идутъ исправникъ и Цыгановъ, оба выпивши)

МАТВѢЙ (смѣется).

Ну, это вы врете... въ монастырь... тоже!

ИСПРАВНИКЪ (у стола).

Здѣсь все прекрасно, чо закуска и выпивка далеко.

ЦЫГАНОВЪ

(наливая вино).

Она—эпическая женщина...

ИСПРАВНИКЪ.

Вы все про нее?.. Н-да... звѣрь! Я вотъ два года за ней ухаживаю... Мужчина не уродъ, какъ видите, военный и прочее, Вы говорите, не герой... А почему я не герой? Неизвѣстно. И, наконецъ, что такое — герой? Съ уѣздномъ городѣ и вдругъ—герой! Смѣшно...

(Монаховъ и Притыкинъ
идутъ къ столу)

БОГАЕВСКАЯ (кричитъ).

Яковъ Алексѣвичъ, вамъ сдавать!

ИСПРАВНИКЪ

(идетъ съ кускомъ въ рукахъ).

Спѣшу...

ЦЫГАНОВЪ (Монахову).

А мы вотъ все говоримъ о вашей супругѣ...

МОПАНОВЪ.

Пріятно слышать... А что именно вы говорите, если это не секретъ?

ЦЫГАНОВЪ.

Хотимъ понять, что она такое? И не понимаемъ...

ПРИТЫКИНЪ.

Женщину очень трудно понять...

МОНАХОВЪ.

Это ты про Марью Ивановну?

ПРИТЫКИНЪ

(дергаетъ его за рукавъ).

Нѣтъ, вообще... Рѣдкіе понимаютъ женщину...

МОНАХОВЪ.

Что мнѣ нужно, я, батя, понялъ... а что не нужно, того и понимать не надо...

ПРИТЫКИНЪ.

Это, конечно, спокойнѣе. Опять же всего никогда не поймешь...

ЦЫГАНОВЪ.

Гдѣ вы ее достали, мой другъ, а?

МОНАХОВЪ.

Въ епархіальномъ училищѣ за обѣдной замѣтилъ...

ПРИТЫКИНЪ.

Вонъ она идетъ... и докторъ около...

(Смѣется. Монаховъ негромко вторитъ ему. Цыгановъ смотритъ на нихъ и усы его презрительно вздрагиваютъ)

МОНАХОВЪ (Цыганову).

А Мопассана вашего она не одобряетъ,—скучно, говоритъ, и очень все кратко. Зато мнѣ онъ нравится! Такія есть штучки... ой-ой!

ЦЫГАНОВЪ.

Надежда Поликарповна, хотите еще шампанскаго?

НАДЕЖДА.

Пожалуйста... Мнѣ очень нравится оно...

МОНАХОВЪ.

Смотри, Надежда, будешь пьяной...

НАДЕЖДА.

Какія грубости ты говоришь! Люди могутъ подумать, что я ужъ была пьяная. Зачѣмъ ты ходишь съ этой палкой?

МОНАХОВЪ.

А скоро играть буду.

ПРПТЫКИПЪ

(беретъ Монахова подъ руку).

Идемте, посмотримъ, какъ исправникъ козыряетъ...

(Идутъ. Монаховъ—неохотно)

ЦЫГАНОВЪ

(подаетъ бокаль Надеждѣ).

Вамъ не нравится кларнетъ?

НАДЕЖДА.

Я гитару люблю, на ней можно играть очень трогательно. А кларнетъ всегда точно съ насморкомъ... Вы очень много пьете, докторъ...

ДОКТОРЪ.

Меня зовутъ Павелъ Ивановичъ...

ЦЫГАНОВЪ.

Представьте! Первый разъ слышу ваше имя... странно, а?

ДОКТОРЪ.

Что—имя? Здѣсь души не замѣчаютъ...

ЦЫГАНОВЪ.

Какой вы всегда невеселый, дорогой мой Павелъ Ивановичъ...

ДОКТОРЪ.

Не всякій способенъ смѣяться въ мертвецкой...

ЧЕРКУНЪ (кричить).

Сергѣй! Тебя зоветъ Лидія Павловна...

ЦЫГАНОВЪ.

Извиняюсь... Иду...

ДОКТОРЪ

(тяжело смотритъ на Монахову).

Онъ вамъ нравится, этотъ?

НАДЕЖДА.

Пріятный... говорить интересно и всегда чисто одѣтъ..

ДОКТОРЪ

(негромко, глухо).

Онъ—мерзавецъ. Онъ хочетъ развратить васъ... онъ это сдѣлаетъ... мерзавецъ!

НАДЕЖДА (спокойно)

Вы всегда всѣхъ ругаете, и при этомъ видно, что у васъ зубы гнилые...

ДОКТОРЪ

(страстно и тоскливо).

Надежда! Я не могу видѣть тебя среди нихъ... это убьетъ меня! Голосомъ души своей говорю—уйди! Они

жадные... имъ ничто не дорого... они готовы все пожрать...

НАДЕЖДА (встаетъ).

Зачѣмъ же вы говорите на ты? Это вовсе невѣжливо...

ДОКТОРЪ.

Не уходи! Послушай... ты, какъ земля, богата силой творческой... ты носишь въ себѣ великую любовь... дай же мнѣ частицу ея! Я весь изломанъ, раздавленъ страстью... Я буду любить тебя, какъ огонь, и всю жизнь!

НАДЕЖДА.

Ахъ, Господи... ну, если вы мнѣ совсѣмъ не нравитесь! Вы посмотрите на себя—какой же вы любовникъ? Даже смѣшно это...

ДОКТОРЪ.

Смотри-же... помни! Я лягу на твоёмъ пути — увидишь! Одинъ уже убить тобой... Я буду вторымъ... Какъ только я увижу, что этотъ прохвостъ овладѣлъ тобой...

НАДЕЖДА

(съ легкой досадой).

Вы, право, очень глупый человѣкъ! Какъ это можно овладѣть мною, если я не хочу? И все это совсѣмъ не касается насъ... Какой вы досадный... даже пестеримо!

ВЕСЕЛКИНА (бѣжитъ).

Вы можете представить, какая неожиданная повость? Вдругъ — пріѣхала Анна Федоровна... Я ничего не понимаю! Значить—они не разошлись? Или снова сошлись? А какъ-же тогда Лидія Павловна? Вѣдь онъ въ нее влюбленъ...

(Докторъ отходитъ къ столу и тяжело смотреть на Монахову)

НАДЕЖДА (медленно).

Какъ это интересно... Только я не вѣрю... что онъ влюбился въ Лидію Павловну...

ВЕСЕЛИНА.

Что вы! Весь городъ знаетъ это...

НАДЕЖДА.

Этого нельзя знать, милая, потому что это—въ сердцѣ.

ВЕСЕЛИНА.

И въ глазахъ, и въ голосѣ...

НАДЕЖДА (задумчиво).

А вотъ зачѣмъ она пріѣхала... его жена? Зачѣмъ? Хотя она и не опасная противница...

ДОКТОРЪ.

Кому?

НАДЕЖДА

(не сразу, медленно).

А вамъ какое дѣло?

ВЕСЕЛИНА (доктору).

Вы нездоровы? У васъ лицо...

ДОКТОРЪ

(негромко, какъ эхо).

А вамъ какое дѣло?

ВЕСЕЛИНА.

Фу, какъ невѣжливо! Пойдемте, дорогая, посмотримъ, какъ все это будетъ...

(Идутъ. Изъ-за деревьевъ является Монаховъ, подходитъ къ доктору съ усмѣшкой)

МОНАХОВЪ.

Что, батя, а?

ДОКТОРЪ.

Сто разъ я слышалъ этотъ умный вопросъ... что вы хотите знать? Ну?

МОНАХОВЪ.

Шш! Экъ вы... Мнѣ ничего не надо знать... я знаю все, что надо...

ДОКТОРЪ (зло).

Вы знаете, что я... люблю вашу жену?

МОНАХОВЪ

(тихо, съ усмѣшкой).

Кто этого не знаетъ, батя?

ДОКТОРЪ

(хочетъ уйти).

Ну... и ступайте къ чорту!

МОНАХОВЪ

(хватаетъ его за рукавъ).

Тс! Зачѣмъ ругаться? Мы рождены не для волненій. сказалъ поэтъ... и не люблю я ничего драматическаго..

ДОКТОРЪ

(рѣзко, тихо).

Что вамъ нужно?

МОНАХОВЪ (таинственно).

Чтобы она—несчастье испытала... чтобы ударъ дали... но — не я! И не вы, батя... Васъ мнѣ жалко... я вѣдь — добрый... и я вижу... все вижу. Отъ удара она мягче будетъ... несчастье смягчаетъ... поняли, батя?

ДОКТОРЪ.

Вы... пьяны? Или вы...

МОНАХОВЪ (съ усмѣшкой).

Выпилъ... всѣ выпили! Развѣ это непріятно? Это
очень пріятно...

ДОКТОРЪ (злобно).

Вы просто... гадина!

(Быстро идетъ прочь. Монаховъ
подходить къ столу—на лицѣ его
жалкая, странная улыбка. Налива-
етъ вина. Бормочетъ)

МОНАХОВЪ.

Да... тебѣ, братъ, больно? А мнѣ—не больно?

ПРИТЫКИНА

(идетъ, за ней Дробязгинъ, Веселкина).

Маврикій Осиповичъ, слышалъ, а?

МОНАХОВЪ.

Что именно?

ВЕСЕЛКИНА.

Къ Черкуну жена воротилась...

МОНАХОВЪ

(какъ всегда).

Уже воротилась? Н-да... какъ-же къ этому проис-
шествію нужно отнестись?

ПРИТЫКИНА.

Самъ-то не понимаешь, батюшка?

ВЕСЕЛКИНА.

Вѣдь онъ влюбился въ Лидію Павловну...

ДРОВЯЗГИНЪ (торопливо).

По-моему, они очень подходят другъ къ другу...

МОПАХОВЪ.

Вотъ и прекрасно...

ПРИТЫКИПА.

Что-же тутъ прекраснаго?

(Дробязгинъ оглянулся, взялъ
со стола грушу и незамѣтно ѣстъ
ее)

МОПАХОВЪ.

Всѣ. И что они подходятъ, и что она воротилась...
и вы всѣ прекрасные люди и я хорошій человѣкъ...
Главное—не надо намъ мѣшать другъ другу...

(Смѣется и идетъ)

ПРИТЫКИПА.

А вѣрно, хорошій онъ... только мало понимаетъ...

ВЕСЕЛКИПА.

Ему некогда понимать, нужно за женой слѣдить...

ДРОВЯЗГИНЪ.

Надежда Поликарповна—скромная женщина...

ВЕСЕЛКИПА.

Вы всегда все знаете! Она только и ждетъ, какъ-бы
злюбиться въ кого-нибудь...

ДРОВЯЗГИНЪ.

Этого всѣ желаютъ... даже курицы...

ПРИТЫКИПА (вздыхая).

Вотъ ужъ вѣрно... всѣ желаютъ!

ВЕСЕЛКИНА.

Вы, Пелагея Ивановна, Архипа Фомича любите?

ПРИТЫКИНА.

Я-то его—очень, да онъ-то меня не особенно... Пу, что-жъ дѣлать? Сама виновата: не ходи сорокъ за двадцать... Вонъ—голова идетъ... и сама рожденница съ нимъ... очень милая женщина!

(Идутъ Богаевская, Рѣдозубовъ съ сыномъ, Павлинъ. Дробязгинъ подтягивается, принимая скромный видъ. Гриша дѣлаетъ ему дружескія гримасы, Веселкина смѣется, видя это)

ПАВЛИНЪ.

Я говорю ей: монастырь—это, дѣвушка, не трудно, а ты вотъ гнуснаго родителя твоего возьми и пригрѣй—это ноша, это, говорю, крестъ...

РѢДОЗУБОВЪ.

Слышишь, Гришка?

ГРИША.

Слышу... Вѣдь я въ монастырь не хочу... чего-же?

РѢДОЗУБОВЪ.

Эхъ... дуракъ!

ПРИТЫКИНА.

Ужъ какъ все хорошо у васъ, Татьяна Николаевна! Всего-то много и все вкусное, все—рѣдкое... охъ, дорогая вы моя, какъ это пріятно!

БОГАЕВСКАЯ.

Ну, я рада, коли угодила... Жарко вотъ очень...

П Р И Т Ы К И Н А.

А вы лимонаду съ коньячкомъ... меня Сергѣй Николаевичъ научилъ лимонадъ съ коньячкомъ пить... освѣжаетъ!

Р Ѣ Д О З У Б О В Ѣ (тоскливо).

Татьяна Николаевна! Зачѣмъ ты меня позвала? Сидѣлъ-бы я дома... Вонъ Павлишъ говоритъ: это,—говорить —Валтасаровъ пирь..

Б О Г А Е В С К А Я.

Оставь дѣтей и уходи, коли не нравится... А Павлишъ глупости говоритъ, хоть онъ и старикъ...

Р Ѣ Д О З У Б О В Ѣ (задумчиво).

Заглоталъ онъ меня... Что хочеть, то и дѣлаю... Это—я?

Б О Г А Е В С К А Я.

Зато глупостей меньше дѣлать сталъ... Давно ужъ тебя, батюшка, слѣдовало ограничить...

Р Ѣ Д О З У Б О В Ѣ.

Столбы сломалъ я... Семь лѣтъ за нихъ держался, сколько денегъ убилъ по судамъ...

П А В Л И Н Ѣ.

Столбовъ—жалко. Очень украшали они улицу.

Б О Г А Е В С К А Я.

Ну, и врешь...

П Р И Т Ы К И Н А.

Вздить стѣснительно было... а такъ—ничего! Все-таки каждый видитъ, каждый спросить, чьи столбы? И знаетъ, что вотъ въ Верхопольѣ городской голова Рѣдозубовъ...

РѢДОЗУБОВЪ.

Гришка! Чего глаза паялишь на бутылки?

ГРИША.

Я такъ, папаша... Больно много ихъ...

БОГАЕВСКАЯ.

Что ты на него орешь? Самъ сдѣлалъ парня дуракомъ да самъ-же и сердится...

РѢДОЗУБОВЪ.

Ты думаешь,—я не вижу, что дѣлается? Эти фармазоны... они варвары, они—нарушители! Они все опроверкиваютъ, все галится отъ нихъ...

БОГАЕВСКАЯ (позѣывая).

Видно, плохо было построено...

РѢДОЗУБОВЪ.

Ты—барыня... тебѣ ничего не жалко... Вы, баре, чужими руками дѣлали, оттого вамъ и не жалъ... а мы—своимъ горбомъ... да...

БОГАЕВСКАЯ.

Да, мы не жадничали... И что намъ хорошо было сдѣлано, то, батюшка мой, осталось... А вотъ умрешь ты, и на мѣстѣ, гдѣ жилъ, останется только земля испорченная... земля ограбленная.

РѢДОЗУБОВЪ (гнѣвно).

Гришка! Иди прочь... Гдѣ Катерина? (Идутъ исправникъ и Притыкинъ) Зови ее домой... иди! Вонъ—Архипъ идетъ... чѣмъ онъ меня лучше? А его наравнѣ со мной ставятъ...

(Идетъ прочь. Павлинъ за нимъ)

БОГАЕВСКАЯ.

А, пожалуй, напрасно я старику-то наговорила... а?
Ботъ... дура...

ПРИТЫКНП.

Пу, дорогая, а онъ какъ говорилъ?

ИСПРАВНИКЪ.

Вашъ домъ—эдемъ, Татьяна Николаевна, и сами вы
—богиня...

БОГАЕВСКАЯ.

Да, очень похожа...

ИСПРАВНИКЪ.

А посему—желаю вамъ праздновать день вашего
рожденья еще разъ пятьдесятъ!

БОГАЕВСКАЯ.

Не много-ли?

ПРИТЫКНПЪ.

Дѣйствительно, Татьяна Николаевна... вѣрно! Въ
другомъ бы мѣстѣ Рѣдозубовъ излалъ меня, какъ со-
бака, а у васъ—не можетъ! Потому—васъ всѣ уважа-
ютъ... и никто ничего не можетъ...

БОГАЕВСКАЯ (спокойно).

Знаютъ, что вонъ выгнать могу...

ИСПРАВНИКЪ.

Браво!

ПРИТЫКНПЪ (съ восторгомъ).

Знаютъ!

ПРИТЫКНПА (вздыхая).

Это очень хорошо, если человѣкъ чувствуетъ, что
его выгнать могутъ!

ПРИТЯКИНЪ

(жепѣ, значительно, задорно).

Это вы... насчетъ кого же?

ПРИТЯКИНА.

Вообще! А ты думалъ—про тебя?

ПРИТЯКИНЪ.

То-то.

ИСПРАВНИКЪ.

Смирно-о! Выпили, закусили—пу-съ?

ПРИТЯКИНЪ.

Въ стуюлку?

ПРИТЯКИНА.

Въ стуюлку и я буду...

ИСПРАВНИКЪ.

Извиняюсь...

БОГАЕВСКАЯ.

Идите, батюшка, идите...

(Всѣ уходятъ. Богаевская сидитъ въ креслѣ, обмахиваясь платкомъ. Съ правой стороны доносится голосъ Степана. Матвѣй развѣшиваетъ и опраляетъ фонарики. Степанъ и Катя идутъ рядомъ. Степанъ, какъ всегда, говоритъ рѣзко и какъ-бы насмѣшливо)

СТЕПАНЪ.

...Тамъ горитъ великій огонь разума, и всѣ честные, всѣ умные люди видятъ при свѣтѣ его, какъ грязно и скверно устроена жизнь...

КАТЯ (негромко).

Тамъ много честныхъ и умныхъ?

СТЕПАНЪ (усмѣхнулся).

Ну... не очень... (Богаевская тихо смѣется) Потому-то я и говорю—идите туда! Отдайте хоть два-три года вашей юности мечтамъ о новой жизни и борьбѣ за эти мечты. Бросьте частицу вашего сердца въ общій костеръ протеста противъ пошлости и лжи...

КАТЯ (просто).

Я пойду...

СТЕПАНЪ.

Быть можетъ, вы испугаетесь и снова вернетесь въ это болото... но—будетъ у васъ чѣмъ вспомнить юность... а это—хорошая награда за то, что вы можете дать...

КАТЯ.

Я не ворочусь...

СТЕПАНЪ.

Сюда, въ этотъ чортовъ уголь, не долетаетъ ни звука той жизни... Вы посмотрите, какъ слѣпы, глухи, глупы всѣ здѣсь...

КАТЯ (вздогнула).

Монаховъ и докторъ похожи на лягушекъ...

СТЕПАНЪ.

Что вамъ дѣлать здѣсь? Ну, выйдете вы замужъ за какого-нибудь купчика, вроде вашего брата...

(Видитъ Богаевскую, немного смущенъ, поправляетъ фуражку)

БОГАЕВСКАЯ (улыбаясь).

Что, милый? Чего конфузитесь?.. Опъ хорошо гово-

рить, Катюша... честно говорить! Ничего не обѣщаетъ—это хорошо... А когда обѣщать начнетъ—не вѣрь...

• СТЕПАНЪ

(грубовато, очень искренно).

Знаете... славная вы... честное слово!

БОГАЕВСКАЯ.

Ну, ну... идите! Идите... живите! (Степанъ и Катя уходятъ) Охъ... милые вы мои человѣки... (Идетъ Лидія, читаетъ какую-то записку, нервно двигаетъ бровями) Лидуша!

ЛИДІЯ.

А, вы здѣсь? Надоѣли вамъ эти люди, да?

БОГАЕВСКАЯ.

Въ мои годы люди скоро надоѣдаютъ... Послушай-ка, хочу я тебѣ сказать... присядь-ка! Видишь-ли, я тринадцатъ лѣтъ безвыѣздно прожила здѣсь... одичала я и многого теперь ни понимаю... такъ ты ужъ извини мнѣ... ежели я что-нибудь не такъ скажу...

ЛИДІЯ

(кладетъ ей руку на плечо).

Не пужно говорить объ этомъ... Вѣдь [вы... по поводу моихъ отношеній къ Черкуну?

БОГАЕВСКАЯ.

Да, да... Болтаютъ они тутъ... перемигиваются...

ЛИДІЯ.

Что тамъ они?

БОГАЕВСКАЯ.

Ну... не о чемъ и говорить.

Лидія (задумчиво).

Вотъ... если хотите... Его жена прислала мнѣ записку, въ которой сообщаетъ, что у нея нѣтъ вражды ко мнѣ... что-то въ этомъ родѣ. Какъ жалки люди, не правда-ли?

БОГАЕВСКАЯ.

Люди-то? Да-а... Ее мнѣ жалко...

ЛИДІЯ (улыбаясь).

Надѣюсь, вы не считаете меня способной отнять у нищаго его единственный кусокъ?

БОГАЕВСКАЯ.

Пу, что ты, Лидочка! Ты—Богаяевская, а этого достаточно, чтобы знать себѣ цѣну... Ну, отдохнула, пойду къ нимъ снова... Скажи—онъ нравится тебѣ?..

ЛИДІЯ

Не очень... Но среди другихъ...

БОГАЕВСКАЯ.

Грубъ онъ... рѣзокъ... Ну, дай Богъ счастья тебѣ...

ЛИДІЯ.

О, тетя... если я захочу, я сама возьму...

БОГАЕВСКАЯ (тихо).

Вотъ они идутъ...

ЛИДІЯ

(пожимая плечами).

Зачѣмъ же шептать?

(Идутъ Анна, Монахова, Черкунъ)

БОГАЕВСКАЯ.

Здравствуйте, Анна Федоровна... Вотъ какъ пріятно для меня: день моего рожденія, и вы пріѣхали...

АННА

(нервно оживлена).

Поздравляю васъ... Здравствуйте, Лидія Павловна. (Лидія подаетъ руку, молча улыбаясь) Такъ странно мнѣ—я жила это время почти одна, въ глухомъ деревенскомъ углу, въ тишинѣ... и вотъ теперь попала прямо въ этотъ шумъ... даже голова кружится!..

ЧЕРКУНЪ (хмуро).

Ты бы отдохнула...

АННА.

Потомъ... А гдѣ-же Катя?

НАДЕЖДА (Лидіи).

Какая Анна Федоровна миленькая стала—смотри-те-ка!

ЛИДИЯ.

Она всегда была такой красивой... мнѣ кажется...

КАТЯ (бѣжитъ).

Пріѣхала! Ай, какъ хорошо... какъ я рада, милая.. пріѣхала! Какъ похудѣла... а глаза какіе...

(Онѣ обнимаются. Черкунъ хмуритъ брови. Надежда слѣдитъ за нимъ и Лидіей. Въ кустахъ Веселкина, Монаховъ)

АННА.

Какіе?

БАТЯ.

Серьезные... безпокойные.

АННА.

Какъ ты живешь, скажи?

БАТЯ.

Мнѣ хорошо... интересно! Я все гуляю съ Лукинымъ... отецъ меня грызеть за это—ухъ какъ! А Лукинъ—онъ очень умный... только говорить со мной, какъ съ дѣвочкой... Онъ гораздо лучше говорить съ мужиками... Пройдемся, а?

АННА (идеть).

Онъ вѣдь самъ изъ простыхъ...

(Цыгановъ идетъ. Черкунъ смотритъ вслѣдъ жонѣ, изъ-за деревьевъ ему улыбается рожа Монахова. Вдали стоитъ докторъ. Лидія, папѣвая, чистить грушу)

ЧЕРКУНЪ.

Ты что-же бросилъ гостей?

ЦЫГАНОВЪ.

Надежда Поликарповна ушла, а вдали отъ нея—я чувствую себя не на своемъ мѣстѣ...

НАДЕЖДА.

Какъ хорошо вы говорите комплименты... сразу и не поймешь даже...

ЦЫГАНОВЪ.

Благодарю за комплиментъ...

НАДЕЖДА.

А вотъ Егоръ Петровичъ... никогда не гсворитъ
любезностей...

(Лидія идетъ къ дому)

ЦЫГАНОВЪ.

Это мужчина дикій, невоспитанный..

ПАДЕЖДА.

Маврикій! Что ты тамъ нашель?

МОНАХОВЪ.

Паука...

ПАДЕЖДА.

Какія гадости!

МОНАХОВЪ.

Я люблю наблюдать... занятіе поучительное...

ЦЫГАНОВЪ.

Чему же учить васъ паукъ, а?

МОНАХОВЪ.

А вотъ онъ поймалъ букашку и, — самъ-то малень-
кій, — не можетъ сладить съ ней... Посуетился около
нея, къ сосѣду побѣжалъ — помощи, дескать, съѣсть...

ДОКТОРЪ

(издали, грубо и глухо).

Онъ дѣйствуетъ, какъ вы, Монаховъ... совсѣмъ, какъ
вы... (Идетъ прочь)

ЦЫГАНОВЪ.

Что такое?

НАДЕЖДА.

О Господи... вотъ испугалъ.

МОНАХОВЪ.

Выпилъ! Въ пьяномъ видѣ многіе философствуютъ.

(Идетъ туда, гдѣ скрылся докторъ)

ЧЕРКУНЪ.

Удивительно грубое животное этотъ докторъ!

ЦЫГАПОВЪ.

Вы слышите, какъ говорить этотъ рыжій господинъ, а?

ПАДЕЖДА.

Правду говорить... и это очень хорошо... И всегда Егоръ Петровичъ говорить прекрасно..

ЦЫГАПОВЪ.

Намъ придется стрѣлять другъ въ друга, Жоржъ, я это чувствую!.. Богиня моя, уйдемте прочь отъ него... онъ скверно дѣйствуетъ мнѣ на нервы... Давайте гулять по саду и говорить о любви...

ПАДЕЖДА (идеть).

А вотъ Егоръ Петровичъ никогда не говорить о ней...

ЦЫГАПОВЪ.

Онъ—личность безстрастная...

ПАДЕЖДА.

Ужъ это извините... Какъ вы хорошо зовете его—Жоржъ.

(Уходятъ. Черкунъ озабоченно колотитъ пальцами по столу и

рѣзко насвистывасть что-то. Идутъ Анна, Катя, Степанъ. Со стороны дома слышенъ торжествующій голосъ Притыкина. Ко времени, когда Анна начинаетъ говорить о дѣтяхъ, у стола являются исправникъ, Притыкинъ. Гриша, шевеля губами, внимательно читаетъ этикетки на бутылкахъ)

П Р И Т Ы К И Н Ъ.

А я таки наговорилъ словечекъ старому чорту Рѣдозубову, будетъ онъ меня помнить. Онъ боится за дѣть меня здѣсь, а я тутъ—свой человекъ! (Хочетъ)

А Н Н А.

Прошло два мѣсяца, но, право, точно годы я прожила! Такъ все это страшно...

С Т Е П А Н Ъ.

Да-съ... жизнь серьезная...

А Н Н А.

Ты знаешь, Катя,—есть люди, которые съ наслажде-
ніемъ бьютъ женщинъ.. кулаками по глазамъ... по лицу,
до крови... ногами бьютъ... ты понимаешь?

К А Т Я

(негромко, не сразу).

Я знаю. Отецъ билъ маму... Гришу бьетъ...

А Н Н А (тоскливо).

О Боже... милая моя, дитя мое!

Ч Е Р К У Н Ъ.

Ты сядь... не волнуйся...

СТЕПАНЪ.

Забавно мнѣ смотрѣть на васъ... вы точно вчера прозрѣли...

АННА.

Какія страшныя дѣти есть тамъ! Они заражены... болѣзнью... глаза у нихъ тревожные, унылые, точно погребальныя свѣчи... А матери бьютъ и проклинаютъ своихъ дѣтей за то, что дѣти родились больными... Ахъ, если-бъ всѣ люди знали, на чемъ построена ихъ жизнь!

ПРИТЫКИПЪ.

Мы знаемъ! Это вамъ въ диковинку, а мы очень даже хорошо знаемъ! Народъ—звѣрье... и становится все хуже... Еще бабы—смирнѣе, а мужики—сплошь арестанты!

МОНАХОВЪ.

Ну и бабы тоже. Кто тайно водкой торгуешь?

ИСПРАВНИКЪ.

О да! А вамъ извѣстно, какъ онѣ мужей травятъ? Испечетъ, знаете, пирожокъ съ капустой и мышьякомъ и—угостить, да-съ.

КАТЯ (горло).

А какъ же иначе, если они дерутся? Такъ и нужно

ПРИТЫКИНА (пугливо).

Ахъ, милая! Вѣдь что говорить!

ИСПРАВНИКЪ (шутя).

А вотъ за такія рѣчи я васъ, сударыня...

БАТЯ.

Не дышите на меня... ф-фу!

АННА (растерянно).

Но, господа, если вы знаете все это...

ЧЕРКУПЪ.

Не будь наивной, Анна...

СТЕПАНЪ (усмѣхался).

Кого вы здѣсь думаете удивить?

КАТЯ.

Какъ не люблю я вашу улыбку... Чему вы смѣетесь
сегодня?

СТЕПАНЪ.

Жизнь полна преступлений, которымъ имени нѣтъ...
и преступники не наказаны, они все командуютъ жизнью...
а вы—все только ахаете...

(Исправникъ беретъ подъ руку
Притыкина и уходитъ съ нимъ)

КАТЯ.

Ну, что-же дѣлать?

АННА.

Что нужно дѣлать?

(Гриша оглянулся, взялъ со стола
бутылку и уходитъ съ ней)

СТЕПАНЪ.

Открывайте глаза слѣпорожденнымъ — больше вы
ничего не можете сдѣлать... ничего!

ЧЕРКУНЪ.

Надо строить новыя дороги... желѣзныя дороги...
Желѣзо—сила, которая разрушитъ эту глупую, дере-
вянную жизнь...

СТЕПАНЪ.

И сами люди должны быть какъ желѣзные, если они хотятъ перестроить жизнь... Мы не сдѣлаемъ этого, мы не можемъ даже разрушить отжившее, помочь разложиться мертвому,—оно намъ близко и дорого... Не мы, какъ видно, создадимъ новое, нѣтъ, не мы! Это надо понять... это сразу поставить каждого изъ насъ на свое мѣсто...

МОНАХОВЪ (Катѣ).

А вамъ братецъ бутылку шартрезу взять и — видите?—пить!

КАТЯ (убѣгая).

Ахъ... негодяй!..

МОНАХОВЪ.

Зелье крѣпкое...

ГРИША

(его не видно).

А тебѣ что? Не твое... Пошла, ну... не дамъ!

СТЕПАНЪ

(идетъ на шумъ).

Онъ еще стукнетъ ее...

АННА.

Сергѣй Николаевичъ продолжаетъ воспитывать сго? Это можетъ дурно кончиться...

ЧЕРКУНЪ.

Ну, Сергѣй едва-ли училъ красть бутылки...

АННА.

А пить вино? (Оглядывается. Быстро и нервно говорить) Чтобы сразу все было понятно, Егоръ, я пріѣхала къ тебѣ...

ЧЕРКУНЪ.

Отложимъ это до другого времени...

АННА.

Нѣтъ, подожди! Я примирилась съ мыслью, что мы съ тобой чужіе... что я чужая для тебя...

ЧЕРКУНЪ

(негромко, усмѣхаясь).

Чужая? Тебя со мной роднили поцѣлуи и—только?

АННА (тоскливо).

Нѣтъ... я не знаю! Скажу одно: мнѣ безъ тебя такъ трудно! Я такъ глупа... безсильна! Я ничего не знаю и не умѣю...

ЧЕРКУНЪ.

Послушай... скажи мнѣ сразу, чего ты хочешь?

АННА.

Не обижай меня! Я вѣдь не за милостыней пришла... Я люблю тебя, да... очень сильно люблю, Егоръ... но я знаю: если ты рѣшилъ... это бесполезно... если ты рѣшилъ...

ЧЕРКУНЪ (глухо).

Зачѣмъ другъ другу дергать нервы, Анна?

АННА.

Моя любовь—маленькая, но она мучаетъ меня... нѣтъ, не уходи!.. Мнѣ стыдно, что моя любовь такая... Сначала мнѣ было обидно, больно... я думала о смерти, когда уѣхала...

ЧЕРКУНЪ (угрожо).

Что я могу сказать тебѣ? Не понимаю я тебя...

А П П А

(со страхомъ и мольбой).

Я такъ безпомощна... я такая ничтожная... и все такъ страшно... когда одна... Такъ нестерпимо жалко видѣть больного, избитаго ребенка, который даже плакать боится...

ЧЕРКУПЪ (твердо).

Анна, мнѣ нужно знать, чего ты хочешь?

А П П А.

О... я хочу побыть около тебя еще немного... еще немного! Я не помѣшаю тебѣ... живи, какъ хочешь! Но мнѣ необходимо это...

ЧЕРКУПЪ (утрумо).

Тебѣ тяжело будетъ—смотри!

(Катя идетъ)

А Н Н А

(съ блѣдной улыбкой).

Тогда я уйду... я уйду! Видишь-ли, я ничего не понимаю, я ни о чемъ не думала серьезно до этой поры.. Ты долженъ научить меня...

КАТЯ.

О чемъ ты говоришь?

А П П А.

О жизни, дѣвочка моя! (Мужу) Ты долженъ что-то дать мнѣ взамѣнъ того, что взялъ...

ЧЕРКУНЪ.

Не знаю... какъ я сдѣлаю это... не знаю, Анна! Мнѣ такъ неловко...

БАТЯ (ворчливо).

Ага, неловко! То-то! (Топая ногой) Ухъ... неавпжу мужчинъ! Когда-нибудь я этого Лукина.. такъ отщелкаю!

АННА (съ улыбкой).

Мнѣ вѣдь тоже неловко... и обидно, что я такая... Но куда-же я пойду? Не знаю... Въ моей семьѣ—все по старому, всё чувствуютъ себя правыми и всё злятся, всё обижаются. Старая мебель и книги, старые вкусы... холодно и мертво! Порой они вдругъ испугаются, засуетятся и говорятъ со злобой и со страхомъ, что жизнь испорчена.. и снова, какъ въ чадѣ, живутъ въ своихъ воспоминаніяхъ о старинѣ... (Къ столу подходятъ Цыгановъ и Надежда. Цыгановъ наливаетъ себѣ вина) Я отвыкла отъ нихъ, они мнѣ непонятны...

ЦЫГАНОВЪ.

Съ вами, моя дорогая, пріятно и страшно, какъ надъ пропастью...

НАДЕЖДА.

Какъ вы много пьете!

БАТЯ.

Вы помпирились?

ЧЕРКУНЪ.

Не говори ей, Анна. Пускай она умретъ отъ любопытства...

БАТЯ.

Да вѣдь я вижу... Эхъ, кабы вы были моимъ мужемъ... я бы васъ—вотъ какъ держала!

(Крѣпко сжимаетъ кулакъ)

ЧЕРКУНЪ.

Ну, не пугайте меня..

А Н Н А.

Милая ты моя...

(За деревьями является (Монаховъ)

ЦЫ Г А Н О В Ъ.

Какъ злитъ меня, что вы неуязвимы для яда, который я хотѣлъ бы вамъ привить... Какъ это жаль!..

А Н Н А (быстро).

Пойдемъ отсюда, Катя... (Ведетъ ее за руку)

К А Т Я.

Только не въ комнаты! Въ бесѣдку...

Ч Е Р К У П Ъ

(усмѣхаясь, идетъ къ дому).

Ты слишкомъ откровенно ведешь свои дѣла, Сергѣй...

ЦЫ Г А Н О В Ъ.

Миръ можетъ восхищаться ими, если хочеть...

Н А Д Е Ж Д А (задумчиво).

Жоржъ.. милое имя! Маврикій, ты чего тамъ?

М О Н А Х О В Ъ

(является, кивая головой на столъ).

А вотъ... сюда!

Н А Д Е Ж Д А.

Какъ нехорошо это—вертѣться на глазахъ...

М О Н А Х О В Ъ (кратко).

Ты чего ворчишь? Опять животъ болитъ? Или мозоль?

НАДЕЖДА (Цыганову).

Вы понимаете: это онъ нарочно грубости и гадости говорить, чтобы отвратить отъ меня мужчинъ...

ЦЫГАНОВЪ.

Да? Приемъ... любопытный...

НАДЕЖДА
(искренно и просто).

Ахъ, если-бы вы знали, какой это противный человекъ! То онъ говоритъ, что у меня изо рта пахнетъ...

МОНАХОВЪ (тревожно).

Ну что ты, Надя? Кому же я говорилъ?..

НАДЕЖДА
(идетъ къ нему).

Напомнить? Я напомню...

МОНАХОВЪ (отступаетъ).

Ну вотъ, Надя... что такое? Я пошутилъ...

(Они скрываются въ деревьяхъ.
Цыгановъ устало садится въ кресло, лицо у него тоскливое. Къ столу подходятъ Дробязгинъ и Гриша)

ДРОБЯЗГИНЪ.

Сергѣй Николаевичъ! Позвольте васъ спросить, что такое тайные пороки?

ЦЫГАНОВЪ.

Я вамъ не скажу этого, мой другъ... предпочитаю видѣть васъ явно порочнымъ... Это значительнѣе и красивѣе...

ДРОВЯЗГИНЪ.

А добродѣтели тайныя бываютъ?

ЦЫГАНОВЪ.

Онѣ, должно быть, всегда таковы... я не видалъ явныхъ добродѣтелей...

ГРИША.

А какъ оно называется... это зеленое, густое... которое первый-то разъ вы мнѣ поднесли... помните?

ЦЫГАНОВЪ.

Шартрезъ, юноша...

(Гриша повторяетъ вполголоса и улыбается. Въ саду Матвѣй зажигаетъ фонарики)

ДРОВЯЗГИНЪ.

А что, Сергѣй Николаевичъ, мудрѣйшій изъ мудрецовъ?

ЦЫГАНОВЪ.

По этому поводу въ исторіи философіи рассказано слѣдующее: было три мудреца; первый доказывалъ, что міръ есть мысль, другой утверждалъ противное... я, право, не помню, что именно. Но я навѣрное знаю, что третій соблазнилъ жену перваго, укралъ у втораго рукопись, напечаталъ ее, какъ свою, и сго увѣщали лаврами...

ГРИША (съ восторгомъ).

Ло-овко!

ДРОВЯЗГИНЪ (неувѣренно).

Н-да... дѣйствительно... подкузьмилъ!

ЦЫГАНОВЪ.

И объегорилъ, прибавьте... А теперь давайте выпьемъ, и да здравствуетъ юность! Поздно понимаетъ человѣкъ, какъ это прекрасно—быть юношей!

(Лидія стоитъ съ цвѣткомъ въ рукахъ и брезгливо смотритъ, какъ мужчины пьютъ)

ДРОВЯЗГИНЪ (задумчиво).

Я полагаю, Сергѣй Николаевичъ, такъ, что воровство—всегда будетъ?

ЦЫГАНОВЪ.

Непремѣнно, мой другъ... По крайней мѣрѣ, до той поры, пока кто-нибудь не украдетъ все... понимаете—все! Тогда красть будетъ нечего, и поневолѣ всѣ люди станутъ честными...

ГРИША (хохочетъ).

Голыми всѣ будутъ... А вотъ Емелька Пугачевъ хотѣлъ все-то украсть, такъ его живьемъ сварили... растопили котелъ серебра да башкой его туда... издохъ!

(Хохочетъ)

ЛИДІЯ.

Дядя Сержъ!

ЦЫГАНОВЪ.

Что вы мнѣ прикажете, дорогая моя?

(Дробязгинъ и Гриша почтительно сторонятся и уходятъ)

ЛИДІЯ.

Зачѣмъ это вы ихъ... такъ?

ЦЫГАНОВЪ.

Пріятно, знаете, немножко развратить этихъ двухъ

поросять... можетъ быть, порокъ сдѣлаетъ ихъ болѣе похожими на людей... а?

ЛИДІЯ.

Сержъ Цыгановъ, гурманъ и левъ, еще недавно законодатель модъ—напивается... съ кѣмъ?

ЦЫГАНОВЪ.

И влюбленъ въ жену акцизнаго надзирателя... Да, земля вертится скверно, что-то испортилось въ гармоніи вселенной...

ЛИДІЯ.

Въ самомъ дѣлѣ—что съ вами?

ЦЫГАНОВЪ (негромко).

Какая это жепщина... чортъ возьми!

ЛИДІЯ.

Вы дурите?

ЦЫГАНОВЪ.

Нѣтъ...

БОГАЕВСКАЯ (кричить).

Сергѣй Николаевичъ!

ЦЫГАНОВЪ.

Иду. Знаете, моя дорогая... я, можетъ быть, предложу ей вступить со мной въ законный бракъ... Мнѣ уже пора въ бракъ, какъ оstrarять приказчики... Идетъ?

ЛИДІЯ.

Нѣтъ... Тяжело смотрѣть на васъ, господа... уѣхать хочется отсюда...

ЦЫГАНОВЪ.

Потому что кто-то неожиданно пріѣхалъ?

ЛИДІЯ.

Зачѣмъ же быть вульгарнымъ и со мной?

(Цыгановъ пожалъ плечами и уходитъ. Лидія, тихо напѣвая, идетъ направо. Навстрѣчу ей, быстро—Анна)

АННА.

Вы получили мою записку?

ЛИДІЯ.

Зачѣмъ вы написали это?

АННА.

Я васъ обидѣла?

ЛИДІЯ.

Вы унижаете себя... мнѣ кажется...

АННА.

Ахъ, развѣ это важно, если любишь!

ЛИДІЯ.

Вы хотите сказать мнѣ что-то?

АННА

(тревожно и тоскливо).

Да. Да. Не презирайте меня... я сама себѣ противна въ эту минуту... У меня нѣтъ другого мѣста, вы понимаете, нѣтъ у меня другого мѣста... Жизнь такъ огромна Я могу жить только около него...

ЛИДІЯ (холодно).

Зачѣмъ мнѣ это нужно знать?

АННА.

Не говорите такъ. Сильные должны быть добрыми... Я хочу спросить васъ и не могу... вы знаете, о чемъ я хочу спросить васъ?..

ЛИДИЯ.

Да. Пожалуй, знаю.. Люблю ли я вашего мужа, это?
Нѣтъ Не люблю...

(Гриша осторожно подходит къ столу, беретъ бутылку вина и исчезаетъ)

АННА.

Правда? (Хватаетъ ее за руку) А — опъ? А онъ васъ?
скажите!

ЛИДИЯ.

Не знаю. Не думаю...

АННА (тоскливо).

Этого нельзя не знать!..

ЛИДИЯ.

Мы съ нимъ друзья... о многомъ говоримъ...

АННА (гордо).

А! Теперь я сама могу поговорить о многомъ!

ЛИДИЯ (улыбаясь).

Вотъ и прекрасно!

АННА.

Я женщина, я люблю, я хочу быть съ нимъ...

ЛИДИЯ.

Могу уйти?

АННА (искренно).

Я вамъ противна, да? Поймите, — я не могу жить
иначе...

ЛИДИЯ.

Простите меня... но, мнѣ кажется, ваша... такая любовь—тяжела ему.

АННА.

Онъ—сильный, онъ очень сильный!

ЛИДІЯ.

До свиданья! (Идетъ)

АННА.

Не презирайте меня... Ну, все равно! О Господи...
помоги мнѣ... помоги мнѣ!

(Идутъ исправникъ и Притыкинъ, оба сильно выпившіе. Анна, замѣтивъ ихъ, поспѣшно исчезаетъ)

ИСПРАВНИКЪ.

Представь, Архипъ, что ты исправникъ и тебѣ надо
жениться... на комъ? Вотъ вопросъ... да!

ПРИТЫКИНЪ.

Я бы во всякомъ положеніи на богатой женился...

ИСПРАВНИКЪ.

Это разумѣется... Ну, а если онѣ обѣ богаты—и Монахова, и Лидія Павловна? Ну?

ПРИТЫКИНЪ.

Я бы Лидію Павловну взялъ...

ИСПРАВНИКЪ.

И-да ... а почему?

ПРИТЫКИНЪ.

Потому — Монахова замужемъ... А вотъ студентъ
этотъ, знаете... я вамъ скажу...

ИСПРАВНИКЪ.

Чортъ съ нимъ! Мальчишка... Она замужемъ... мм...
это вѣрно! Но вѣдь она можетъ быть вдовой...

ПРИТЫКИНЪ.

Это всякая женщина можетъ...

ИСПРАВНИКЪ (пораженъ).

Именно... всякая! Ф-фу! Значить—всѣ мы умремъ...
ты понимаешь?

ПРИТЫКИНЪ.

Ужъ такое положеніе.

ИСПРАВНИКЪ.

Вѣрно—положеніе! Это ты хорошо сказалъ... каналья!
Положатъ тебя и—лежи...

ПРИТЫКИНЪ.

Онъ такія слова говорить... ой-ой!

ИСПРАВНИКЪ (задумчиво).

Другіе люди ѣздятъ на охоту, играютъ въ карты, а
ты—лежи...

ПРИТЫКИНЪ.

Вы обратите вниманіе... да! Онъ говорить,—пародъ
своей кровью...

ИСПРАВНИКЪ.

Ерунда!

(Дробязгинъ бѣжитъ)

ПРИТЫКИНЪ.

Иѣтъ... онъ язва!

ДРОБЯЗГИНЪ.

Яковъ Алексѣевичъ, пожалуйста! Докторъ Монахову
въ морду далъ!

ИСПРАВНИКЪ.

Что такое? Почему?

ДРОВЯЗГИНЪ.

Неизвѣстно...

(Втроемъ идутъ къ дому. За деревьями является дунькинъ мужъ, одичавшій отъ пьянства, оборванный. Черкунъ ведетъ за руку доктора, сзади идетъ Монахова и потомъ Степа)

ЧЕРКУНЪ

Вы сейчасъ же уйдете...

ДОКТОРЪ (реветъ).

Кто вы такой? Вы здѣсь развратили всѣхъ...

ЧЕРКУНЪ (тихо).

Ну... молчать! Стыдитесь...

ДОКТОРЪ.

Вы оба—воронье... Я вамъ не падалъ... меня не расклюете, какъ Рѣдозубова.. Кто вы такой, я спрашиваю?

ЧЕРКУНЪ.

Да-ну, идите же! (Ведетъ его въ глубину сада)

МОНАХОВА

(радостно, Степѣ)

Ты видѣла, какъ онъ его? Какой прекрасный.. храбрый! Какъ просто... схватилъ, увелъ...

(Идетъ вслѣдъ за Черкуномъ)

СТЕПА (кричитъ).

Егоръ Петровичъ! (Видитъ отца—испугана и обозлилась)
Опять пришелъ... опять! Зачѣмъ? Чего тебѣ?

ДУНЬКИНЪ МУЖЪ.

Степанида! Я твой отецъ... вѣрно? Иди ко мнѣ... знать!

СТЕПА.

Я не хочу! Уйди! Я не пойду...

ДУНЬКИНЪ МУЖЪ.

А я тебя черсзъ полицію...

СТЕПА.

Въ могилу — уйду... (Идутъ Черкунъ, Монахова. Анна, Лидія, Цыгановъ) Слышалъ? Ты не отецъ миѣ... ты бо-
лѣзнь моя...

ЧЕРКУНЪ.

Ты снова? Чего тебѣ?..

ДУНЬКИНЪ МУЖЪ.

За пей.. за этой...

СТЕПА.

Онъ по душу мою пришелъ...

АННА.

Уйдите, Степа...

ЧЕРКУНЪ.

Ну, ты ступай вонъ!

ДУНЬКИНЪ МУЖЪ.

Ужъ ежели отпiali, дочь... дайте хоть рубль.

СТЕПА

(выхвативъ изъ кармана деньги, бросаетъ ихъ и бѣжитъ прочь)

На! Подавись! На!

ЧЕРКУНЪ.

Послушай, если ты...

НАДЕЖДА.

Ахъ, ну зачѣмъ вы съ нимъ говорите?

ЧЕРКУНЪ.

Позвольте, Надежда Поликарповна...

НАДЕЖДА.

Вамъ вовсе нельзя говорить съ такимъ. Ты—уходи. А завтра я скажу исправнику, чтобы онъ тебя уничтожилъ...

ДУНЬКИНЪ МУЖЪ

(подбирая деньги).

Нельзя меня уничтожить... не боюсь я...

ЦЫГАНОВЪ

Каковъ мужчина, а? Все растеть...

ЛИДІЯ.

Чувствуетъ свою силу... силу слабости...

АННА.

Вотъ вы, Сергѣй Николаевичъ, постоянно даете ему...

ЦЫГАНОВЪ.

О, не беспокойтесь! Это меня не раззорить...

НАДЕЖДА (Черкуну).

Какой сегодня тяжелый день для васъ... все непріятности!..

АННА

(неволью, какъ эхо).

Тяжелый... Ты усталъ, Егоръ?

ЧЕРКУНЪ.

Я вотъ... не знаю, что нужно сдѣлать съ этимъ человекомъ, чтобъ онъ оставилъ дочь свою въ покоѣ? Это злѣе.

НАДЕЖДА.

Вамъ ничего не надо дѣлать! Я сама... вы только не волнуйтесь...

ЦЫГАНОВЪ.

Моя дорогая, вашъ супругъ, вотъ кто, мнѣ кажется, взволнованъ...

НАДЕЖДА

(какъ бы удивилась).

Онъ?

ЧЕРКУНЪ

(вдругъ обозлился).

Онъ—какъ лужа грязи, въ которую наступили ногой... вашъ супругъ...

АННА

(негромко, пораженная).

Егоръ... что ты?

ЦЫГАНОВЪ (усмѣхнулся).

Ты, Жоржъ, преувеличиваешь...

ЧЕРКУНЪ (Надеждѣ).

Я удивляюсь, какъ вамъ не стыдно терпѣть около себя такого... пошляка!

НАДЕЖДА

(даже дыханіе у нея захватило отъ восторга).

Ахъ... какъ вы это сказали!.. Какъ вѣрно... строго! (Цыганову) Вотъ кто страшный... вотъ кто!

АННА

(безпокойно, Лидіи).

Боже мой... Какая она... странная... не правда-ли? Вы видите?

ЛИДІЯ.

Да... вижу... Идемте.

НАДЕЖДА.

Я—не странная... я мужество люблю...

ЧЕРКУНЪ (смушень).

Ну... это ужъ что-то .. я не понимаю! Пойду... прой-
дусь...

НАДЕЖДА.

И я съ вами... и я тоже... (Идутъ)

АННА

(тревожно. Цыганову).

Она—смѣшная, да? Она—милая, я понимаю... но—
только... плохо воспитана?

ЦЫГАНОВЪ (Аннѣ).

Вамъ надо отдохнуть съ дороги. Такъ шумно здѣсь..
пестро...

АННА.

Да... я пойду... Нѣтъ... какая она... все-таки..

(Поспѣшно уходитъ. Цыгановъ
курить и улыбается. Слышенъ
пьяный смѣхъ и говоръ—это идутъ
Монаховъ, Дробязгинъ, Гри-
ша)

ЛИДІЯ (брезгливо).

Какъ все это отвратительно... И эта женщина... обѣ
эти женщины... какъ онѣ жалки... Что вы смѣтаете?

ЦЫГАНОВЪ.

А вдругъ она нашла героя, а?

ЛИДІЯ (не сразу).

Нѣтъ. Это... невѣроятно, дядя Сержъ.

ЦЫГАНОВЪ (усмѣхаясь).

Что тутъ невѣроятнаго?

МОНАХОВЪ.

Онъ... ударилъ меня?... Хорошо... пускай!. А я—
живъ... А онъ скоро сдохнетъ...

ЛИДИЯ.

Идутъ пьяные... я уйду.

ЦЫГАНОВЪ.

Идемте...

ГРИША (убѣжденно).

Я тоже... могу въ рожу дать... во!

ЛИДИЯ.

Но — зачѣмъ, зачѣмъ онъ вмѣшивается въ эту...
грязь?

ЦЫГАНОВЪ.

Это—стихія.. она втягиваетъ... это—какъ магнитъ,
дорогая моя... Голодный инстинктъ, чуть прикрытый
ветошью романтики...

(Они уходятъ. Монаховъ подми-
гиваетъ своимъ спутникамъ и гро-
зитъ пальцемъ вслѣдъ Цыга-
нову)

ДРОВЯЗГИНЪ.

Почему? Онъ очень умный... ей-Богу!

МОНАХОВЪ.

Что такое умъ?

(Хохочетъ. Дровязгинъ и Гриша вторятъ ему)

М. Горький. Варвары.

ДѢЙСТВІЕ ЧЕТВЕРТОЕ.

Большая, уютная комната. Въ лѣвой стѣнѣ—дверь въ прихожую и два окна, вправо—дверь въ комнату Анны и другая къ Егору. Прямо широкія двери въ гостинную, она выступаетъ въ комнату угломъ, между нимъ и голландской печью въ правомъ углу—ниша, въ ней широкій диванъ, на диванѣ полулежитъ Цыгановъ и курить. Направо, между дверей—пiанино; Анна что-то играетъ, чуть касаясь клавишъ. По серединѣ комнаты за столомъ Богаевская раскладываетъ пасьянсъ. Въ комнатѣ Черкуна — Степанъ тихо щелкаетъ на счетахъ. Черкунъ задумчиво ходитъ по комнатѣ, останавливается предъ окномъ, смотреть во тьму. Вечеръ. Горятъ лампы.

БОГАЕВСКАЯ.
Холодновато!

АННА.
Дать вамъ шаль?

БОГАЕВСКАЯ.
Лидуша пошла за ней...

ЦЫГАНОВЪ.
Юпоша! Бросьте вы щелкать!

СТЕПАНЪ.
А вотъ поймаю—брошу...

БОГАЕВСКАЯ.
Кого это вы ловите?

СТЕПАНЪ.
Купца Притыкина...

БОГАЕВСКАЯ.
Развѣ плутуетъ?

СТЕПАНЪ.
Довольно усердно...

БОГАЕВСКАЯ.

Да... вотъ онъ, купецъ! Даже и влюбленный — плутуетъ...

ЦЫГАНОВЪ.

Сіе свойственно людямъ всѣхъ сословіи... Я, въ сущности, противъ обличенія мошенниковъ: это только изоцряетъ ихъ приемы. Что ты все ходишь, Егоръ? кого ты ждешь?

ЧЕРКУНЪ (не вдругъ).

Такъ... хожу вотъ... А что тебѣ?

ЦЫГАНОВЪ.

Я не имѣю больше вопросовъ, какъ говорятъ прокуроры... Какая дурацкая погода!

АННА.

Его взволновалъ споръ...

ЧЕРКУНЪ (сухо).

Откуда это извѣстно тебѣ?

АННА.

Мнѣ кажется... когда не соглашаются — это раздражаетъ...

ЧЕРКУНЪ (насмѣшливо).

Да? Поздравляю... очень оригинальное наблюденіе.

БОГАЕВСКАЯ.

Интересно спорили... да! Я хоть и не поняла ничего... а интересно!

ЧЕРКУНЪ.

Лидія Павловна — слишкомъ прямолинейна...

ЦЫГАНОВЪ.

Это говоришь ты?

БОГАЕВСКАЯ.

А скучно мнѣ будетъ, когда вы уѣдете... очень скучно!

ЦЫГАНОВЪ.

Поѣзжайте съ нами. Что вамъ дѣлать здѣсь?

БОГАЕВСКАЯ.

А тамъ? Мнѣ, батюшка, вездѣ нечего дѣлать... И всю жизнь я ничего не дѣлала...

ЦЫГАНОВЪ.

И ни одной ошибки?

БОГАЕВСКАЯ

(мѣшая карты).

И ни одной ошибки... Нѣтъ, Анна Федоровна, не вышло...

АННА (грустно).

Нѣтъ?.. Жаль... А мнѣ такъ хотѣлось, чтобъ вышло...

БОГАЕВСКАЯ.

А вотъ мы еще разъ спросимъ судьбу...

СТЕПАНЪ

(торжественно—шутливо).

Судьбу насиловать нельзя...

ЧЕРКУНЪ (негромко).

Она сама насилуетъ людей...

СТЕПАНЪ.

А особенно жадныхъ...

БОГАЕВСКАЯ.

А вы—щелкайте, щелкайте...

(Лидія входитъ, несетъ шаль)

ЦЫГАНОВЪ.

Пока судьба васъ не отщелкала...

БОГАЕВСКАЯ.

Ну, вотъ спасибо, Лидуша... Ты слышала,—у Архипа Притыкина романъ съ Веселкиной Маріей...

ЛИДИЯ.

Какъ это интересно, тетя!

БОГАЕВСКАЯ.

Все-таки.. забавно!

ЦЫГАНОВЪ.

Басъ, дорогая моя, ничто не интересуеть, кромѣ верховой ѣзды... Странно вы живете... скачете верхомъ по полямъ во всякую погоду и — только! Удивительно измѣнились вы...

ЛИДИЯ.

Въ дурную сторону?

ЦЫГАНОВЪ.

Конечно! Люди съ дѣтства идутъ только въ эту сторону!..

ЛИДИЯ.

Тогда—чему же удивляться?

ЦЫГАНОВЪ.

Я ждалъ, что вы будете прекраснымъ, ядовитымъ цвѣткомъ на нивѣ порока... а вы—что такое вы? Чего вы ищете? Чего вамъ хочется?

ЛИДИЯ.

Найду—узнаете...

СТЕПАНЪ.

Не тамъ вы ищете, гдѣ надо... не тамъ!

БОГАЕВСКАЯ.

Однако, батюшка, быть можетъ, я стѣсняю ваше краснорѣчіе?

ЦЫГАНОВЪ.

О, нѣтъ! Почему?

БОГАЕВСКАЯ.

То-то! А то нѣкоторые стѣсняются говорить пошлости при мнѣ... дескать, старушка почтенная...

ЛИДІЯ.

Вы слишкомъ строги, тетя... Въ обществѣ, гдѣ я вращалась, говорить хуже...

БОГАЕВСКАЯ.

Хуже? Ну, извиняюсь... одичала я...

ЦЫГАНОВЪ.

О, полноте!

(Вбѣгаетъ Катя)

СТЕПАНЪ (выскакивая).

Ну? Какъ? Что?

КАТЯ.

Да... Вду...

СТЕПАНЪ (одобрительно).

Браво! Молодецъ...

КАТЯ

(подходить къ Аннѣ).

Тяжело! Онъ плачетъ... отецъ плачетъ! Такой жалкій...

СТЕПАНЪ.

Это—возмездіе! Онъ всю жизнь давилъ людей...

КАТЯ

(топая ногой).

Не смѣйте такъ! Не ваше дѣло...

АННА.

Ну, не волнуйся... ничего...

ЦЫГАНОВЪ.

Это именно его дѣло... вѣдь онъ васъ утащилъ...

КАТЯ.

Меня никто не утащилъ, я—сама... не говорите мнѣ глупостей... А отца мнѣ жалко... я его люблю... я знаю: онъ грубый, онъ жестокий... и всѣ такіе! Всѣ люди—грубые и жестокие... И вы, Степанъ Даниловичъ... и вы тоже...

СТЕПАНЪ

(вспыхнуль, усмѣхается).

Можетъ быть... ну, что-же? Но жизнь такъ устроена, что жестокость необходима...

КАТЯ.

Непавижу я вашу усмѣшку... молчите!

АННА.

Успокойся же... идемъ ко мнѣ!

(Ведетъ ее въ свою комнату)

ЧЕРКУНЪ (улыбаясь).

Милый звѣрѣнышъ...

ЦЫГАНОВЪ.

А у васъ, юноша, сварливая будетъ жена...

СТЕПА (входить).

Степанъ Даниловичъ...

СТЕПАНЪ (брезгливо).

Вы не можете безъ пошлостей?...

ЧЕРКУНЪ (съ гримасой).

Господа!

СТЕПА.

Степанъ Даниловичъ, васъ спрашиваетъ Гогинъ...

(Степанъ, круто повернувшись,
идетъ въ прихожую, Степа — за
нимъ)

ЦЫГАНОВЪ.

Задорный юноша... Чему вы улыбаетесь, Лидія Пав-
ловна?..

лидія.

Хорошая пара...

ЧЕРКУНЪ.

Д-да... славные...

лидія.

Красивая жизнь впереди у нихъ...

ЦЫГАНОВЪ.

Но, вѣроятно, голодная..

лидія.

Мнѣ нравится Лукинъ... Въ немъ есть что-то значи-
тельное...

ЦЫГАНОВЪ.

Его усмѣшка отрицаетъ васъ...

ЛИДІЯ.

Она всѣхъ отрипаетъ...

(Изъ прихожей идетъ, усмѣхаясь, Степанъ; за нимъ Гогинъ, одѣтый въ хорошую новую поддевку. Онъ мнется и что-то шепчетъ на ухо Степану)

СТЕПАНЪ.

Э, нѣтъ, скажите сами, синьоръ...

ЧЕРКУНЪ.

Что такое? Что вамъ нужно, Гогинъ?

МАТВѢЙ (конфузится).

Да вотъ... жеснисья хочу...

ЦЫГАНОВЪ.

Оригинально! Какъ это вы надумали, а?

МАТВѢЙ.

Ужъ такъ... пора! Двадцать три года мнѣ...

ЧЕРКУНЪ.

Ну? Что-же дальше?

МАТВѢЙ.

Такъ вотъ, Егоръ Петровичъ, помогите! Заслужу!. Какъ я самъ изъ мужиковъ, то знаю всѣ больныя мѣста ихнія... ужъ я имъ не дамъ...

СТЕПАНЪ.

Воспитали человѣка... отечеству на пользу...

(Катя и Анна выходятъ и стоятъ у піанино)

ЧЕРКУНЪ (хмуро).

Чѣмъ—помочь?

МАТВѢЙ.

Да, видите... выбралъ я Степаниду, а она не хочетъ: не пойду, говоритъ, и шабашъ! А она такая скромная, баловать не станетъ, я ожидаю, а бояться будетъ... Такъ вотъ я просить васъ и барыню хочу—припугните вы ее!

ЧЕРКУНЪ.

Это... зачѣмъ же?

МАТВѢЙ.

А чтобы она шла за меня, а то, скажите ей: къ отцу, молъ, отправимъ! Она его до смерти боится. А я ему ужъ полтину далъ, чтобы онъ ее, значить, ко мнѣ толкнулъ...

КАТЯ (изумленно).

Ахъ, какой мерзавецъ!

МАТВѢЙ (вздрогнувъ).

Чего-съ?

ЧЕРКУНЪ
(сухо, Степану).

Выдайте ему расчетъ...

МАТВѢЙ (пораженъ).

Расчетъ? Мнѣ? За... за что?

СТЕПАНЪ.

Подумайте—за что бы?

ЧЕРКУНЪ.

Идите...

МАТВѢЙ
(опускается на колѣни).

Егоръ Петровичъ...

ЧЕРКУНЪ (рѣзко).

Встать!

МАТВѢЙ (вскакиваетъ).

Сергѣй Николаевичъ, за что-же?

БАТЯ (торжественно).

Ага-а?

МАТВѢЙ (слезливо).

Что я худого сдѣлалъ? Эхъ, Степанъ Даниловичъ...
подвели вы меня подъ обухъ...

ЦЫГАНОВЪ.

Вы--идите... Потомъ, можетъ быть...

ЧЕРКУПЪ (спокойно).

Ничего не можетъ быть...

МАТВѢЙ

(уходя со Степаномъ).

Господа... напрасно это! Развѣ такъ можно? а? Вдругъ,
ни съ того, ни съ сего... а?

ЦЫГАНОВЪ (Черкуну).

Мнѣ не кажется, что ты поступилъ, какъ Соломонъ...
нѣтъ! Денегъ онъ уже наворовалъ... зачѣмъ гнать его!
Парень неглупый... а кулакомъ будетъ, все равно...
Умные люди—всегда жулики...

СТЕПА

(вбѣгаетъ и бросается въ ноги Черкуну).

Егоръ Петровичъ... дай вамъ Богъ...

ЧЕРКУНЪ.

Э, чортъ возьми! Сейчасъ же встапьте!

СТЕПА (встаетъ).

Я—боялась, я дрожала... думала,—отдадутъ они меня ему...

БАТЯ.

Какая глупая...

АННА.

Степа! Васъ никто не можетъ...

СТЕПА (со страхомъ).

Да вѣдь я—одна! Одна я! Со мной—все можно сдѣлать... И возьмутъ они меня... отецъ и этотъ, они возьмутъ!

АННА

(подходить къ ней).

Полноте, Степа...

СТЕПА.

Уйду въ монастырь... оттуда не достанутъ... Вѣдь не достанутъ?!

АННА

(уводить ее къ себѣ).

Идите ко мнѣ...

БАТЯ (Черкуну).

Вотъ это вы хорошо сдѣлали! Такъ и нужно... Разъ-два, шишка на лбу и никакого удовольствія...

ЧЕРКУНЪ.

Наконецъ-то удостоился вашей похвалы...

ЦЫГАНСВЪ (позѣвывая).

Которой ждалъ такъ трепетно и долго...

ЧЕРКУПЪ.

Но когда вотъ такъ—разъ-два—я вашего папашу поучилъ...

КАТЯ

(убѣгая въ комнату Анны. Анна идетъ навстрѣчу, наливаетъ стаканъ воды и уходитъ).

Ишь вы! То—отецъ мой...

АННА.

Какъ хорошо ты поступилъ, Егоръ...

ЧЕРКУНЪ (морщится).

Ну, Анна, перестань...

ЦЫГАНОВЪ.

Такъ, Жоржъ! Именно скромность всего приличнѣе герою...

ЛІДІЯ.

Пѣтъ, дядя Сержъ, какъ быстро слѣдуетъ за подвиги награда!..

АННА (уходя).

Какъ вы не устаете, господа, осмѣивать все на свѣтѣ?

ЧЕРКУПЪ (хмуро)

Вы, кажется, думаете, что я не способенъ вѣрно оцѣнить все это? да?

ЛІДІЯ (прислушивалась).

Звонокъ?

ЧЕРКУНЪ (быстро).

Да... Пойду открою... (Идетъ)

ЦЫГАНОВЪ.

А я знаю, кого онъ хочетъ встрѣтить...

ЛИДІЯ.

Вы что молчите, тетя?

БОГАЕВСКАЯ.

Нельзя же въ одно время думать и говорить... У меня тутъ затрудненіе...

ЦЫГАНОВЪ.

А я знаю, кого онъ ждетъ...

БОГАЕВСКАЯ.

Откуда-то явилась пятая дама и нѣтъ девятки...

ЛИДІЯ.

Вотъ девятка... а это не дама—валеть...

БОГАЕВСКАЯ.

Воистину такъ... ишь ты! Глаза-то... Валеть... ну-съ...

ЦЫГАНОВЪ (поетъ).

А я знаю... а я знаю...

ЛИДІЯ.

Не остроумно, дядя Сержъ... Тетя, вы скоро пойдете къ себѣ? Это очень вредно—такъ долго сидѣть..

БОГАЕВСКАЯ (озабоченно).

Подожди... я сейчасъ... Да... я—скоро...

(Идутъ Черкунъ, исправникъ)

ЧЕРКУНЪ.

Все еще не нашли?

ИСПРАВНИКЪ (УНЫЛО)

Нѣтъ. Чортъ его знаетъ, гдѣ онъ.. И куда можно убѣжать изъ этого города? Добрый вечеръ, Лидія Павловна... Здравствуйте, почтенная Татьяна Николаевна...

(Молча жметъ руку Цыганова)

БОГАЕВСКАЯ
(не глядя на него).

Ну, что вашъ чиновникъ?

ИСПРАВНИКЪ.

Пропалъ, каналья... Ищемъ, ищемъ... въ горлѣ пересохло!

ЦЫГАНОВЪ.

Послѣднему могу помочь. (Наливаетъ вина) Да, сколько онъ укралъ?

ИСПРАВНИКЪ.

463 р. 32 к... Болванъ! Ужъ тащилъ бы все, тамъ тысячъ восемь было... А то—одинъ пакетъ, оселъ! И наконецъ—ну, укралъ... ну, что же? Не рѣдкость... не убійство! Приди и скажи,—вотъ я... получишь за это смягченіе вины... а онъ, извольте видѣть, скрылся... и девять человѣкъ ищутъ его...

ЧЕРКУНЪ.

Песчастный мальчишка...

БОГАЕВСКАЯ
(не отрываясь отъ картъ).

И укралъ, какъ нищій... съ копѣйками!

ЦЫГАНОВЪ.

Браво, Татьяна Николаевна!

(Лидія и Черкунъ смѣются)

ИСПРАВНИКЪ
(смотреть на часы).

Я, видите-ли, заѣхалъ сказать вамъ, Сергѣй Николаевичъ... это самое... и прочее... Вы его видѣли въ день совершенія кражи... такъ вотъ придется вамъ...

ЦЫГАПОВЪ (серьезно).

Понимаю. На меня падаетъ подозрѣніе въ соучастіи...

ИСПРАВНИКЪ.

Э... какъ? (Хохочетъ) Ахъ вы!.. Какъ хочется посидѣть у васъ... а надо ѣхать... тамъ какой-то дуракъ жену избилъ...

БОГАЕВСКАЯ
(какъ раньше).

До смерти:

ИСПРАВНИКЪ.

Кажется, до смерти... А гдѣ же Притыкинъ? Онъ со мной пріѣхалъ... Мы думали нѣсколько повинтить...

ЧЕРЕБУНЪ.

Онъ занятъ съ Лукинымъ...

ИСПРАВНИКЪ (грустно).

А на дорогѣ полицейскій доложилъ объ этой дракѣ... Да, вотъ еще Лукинъ... Вы бы сказали ему, чтобы онъ... воздержался. Про него ходятъ слухи... насчетъ его знакомствъ съ рабочими на фабрикахъ... Ну, зачѣмъ это? Тутъ, знаете, есть такой благочестивый мужчина—Головастиковъ... купоросъ! Сами его боимся... Все знаетъ! Сны ваши и тѣ знаетъ... А мнѣ не хочется прибѣгать къ мѣрамъ... не люблю неприятностей!

ЦЫГАНОВЪ.

Хорошо! Беру это на себя... Кому пріятны непріятности?

ИСПРАВНИКЪ.

Вотъ именно! Ну-съ... общій поклонъ... Ахъ, Сергій Николаевичъ, славный вы человѣкъ...

ЦЫГАНОВЪ

(проводя его).

Не смотря на тяготящее подозрѣніе въ соучастіи съ Порфиріемъ Дробязгинымъ, укравшимъ 32 казенныхъ копѣйки?

(Исправникъ хохочетъ. Изъ прихожей доносится слащавый голосъ Притыкина и ѣдкіе возгласы Степана)

ЧЕРКУПЪ

(негромко, Лидіи).

Какъ это вамъ правится, а?

ЛИДІЯ.

Вы по поводу Лукина?

ЧЕРКУПЪ.

О, нѣтъ! Это естественно... а вотъ этотъ Дробязгинъ... чортъ его возьми! Какъ бы ему помочь, что-ли? Вѣдь если правду говорить—Сергій... вы понимаете?

ЛИДІЯ (улыбаясь).

Вы скоро будете совсѣмъ почтеннымъ человѣкомъ... право!

ЧЕРКУПЪ (серьезно).

Онъ развратилъ мальчишку... это несомнѣнно! Чему жевы смѣетесь?

Л И Д І Я.

А помните,—когда-то вы хотѣли поставить городъ
вверхъ дномъ?

Ч Е Р К У Н Ъ.

Хотѣль? Ну, да... хотѣль... Такъ что же? Что вы
хотите сказать?

Л И Д І Я.

Я только напоминаю. Вы говорили, что вашей волей
сюда придутъ новыя мысли, новые вкусы... А дядя
Сержъ ничего не говорилъ, но, посмотрите, сколько
мертвецовъ разложилось, благодаря ему...

Ч Е Р К У Н Ъ.

Ага, я понимаю васъ! Говорите дальше...

Л И Д І Я.

Я вотъ не вижу, чтобы жизнь обновилась, благодаря
вамъ... а сами вы, мнѣ кажется, немного потускиѣли...

С Т Е П А Н Ъ (изъ прихожей).

Егоръ Петровичъ, на минуту!

П Р И Т Ы К И Н Ъ (жалобно).

Пожалуйста, Егоръ Петровичъ.

Ч Е Р К У Н Ъ (уходя).

Я вамъ отвѣчу... потомъ...

Л И Д І Я.

Тетя! Да бросьте же! Пойдемъ къ себѣ, а?

ПОКИДАТЬ ОНЪ МЕНЯ...

Всѣ вечера у Веселкина сидить, въ карты съ нимъ играть... и дочь его обольстить хочеть... милая вы моя!

БОГАЕВСКАЯ.

Ну, не дури... врешь все! Тоже... обольстителя пашла! Не срамись... иди ко мнѣ... на верхъ...

ПРИТЫКИНА.

Сердечная вы моя, бьетъ меня! Вѣкъ ты мой загубила, говорить, чортова кукла... старая, говорить, вѣдьма ты... Иди вонъ, говорить... А куда я пойду? Имущество все на него переведено... все у него въ рукахъ... матушка, что дѣлать буду?

БОГАЕВСКАЯ (идеть).

Лѣзь на верхъ... не шуми тутъ...

ПРИТЫКИНА

(слѣдуя за ней).

Лѣзу, лѣзу... Посоветуйте вы мнѣ, какъ съ нимъ быть? Какъ я буду теперь? Ай! Голосъ его слышу... пустите впередъ меня... матушка...

(Онъ скрываются. Почти въ то же время хлопаетъ быстро открытая дверь, и изъ прихожей является взволнованный Притыкинъ; за нимъ Черкунъ и Степанъ)

ПРИТЫКИНЪ.

Нѣтъ, господинъ студентъ, такъ со мной нельзя-съ! Я человѣкъ всѣмъ здѣсь извѣстный... и даже буду головой... да-съ! А вы еще, съ позволенія сказать, просто молодой человѣкъ... и больше ничего!

ЧЕРКУНЪ.

Ну, здѣсь не мѣсто кричать...

ПРИТЫКИНЪ.

А мѣсто здѣсь называть меня жуликомъ? Почему я жуликъ... именпо-сѣ?

СТЕПАНЪ (сѣ усмѣшкой).

А вотъ—цифры...

ПРИТЫКИНЪ.

Цифры? Цифры можно написать... какія угодно... это не резонъ... да-сѣ!

СТЕПАНЪ.

Вы и написали какія вамъ было угодно... Вотъ объясните мнѣ, откуда у васъ эти 6.800 р. взялись...

ПРИТЫКИНЪ.

Егоръ Петровичъ, позвольте мнѣ не объяснять... пусть это будетъ между нами... Сергѣй Николаевичъ вѣрять мнѣ... А господинъ Лукинъ — я не знаю, чего они желаютъ...

СТЕПАНЪ.

Поймать васъ въ плутовствѣ...

ПРИТЫКИНЪ.

Плутовство? Нѣтъ... я такъ не могу!..

ЧЕРКУНЪ (сухо).

Оставимъ это до завтра...

ПРИТЫКИНЪ.

Нѣтъ-сѣ, не могу! Я человѣкъ честный... Сергѣй Николаевичъ это знаетъ... Я насчиталъ вѣрно-сѣ... спросите ихъ... они знаютъ...

ЧЕРКУНЪ

(негромко, гнѣвно).

Молчать... Идите сюда... ну?

(Ведетъ Притыкина къ себѣ)

ПРИТЫКИНЪ.

Позвольте... тащить меня нельзя...

(Черкунъ вталкиваетъ его въ дверь и рѣзко захлопываетъ ее. Степанъ бросилъ счета на столъ, сунулъ руки въ карманы и уходитъ)

СТЕПАНЪ

(сквозь зубы).

Э... жулье!..

(Изъ комнаты Анны выходитъ Степа съ какой-то книгой въ рукахъ, проходитъ въ гостинную. Слышенъ голосъ Анны—она что-то читаетъ. Въ прихожей шумъ, шаги. Идутъ Цыгановъ и Монахова)

ЦЫГАНОВЪ.

...И стоялъ на крыльцѣ... одинъ. Осенью иногда хорошо посмотрѣть въ небо...

НАДЕЖДА.

А гдѣ же всѣ?

ЦЫГАНОВЪ (усмѣхаясь).

Тотъ, кого вамъ нужно, явится, когда услышитъ вашъ голосъ... но онъ не дастъ вамъ ничего... Осенью по небу быстро бѣгутъ тучи... тяжелыя тучи...

НАДЕЖДА.

Не люблю чернаго цвѣта. Самый важный, самый внушительный цвѣтъ—красный. Въ красномъ королевы ходятъ и разныя аристократки...

ЦЫГАНОВЪ.

Не видалъ, но представляю, какъ это красиво.. Н-ну-съ, скоро я уѣду, дорогая моя...

НАДЕЖДА (на диванѣ).

Вы не одинъ уѣдете...

ЦЫГАНОВЪ.

Не одинъ? Какъ это понять? Вы рѣшили?

НАДЕЖДА.

Что я рѣшила?

ЦЫГАНОВЪ (негромко).

Ѣдете со мной? Въ Парижъ? Подумайте—Парижъ! Маркизы, графы, бароны—всѣ въ красномъ... И у васъ будетъ все, что вы захотите... я все дамъ...

НАДЕЖДА (спокойно).

Это просто даже неприлично, Сергѣй Николаевичъ! Какъ будто я какая-нибудь... этакая...

ЦЫГАНОВЪ.

Вы — дивная, вы рѣдкая... страшная! И я люблю васъ—повѣрьте мнѣ! Люблю, какъ юноша... Вы... сила! Сколько счастья, сколько наслажденій ждеть васъ...

НАДЕЖДА.

Сергѣй Николаевичъ, ну, зачѣмъ же все это? И развѣ можете вы любить, какъ юноша, когда вамъ скоро пятьдесятъ лѣтъ и черезъ два года, можетъ быть, вы совсѣмъ лысый будете? И что же это за ѣзда по Парижамъ, если я васъ не могу любить? Вы очень интересный мужчина, но пожилой, и мнѣ не пара. Обидно даже, извините меня, слышать такія ваши намѣренія...

ЦЫГАНОВЪ

(почти стонетъ).

О... чортъ возьми! Ну... хотите—обвѣнчаемся? Я устрою вамъ разводъ съ мужемъ и...

НАДЕЖДА.

Не все ли это мнѣ равно? Вѣдь важенъ мужчина, а не что-нибудь другое... Нѣтъ, вы меня пожалуйста оставьте... Вы многому меня научили, стала я теперь умнѣе и смѣлѣе...

ЦЫГАНОВЪ
(приходить въ себя).

Ну, хорошо! Давайте — похоронимъ это, мой другъ! Честное слово—моя послѣдняя попытка... больше нѣтъ времени... и силъ? И силъ нѣтъ...

НАДЕЖДА.

Ну, вотъ! Вы умный человѣкъ... вы понимаете, что силу въ лавочкѣ не купить...

ЦЫГАНОВЪ
(какъ всегда).

О да, вы правы! Это нѣчто вродѣ ума—его не продаютъ даже въ универсальныхъ магазинахъ...

НАДЕЖДА.

Вотъ видите:

(Входятъ Рѣдозубовъ и Павлинъ. Рѣдозубовъ сильно постарѣлъ)

РѣДОЗУБОВЪ.

Здорово.. Дочь у васъ?

ЦЫГАНОВЪ.

Здѣсь, кажется... (Стучить въ дверь къ Аннѣ)

РѣДОЗУБОВЪ (Павлину).

Видишь? Все—парами... да...

А Н Н А (изъ двери).

А, здравствуйте, Василій Ивановичъ... Катя!

НАДЕЖДА.

Добрый вечеръ, Анна Федоровна...

АННА (вздрыгнула).

Ахъ... это вы?

НАДЕЖДА.

Да...

КАТЯ (отцу).

Ты что приплелся?..

ПАВЛИНЪ (негромко).

Тоскуютъ...

АННА (зоветъ).

Степа! (Надеждѣ) Вы будете пить чай? Вы любите...

НАДЕЖДА.

Не откажусь...

(Степа входитъ)

АННА (Степѣ).

Пожалуйста, Степа, чаю... Я—сейчасъ! (Уходитъ къ себѣ)

ЦЫГАНОВЪ.

И коньяку, Степа, и коньяку...

(Подходить къ Монаховой и тихо говорить ей что-то)

РѢДОЗУВОВЪ.

Ты съ кѣмъ тамъ была? Только съ ней?

КАТЯ.

Молчи... что за глупости!

РѢДОЗУВОВЪ.

Иди домой... а? Последніе-то дни... дома бы поси

КАТЯ.

Хорошо... Подожди, я сейчас...

(Быстро идетъ къ Аннѣ)

РѢДОЗУБОВЪ (Павлину).

Видѣлъ? Совсѣмъ чужая стала... Отбили дочь... сына — пьяницей сдѣлали... разрушили жизнь мою... И—ничего...

ПАВЛИНЪ (тихонько).

Не огорчайтесь... подождите!

РѢДОЗУБОВЪ.

Чего ждаты? Кому жаловаться?

ПАВЛИНЪ.

Исправника они купили, но Гослода никто купить не можетъ... поняли?

РѢДОЗУБОВЪ.

Притыкина обласкали, а меня исказили... Теперь—дочь... Она, можетъ, тамъ со студентомъ, а я... жду! Я? (Вдругъ встаетъ и свирѣпо кричитъ) Катька!

ПАДЕЖДА.

Ахъ!.. Что это?

ЦЫГАНОВЪ.

Что съ вами, почтенный?

(Выходить Черкунъ. за нимъ—Притыкинъ съ видомъ челоуѣка, у котораго болятъ зубы. Выбѣгаетъ Катя, Анна)

КАТЯ.

Что ты кричишь?

Катерина.

Редозубовъ.

Черкунъ.

... не виноватъ...

... (рычить).

... Бей меня...

... нъ.

Редозубовъ.

... мной... фармазонъ! Катерина,
... Радуетесь? Блюдолизъ...

Черныкинъ.

... не виноватъ!

Редозубовъ.

... богатой старухѣ, ограбилъ ее... лю-
... головы лѣзешь... прихвостень!

Черкунъ.

... ругаться куда-нибудь въ

Катя (кричить).

... выгонять отсюда! Вѣдь это будетъ
... мнѣ, какъ я тогда приду къ нимъ?
... тебя, если выгонять...

Редозубовъ.

А Н Н А.

Послушайте: она васъ любить... ей жалко васъ.. она плакала... она васъ любить!

Р Ъ Д О З У В О В Ъ.

Колн любить... какъ же бросаетъ меня, а?

К А Т Я.

Идемъ... иди, ради Бога!

(Ведетъ отца въ прихожую. Павлинъ какъ-то странно вильнулъ и остановился у двери)

Ч Е Р К У Н Ъ.

Архипъ Фомичъ, вы тоже уходите. Намъ больше не о чемъ говорить...

П Р И Т Ы К И Н Ъ (вздыхая).

Что-жь... уйду... А, между прочимъ, господину Лукину я этого не забуду... Онъ здѣшній... я тоже... да-съ...

А Н Н А.

Боже мой... какъ все это... странно...

(Монахова все время изъ угла слѣдитъ съ улыбкой за Черкуномъ. Улыбка неподвижная, странная. Цыгановъ усиленно курить сигару и смотреть на всѣхъ, шевеля усами. Степа готовитъ чай и пугливо, съ ненавистью, посматриваетъ на Павлина. Анна, посмотрѣвъ на Монахову, вздрогнула, дѣлаетъ движеніе къ ней, но, быстро повернувшись, уходитъ въ свою комнату)

Ц Ы Г А Н О В Ъ (Черкуну).

Ты съ нимъ... подвелъ итоги?

ЧЕРКУНЪ.

Да. Намъ нужно поговорить съ тобой... О, Надежда Поликарповна,—вы пришли? А я не вижу васъ! Ну здравствуйте... Скверная погода, не правда-ли?..

ЦЫГАНОВЪ.

Мы съ тобой, очевидно, не сейчасъ будемъ говорить...

ЧЕРКУНЪ.

Ну, разумѣется! Вы, что же здѣсь, въ углу и въ темнотѣ? идемте въ гостинную...

НАДЕЖДА.

Съ удовольствіемъ... А я ждала, когда вы взглянете на меня...

(Они уходятъ въ гостинную—оттуда слышенъ ихъ негромкій говоръ)

ЦЫГАНОВЪ (Павлину).

Н-да... вы здѣсь? Н-ну, что-жъ вы скажете мнѣ?

ПАВЛИНЪ.

Разрушился старикъ-то... Ему бы допустить, чтобъ его выгнали отсюда,—послѣ такого съ нимъ поступка Катюшѣ-то, дѣйствительно, неумѣстно было бы ходить сюда...

СТЕПА

(неволью, негромко).

У-у... змѣй!

ЦЫГАНОВЪ

(задумался и не слушалъ Павлина).

Д-да... ну, что же?

ПАВЛИНЪ

А тамъ ужъ видно было бы... Осмѣлюсь, сударь мой,

спросить васъ—какъ трудъ мой? Разсмотрѣли? (Цыгановъ смотритъ на него и молчитъ, Павлинъ отодвинулся отъ него) Тетрадочку моего рукописнаго труда, говорю я, позволили читать?

ЦЫГАНОВЪ.

Что? Ахъ, да... (Рѣзко) Это чепуха, старикъ...

ПАВЛИНЪ (не вѣрить).

Девятилѣтній трудъ мой—чепуха?

ЦЫГАНОВЪ (пренебрежительно).

Сейчасъ я принесу эту философію... подождите... Идетъ въ гостинную) Согрѣйте мнѣ бутылку краснаго, Степа...

ПАВЛИНЪ (негромко).

А я, дѣвушка, сегодня опять папашу твоего видѣлъ. Степа оперлась руками о столъ и въ упоръ смотреть на Павлина) Вѣтеръ на улицѣ, дождикъ сѣетъ... а отецъ твой пьяненькій идетъ... голый весь и—плачетъ... и горько плачетъ!..

СТЕПА (глухо).

Прешь! За что мучаешь? (Бросаетъ въ него крышкой отъ самовара) Вотъ тебѣ... дьяволъ... колдунъ!

А П П А

(отворяя дверь).

Что это?

ПАВЛИНЪ

(поднимая крышку).

Тушилочка упала... по неосторожности...

СТЕПА.

Прогоните его!..

ЦЫГАНОВЪ (выходя).

Вотъ, получите...

СТЕПА.

Прогоните его!

(Анна подходит къ ней, тихо спрашиваетъ о чемъ-то. Степа уходитъ. Анна стоитъ у стола слышать разговоръ въ гостиной—на ея лицѣ боль и отвращеніе)

ПАВЛИНЪ.

Зачѣмъ же, дѣвушка, гнать? Я и самовольно уйду. Такъ, позволили сказать, чепуха?

ЦЫГАНОВЪ.

Да, да...

ПАВЛИНЪ.

Значить—девять лѣтъ я ошибочно рассуждалъ? Покорнѣйше благодарю васъ, сударь мой... А съ вашей стороны—ошибки быть не можетъ? Прощайте... (Идетъ)

ЦЫГАНОВЪ.

Дѣйствительно—купоросъ, какъ говорить исправникъ... Однако, вамъ дурно?

АННА (шопотомъ).

Что она говорить? Послушайте...

ЦЫГАНОВЪ (негромко).

Я при такихъ условіяхъ не позволяю себѣ что-либо слышать...

АННА.

О, что она дѣлаетъ?

ЦЫГАНОВЪ (громко).

Вы что же, господа, не идете? Чай готовъ...

ЧЕРКУНЪ.

Сейчасъ...

АННА

(негромко, съ болью).

Вы думаете, я... вы думаете, я подслушивала, да?
Какъ вамъ не стыдно!

ЦЫГАНОВЪ.

Да пѣтъ же! Егоръ, пойди сюда...

(Анна бѣжитъ въ свою комнату)

ЧЕРКУНЪ (въ двери).

Ну? Что?

ЦЫГАНОВЪ (негромко).

Пойди сюда... Сейчасъ твоя жена слышала что-то и
очень взволновалась...

ЧЕРКУНЪ (съ гримасой).

Э, обычная исторія. Надежда Поликарповна шалить...
и больше ничего! Рассказываетъ мнѣ, какъ разные люди
должны объясняться въ любви... Это удивительно за-
бавно...

(Поспѣшно уходитъ. Цыгановъ
пожалъ плечами, расправилъ усы,
налилъ большую рюмку коньяку,
выпилъ. Взялъ шляпу, идетъ въ
прихожую; навстрѣчу Мона-
ховъ, смирный, грустный)

МОНАХОВЪ (тихо).

Здравствуйте!

ЦЫГАНОВЪ.

Добрый вечеръ... Хотите коньяку?

МОНАХОВЪ.

Позвольте... холодно... Надежда моя здѣсь?

ЦЫГАНОВЪ.

Налить еще?

(Монаховъ молча киваетъ головой.
Цыгановъ насвистываетъ что-то)

МОНАХОВЪ (тихо).

А я... за ней...

ЦЫГАНОВЪ (улыбаясь).

Позвать?

МОНАХОВЪ.

Нѣтъ... не надо... Я лучше еще выпью...

ЦЫГАНОВЪ (улыбаясь).

Развѣ это лучше?

МОНАХОВЪ.

Не смѣйтесь... что ужъ!

ЦЫГАНОВЪ.

А помните—пари?

МОНАХОВЪ.

Что-жъ... вы проиграли...

ЦЫГАНОВЪ.

Васъ, однако, не радуетъ это? Э, что это вы? Не надо!..

МОНАХОВЪ (плачетъ).

Тоска... какъ я теперь буду, а? Подумайте... какъ? Вѣдь, кромѣ ея, ничего нѣтъ! Ничего!

ЦЫГАНОВЪ

(скрывая брезгливость).

Ну, пойдѣмте... ко мнѣ... или на воздухъ... Идите, пожалуйста! Страдайте, если это необходимо, но никогда не нужно быть смѣшнымъ и некрасивымъ, мой другъ...

(Идутъ въ прихожую. Въ комнатѣ тихо. Изъ гостиной раздается мурлыкающій, пониженный голосъ Монаховой)

НАДЕЖДА.

Настоящая любовь ничего не жалѣетъ, ничего не боится...

ЧЕРКУНЪ (смѣясь).

Ну, оставимъ это... вы сегодня такъ говорите...

(Является въ дверяхъ гостинной, взволнованъ)

МОНАХОВА

(сзади сго).

О любви ничего нельзя сказать... Это я вамъ о томъ говорила, какъ разные герои объясняются. А любить нужно молча...

ЧЕРКУНЪ (бормочетъ).

Молча?.. Ну... давайте чай пить... что-ли...

МОНАХОВА (негромко).

Бойтесь?

ЧЕРКУНЪ.

Я? Чего?

МОПАХОВА.

Меня. Вотъ ужъ не думала я...

ЧЕРКУНЪ.

Довольно, однако...

МОПАХОВА.

Не думала, что вы бояться можете...

ЧЕРКУНЪ

(близко къ ней).

Смотрите... берегитесь!

МОПАХОВА.

Чего же мнѣ беречься?

ЧЕРКУПЪ

(кладетъ ей на плечи руки свои).

Ты любишь меня... да? Ну, говори... любишь?

МОПАХОВА

(тихо, твердо).

Да. Какъ увидѣла... сразу... Мой—Жоржъ! Ты мой Жоржъ.

(Обнимаетъ его. Онъ дѣлаетъ движеніе, чтобы освободить себя. Анна выходитъ, лицо у нея заплакано, въ рукахъ платокъ. Увидала мужа и Надежду, выпрямилась, вся натянулась, какъ струна)

АННА (негромко),

... Жоржъ!

ЧЕРКУНЪ
(съ пьяной улыбкой).

Не спѣши, Анна... хотя—все равно!

НАДЕЖДА.

Да. Ужъ теперь—все равно!

АППА (съ отвращеніемъ).

О... вы звѣрь! Вы—гадкій звѣрь...

НАДЕЖДА (спокойно).

Это потому, что полюбила?

ЧЕРКУНЪ
(точно проснулся).

Подожди, Анна, молчи...

АППА.

Молчать? Какъ низко ты упалъ... Я поняла бы... если-бъ не эта... если-бъ—другая... но—эта! Это жи вотное...

НАДЕЖДА (Черкуну).

Уйдемъ, Жоржъ...

ЧЕРКУНЪ.

Надежда Поликарповна, послушайте...

(Шумъ въ прихожей. Быстро вбѣ-
гаетъ Цыгановъ, за нимъ бѣ-
житъ докторъ и Монаховъ)

ЦЫГАНОВЪ.

Уймите этого болвана!

ДОКТОРЪ

(въ рукахъ у него большой, старый револьверъ. Держась рукой за косякъ, онъ цѣлитъ въ Цыганова).

Я тебя убью... убью...

(Спускаетъ курокъ. Осѣтка)

ЦЫГАНОВЪ.

Оселъ! Стрѣлять не умѣешь!

ЧЕРКУНЪ

(бросаясь къ доктору).

Брось!

А П Н А П Н А Д Е Ж Д А (вмѣстѣ).

Уйди! Убьешь!

ДОКТОРЪ

(вертитъ пальцами барабанъ).

Будь проклятъ!.. чортъ...

П А Д Е Ж Д А

(вырывая револьверъ).

Ахъ ты... глупый!

ЧЕРКУПЪ.

Вы съ ума сошли?

М О Н А Х О ВЪ.

Надя... Брось пистолетъ!

Л И Д И Я (вбѣгаетъ).

Что случилось?

ЦЫГАНОВЪ (возбужденно).

У меня достаточно своихъ грѣховъ... я не хочу платиться за чужіе... дикарь!

ЛИПА (Лидіи).

Опъ цѣловаль ее... ее! (Монахову) Уберите отсюда
эту... (Лидіи) Опъ цѣловался съ ней...

ЛИДИЯ

(ведетъ ее прочь, къ ней).

Степа! Позовите тетю сюда...

ДОКТОРЪ

(глухо, Черкуну).

Съ нимъ? Съ вами?

ЧЕРКУНЪ.

Ступайте вонъ...

ЦЫГАНОВЪ

(обертывая руку платкомъ).

Проснулся... идиотъ!

ДОКТОРЪ (тоскливо),

Падежда! Кого ты выбрала?

ПАДЕЖДА

(все время смотрѣла на него съ довольной улыбкой).

Я вамъ пе—ты...

ДОКТОРЪ,

Кого ты выбрала?

ПАДЕЖДА

указывая на Черкуна, гордо).

Его!

МОНАХОВЪ (стонетъ).

Надя... Надя! За что?.. Надюша!

БОГАВСКАЯ (идетъ).

Что, скандалъ? Дожили! (Проходить въ комнату Анны)

ДОКТОРЪ (Цыганову).

Вы... баринъ! Я—виноватъ... оказывается, надо было его... а впрочемъ, это все равно! Вы оба—хищники... мнѣ жаль, что я не убилъ васъ... мнѣ жаль...

НАДЕЖДА (сожалѣя).

Что вы можете... эхъ вы!

ДОКТОРЪ.

Да, ничего не могу! Все сгорѣло въ душѣ моей...

ЧЕРКУПЪ.

Ну... довольно, я говорю!

МОПАХОВЪ.

Пада, уйдемъ домой!

НАДЕЖДА (твердо).

Мой домъ—тамъ, гдѣ онъ... тамъ мой домъ!

ДОКТОРЪ.

Четыре долгихъ года горѣло сердце... что я теперь?

ЦЫГАНОВЪ.

Егоръ! Чего онъ разглагольствуетъ? Сорвалъ мнѣ нготъ...

ЧЕРКУПЪ (доктору).

Вы дешево отдѣлались за вашу выходку... Ступайте! Будетъ...

ДОКТОРЪ

(пришелъ въ себя, просто).

Прощай, Надежда! Я тебя люблю... Прости меня... за все! Прощай... Ты погибнешь съ ними... погибнешь! Прощай!.. Прощайте... воронье... (Идетъ)

ЦЫГАНОВЪ (Надеждѣ).

Ну, вы довольны, наконецъ? Все—какъ въ романѣ: любовь счастливая, штуки три несчастныхъ... попытка выпалить изъ револьвера... кровь — (показываетъ завернутый платкомъ палецъ) хорошо?

НАДЕЖДА (тупо).

Что-жъ онъ теперь... тоже убьетъ себя?

ЦЫГАНОВЪ.

Я бы застрѣлился... отъ стыда...

МОНАХОВЪ

(Черкуну, тихо).

Отдайте мнѣ... жену! Отдайте... Больше ничего не имѣю... все въ ней! Всю жизнь ей отдаю... воровалъ—для нея...

ЧЕРКУНЪ (рѣзко).

Пожалуйста... возьмите!

НАДЕЖДА

(изумленно, Черкуну).

Что ты сказалъ? Возьмите? да?

ЧЕРКУНЪ (твердо).

Да. Вотъ что, Надежда Павликарновна, я васъ прошу: простите меня..

ПАДЕЖДА.

За что?

ЧЕРКУНЪ.

Не придавайте значенія моему поступку... Минутная вспышка... вызванная вами же... это не любовь...

ПАДЕЖДА (глухо).

Говори проще... чтобы я поняла скорѣе.

ЧЕРКУНЪ.

Я не люблю васъ... нѣтъ!

ПАДЕЖДА (не вѣрить).

Да... нѣтъ же! Ты — поцѣловалъ меня... Меня никто не цѣловалъ... только ты!

МОНАХОВЪ (кратко).

А я... а я, Надя?

ПАДЕЖДА (тяжело).

Молчи, покойникъ!

ЧЕРКУНЪ.

Кончимъ все это! Вы поняли меня?... Простите... если можете! (Хочетъ уйти)

ПАДЕЖДА

(странно—печально).

Да, нѣтъ же! Я вотъ сяду... Жоржъ, сядьте рядомъ, а? Егоръ Петровичъ...

ЧЕРКУНЪ.

Я не люблю васъ... не люблю!

(Уходитъ къ себѣ. Монахова ти-

хо опускается на диванъ. Остолбелъ. Цыгановъ радостно изумленъ. Усы у него двигаются. Монаховъ стоитъ у двери, весь какой-то кривой, изломанный)

ЦЫГАНОВЪ (весело).

Вотъ идиотскій городъ! Все вверхъ ногами въ немъ: докторъ долженъ лѣчить, а онъ—наносить раны...

МОНАХОВЪ.

Надя!..

НАДЕЖДА.

А...

МОНАХОВЪ.

Идемъ домой...

НАДЕЖДА.

(негромко, спокойно).

Иди одинъ, покойникъ... иди!

(Вздохнувъ, Монаховъ ушелъ въ столовую)

ЦЫГАНОВЪ (негромко).

Поѣзжайте-ка въ Парижъ, дорогая моя, а?

НАДЕЖДА.

А онъ меня не любитъ?.. это вѣрно?

ЦЫГАНОВЪ.

Конечно! Развѣ, когда любятъ...

НАДЕЖДА.

Не надо... я сама знаю...

(Они уходятъ. Изъ комнаты Анны
выбѣгаетъ Степа, за ней Лидія.
Степа беретъ что-то изъ шкафа.
Выходитъ Черкунъ, угрюмый, по-
давленный)

Лидія.

Пятнадцать капсель, Степа...

Степа.

Какъ страшно.. Господи! Какая это жизнь?

Лидія.

Идите, нужно скорѣе...

Черкунъ.

Что... Анна?

Лидія

(пожимая плечами).

Ничего... какъ скажешь иначе?

Черкунъ.

Миѣ... т.-с. ей трудно будетъ видѣть меня...

Лидія.

А что вамъ нужно отъ нея?

Черкунъ.

Я очень прошу васъ сказать ей... что Монахова...
ушла. Я объяснилъ ей мой поступокъ... и просилъ про-
стить меня... Она ушла... больше не вернется...

Лидія.

Я плохо понимаю...

ЧЕРКУНЪ.

Она... сама же разбудила во мнѣ звѣря... ну, я поцѣловалъ ее... не могъ сдержать себя... Сильна — эта женщина!

ЛИДІЯ (съ ироніей).

А! Это она виновата? Васъ — соблазнили? Бѣдный...

ЧЕРКУНЪ (тихо).

Вы... я вамъ противенъ?

ЛИДІЯ

(тихо, сильно, мстительно).

О, да, вы мнѣ противны, да! Я презираю васъ...

ЧЕРКУНЪ.

Нѣтъ! Зачѣмъ вы такъ? Почему, когда вы видѣли что я падаю...

ЛИДІЯ.

Я не занимаюсь спасеніемъ погибающихъ... Пусть тотъ, кто способенъ погибнуть, — погибнетъ! Это освѣжаетъ жизнь... это уничтожить лишнее... только лишнее!

ЧЕРКУНЪ.

Я чувствовалъ, — вы что-то искали во мнѣ... Я много любовался вами... и... но я теперь не смѣю этого сказать...

ЛИДІЯ.

Да, вы не смѣете сказать это! Да! Я искала... я думала, что найду стойкаго, твердаго человѣка, котораго можно бы уважать... Я давно ищу... я ищу человѣка, чтобы поклониться ему, чтобы пойти рядомъ съ нимъ... Пусть это мечта... но я буду искать человѣка...

ЧЕРКУНЪ (тихо).

Чтобы поклониться ему...

ЛИДИЯ.

И пойти рядомъ съ нимъ... Да неужели иѣтъ на землѣ людей-жрецовъ, людей-героевъ, для которыхъ жизнь была бы великой творческой работой... неужели иѣтъ?

ЧЕРКУНЪ

(глухо, съ отчаяніемъ).

Здѣсь невозможно сохранить себя, поймите это... не возможно! Сила этой жизни... этой грязи...

ЛИДИЯ (гнѣвно).

Всюду—жалкіе, всюду—жадные...

(Выстрѣлъ на дворѣ)

ЧЕРКУНЪ (тоскливо).

О... еще! Что тамъ... еще?

АННА

(выскакиваетъ изъ комнаты).

Егоръ! Гдѣ... Ахъ... Боже мой...

(Валится на диванъ)

ЛИДИЯ (идетъ).

Я посмотрю...

БОГАЕВСКАЯ.

А я ужъ хотѣла спать идти... да...

ЦЫГАНОВЪ (въ прихожей).

Не ходите...

ЧЕРКУНЪ.

Кто стрѣлялъ?

ЦЫГАНОВЪ

(блѣдный, усы опустились).

Она... Надежда Поликарповна...

ЧЕРКУНЪ.

Въ... кого?

ЦЫГАНОВЪ (вздрагивая).

Въ себя... при мнѣ... при мужѣ... такъ спокойно...
чисто... чортъ поберет!

БОГАЕВСКАЯ

(идетъ въ прихожую).

Вотъ дуреха! Кто бы могъ подумать, а?

А П Н А

(бросается къ мужу).

Егоръ.. ты не виноватъ! Нѣтъ, Егоръ...

ЧЕРКУНЪ.

Гдѣ... этотъ... докторъ?

МОНАХОВЪ (идетъ).

Не надо доктора... ничего не надо... Господа, вы убили
человѣка... за что?

А П Н А.

О, Егоръ... это не ты... это—не ты!

МОНАХОВЪ

(тихо, съ ужасомъ).

Что же вы сдѣлали? а? Что вы сдѣлали?

(Все молчатъ. Слышно, какъ на
дворѣ востъ вѣтеръ)

ИВ. БУНИНЪ.

СТИХОТВОРЕНІЯ.

Ж И З Н Ь.

Набѣгаетъ въ потьмахъ
И узорною пѣною свѣтится
И лазурнымъ сіяніемъ рѣветъ у скалъ на пескѣ...
О, божественный отблескъ таинственной жизни,
мерцающей
Въ мириадахъ незримыхъ существъ!

Ночь была бы темна,
Но все море насыщено тонкою
Пылью свѣта, и звѣзды надъ моремъ горятъ.
Въ полусвѣтѣ все видно: и рифы, и взморье зеркальное,
И обрывы прибрежныхъ холмовъ.

Въ полусвѣтѣ ночномъ
Подъ обрывами волнъ качаются—
Переполнено зыбкое звѣздное зеркало волнъ!
Но, колеблясь упруго, лишь изрѣдка складки тяжеля
Набѣгаютъ на влажный песокъ.

И тогда, фосфорясь,
Загораясь мистическимъ пламенемъ,
Разсыпаясь на гравіи мирядами блѣдныхъ огней,

Море свѣтитъ сквозь сумракъ таинственно, тонко и
трепетно,
Озаряя песчаное дно.

И тогда вся душа
У меня загорается радостью:
Я въ пригоршни ловлю закипѣвшую пѣну волны,
И сквозь пальцы течетъ не вода, а сапфиры,—несмѣтные
Искры синяго пламени,—Жизнь.

О, божественный свѣтъ!
О, великое зеркало водное!
Переполнено ты,—переполнена жизнью Земля.
Все мгновенно, все—искры, но искры Единого, Вѣчнаго,
И во всемъ—Красота, Красота!

ДѢТСКАЯ.

Отъ пихтъ и елей въ горницѣ темнѣй,
Скучнѣй, стариннѣй. Древнее есть что-то
Въ уборѣ ихъ. И вечеромъ краснѣй
Сквозь нихъ зари морозной позолота.

Узорно легкой, мягкой бахромой
Лежить ихъ тѣнь на рдѣющихъ обояхъ—
И грустны, грустны сумерки зимой
Въ заброшенныхъ помѣщичьихъ покояхъ!

Сидить и смотреть въ окна изъ угла
И думать о жизни старосвѣтской...
Увы! Вѣдь эта горница была
Когда-то нашей дѣтской!

Т Л Ъ Н Ъ.

Въ гостиную, сквозь садъ и пыльные гардины,
Струится изъ окна веселый лѣтній свѣтъ,
Хрустальнымъ золотомъ ложасть на клавишины,
На ветхіе ковры и выцвѣтшіи паркетъ.

Вкругъ дома—глушь и дичь. Тамъ клены и осины
Пріюты горлянокъ, шиповникъ, бересклетъ...
А въ домѣ—рухлядь, тлѣнь: повсюду паутины,
Всѣ двери закрыты... И такъ ужъ много лѣтъ.

Въ глубокой тишинѣ, таинственно сверкая,
Какъ мелкій перламутръ, беззвучно моль плыветъ
По стекламъ радужнымъ, какъ бархатка сухая,
Тревожно бабочка лиловая снуетъ...

Но фортки нѣтъ въ окнѣ, и рама въ немъ—глухая...
Тутъ даже моль недолго проживетъ!

М О Р О З Ъ .

Такъ ярко звѣздъ горитъ узоръ,
Такъ ясно Млечный Путь струится,
Что занесенный снѣгомъ дворъ
Весь и блеститъ, и фосфорится.

Свѣтъ серебристо-голубой,
Свѣтъ отъ алмазовъ Оріона,
Какъ въ сказкѣ, летѣя надъ тобою
На снѣгъ морозный съ небосклона.

И фосфоромъ дымится снѣгъ,
И видно, какъ мерцаетъ нѣжно
Твой ледяной душистый мѣхъ,
На плечи кинутый небрежно,

Какъ серьги длинныя блестятъ
И потемнѣвшія зѣницы
Съ восторгомъ жадности глядятъ
Сквозь серебристыя рѣсницы.

Х Р И З А Н Т Е М Ы.

На окнѣ, серебряномъ отъ инея,
Точно хризантемы расцвѣли.
Въ верхнихъ стеклахъ — небо ярко-синее
И застрѣха въ снѣговой пыли.

Всходитъ солнце, бодрое отъ холода,
Золотится отблескомъ окно:
Утро тихо, радостно и молодо,
Бѣлымъ снѣгомъ все запущено.

И все утро яркѣе и чистѣе
Буду видѣть краски въ вышинѣ,
И до полдня будутъ серебристыя
Хризантемы на моемъ окнѣ.

П Е Ч А Л Ь .

На дикихъ скалахъ, среди развалицъ—
Рать кипарисовъ. Она гудить
Подъ вѣтромъ съ моря. Угрюмъ, печаленъ
Пустынный островъ, ногой гранить.

Ужъ берегъ темень—заходятъ тучи.
Какъ крылья чаекъ, среди камней
Мелькаетъ пѣна. Прибой все круче,
Порывы вѣтра—все холоднѣй.

И кто-то скорбный, въ одеждѣ темной,
Стоитъ надъ моремъ... Въ дали—печаль
И сумракъ ночи... Мы все бездомны,
Все безпріютны, но смотримъ—въ даль.

П Ъ С Н Я.

Я—простая дѣвка на баштанѣ,
Онъ—рыбакъ, веселый человѣкъ...
Тонетъ бѣлый парусъ на Лиманѣ —
Много видѣлъ онъ морей и рѣкъ.

Говорятъ, гречанки на Босфорѣ
Хороши... А я черна, худа.
Утопаетъ бѣлый парусъ въ морѣ—
Можетъ, не вернется никогда!

Буду ждать въ погоду, въ непогоду...
Не дождусь—съ баштана разочтусь,
Выйду къ морю, брошу перстень въ воду
И косою черной удавлюсь.

Э С Х И Л Ъ.

Я содрогаюсь, глядя на твои
Черты нѣмныя, полныя могучей
И строгой мысли. Съ древней простотой
Изваянь ты, о старецъ. Безконечно
Далеки дни, когда ты жилъ, и миломъ
Теперь тѣ дни намъ кажутся. Ты страшенъ
Ихъ древностью. Ты страшенъ тѣмъ, что ты,
Незримый въ мірѣ двадцать пять столѣтій,
Незримо въ немъ присутствуешь до нынѣ,
И предъ твоею славой легендарной
Безсильно Время.—Рокъ неотвратимъ,
Все въ мірѣ предначертано Судьбою,
И благо поклоняющимся ей,
Всесильной, осудившей на забвенье
Дѣла всѣхъ дѣлъ. Но ты предъ Адрастеей
Склонилъ чело суровое съ такимъ
Величіемъ, съ такою мощью духа,
Какая подобаеть лишь богамъ
Да смертному, дерзнувшему впервые
Возславить духъ и дерзновење смертныхъ!

КАМЕННАЯ БАБА.

Отъ зноя травы сухи и мертвы.
Стень—безъ границъ, но даль синѣетъ слабо...
Вотъ остовъ лошадиной головы.
Вотъ снова—Каменная Баба

Какъ сонны эти плоскія черты!
Какъ первобытно-грубо это тѣло!
Но я стою, боюсь тебя... А ты
Мнѣ улыбаешься несмѣло.

О, дикое исчадье древней тьмы!
Не ты ль когда-то было громовержцемъ?
— О, да, не Богъ насъ создалъ. Это мы
Боговъ творили скотскимъ сердцемъ.

А Й Я - С О Ф І Я.

Свѣтильники горѣли, непонятный
Звучалъ языкъ,—Великій Шейхъ читалъ
Святой Коранъ,—и куполъ необъятный
Въ угрюмомъ мракѣ пропадалъ

Кривую саблю вскинувъ надъ толпою,
Шейхъ поднималъ ликъ, закрывъ глаза—и страхъ
Царилъ въ толпѣ—и мертвою, слѣпою
Она лежала на коврахъ...

А утромъ храмъ былъ свѣтъ. Все молчало
Въ смиренной, христіанской тишинѣ,
И солнце ярко куполъ озаряло
Въ непостижимой вышинѣ.

И голуби въ немъ, рѣя, ворковали,
И съ вышины, изъ каждаго окна,
Просторъ небесъ и воздухъ сладко звали.
Къ тебѣ, Любовь, къ тебѣ, Весна!

У СЪВЕРНЫХЪ БЕРЕГОВЪ МАЛОЙ АЗИИ.

Здѣсь царство Амазонокъ. Были дики
Ихъ буйныя забавы. Много дней
Звучали здѣсь ихъ радостные клики
И ржаніе купавшихся коней.

По вѣкъ нашъ—мигъ. И кто укажетъ нишѣ,
Гдѣ на пески ступала ихъ нога?
Не вѣтеръ ли среди морской пустыни?
Не эти ли пагіе берега?

Давно унесъ, развѣялъ вѣтеръ южный
Ихъ голоса отъ этихъ береговъ...
Давно слизалъ, размылъ прибой жемчужный
Съ сырыхъ песковъ слѣды подковъ...

А Т Л А Н Ъ.

...И долго долго шли мы плоскогорьемъ
Межъ дикихъ скалъ—все выше, выше къ небу
По камнямъ и кустарникамъ, въ туманѣ
То закрывавшимъ солнце, то, какъ дымъ,
По вѣтру проносившимся предъ нами—
И вдругъ обрывъ, бездонное пространство
И глубоко въ пространствѣ—необъятный,
Туманно восходящій къ горизонту
Своей воздушно-зыбкою равниной
Лилово-синій южный Океанъ...
И Сатана спросилъ, остановившись:
„Ты вѣришь ли въ преданія, въ легенды?“

Еще былъ мартъ, и только что мы вышли
На высшій изъ утесовъ надъ обрывомъ,
Навстрѣчу намъ пахнуло зимней бурей,
И увидалъ я съ горной высоты,
Что пышность южныхъ красокъ въ Океанѣ
Ея дыханіемъ мглистымъ смягчена
И что въ горахъ, къ востоку уходящихъ

Излучинной хребтовъ своихъ, бѣлѣють,
Сквозь тусклость отдаленія, снѣга—
Заоблачные царственные кряжи
Въ холодныхъ вѣчныхъ саванахъ своихъ.
И Духъ спросилъ: „ты вѣришь ли въ Атланта?“

Крѣпясь стоялъ я на скалѣ, а вѣтеръ
Сорвать меня пытался, проносясь
Съ звенящимъ завываньемъ въ низкорослыхъ,
Измятыхъ, искривленныхъ бурей соснахъ,
И доносилъ изъ глубины глухой
Широкій шумъ—шумъ Вѣчности—протяжный
Шумъ дальнихъ волнъ... И, какъ орелъ, впервые
Взмахнувшій изъ родимаго гнѣзда
Надъ ширью Океана, былъ я счастливъ
И упоенъ своею первозданной
Непостижимой силою, Атланты!
—О, да, Титанъ,—я вѣрилъ, жадно вѣрилъ.

ОДИНОЧЕСТВО.

П. А. Нилусу.

И вѣтеръ, и дождикъ, и мгла
Надъ холодной пустыней воды.
Здѣсь жизнь до весны умерла,
До весны опустѣли сады.
Я на дачѣ одинъ. Мнѣ темно
За мольбертомъ—и дуетъ въ окно.

Вчера ты была у меня,
Но тебѣ ужъ тоскливо со мной.
Подъ вечеръ ненастнаго дня
Ты мнѣ стала казаться женой...
Что жъ, прощай! Какъ-нибудь до весны
Проживу и одинъ—безъ жены.

Сегодня идутъ безъ конца
Тѣ же тучи—гряда за грядой.
Твой слѣдъ подъ дождемъ у крыльца
Расплылся, налился водой.
И мнѣ больно глядѣть одному
Въ предвечернюю сѣрую тьму.

Мнѣ крикнуть хотѣлось во слѣдъ
„Воротись—я сроднился съ тобой!“
Но для женщины прошлаго нѣтъ:
Разлюбила—и сталъ ей чужой.
Что жъ! Каминъ затоплю, буду пить...
Хорошо бы собаку купить.

Н. ТЕЛЕШОВЪ.

НАДЗИРАТЕЛЬ

I.

За послѣднее время, всякій разъ приходя на дежурство въ участокъ, околоточный надзиратель Лыжинъ чувствовалъ себя не такъ, какъ раньше; знакомые предметы казались ему не тѣми, какими были и какими будутъ опять для него завтра; даже самъ себѣ онъ казался не тѣмъ, какимъ былъ въ прошломъ году, — и этого впечатлѣнія переменъ онъ никакъ не могъ изгнать изъ своего мозга...

Одинокій, среди ночного затишья, Лыжинъ шагаль изъ угла въ уголь, чувствуя тревогу въ душѣ, шагаль обыкновенно всю ночь до разсвѣта, стараясь подѣ вліяніемъ думъ шагать какъ можно беззвучнѣе; для этого онъ придерживалъ ладонью висѣвшую у бедра пашку, чтобы она не гремѣла о голенища. Иногда, уставая ходить, онъ ложился въ изнеможеніи на длинный и широкій клеенчатый диванъ, на которомъ черная клеенка давно уже растрескалась и облупилась, а подѣ нею торчало мѣстами что-то жесткое, въ родѣ шишекъ, и Лыжину всегда казалось, что въ этомъ диванѣ спрятапы недоброжелатели, которые подставляютъ кулаки подѣ клеенкой — то подѣ спину, то подѣ ляжки, то подѣ бокъ — всякому уставшему человѣку, желающему отдохнуть. И онъ избѣгалъ ложиться, а если когда и ло-

жился, то раздвигалъ сзади фалды мундира, клалъ себѣ на животъ шашку и съ укоромъ думалъ о недоброжелателяхъ, подпиравшихъ ему кулаками спину, поясницу и ноги. Онъ думалъ и о своихъ дѣтяхъ, къ которымъ не притащить бы заразу съ этого дивана; думалъ и о портныхъ, берушихъ за мундиры все дороже и дороже, думалъ о своемъ жалованьи, на какое невозможно становилось существовать съ семьей. Думая обо всемъ этомъ, онъ желалъ отогнать другія мысли, преслѣдовавшія его неотвязно вотъ уже почти годъ.

Прошло то время, когда ему было неприятно сознаніе, что его, околоточнаго Лыжина, совершенно незаслуженно называютъ „крайнимъ сѣменемъ“ и „около-водочнымъ надзирателемъ“, а должность пристава производятъ отъ слова „приставать“... Все это было пустяками и шуткой сравнительно съ теперешними названіями. Теперь уже не стало шутокъ. Теперь всѣ, носящіе серебристый узкій погонъ на плечъ и городской гербъ на фуражкѣ, заподозрѣны въ стремленіи, наравнѣ съ темными перасуждающими людьми, избивать и увѣчять докторовъ и студентовъ, учителей, курсистокъ и даже гимназистовъ.

Пока не доходило до дѣла, Лыжинъ и самъ ничего не имѣлъ противъ того, чтобы „поучить“ беспокойныхъ людей, надоѣдавшихъ такъ много лѣтъ полицейскимъ чиновникамъ, но когда онъ своими глазами увидѣлъ толпу, двигавшуюся по улицѣ съ пѣніемъ, съ красными флагами, когда на этихъ флагахъ онъ увидѣлъ надписи „Да здравствуетъ свобода!“, когда передъ его глазами вырвался изъ переулка взводъ казаковъ съ нагайками, ринувшійся на толпу, когда вмѣсто пѣсенъ послышались щелканье бичей, свистъ въ воздухѣ плетокъ, стоны раненыхъ, проклятія, негодующіе крики, вопли, когда люди, стоявшіе вокругъ него, Лыжина, обнажили шашки навстрѣчу толпѣ и по чьей-то командѣ бросились бить вправо и влѣво безъ разбора по одеждамъ, по лицамъ.

по головамъ и шапкамъ, по спинамъ, по поднятымъ тростямъ, по упавшимъ на мостовую людямъ,—Лыжинъ почувствовалъ, что въ эту минуту рѣшилась вся его судьба, вся его жизнь. Лобъ его стало жечь, языкъ щипало, а сердце колотилось въ груди такъ сильно, точно хотѣло прорвать грудь и мундиръ и вылетѣть куда-то впередъ, на свободу.

Онъ стоялъ въ рядахъ тѣхъ, которые били. Онъ поднималъ руку съ обнаженной шашкой и указывать ею повелительно на толпу. Онъ помнилъ одно молодое лицо съ горящими глазами, на которое онъ указалъ кому-то своей шашкой. Почему онъ это сдѣлалъ и для чего, онъ до сихъ поръ не можетъ отдать себѣ отчета. Онъ видѣлъ, какъ сверкнула передъ нимъ сѣрая полоса стали, видѣлъ, какъ вмѣсто горящихъ глазъ и пылающаго прекраснаго лица стало вдругъ что-то дряблое, темное, мокрое и рухнуло на мостовую, а на мѣстѣ его образовалось на мгновѣнiе въ толпѣ небольшое пустое мѣсто.

Болѣе онъ ничего не помнилъ. У него у самого остановилось сердце; ноги его вдругъ ослабли, шашка вывалилась изъ рукъ, и самъ онъ, теряя сознанiе, упалъ почти рядомъ съ тѣмъ молодымъ, съ прекрасными горѣвшими глазами, на котораго онъ указалъ.

II.

Лыжинъ было стыдно потомъ за то, что у него такiе слабые нервы, за то, что онъ упалъ въ безпамятствѣ, какъ женщина. Онъ велъ себя даже недостойнѣе женщины, потому что въ толпѣ было не мало дѣвушекъ, которыя видѣли то же, что и онъ, однако не падали въ обморокъ и шли впередъ... А онъ упалъ отъ впечатлѣнiя, упалъ въ мундирѣ, съ шашкой въ рукахъ... По счастью, когда онъ упалъ, кто-то изъ своихъ зацѣпилъ его по носу каблукомъ—и изъ носа потекла кровь, залившая

ему усы и бороду, воротникъ мундира и серебристый погонъ. И онъ всёмъ сталъ говорить впослѣдствіи, что былъ раненъ; даже женѣ своей говорилъ, что его кто-то ударилъ по переносицѣ, но наединѣ съ собою онъ не отрицалъ своего малодушія и съ упрекомъ пазывалъ себя мысленно—бабой.

Съ этого же времени Лыжинъ сталъ замѣчать за собою что-то неладное: первые его стали большими, сердце не давало покоя иногда по цѣлымъ суткамъ, и обѣдать онъ сталъ безъ аппетита, и къ службѣ относиться разсѣянно и небрежно. Онъ началъ искать уединенія, и чѣмъ труднѣе оно доставалось ему, тѣмъ болѣе онъ искалъ его и желалъ.

Однажды въ участкѣ одинъ изъ арестованныхъ сказалъ о себѣ приставу:

— За родину и пострадать не обидно.

„Какъ — за родину?“ — молча удивился Лыжинъ и даже смутился. „Вѣдь это мы — за родину, а какъ же они?“...

Въ инструкціи чинамъ корпуса жаандармовъ онъ самъ читалъ, что ихъ обязанность „утереть слезы несчастныхъ, быть государевымъ окомъ“... А вѣдь жаандармы и полиція въ сущности за-одно: противъ тѣхъ.

Не проходило почти ни одного дежурства, чтобы въ участкѣ не появлялись писанные или печатные листки, взывавшіе то къ сердцу, то къ разсудку народа. Ихъ поднимали на улицѣ, отбирали у прохожихъ, арестовывали въ квартирахъ. Иногда за день скоплялись въ участкѣ цѣлые вороха такихъ листовъ, а одинъ разъ даже привезли ихъ ночью въ двухъ огромныхъ тюкахъ. Лыжинъ читалъ ихъ и, читая, видѣлъ передъ собою все то же молодое прекрасное лицо, все тѣ же горящіе живые глаза и видѣлъ темное пятно вмѣсто лица и рухнувшее тѣло, и сѣрую полосу стали, сверкнувшую между

нимъ и тѣмъ юношей, на котораго онъ указалъ тогда.

Бывало раньше онъ бралъ съ собой, идя на дежурство, одѣяло и подушку, говядины съ солью и хлѣбомъ и фляжку, а теперь онъ ничего не хотѣлъ брать. Когда наступало его одиночество, когда онъ оставался одинъ среди опустѣвшихъ комнатъ съ пустыми столами, съ пустыми стульями, съ пустыми скамейками, съ погашенными лампами, съ обсохшими перьями въ грязныхъ ручкахъ, съ печатами и сургучами, точно осиротѣвшими до утра,—онъ сначала садился на свое мѣсто за столикъ и при свѣтѣ одинокой лампы подготавливалъ пробный рапортъ, чтобъ показать дежурному сторожу, будто онъ занятъ дѣломъ.

— Ступай къ себѣ, — говорилъ онъ ему, неписавъ страницу, — я люблю заниматься одинъ.

И сторожъ уходилъ за перегородку.

Когда же все стихало, когда становилось слышно, какъ шуршать по обоямъ тараканы, когда глухая ночь наполняла участокъ мракомъ и чуткой тишиной, тревогой и покоемъ, Лыжинъ вставалъ и начиналъ ходить по канцеляріи осторожными большими шагами, придерживая рукой пашку и стараясь не шумѣть. Онъ останавливался иногда у перегородки изъ сѣтчатой проволоки, за которой днемъ сидитъ точно узникъ паспортистъ Виноградовъ и подкладываетъ и повѣряетъ адресные листки. Теперь же въ темнотѣ и тишинѣ Лыжину казалось, что на мѣстѣ Виноградова сидитъ кто-то другой, съ прекраснымъ лицомъ и прекрасными глазами, и что онъ сейчасъ обратитъ къ нему это свѣтлое лицо и эти глаза и скажетъ ему:

— Утирайте слезы несчастныхъ, будьте государевымъ окомъ, а вотъ я — умеръ за родину.

И Лыжинъ стоялъ передъ сѣткой и ждалъ. Ему было жутко и страшно, но въ то же время хотѣлось, чтобы это страшное сейчасъ же сбылось.

Съ замиравшимъ сердцемъ онъ чиркалъ спичку и подносилъ ея слабый огонь къ проволокѣ и взглядывалъ съ трепетнымъ ожиданіемъ внутрь — и видѣлъ пустой стулъ, пачки листовъ на стальныхъ дугахъ, видѣлъ пустую комнату. А когда гасла спичка, ему опять казалось, что кто-то сидитъ за сѣткой и разбирать листки, точно сортируетъ по адресамъ людей и откладываетъ: утраченныхъ слезы въ одну пачку, а умирающихъ за родину — въ другую.

Нерѣдко среди ночи случалась тревога; то звонилъ телефонъ, то приводили задержанныхъ, то привозили пьяныхъ. Лыжинъ съ неудовольствіемъ отрывался тогда отъ своихъ думъ, лѣнливо составлялъ протоколы, коротко и неохотно отвѣчалъ по телефону и, отдѣлавшись, начиналъ вновь ходить изъ угла въ уголъ съ сдвинутыми бровями, съ сосредоточеннымъ взглядомъ, обращеннымъ въ невѣдомую и неясную для него самого даль.

Съ половины ночи на него нападала тоска, страшная тоска, и онъ дѣлался унылымъ и мрачнымъ.

„Когда бѣсятся собаки, онѣ становятся сначала скучными“, — вспоминалось ему почему-то изъ практики.

И самъ онъ, и всѣ знакомые, и вся Россія представлялись ему скучными и впавшими въ тоску...

III.

Лыжинъ былъ у доктора, жалуясь на нервы и сердце. Поліцейскій врачъ далъ ему капли, велѣлъ пить бромъ и перестать курить.

Разсказывать о себѣ всѣ подробности Лыжинъ стѣснялся, боясь навлечь непріятности по службѣ. Онъ пилъ бромъ и капли, однако думы его оставались все тѣ же и по почамъ попрежнему не давали покоя.

Изъ разныхъ городовъ приходили все чаще извѣстія объ избіеніи молодежи. То тамъ, то тутъ нападали

на учащихся какіе-то люди, увѣчили ихъ и разбѣгались; при этомъ полиція, какъ писали въ газетахъ, хранила благосклонный нейтралитетъ...

И Лыжинъ думалъ: неужели все это именно такъ и было? и самъ себѣ не хотѣлъ вѣрить, когда слыхивалъ отъ пристава:

— Я бы имъ, мерзавцамъ, и не то еще показалъ!

Читая обо всемъ этомъ, Лыжинъ, незамѣтно для себя, оставлялъ иногда газету, клалъ на нее руки и, не моргая, долго глядѣлъ куда-то впередъ, гдѣ рисовались ему знакомыя лица, знакомыя картины, пока звонокъ, или голосъ, или шумъ не выводили его изъ этого оцѣпенѣнія.

Однажды въ участокъ къ Лыжину пришелъ какой-то человѣкъ, по виду рыночный торговецъ, съ картузомъ въ одной рукѣ и съ газетой—въ другой.

— Что вамъ угодно?—спросилъ Лыжинъ.

Тотъ отвѣчалъ, горячась и запинаясь:

— Потому какъ я, ваше благородіе, истинно-русскій человѣкъ и патріотъ,—а вотъ вѣдомости вонъ что пишутъ...

Онъ положилъ газету на столъ и началъ тыкать въ нее крѣпкимъ, толстымъ пальцемъ, окруженнымъ толстымъ обручальнымъ кольцомъ.

Очевидно, текетъ онъ давно уже зазубрилъ наизусть.

— Извольте читать-съ; сказано прямо: „русскіе люди, родные наши, братья наши — откликнитесь! Дайте волю вашему сердцу, и оно подскажетъ вамъ, что надо дѣлать... Какъ прежде уничтожали Лжедмитріевъ-самозванцевъ, такъ и теперь надо русскому люду уничтожать гнусныхъ крамольниковъ... И первая казнь, которую народъ совершить...“

— Это какихъ же крамольниковъ? — перебилъ Лыжинъ.

— Студентовъ тамъ, всякихъ другихъ... Извольте сами читать,—нагнулся онъ надъ газетой и повернулъ ее къ Лыжину, не отнимая отъ строкъ своего толстаго пальца.—Извольте читать: инте-ли-ли...

— Интеллигенцію,—выручилъ его Лыжинъ.

— Вотъ, вотъ! Это самое!

— Такъ вамъ-то что же надобно? Вы кто такое сами?

— Я-то-съ?.. Мѣщанинъ Подрядышевъ... хоругвено-сець... На уголкѣ здѣсь, наискось отъ аптеки, мясомъ торгую. Изволите, небось, знать.

— Хоругвеносець?—переспросилъ Лыжинъ и болѣе уже ничего не слышалъ что говорилъ ему посѣтитель. Онъ уставился въ него своими неморгающими глазами, видѣлъ его коренастую фигуру, грубое скуластое лицо съ узкимъ лбомъ и мясистымъ посомъ, съ узкими злыми глазами, видѣлъ его крѣпкій указательный палецъ съ толстымъ золотымъ кольцомъ, и мысленно представлялъ себѣ жену и дѣтей этого мѣщанина и думалъ:— Хорошъ же, должно быть, ты дома: страхъ и гроза; и жену свою бьешь по лицу и дѣтей колотишь...

— Такъ что же можете отвѣтить, ваше благородіе... Когда же назначено? Мы васъ поддержимъ... мы всегда съ удовольствіемъ, какъ патріоты, истинно-русскіе...

Лыжинъ продолжалъ глядѣть на него въ упоръ, не слыша его и не отвѣчая.

— Такъ вы—хоругвеносець?..

— Такъ точно.

„Хоругвь—вѣдь это знамя!“—думалъ между тѣмъ Лыжинъ, глядя куда-то выше лица мѣщанина, выше его волосъ.

— И вы его носите?

— Такъ точно. Въ крестные ходы... на Иорданъ... въ Свѣтлый день...

Лыжинъ опустилъ голову и замолчалъ.

Мѣщанинъ говорилъ еще что-то, чего Лыжинъ не слыхалъ или не понималъ. Наконецъ, въ голосѣ Подрядышева зазвучала сердитая вызывающая нота:

— Нешто вы не здѣшній? Нешто вы не знаете-съ, что такое хоругвеносецъ?.. Что же это такое-съ, послѣ этого-съ?..

Не отвѣчая, не возражая, Лыжинъ пристально глядѣлъ опять въ самые глаза хоругвеносца, а тотъ избѣгалъ его взглядовъ и старался смотрѣть въ сторону, по взгляды ихъ невольно встрѣчались, точно сталкивались, и вновь расходились, и опять сталкивались.

„Носить хоругви, а глаза не горятъ“,—думалъ Лыжинъ и, глядя на Подрядышева, воображалъ его въ парадной формѣ: въ поддевкѣ съ серебристой мишурной бахромой по талии, по плечамъ, по вороту и обшлагамъ, воображалъ его несущимъ высоко надъ головою на тонкомъ древкѣ золотую хоругвь и думалъ:— „Пѣть, не загорятся его глаза... Никогда не могутъ они загорѣться...“

— Чего-же-съ вы въ меня такъ вопзились?—разсердился наконецъ Подрядышевъ —Ежели не можете прямо отвѣтить, такъ я зайду къ приставу Ваше дѣло, конечно, маленькое... очень понятно. — Завтра я лучше къ приставу Въ вѣдомостяхъ прямо указано: бить эту самую ан-те... Какъ ее?.. Анте-ли-ли...

IV.

Дома въ свободные вечера, какихъ бывало очень немного, Лыжинъ чувствовалъ себя лучше. Снявши мундиръ, онъ одѣвался тамъ въ простую синюю рубашку, подпоясывался ремнемъ и съ удовольствіемъ воображалъ себя обыкновеннымъ человѣкомъ, которому не нужно ничего ни тѣшить, ни хватать, ни рубить.

Кромѣ кухни у него было двѣ комнаты—дѣтская и спальня. Изъ спальни онъ выдѣлилъ себѣ крошечный

уголокъ, перегородилъ его ситцевой драпировкой и поставилъ столъ; это было его кабинетомъ и пріемной. Но и съ этимъ уединеніемъ пришлось вскорѣ разстаться: къ женѣ пріѣхала сестра, Екатерина Даниловна. У жены было много сестеръ, и дѣти называли ихъ тетей Дашей, тетей Сашей, тетей Маншей, а Екатерину Даниловну прозвали тетей Кашей.

Тетя Каша была низкорослая кругленькая женщина, лѣтъ тридцати, не живущая съ мужемъ, очень веселая и говорившая смѣясь про всѣхъ, кто бы это ни былъ:
— Все врать!

Когда Лыжинъ рассказывалъ о наяды о томъ, что совѣсть его неспокойна, тетя Каша хохотала и, указывая на него женѣ и дѣтямъ, взвизгивала весело:

— Все врать! все врать!

Про хоругвеносца Лыжинъ дома тоже рассказывалъ. Тетя Каша, услышавъ, что хоругвеносецъ, какъ патриотъ, желаетъ бить интеллигенцію, смѣялась и возражала:

— Все врать!

Даже когда появилось въ газетахъ извѣстіе, будто губернаторъ кому-то сказалъ, что уходитъ добровольно въ отставку, тетя Каша, уже безъ смѣха и съ уваженіемъ, заявила:

— Не можетъ этого быть: все врать!

Съ пріѣздомъ тети Кашы, Лыжинъ лишился послѣдняго уголка, гдѣ могъ бы найти уединеніе. И онъ поставилъ въ сѣняхъ, возлѣ стеклянной двери, простую тесовую табуретку. На ней, заложивъ ногу на ногу и подперевъ ладонями скулы, онъ просиживалъ въ одиночествѣ два-три часа. Всѣ спали вокругъ него, а онъ сидѣлъ и думалъ. Такъ же, какъ и въ участкѣ, онъ слышалъ, какъ тараканы шуршали по обоямъ, какъ иногда хрустѣлъ или трещалъ полъ, какъ пробѣгали мыши. Чтобы быть безъ людей, но не быть одному, онъ

бралъ иногда па колѣни къ себѣ Амку, собаку тети Каши, темную, длинную, на короткихъ ножкахъ, съ узкой мордочкой, помѣсь таксы.

Иногда ему хотѣлось кричать о своихъ думахъ, гріпчать, чтобы стало легче, но онъ зналъ, что кричать нельзя, потому что спать дѣти, спать жена, всегда больная, всегда несчастная, которой нуженъ покой, но котораго нѣтъ и никогда не будетъ. Не только крикнуть, но даже шагать, какъ въ участкѣ, Лыжину было нельзя, и онъ сидѣлъ на таcуреткѣ одиноко и смирно почти не шевелясь; иногда лишь схватывалъ собаку и, гладилъ ее молча. Болѣе этого онъ ничего не смѣлъ дѣлать: онъ понималъ, что онъ дома, гдѣ всѣ—спать...

Начиналъ онъ понимать также и то, что онъ боленъ, и иногда, прижимая къ груди теплое мохнатое тѣло собаки, раскачивался съ нею на табуретѣ, точно съ ребенкомъ, и, боясь хоть однимъ звукомъ нарушить ночную тишину, кричалъ мысленно:

— Амочка!.. Амка!.. Вѣдь мы съ тобой --- какъ два пса!..

Иногда Лыжинъ заходилъ въ дѣтскую, гдѣ жили его три маленькія дочери и сынъ Володя, которому былъ только годъ; онъ умѣлъ уже смѣяться, умѣлъ радостно и безпечно глядѣть на отца своими свѣтлыми молочными глазами и называть его „папой“, когда Лыжинъ входилъ къ нему въ синей рубашкѣ; когда же онъ входилъ въ мундирѣ, ребенокъ настойчиво и капризно тянулся руками къ серебристому погону и называлъ отца уже не папой, а „дядей“...

Глядя на Володю, Лыжинъ думалъ, что и самъ онъ, и губернаторъ, и нигилистъ, и хоругвеносецъ — были когда-то такими же... И тотъ юноша съ ясными глазами былъ недавно такой же... Всѣ были такъ же довѣрчивы, такъ же смѣялись, такъ же называли кого-нибудь папой... И ему хотѣлось заглянуть въ будущее,

за двадцать, за тридцать лѣтъ впередъ, чтобы увидать—къмъ станетъ его Володя, какъ онъ будетъ думать, что дѣлать, какъ относиться къ отцу... И ему хотѣлось сказать Володѣ:

— Что будетъ съ тобою, съ твоими сестренками, съ твоей мамой, что будетъ съ тетей Кашей, даже съ Амкой-собакой, что будетъ, наконецъ, со мною самимъ, если я сорву сейчасъ съ себя этотъ мундиръ и брошу его въ печку и никогда болѣе не пойду въ участокъ? Что будетъ завтра же со всѣми нами и съ тобой, и со мною, и со всѣми?...

Онъ закрывалъ глаза ладонями, крѣпко упирался въ нихъ всѣмъ лицомъ—скулами, щеками и лбомъ; потомъ, перекрестивши сына, шелъ на дежурство, или въ парадъ на улицу, или въ обходъ по участку, козыряя встрѣчнымъ знакомымъ, сурово опрашивая городскихъ и вытягиваясь передъ приставомъ, который за послѣднее время былъ строгъ и уже дважды дѣлалъ ему замѣчанія.

V.

Настали свѣтлыя весеннія ночи. Въ отворенныя окна доносился запахъ тополей, доносился стукъ колесъ, говоръ и отдаленный неясный шумъ, точно весь городъ ожилъ и загудѣлъ, какъ улей.

Запирая на ночь свой кабинетъ, приставъ громко сказалъ дежурному:

— Надзиратель Лыжинъ! Ожидаются безпорядки; требую особаго вниманія на дежурствѣ; остальное вамъ все извѣстно.

— Слушаю, ваше высокородіе!—отвѣчалъ Лыжинъ, покорно опутивъ и вытянувъ по швамъ руки.

— Надѣюсь принять отъ васъ завтра рапортъ вполне благополучный.

— Радъ стараться, ваше высокородіе!

Приставъ положилъ ключъ въ карманъ и, взмахнувъ небрежно около виска двумя пальцами, надѣлъ фуражку и вышелъ, звеня шпорами.

— А чего жъ еще ждать, какъ не безпорядковъ? — подумалъ Лыжинъ, глядя равнодушно на захлопнутую дверь.

Отославъ за перегородку сторожа и оставшись въ одиночествѣ, Лыжинъ долго шагаль по присутствію. Въ отворенныя окна вносился свѣжій душистый воздухъ, влетала пыль; на подоконникѣ шелестѣла газета точно сама собою, точно была живая, а городъ самъ по себѣ гремѣлъ таинственнымъ непрерывнымъ гуломъ.

Лыжинъ прислушивался и къ шуму города, и къ шелесту газеты, не мѣшавшимъ другъ другу, и къ скрипу своихъ шаговъ.

Первый разъ въ жизни почувствовалъ онъ себя глубоко несчастнымъ человѣкомъ, обиженнымъ и обманутымъ, точно его кто-то обворовалъ, — хотя ничего особеннаго не случилось: такъ же хворала жена, такъ же не хватало денегъ, такъ же ѣли и пили дѣти, Амка и тетя Каша, только на улицахъ пахло тополями и клейкими почками и свѣжей землей...

Прислушиваясь къ шуму, принюхиваясь къ воздуху, Лыжинъ вдругъ вспомнилъ, что онъ никогда не слышалъ, какъ весной поютъ соловьи. Онъ не знавалъ въ лицо ни дрозда, ни малиновки, не слыхивалъ ни весеннихъ пѣсенъ жаворонка, ни предзимняго клекота журавлей.

— А за какимъ мнѣ чортомъ нужны журавли, соловьи и прочее? — прерывалъ онъ самъ себя, однако понималъ, что огромная сторона жизни, помимо журавлей и соловьевъ, оставалась для него неизвѣстной.

О журавляхъ и жаворонкахъ, о счастіи и свободѣ онъ знавалъ столько же, сколько объ Австраліи, гдѣ будто бы листья на деревьяхъ растутъ не плашмя, какъ

у насъ, а—ребромъ... Лучшіе годы его жизни ушли на инныя познанія—и вотъ привычныя образы стоятъ передъ нимъ: помойныя ямы, пьяныя рожи, протоколы, начальство, извозчики и аресты... Къ нимъ прибавились еще новые образы: крамольники и нагайки... И изъ всей этой вереницы, какъ солнце изъ тучъ, глядѣли на него прекрасныя молодые глаза, точно глядѣли они смѣло и радостно навстрѣчу чему-то великому, и Лыжинъ зналъ, какъ зовутъ это великое, но не хотѣлъ называть его даже мысленно, но имя это слышалось отовсюду: звенѣло въ его мозгу, въ ушахъ и гуломъ несло въ всему городу:

— Свобода!.. Свобода!..

Булыжныя мостовыя подъ катящимися колесами, говоръ людей, окрики кучеровъ, свѣжесть и запахъ зелени и земли — все сливалось въ одну волну, широкую и гудящую:

— Свобода! Свобода!

Но вдругъ изъ этой окружающей жизни вытягивалась сѣрая, узкая, холодная полоса стали — и меркли передъ нею горячіе глаза, и кругомъ все темнѣло, и городъ гудѣлъ ровно и однотонно, будто вся мостовая, экипажи и голоса сливались, повторяя въ ритмъ безстрастно и безмысленно:

— Анте-ли-ли...

И мгла, точно море, охватывала и заполняла все, и въ ней, точно въ морѣ, плавали и купались толстыя бородатыя головы съ жирными носами и злыми глазами, колыхались сжатые кулаки съ золотыми обручальными кольцами на указательныхъ пальцахъ, высовывались и прятались ноги въ тяжелыхъ смазныхъ сапогахъ съ подкованными каблуками, носились по волнамъ поддевки съ серебристой бахромой, плавали ожирѣвшіе животы, узкіе тупые лбы, и, точно щупальцы, показывались иногда на поверхности чьи-то пальцы съ ладонями и

жадно хватались за воздухъ, разжимались и снова хватались... И все это качалось, ныряло, тонуло и вновь всплывало подъ общій протяжный полусонный гулъ:

— Ан-те-ли...ли...

Тридцать восемь лѣтъ Лыжинъ считалъ все, что дѣлается въ жизни, хорошимъ и необходимымъ для чего-то и для чего-то, и только теперь онъ задумался: хорошо ли все это.

Онъ вспомнилъ своего дядю, пристава, котораго недавно насквозь прострѣлили въ Варшавѣ; вспомнилъ и дальняго родственника жены—доктора; этого въ Нижнемъ исколотили до полусмерти. Ни съ тѣмъ, ни съ другимъ онъ близокъ не былъ, не былъ почти и знакомъ, но жаль было скорѣе избитаго доктора. Почему же?... Впрочемъ жаль было и дядю...

Теченіе его мыслей было внезапно нарушено. Въ участокъ привели буяна, котораго было пужно усмирить и посадить до утра за рѣшетку для выясненія личности.

VI.

Луна глядѣла прямо въ окна.

Блѣдныя зеленоватыя полосы, легкія и воздушныя, свѣтились въ комнатахъ, пронизывая стекла, скользя по подоконникамъ и падая по полу, то широкими квадратами, то узкими линіями, попережку съ тѣнями. Казалось, будто невдалекѣ отъ оконъ распластались по полу—немного наискось—такія же рамы, съ темными переплетами, съ форточками и скобами, только туманнѣе и длиннѣе...

Городъ затихъ; лишь изрѣдка мимо дома проѣзжалъ не торопясь извозчикъ; но Лыжину казалось, что гдѣ-то вдалекѣ все еще стоитъ надъ городомъ этотъ недавній гулъ и что тысячи людей, десятки тысячъ чего-то ждутъ, чего-то просятъ и требуютъ и кричатъ въ одинъ голосъ объ одномъ и томъ же.

Прижимая ладонью пашку, Лыжинъ мягкими шагами, почти крадучись, останавливаясь и чуть присѣдая, ходилъ по безлюднымъ комнатамъ, то освѣщенный луной, то окутанный тьмою, то вновь освѣщенный, и думалъ, крѣпко сдвинувши брови и глядя впередъ неморгающими глазами.

Онъ опомнился на мысли о своей матери, которая лежитъ въ глубинѣ рощи за монастырской оградой, далеко отсюда, въ другомъ городѣ. Онъ вспомнилъ, какъ однажды заказалъ панихиду на ея могилѣ, какъ среди рощи въ лѣтній жаркій полдень странно звучалъ басистый голосъ дьякона... Каркали на деревьяхъ вороны, шумѣли листья, дулъ вѣтеръ, и дьяконскій басъ былъ похожъ на жужжаніе шмеля...

Лыжинъ остановился и прислушался.

Этѣ буянъ за рѣшеткой, тономъ дьякона, густымъ тихимъ басомъ, точно за версту отсюда возглашая ектенію, гудѣлъ мѣрно, какъ шмель, безъ всякаго задора, спокойно и серьезно:

— Долой всѣхъ и каждого... да здравствуетъ свобода...

Лыжинъ улыбнулся, но потомъ бросился къ рѣшеткѣ и затопалъ ногами.

— Цыцъ, ты! Негодяй!!!—крикнулъ онъ, задыхаясь отъ волненія.

Лежа на полу, буянъ приподнялъ голову и узкими глазами съ недоумѣніемъ взглянулъ на Лыжина, потомъ повернулся задомъ и сталъ сопѣть, какъ бы вновь засыпая.

Въ дверяхъ стоялъ сторожъ и тоже удивленно глядѣлъ на Лыжина.

— Орать вздумалъ,—строго, но съ смущеніемъ замѣтилъ сторожу Лыжинъ, кивнувъ на буяна.—Ничего... иди къ себѣ; я это только такъ... для остратки...

Принявши позу побѣдителя и грозно глядя на рѣ-

шетку, Лыжинъ постоялъ съ минуту, пока сторожъ не скрылся за своей перегородкой, но какъ только онъ ушелъ, Лыжинъ сразу опустилъ плечи и закрылъ руками лицо. Ноги его задрожали, задрожала спина, руки и голова—и онъ бросился въ дежурную, упалъ ничкомъ на диванъ и зарыдалъ, затаивая въ себѣ слезы и голосъ и дыханіе.

„Безпорядки!.. Боже мой... Опять ожидаются безпорядки!..“

И приставъ, сказавшій на прощанье это страшное слово, началъ казаться Лыжину чернымъ, маленькимъ и крылатымъ, съ длиннымъ клювомъ, на тонкихъ ногахъ съ цѣпкими когтями — какъ воронъ, каркающій надъ его головою:

— Ожидаются безпорядки!

И Лыжину воображалась толпа съ красными флагами... Ее сзади хлестали нагайками, а спереди встрѣчали они—съ обнаженными шашками, а надъ всѣми ними носился въ весеннемъ пахучемъ воздухѣ черный воронъ и каркалъ... Изъ кожаной казенной подушки, въ которую Лыжинъ уткнулся лицомъ, глядѣли опять на него въ упоръ ясные радостные глаза, дышало жизнью и смѣлостью молодое лицо, и, точно въ телефонъ, гудѣли прямо въ уши ему торжествующіе голоса толпы:

— Свобода! Свобода!

И переставъ рыдать, Лыжинъ началъ улыбаться въ отвѣтъ этимъ голосамъ, этому лицу, какъ будто никогда и ничего не было между ними враждебнаго, какъ будто вмѣстѣ и всегда шли они заодно, какъ будто вмѣстѣ умирали за родину, вмѣстѣ страдали, ненавидѣли и любили и никогда не утирали ничьихъ слезъ кромѣ своихъ, которыхъ было много, очень много...

Лыжинъ всталъ, протеръ себѣ глаза и сильнымъ движеніемъ распахнулъ окно.

Прии-
гами, по-
дая, ход-
луной,
думалъ,
моргаю-

Онь
лежитъ
далеко
какъ
среди
басно-
ропы,
былъ

Д.
Э

тихи-
ню,
спок-

бод-

ше-

отъ

гл.

то-

за

дѣ

м

и

вотомъ, влагой и клей-
и. И луна глядѣла
ны, блестящая и чуж-
вать въ своей жизни
но, грозно и жадно; и
авался за пустяки, хва-
и умираетъ съ улыб-
стоялъ противъ сво-
жился, точно въ какомъ-
е и ждать, кромѣ страха

взричалъ вдругъ Лыжинъ,
именно оттуда и сыпались
тяжкія несчастія.

казалъ онъ самъ себѣ спо-
кого.

раздѣваясь передъ сномъ,
которомъ висѣла пашка, не
въ-подъ погонь, смоталъ въ
съ пашкой на свой де-
мундиръ и положилъ на
предумано такъ много думъ;
готовленный для рапорта, и
тельнымъ почеркомъ:

Васкоблагородіе

господинъ Приставъ.

вѣтъ угодно—утирайте слезы не-
души, чтобъ это было именно
виновать, и умираю. Да
господинъ приставъ!"
въ канцелярію, гдѣ висѣла на
вставленная въ тяжелую золоче-
быть когда-то старый портретъ.
пустивъ руки, Лыжинъ долго гля-

дѣлъ на карту пристальнымъ взглядомъ. При мягкомъ свѣтѣ луны онъ видѣлъ прихотливыя очертанія границъ своей родины, похожія на узоры, какими иногда морозъ расписываетъ стекла. Вонъ—Балтійское море: точно жепщина стоитъ на колѣнахъ передъ Петербургомъ... а Швеція и Норвегія бѣгутъ отъ него въ образѣ какого-то звѣря... вонъ Камчатка—въ родѣ пики... вотъ Каспійское море, похожее на коня, вставшаго на дыбы...

Онъ чиркнулъ спичку и, освѣтивъ на минуту карту, отыскалъ на ней точку, называвшуюся его роднымъ городомъ. Какъ она была мала и ничтожна передъ всей родиной! А вѣдь въ ней заключались площади и дома, церкви и тюрьмы... жило множество людей, родилось и умирало... Одни изъ нихъ желали чего-то и куда-то стремились, другіе ничего не желали и никуда не стремились... Одни шли впередъ, другіе ихъ били... рубили... И все это заключалось въ одной точкѣ. Только въ точкѣ!.. А вокругъ лежали пустыни, по которымъ разбросаны были другія такія же точки...

Потомъ онъ влѣзъ на стулъ, снялъ съ стѣны раму, бережно отнесъ ее и прислонилъ къ противоположной стѣнѣ лицомъ въ комнату; потомъ отвязалъ отъ рамки перекрученную двойную веревку, зацѣпилъ ее крѣпко за костыль, на которомъ она раньше висѣла, съ другого конца сдѣлалъ короткую петлю, надѣлъ ее себѣ на шею, и какъ только надѣлъ, ударомъ ступни, съ презрѣніемъ, вытолкнулъ изъ-подъ ногъ далеко отъ себя стулъ и повисъ прямо противъ карты, съ которой глядѣла на него вся Россія съ ея городами и деревнями, съ степями и болотами, съ безлюдными пространствами, съ закрытыми морями...

До самаго утра, пока не вошелъ сторожъ, Лыжинъ глядѣлъ холодными остановившимися глазами въ лицо своей родинѣ, точно въ удивленіи созерцая ее всю,



I.

Они взбирались среди молчаливой почти между угрюмо и неподвижно чернѣвшими соснами. Подъ ногами съ хрустѣніемъ разступался невидимый мокрый снѣгъ, или чмокала также невидимая, липкая, надоедливая, тяжело хватавшаяся за сапоги грязь.

Внизу у моря тепло стлалась синяя весенняя ночь, а здѣсь ни одна звѣзда не заглядывала сквозь мрачную тучу простиравшейся надъ головами хвои, и все глуше, все строже становилось по мѣрѣ подъема.

Тотъ, который пробирался впереди и котораго такъ же не видно было, какъ и всѣхъ остальныхъ, остановился, должно быть, снялъ шапку и сталъ стирать взмокшій лобъ, лицо. И всѣ остановились, смутно выдѣляясь, шумно дыша, сморкаясь, вытирая потъ, и заговорили разомъ и беспорядочно.

— Ну, дорога,—могила!..

— Ложись, заразъ закопаемъ.

— Братцы, кисетъ утерялъ... сука твоя мать!..

Загорѣлись спички, красновато зажглись двигавшіяся въ разныхъ мѣстахъ папирсы, освѣщая временами кусокъ носа, усь, часть заросшей щеки или выставившійся мохнатый конецъ сосновой вѣтви. И когда немного от-

дохнули и дыханіе стало ровное и спокойное, опять стояло строгое всепоглощающее молчаніе.

— Вотъ когда въ Грузіи служилъ, тоже горы... фу-у, ну и высокія, такъ тамъ завсегда — зима, и лѣтомъ — зима, такъ снѣгъ и лежитъ, нанизу жара, а тамъ — снѣгъ.

Снова слышны тяжелые срывающіеся шаги, глубокое дыханіе и хрустъ невидимаго снѣга, становившагося морознѣе, суше, скрипуче. И воздухъ былъ острый, звонкій, покусывавшій за уши. Иной разъ люди проваливались, слышалась возня, крѣпкія слова и учащенное, прерывистое дыханіе.

Давно погасли папиросы. Послѣдніе окурки, тонко чертя огнистый слѣдъ и разсыпая золотыя искры, полетѣли и нѣсколько секундъ во тьмѣ красновато свѣтились на снѣгу и тоже потухли.

— Должно, года черезъ два дойдемъ..

— Сдохнешь гдѣ-нибудь подъ сосной, покуда дойдешь.

— Да куда мы идемъ?!.. ребята!.. киселя хлебать...

— А все Ехвимъ... пойдемъ да пойдемъ, а куда пойдемъ — самъ не знаетъ...

И всѣ шли. Нельзя было остановиться, остаться одному, свернуть, пойти назадъ. Кругомъ — кромѣшная темь, молчаливыя сосны. Невидимая тропка уже на второмъ шагу терялась подъ ногами.

Времнами наплывало мутное и влажное, и хотя было темно, хотъ глазъ коли, оно казалось бѣлесымъ, безформеннымъ и мѣняющимся. Тогда охватывала разслабленность и апатія, и хотѣлось лечь на снѣгъ и лежать неподвижно въ поту и испаринѣ. Потомъ также беззвучно и безслѣдно проносилось, и стояло молчаніе и нешевелиющаяся тьма.

Въ темнотѣ высоко засвѣтился огонекъ. Пробираясь, скрипя по холодному снѣгу, то и дѣло подымали головы и глядѣли на него, а онъ также одиноко глядѣлъ на нихъ въ пустынь черной ночи.

— Въ жисть не узнаешь, гдѣ мы теперь.

— Вотъ, братцы...

— Ехвимъ Сазонтычъ, голову тебѣ оторвемъ, ежели да какъ заведешь...

— Такъ лѣзть будемъ, скоро до царствія небеснаго долѣземъ.

— Ей Богу, долѣземъ... хо-хо-хо!..

И въ горахъ, поглощенныхъ тьмой, хохотомъ перекликнулись человѣческіе голоса.

Ночь сурово покрыла строгой тишиной говорившихъ.

— А-а... гляди, гляди!..

— Братцы, чего такое?

— Навожденіе!..

Посыпались восклицанія удивленія. Имъ отвѣтили починые голоса. Всѣ разомъ остановились. Все попрежнему было поглощено зіяющей тьмой, но снѣговая стѣна, уходившая въ черное небо, слабо выступала таинственной синевой. Призрачно чудился тихій, странный, невѣдомый отсвѣтъ. По снѣжной, едва проступавшей, стѣнѣ двигались гигантскіе силуэты, также внезапно остановились и стали оживленно жестиковать, какъ жестиковали остановившіеся люди.

Всѣ, какъ по командѣ, обернулись. Черная бездна, до краевъ заполненная густой тьмой, простиралась, и не было ей конца и краю. Далеко внизу, на самомъ днѣ, голубымъ сіяніемъ сіяло множество огней. Они ничего не освѣщали, кругомъ было также мрачно, но казались веселыми, отсвѣтъ ихъ добѣгалъ черезъ десятокъ верстъ, и отъ людей призрачно ложились смутныя, едва уловимыя тѣни на слабо озаренный снѣгъ.

Это былъ городъ.

Долго стояли и молча глядѣли на далекіе сіяющіе огни.

— Ночь, а господа теперича самое гуляютъ по трактирамъ, да по гостиницамъ, али въ карты.

— Господа гуляютъ, а насъ нелегкая несетъ, не знать куда.

— Диковина, далече, а свѣтитъ.

— Электричество, извѣстно.

— Ну айда, что ротъ-то разинули, не видали.

Огонекъ, державшійся среди черноты ночи, пропалъ, потомъ опять мелькнулъ, вызывая надежду, снова пропалъ, и разомъ раздвинулся между смутно выступившими соснами красновато освѣщенный четырехугольникъ окна, слабо ложась полосой на снѣгъ и ближніе стволы.

Всѣ шумно столпились у неясно обрисовавшихся стѣны и дверей. Стукнули кольцомъ, и эхо горъ откликнулось, и отзвукъ длительный, мягкій и унылый далеко покатился среди ночи. И ночь простиралась ровная, одинаковая, всепоглощающая, какъ будто въ ней не было ни лѣса, ни горъ, а одна ненасытимая, заполненная мракомъ, звучащая пустота.

— Эй, дядя Семень, отпирай!

— ...а-а-ай!..—мягко слабѣя, пропадало во мглѣ.

II.

Стоны женщины неслись, то слабѣя, то усиливаясь, то совсѣмъ замолкая. Все тѣ же приступы невыносимой боли, тотъ же безжалостно давившій черный отъ копоти потолокъ и тоненькій, какъ змѣйка, звукъ коптящей лампочки на стѣнѣ.

Безконечная ночь, упорно-тяжело глядѣвшая въ слѣпыя окна, мутно бѣлѣла снѣгами. Ребятишки, измученные за день, забытые и голодные, въ самыхъ неудобныхъ положеніяхъ спали, разметавшись по нарамъ.

— Оо... о-о-ооох-ох-ох... ох... о-о-о!.. Господи, смертынька моя... ой-ой-ой... батюшки...

Совсѣмъ молоденькая съ горячечнымъ румянцемъ на щекахъ, со свѣсившимися на одну сторону волосами, беременная баба въ пестрядинной рубахѣ корчилась на

застланной соломой и покрытой дерюгой кровати, и голова ее металась изъ стороны въ сторону.

Бородатый, лѣтъ за сорокъ, второй разъ женатый мужикъ, съ пятерыми дѣтьми отъ первой жены, наклонившись, сосредоточенно, молча и неуклюже мѣсилъ засученными въ волосахъ руками тѣсто. Оно пучилось, лопалось пузырями, назойливо липло къ рукамъ, особенно цѣпко держась на волосахъ, а онъ хмуро соскребалъ и сильнымъ движеніемъ сбрасывалъ плюхавшій въ общую массу комокъ.

— Тятъ... тятъ... бб... бл... блезли... двя... двя... двя... — торопливо и сонно забормоталъ кто-то изъ ребятншекъ.

Мягко ступая, степенно вышелъ на середину котъ, прижмурившись, поглядѣлъ на хозяина, на тоненько поющую лампочку, повелъ хвостомъ и также медленно и важно направился къ печкѣ, свернулся клубочкомъ и, зажмуриваясь, сладко замурлыкалъ.

— Оооо... ооххоо-хо-хо... оооххъ!.. смерть моя!.. Сѣмъ, а Сѣмъ!..

— Чево?

— Помираю я... попа бы... Господи...

Она заплакала.

Мужикъ съ одной и той же, никогда не покидавшей, думой на лицѣ молча мѣсилъ, потомъ сосредоточенно сталъ обирать съ мускулистой руки налипшее тѣсто.

— Всѣ бабы родятъ, не ты первая.

И, помолчавъ, мотнулъ головой на нары:

— Вона... пятеро.

Котъ, задремывая и заводя вѣлки, пересталъ мурлыкать. Женщина замолкла. Только лампочка тоненько тянула жалобу, да ночь мутно глядѣла въ окно, и все та же, никогда не оставляющая, дума лежала на обвѣтренномъ, заросшемъ бородой, лицѣ мужика.

Нарушая тишину, безлюдье и неподвижный ночной покой, стукнуло снаружи кольцо, слышались голоса,

скрипъ шаговъ по снѣгу, и въ горахъ многоголосно откликнулись ночные голоса, слабѣя и замирая.

Мужикъ пересталъ мѣсить, поднялъ голову, прислушался и сталъ счищать съ рукъ налипшее и падавшее кусками тѣсто. Котъ проснулся и наострилъ уши.

— Ты, Ехвимъ?

— Я... отворь.

Дверь отворилась, и вмѣстѣ съ клубами холодного воздуха вошелъ плечистый, съ ухватками лѣснаго медвѣдя, парень съ голымъ, безбородымъ, безусымъ лицомъ. За нимъ, толпясь, стали пробираться другіе, заполняя маленькій чуланчикъ.

— Во народу привалило.

Хозяинъ крикнулъ.

— Э-эххъ!.. а у меня дѣла, — и почесалъ въ затылкѣ.

— Что?

— Жана родить.

— Ну-у?.. что такъ рано?

— Да рано... такъ мекать двѣ недѣли еще, а она во, не спросилась.

Парень тоже снялъ шапку и поскребъ голову.

— Экъ ты!.. куды же мы теперича?.. народъ... гляди, сколь пѣрли, замучились.

— Чево стали?.. — раздалось изъ заднихъ рядовъ, толпившихся передъ дверью.

Хозяинъ подумалъ.

— Ступайте въ холодную... и радъ бы, сами видите, каки дѣла...

— Ну ничего, не будемъ раздѣваться, міромъ дыхать станемъ, обогрѣемъ... чайничекъ поставить можно?

— Чайникъ можно, все одно бабѣ воду буду грѣть.

Всѣ повалили изъ чуланчика въ холодную половину шоссейной казармы.

Дыханіе тонкимъ паромъ посплосъ въ воздухѣ и

играло радужнымъ ореоломъ вокругъ принесенной лампочки.

Въ углу навалены лопаты, кирки, топоры, массивные ломы, опрокинута нѣсколько тачекъ. Принесли доски, положили концами на обрубки, и стали располагаться усталые, мокрые и довольные, что добрались.

— Сказывалъ до царства небснаго долѣземъ, вотъ и долѣзли.

Когда вскипѣлъ чайникъ, и всѣ, взявъ по крохотному кусочку сахара, вооружились, кто потускнѣвшимъ отъ времени стаканомъ, кто такимъ же почернѣлымъ блюдцемъ, кружкой, а то и поржавѣвшимъ жестянымъ черпакомъ отъ воды, стали дуть на дымящійся кипятокъ, прихлебывая и обжигаясь, въ угрюмомъ, холодномъ и молчаливомъ до того помѣщеніи совсѣмъ повеселѣло.

— Стало быть, зять письмо получилъ отъ своего брата съ войны. Пишетъ, такъ что самъ видалъ: въ отдѣльномъ поѣздѣ везутъ нашего енераля въ Питербурхъ, и онъ прикованный цѣнями въ вагонѣ, и рука прикована такъ вотъ, какъ присягѣ когда приводятъ, — рассказчикъ поднялъ правую руку, сложилъ два пальца и среди молчанія подержалъ нѣкоторое время, — а возлѣ, стало, него куча золота, стало быть, японскія деньги. Ей Богу, не вру.

— Накрыли?

— Знамо дѣло!.. Тратить негдѣ — одни деньги... самъ сидитъ по колѣно въ золотѣ, а рука прикована, какъ на присягѣ...

— Оххо... ооох... ооо... Царица Небесная... Матушка!.. — глухо и скорбно проникало изъ-за стѣны.

— Вотъ и хорошо, пару, другую генераловъ нашихъ покупать, намъ прибыль.

— Въ Рассеи подати перестанутъ брать.

— Намъ меньше отседа высылать придется домой

— Здорово!

— Держи карманъ ширьше. Тоже да дураковъ нашли, Она, сказываютъ, Японія косоглазая, сколько милліоновъ тыщъ ужъ, съ насъ взяла. Начальство-то наше, сказываютъ, скоро въ лаптяхъ поидеть.

— Какъ нашъ братъ, мужикъ.

— Не назначишь, чи генераль, чи мужикъ.

— Ванька, кабы не прошиблись, тебя за генерала не обознались.

Ванька, распаренный, красный, съ капельками на рѣсницахъ, на носу, выкативъ глаза и сложивъ трубой губы, съ шумомъ втянулъ воздухъ, и дымившійся кпнятокъ разомъ исчезъ съ блюда, стоявшаго передъ губами на трехъ пальцахъ. Онъ перевернулъ блюдо, положилъ крохотный огрызокъ сахара, размашисто покрестился и, обернувшись, бросилъ крѣпкое заборное слово.

Всѣ засмѣялись.

— По-енеральски.

— Чисто генераль, и спереду и сзади.

Тѣ, кто заморилъ червяка, сплеснувъ, передавали посудину и огрызокъ сахара дальше. Было человѣкъ тридцать — каменщики, плотники, ремесленники, нѣсколько человѣкъ изъ мѣстнаго завода, сторожа шоссе-скихъ казармъ, чернорабочіе.

Ремесленники и заводскіе, щуплые и мелкіе ростомъ, бойкіе, подвижные въ сапогахъ дудкой, говорили бойко, много, скоро, вставляя „ералашъ“, „безобразіе“, „ерунда“. Чернорабочіе и шоссе-ские — кряжистые, неуклюжіе, въ лаптяхъ, малорѣчивые, съ деревенскими оборотами, наивные своей нетронутой силой.

Маленькій человѣчекъ, подмастерье изъ портняжьей мастерской съ тонкими, слабыми отъ постоянного сидѣнья поджавшись на верстакъ, ногами и, какъ пиданка, пестрымъ веснушчатымъ лицомъ залѣзъ на

опрокинутую тачку и тонкимъ голосомъ торопливо прокричали:

— Товарищи!.. вотъ мы собрались... братцы!.. потому жизнь рабочаго человѣка... такъ сказать, трудящагося люду... потому что, что мы видимъ?.. экономическое производство капитализма производитъ буржуазію и кризисы, а буржуазія и общественный строй—сила, захочетъ—купить, захочетъ—продать, захочетъ—домъ выстроить... а куда нашему брату, пролетарію... потому собственно одна голая эксплуатація... хозяинъ, который на готовыхъ хлѣбахъ, спитъ себѣ съ женой или брандахлыстаетъ по театрамъ да по трактирамъ, а между прочимъ рабочій человѣкъ когда отдыхаетъ? когда свое семейство видитъ? какія радости видитъ?.. Товарищи, гѣ виду всего этого... единственная возможность... потому вспомните вѣникъ: раздергай и весь по прутіку ломай, а свяжи, попробуй-ка переломить!

Онъ отеръ закатымъ въ рукѣ въ комокъ платочкомъ выступившій отъ горячаго чая и внутренняго напряженія потъ на лицѣ и лбу, радостно взглянулъ на всѣхъ, хлебнулъ воздуху и, прислушиваясь къ важнымъ и торжественнымъ мыслямъ въ головѣ и ища для нихъ и не находя старыхъ и не справляясь съ новыми словами, онъ началъ снова высокимъ фальцетомъ:

— Братцы, счастье наше въ нашихъ рукахъ!.. оглянитесь, сколько насъ голодныхъ... и все это — эксплуатація и все это — народъ... пролетарій... вѣдь ежели всѣ да встанутъ... всѣ до единого человѣка, что будетъ?.. товарищи, крикните же ура: пролетаріи всѣхъ странъ, соединяйтесь!..

Точно радостное похмѣлье разливалось по всему его тигедушному тѣлу, пробиваясь на блѣдныхъ щекахъ непривычнымъ румянцемъ. Всѣ эти новыя понятія, новыя слова, „буржуазія“ вмѣсто „хозяинъ“, „эксплоатація“ вмѣсто „кровь нашу пьютъ“, „пролетаріи всѣхъ

странъ, соединяйтесь“ вмѣсто „ребята, не выдавай“ — ворвались въ его сѣрую замкнутую жизнь, жизнь изо дня въ день, которую онъ проводилъ, поджавъ ноги, на верстакѣ, ворвались чѣмъ-то праздничнымъ, яркимъ, сверкающимъ и огромнымъ. И хотя эта сѣрая скучная жизнь все также сѣро, монотонно тянулась, надъ ней, какъ утреннее солнце, стояла, заслоняя жестокою, неумолимую дѣйствительность, каторжный трудъ, стояла радость ожиданія огромнаго, всеобъемлющаго счастья грядущаго освобожденія.

Въ молчаніи и неподвижной тишинѣ слухали тяжело и трудно этого маленькаго человѣка съ востренькимъ носомъ и тонкимъ голосомъ.

Бородатые, обвѣтренные, изборожденные лица были неподвижны, и было на нихъ что-то свое давнишнее и старое, не пускавшее въ глубину сознанія эти новыя, странныя и въ тоже время близкія въ своей новизнѣ и непонятности слова и мысли. Молодые, безусые, какъ соколы, приготовившіеся летѣть, не спуская глазъ, съ напряженнымъ ожиданіемъ глядѣли на говорившаго товарища. Нѣкоторые изъ нихъ прошли уже школу извѣстнаго политическаго воспитанія, и эти чуждыя массѣ слова, обороты и термины соединялись болѣе или менѣе ясно съ опредѣленными понятіями, но каждый разъ все же звучали ново и призывающе на что-то сильное, большое и захватывающее.

Хозяинъ то входилъ, то выходилъ и теперь стоялъ опершись о притолку, точно подпирая стѣну, нагнувъ голову и глядя исподлобья. И все та же одна, не сходящая съ лица дума, лежала на немъ.

Кто-то кашлянулъ. Переглядывались, ожидая, что еще будетъ. Все свое тоненько и заунывно тянула лампочка.

Съ впалой грудью, съ втянутыми щеками и длинными морщинами на лбу вышелъ слесарь. Онъ былъ

не старъ, а пальто и сапоги были стары, потерты и рыжи. Онъ постоялъ, разставивъ ноги, сутулый, шевеля черными отъ масла и желѣза пальцами, и вдругъ густой, какого не ожидали отъ него, съ хрипотой голосъ наполнилъ казарму:

— Все на свѣтѣ мѣняется, одно, товарищи, не перемѣняется — рабочій людъ, — какъ былъ, такъ и есть голъ, какъ соколъ, ни кола, ни двора, одинъ хребеть, да руки мозолистые.

— Правильно, — сдержанно и угрюмо отозвались голоса.

— ...о-о-хх...ох-ох...ооохх... Мать Божія... — тускло и слабо, все же пытаюсь напомнить о себѣ, проникало сквозь стѣну.

— Была прежде барщина, теперь барщины нѣту, ну что жъ, легче стало народу? какъ не такъ! все одно гни спину по четырнадцати часовъ въ сутки, да виляй хвостомъ передъ хозяиномъ.

— Куды-ы!... легче! кабы не такъ... по міру идетъ народъ...

— Край приходитъ, рази жизнь?... могила...

И въ пустомъ, съ холодными стѣнами, помѣщеніи шевельнулось что-то живое, безпокойное понятное и близкое всѣмъ.

— Такъ вотъ, братцы, рѣчь о томъ, чтобъ помочь рабочему люду. Кто жъ ему поможетъ? не хозяева ли да подрядчики?

— Помогутъ! подставляй шею...

— Жмутъ они насъ, ажъ сокъ изъ насъ бѣгитъ...

— Ну попы, можетъ?

— Тоже... имъ что! отзвонилъ да съ колокольной долой...

— Ему хабаровъ набрать, больше ему ничего не надогъ...

— Карманы у нихъ, что твоя мотня мотаются...

— Ну такъ полиція, можетъ?..

— Гляди, эта заразь поможетъ... Вотъ братъ второй мѣсяцъ въ больницѣ.

— Что?

— Да помогли... съ подрядчикомъ зарезонился, не доплатить, вишь, ну въ участокъ... теперь ребра заращиваютъ доктора...

— Такъ вотъ, братцы, куда же дѣваться? на кого понадѣяться?

— На гробъ надѣйся, больше ничего.

— Въ могилу закопають, вотъ и покой... тогда всѣ хозяева добрые станутъ.

И точно вѣтеръ тронулъ, закачалось, заговорило поверхъ лѣса, подержался надъ толпой говоръ укорины и насмѣшекъ. Но и этотъ говоръ какъ бы говорилъ: знаемъ мы это... давно знаемъ.

— Э-эхххъ ввы!... — тяжелымъ комомъ кинулъ слесарь, — овечье стадо... козлы отпущенія... васъ гни, вы кланяться будете да благодарить...

— Не лайся... что лаешься!...

— Самъ—изъ козлова царства...

— Да што, неправда что ли?—выкрикнулъ, раздувъ ноздри, блестя раскосыми глазами, мастеровой въ сапогахъ дудкой и съ вытянутой, какъ у зашипѣвшаго гусака, шеей, — вонъ у насъ сорокъ день стачка была... съ голоду пухли... жена въ ногахъ валяется: „брось“... у ребятъ голова не держится, въ повалку лежать... руку бы съю вырвать, сварить... вотъ... а добились своего, а то мги-пла!...

— Тебѣ хорошо... вишь сапоги — гармонія... продашь — семь иѣтъ выхъ, мѣсяцъ и ситъ, а на насъ лапти... угрѣмъ притянуть грязную, обивную веревкой по бѣламъ, ногу жосейный.

— Не уерать... слава те Господи, не доводи... еще... я, братъ, ихъ заработать... во сокомъ...

— Стой, ребята, помолчите...

— Товарищи, не объ этомъ рѣчь...

— Это все одно, какъ у насъ въ Панафидингъ... приходитъ единожды пономарь...

— Помолчите...

— Братцы... вѣдь всѣ мы пролетаріи,—остро выдѣляясь изъ всѣхъ голосовъ, зазвенѣлъ тонкій голосъ,— всѣ пролетаріи, а пролетаріи всѣхъ странъ, соединяйтесь!...

И онъ оглядывался, ловя блестящими, остро сверкающими глазами глаза товарищей.

— Я и говорю, — вдругъ снова покрылъ всѣхъ густой голосъ, и всѣ голоса смолкли,—я и говорю, овца, когда съ нея шкуру дерутъ, только мемекаетъ, а мы—люди. Ежели будемъ по-овечьи, такъ и дѣти, и внуки и правнуки наши... Поэтому надо дружно стать всѣмъ да не въ розницу...

Онъ съ минуту молча оглядѣлъ всѣхъ. Всѣ слушали и глядѣли на него.

— Матери вашей кила!..—вдругъ неистово заоралъ слесарь,—да вѣдь понимать надо, за что стоять, чего нужно добиваться, въ чемъ спасеніе рабочаго люду... Бурдюги прокляты!.. вотъ, какъ собаки, пѣрли сюда по ночамъ... темъ, того и гляди голову сломишь, а почему?.. что жъ намъ о своихъ дѣлахъ поговорить нельзя?... какъ воры... да вѣдь люди мы!... а соберись, заразъ за шиворотъ... бѣдность заѣла, хозяева давятъ, а намъ нельзя собраться, поговорить, обстронить свою судьбу, насъ таскаютъ, избиваютъ по участкамъ, гноятъ въ тюрьмахъ, гонятъ въ Сибирь... А отъ кого это все?... ну... понимаете вы... чего нужно рабочему люду?..

Тяжело злыми глазами обвелъ онъ всѣхъ, торопливо шевеля черными отъ масла и опилокъ пальцами. И среди выжидающаго молчанія раздался голосъ:

Землицы — бы...

Въ ту же секунду дрогнули самыя стѣны.

— Земли... земли!..

— Надѣлы нарѣзать...

— ...потому земля..

— ...кормилица...

— ...безъ нея матушки...

— ...куды мы безъ земли... бездомники...

— ...семеѣство, его и не видишь, такъ и бродишь, какъ Кашнѣ, по чужой сторонѣ...

Красныя, мгновенно вспотѣвшія лица со сверкающими глазами поминутно оборачивались другъ къ другу, гнѣвно ловя несогласно мыслящихъ, тянулись руки, сжимались кулаки, дергали другъ друга за плечи. Не помѣщаясь въ тѣсной и низкой казармѣ, стоялъ ни на минуту не ослабѣвающій гулъ разорванныхъ голосовъ, въ которомъ совершенно тонули пробивавшіеся изъ-за стѣны стоны. Точно всплывая въ водоворотѣ, оторважно выдѣлялось:

— Да ты трескать будешь ее, землю-то?

— Пановъ покрываете...

— Голыми руками...

— Все одно и съ землею сожретъ баринъ да начальство...

— ...она матушка все сдѣлаетъ, все произведетъ... всѣмъ хорошо будетъ...

— Вошь земляная... гнида!..

— Да ты, сволочь, старуху обобралъ, съ которой живешь... всѣ знаютъ...

— Бреешь!..

— Помолчите!..

— А воиъ у насъ какъ по восьмникѣ на душу...

— Товарищи!..

— Братцы пролетаріи!..

Хозяинъ, опершись одной рукой о косякъ, другой колотилъ себя по ситцевой рубахѣ на груди:

— Десять годовъ... вѣ... какъ дикой... сладко штоль...
Понемногу гомонъ затихалъ, и стало слышно:

— ... о-о-о... охо-о-оохх...

— Десять годовъ бьюсь... зимою вѣ... снѣгомъ занесетъ подъ крышу, голоса человѣческаго не слышать, такъ и сидишь.. а все зачѣмъ? все объ одномъ: вотъ, вотъ сколошнись, соберешь... сколько дѣтей, кажнаго знаешь, такъ копейку, ее каждую знаешь, каждую помнишь... съ потомъ, съ кровію, съ мясомъ... а все зачѣмъ?... все объ одномъ... день и ночь... хошь бы четыре десятинки... въ вѣчность... земля-то у насъ, Господи, Боже ты мой!..

Онъ съ страстью, съ разгорѣвшимся глазами бросалъ кому-то путанныя, неясныя, но полныя для него всеохватывающаго, всеобъемлющаго значенія слова. Десять лѣтъ гнѣздится онъ въ этихъ безлюдныхъ горахъ. Рожались и умирали дѣти, похоронилъ одну хозяйку, взялъ новую, сила не та, поясицу ломить, старость подбирается, а кругомъ все тѣ же молчаливыя горы такъ же, какъ и въ первый моментъ, равнодушно стоять и не выпускаютъ его, и онъ дробить булыжникъ, равнять для кого-то ненужное ему шоссе и не знаетъ, когда придетъ его чередъ крестьянствовать.

Дикіе, обезумѣвшіе животные крики ворвались, опрокинувъ здоровые мужичьи голоса, изъ-за стѣны. Хозяинъ кинулся въ двери.

Среди разбившагося неровнаго гула голосовъ выросъ хриплый голосъ слесаря. Онъ со злобой бросалъ ядовитыя, язвительныя слова, вставляя неписанныя выраженія.

— Задолбили... кабы можно, всю бы землю забрали, я бъ и самъ въ первую голову... да то-то вотъ которые все земли дожидаются, давно безъ портокъ ходятъ, а вонъ онъ земли не дожидаетъ, вишь сапоги гармоніей... потому гужомъ другъ за дружку, а не какъ вы, какъ

баранье стадо, куда васъ гонять, туда и идете все мордой въ землю... э-эххъ, остолопинь!.. вонъ Митричъ десять годовъ изъ казармы не выходитъ, все землю дожидаетъ, тутъ и сдохнетъ, и отецъ его сдохъ пухлый съ голоду, все дожидался... кабы понимали, анафемы!..

Онъ ненавидѣлъ эту толпу, ненавидѣлъ острой жадной ненавистью фанатика. Лѣтъ двѣнадцать скитается онъ изъ города въ городъ, изъ мастерской въ мастерскую, съ завода на заводъ, перебиваясь и голодая съ семьей и всегда пользуясь вниманіемъ полиціи. И каждый разъ, когда, высланный, онъ снова пристраивался и попадалъ въ рабочую толпу, еѣ опять схватывала ненависть, ѣдкая, жгучая ненависть къ этому непроходимому, самопожиряющему непониманію и темнотѣ. И его агитація состояла въ томъ, что онъ жгуче, отборно клеймилъ своихъ слушателей. Иногда подымался протестъ, но большей частью покорно сносили брань и уходили со сходки, унося конфузливо въ душѣ зерно просыпающагося сознанія.

И теперь угрюмо и молча слушали этого лохматого, чернаго человѣка, такого же закорузлаго, мозолистаго, покрытаго морщинами трудовой жизни, какъ и они сами. И если они не отказались отъ того, что было такъ же неизбѣжно и неуничтожимо для нихъ, какъ жизнь и смерть, то впервые за всю жизнь въ цѣльномъ, нетронутомъ, какъ гранитъ, представленіи „землица“ что-то надтреснуло тонкой, невидимой, недоступной глазу трещиной.

— Затѣмъ мы тутъ!.. на кой дьяволъ возимся съ вами... да пухните себѣ, оголтѣлые черти, пухните съ голоду, и чтобъ васъ били до второго пришествія въ морду, въ брюхо, въ шею... чтобъ васъ запрягали въ дроги и ѣздили на васъ безперечь полиція, паны и всѣ псы ихъ дворовые... чтобъ васъ на веревкѣ водили за шею, какъ рабочую скотину... чтобъ...

- Тю скажснный!..
- На свою голову...
- Чтобъ ты сдохъ!..

Огонекъ лампочки побѣлѣлъ, и въ углахъ уже не лежала тьма. Все выступало безъ красокъ, сѣрое, но отчетливое. Прильнувъ къ стекламъ, пристально глядѣло въ окно мутно-матовое, все больше и больше свѣтлѣвшее. Изъ-за стѣны не доносилось ни звука.

- Теперича бы выспаться.
- Выспися... цѣльное воскресенье.
- Стало, какъ въ Швейцарскомъ королевствѣ. Тамъ, братцы, народъ предѣляетъ. Скажемъ...

Дверь распахнулась, показался хозяинъ съ засученными рукавами. На перекошенномъ лицѣ дергалась улыбка, прыгала борода:

- Богъ сына далъ.
- А-аа!..
- Вотъ это хорошо: работничекъ въ домъ.
- Дай, Господи...
- Поздравляемъ... дай, Господи, благополучія... и чтобъ выросъ, и чтобъ не по нашему, а зычно да гордо: сторонись, богачи!!..

И въ казармѣ постоянно что-то свое собственное, независимое, и всѣмъ почудилось, точно теплый маленький комочекъ коснулся сердца.

III.

Когда вывалили изъ казармы, совсѣмъ разсвѣло. Неподвижно и важно стояли сосны. Бѣлѣлъ снѣгъ.

Отъ самыхъ ногъ необозримо тянулась бѣлесо-молочная равнина тумана, изрытая, глубоко и мрачно зиявшая черными провалами. Не было видно ни города, ни долинъ, ни лѣсистыхъ склоновъ, ни синѣющей дали, только холодно и сурово зыбилась сѣрая пелена, без

конечно клубясь и волнуясь. Стояла, точно отъ сотворенія міра, ненарушимая тишина, и человѣческіе голоса одиноко, слабо и затерянно тонули въ ней...

— Какъ же спускаться будемъ: ничего не видать внизу?

— А ты не спускайся.

— Не жрамши?

— „Ге-эй, га-алочки чу-у-ба-рочки“...

— Вотъ, братцы, семь годовъ въ городѣ живу, никогда не видалъ этого. . равнина, а?.. будто въ церкви, и будто кадила, и дымъ плаваетъ, а?.. семь годовъ...

— Когда бъ могла поднять ты рыло...

— Васька подари сапоги... ахъ, сапоги!

— Рыломъ не вышелъ... и въ лаптяхъ хорошъ...

— „Вставай, по-ды-ма-а-айся, ру-усскій паррродъ!“...

—„народъ... роодъ... оодъ“...

— „Встава-ай на вра-га, бра-ать го-ло-од-ны-ый!“... дружно подхватили молодые голоса, и надъ все также чуждо, сурово и равнодушно волнующейся равниной понлыло, теряясь умирающими отголосками:

— „...а-а-аатъ оооо-оодны-ы...“

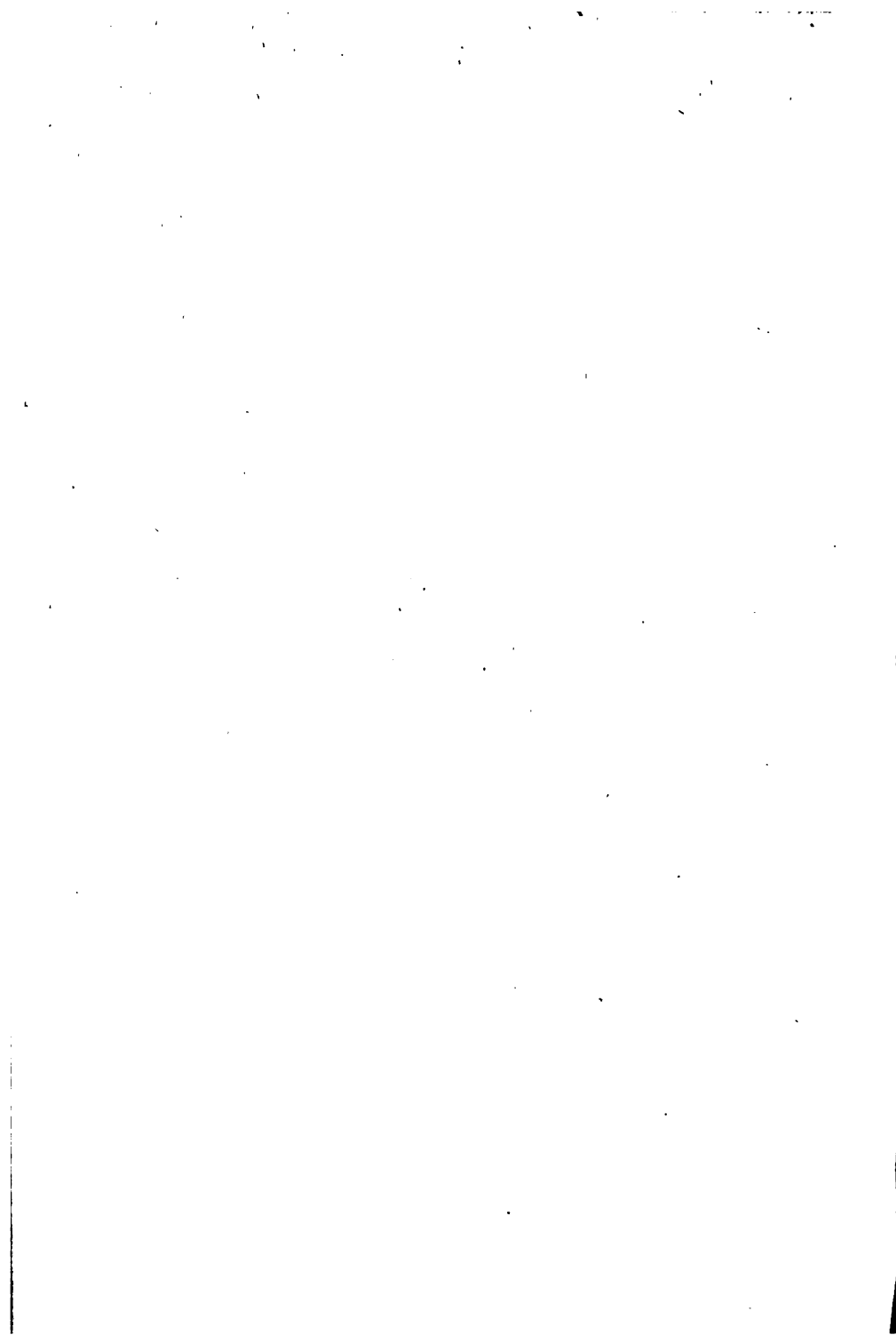
— Товарищи, кабы да отсюда да гаркнуть всему рабочему люду, да такъ, чтобъ по всему міру слышать было: пролетаріи всѣхъ стра-анъ, со-еди-нитесь!..

—„аааа... аа... аай...“

Когда спустились въ полосу тумана, за сапоги снова стала хватать тяжелая липкая грязь, каждый видѣлъ въ молочно-мутной мглѣ только спину идущаго впереди товарища, и отовсюду беззвучно капали съ невидимыхъ вѣтвей холодныя капли.

А. СЕРАФИМОВИЧЪ.

ПОХОРОННЫЙ МАРШЪ.



I.

Они шли среди огромного города густыми чернѣющими рядами, и красныя знамена тяжело взмывали надъ ними, красныя отъ крови борцовъ, щедро омочившихъ ихъ до самаго древка.

Они шли между фасадами гигантскихъ домовъ, испещренныхъ лѣпными орнаментами, статуями, мозаикой, живописью, равнодушно и холодно глядѣвшихъ на нихъ блескомъ зеркальныхъ оконъ. Городъ шумѣлъ обычной неизмѣняемой жизнью. И среди каменныхъ громадъ, среди заботливо-равнодушно торопящейся по тротуарамъ публики надъ ихъ безчисленными рядами, какъ тысячеголосое эхо, носилось:

— Да здравствуетъ свобода!.. да здравствуетъ рабочій народъ!..

И гордо и чуждо неслись эти клики.

Гордо неслись надъ черными рядами, бесконечно терявшимися въ изломахъ улицъ.

Чуждо звучали среди каменныхъ громадъ, среди роскоши зеркальныхъ витринъ.

Съ веселыми безусыми лицами шли молодые.

Сурово сосредоточенно шли старики, быть можетъ, все еще борясь съ таившейся въ глубинѣ души привычкой рабства, съ темной боязнью новизны впечатлѣ-

ній, все опрокинувшихъ. И съ испуганнымъ изумленіемъ оглядывалъсь они на руины вчерашняго дня.

Мелькали черныя козырьки, сапоги бутылкой, пиджаки, черныя пальто. Носились шутки и остроты, вмѣстѣ съ толпой плылъ говоръ, гомонъ, и, мѣстами покрывая, веселыми взрывами вырывался смѣхъ.

— Товарищи, держите равненіе!..

— Да все Ванька выпираетъ...

— Вишь у него брюхо колесомъ, и забастовка его не беретъ...

— Съ запасомъ, стало...

— Да-а... приходимъ, сейчасъ дежурный: что угодно? Такъ и такъ депутація отъ рабочихъ. Ждемъ. Выходить генералъ. Ну мы скинули шапки...

— А вы бы и штаны скинули..

— Ласковѣ бы сталъ...

— Къ ногѣ далъ бы приложиться...

Разсказчикъ конфузливо-сердито замолкаетъ, и по рядамъ густо несется добродушно-ироническій смѣхъ.

Весело, беззаботно идетъ толпа, какъ будто эти чистыя, прямыя, широкія улицы, эти фасады, испещренные лѣпными украшениями, какъ разъ были предназначены для нихъ, случайныхъ здѣсь гостей, для этихъ черныхъ рядовъ, развертывающихъ почуввавшую себя силу.

И ряды проходятъ за рядами, и рекутъ знамена, и плыветъ:

— „Намъ не-ну-ужны зла-ты-ы-е ку-у-ми-и-и-ры“... — и разрастается, захватываетъ, и, густо дрожа, заполняетъ улицы, площади, овладѣваетъ городомъ, подавляя на минуту его безпокойно-крикливую жизнь, разрастается въ нѣчто могучее, могучее не своей наивной неуклюжестью поэтической формы, а всколыхнувшимся чувствомъ глубоко взволнованнаго моря, почуввашаго

человѣческое. И въ этомъ густомъ, все заполняющемъ гулѣ шаговъ слышалась гордая сила, познавшая свободу.

II.

— Товарищи!

Его высоко поднимали надъ чернѣющимъ моремъ головъ, и далеко былъ видѣнъ онъ, и голосъ его звучалъ отчетливо и ясно.

Передніе ряды задерживались, задніе подходили, становились все гуще, и текучая людская рѣка останавливалась, какъ въ молчаніи останавливаются шумныя воды, прегражденные въ руслѣ своемъ.

Звукъ шаговъ замеръ и только глухо и мощно доносился изъ дальнихъ улицъ.

— Товарищи!.. даже окинуть я не могу вашихъ рядовъ, но...—онъ поднялъ руку, и голосъ его скрѣпчалъ,—не въ численности наша сила. Вотъ мы идемъ, идемъ безоружные, съ голыми руками, руками, на которыхъ только мозоли. Передъ физической силой мы—слабѣ ребенка. Десятокъ вооруженныхъ людей можетъ затопить нашей кровью улицы. Почему же враги въ злобномъ ужасѣ озираются на насъ?

Онъ пріостановился. И стояло великое молчаніе. И онъ окинулъ неподвижное чернѣющее море и прислушался къ далекому мощному гулу еще идущихъ.

— Не руки наши страшны врагамъ, страшны сердца, страшно наше прозрѣніе, страшны горячія сердца, бьющіяся неутолимой жаждой свободы. Какъ черная зіяющая бездна, раскрылось наше сознаніе, и мы увидѣли наше глубокое рабство, и мы увидѣли нашихъ поработителей. И, собравшись, мы стали на одномъ краю бездны, а наши поработители—на другомъ, и поняли мы—нѣтъ намъ примиренія. И поняли они—нѣтъ имъ примиренія. И въ этомъ ужасѣ нашихъ враговъ!..

И онъ говорилъ имъ о вѣчной борьбѣ поработителей и поработенныхъ, говорилъ о желѣзномъ ходѣ исторической жизни, который неумолимо сотретъ главу змія власти человѣка надъ человѣкомъ, говорилъ о вещахъ, которыя они тысячи разъ слышали, знали наизусть, сами могли говорить, и все-таки жадно, не отрываясь, ловили его слова, ловили много разъ слышанное, ибо оно не утрачивало для нихъ дѣвственной прелести новизны. Какъ любовь для юноши, старое для человѣчества было вѣчно ново для человѣка.

И снова течетъ черная рѣка между неподвижными громадами, и яркими пятнами краснѣютъ знамена, и слышится говоръ, гомонъ и смѣхъ, и, мѣшаясь съ непрерывнымъ гуломъ шаговъ, торжественно плыветъ:

— „На-амъ не-ну-ужны-ы зла-ты-ы-е ку-уми-и-и-ры“...

А пѣзъ дальнихъ улицъ все выходятъ и выходятъ безконечные ряды.

Далеко въ дымкѣ теряющейся улицы смутно засѣрѣло, какъ сѣрѣетъ печальная отмель въ пустынномъ морѣ, плоская и безжизненная, печальная отмель, надъ которой несутся бѣлыя чайки. Всѣ подняли головы, раздулись поздри, собрались складки между бровями.

III.

— А-а!..

— Гдѣ?..

— Вонъ...

— Какіе?..

— Не видишь...

— Это—не они...

Какъ тревожные ночные звуки, срывалось тутъ и тамъ и, передаваясь трепетомъ неопредѣлившагося безпокойства, бѣжало по рядамъ.

А сѣрая отмель выросла и изъ печальной и скучной становилась грозной. И ясно стало, это—люди, сѣ-

рые, одинаковые. Солнце играло на острияхъ оружiя. И было у нихъ одно лицо, неподвижное и нѣмое, какъ каменное лицо валуна среди мшистыхъ скалъ, отъ вѣка нагроможденныхъ. И тусклые глаза мутно глядѣли на приближавшихся.

А тѣ шли тѣсно, взявшись за руки, и надъ чернотой безконечныхъ рядовъ кроваво рѣяли знамена, и стоялъ все тотъ же густой, непреградимый, упорный, все заполняющій гулъ шаговъ.

IV.

Офицеръ полуобернулся къ солдатамъ и сказалъ слова команды.

Горнисть поднялъ рожокъ, раздвинулъ усы, приставилъ къ губамъ, надулъ щеки. И разомъ вся огромность, все значенiе болѣно сверкавшихъ штыковъ, чернѣвшихъ пулеметовъ перешло къ одному человѣку въ сѣрой шинели.

И словно испытывая всю мощь и весь ужасъ, который сосредоточился въ немъ, онъ оторванно бросилъ этимъ тысячамъ, этимъ тысячамъ жизней три короткихъ звука.

Дружно блеснувъ, покачнулись штыки, и сотни ихъ послушно легли на руку, остро протянувшись къ надвигавшемуся живому морю и безмолвно глядя чернѣющими дулами. Передняя шеренга сѣрыхъ людей опустилась на колѣно, и пулеметы жадно глядѣли на неумолимо приближавшіяся живыя тѣла.

Смолкъ говоръ, потухъ смѣхъ. Настала звенящая тишина и все больше заполнялась звукомъ шаговъ. И этотъ нарастающій гулъ шаговъ наполнилъ мертвое молчанiе, и плылъ надъ улицами, площадями, и царилъ надъ примолкшимъ городомъ.

Разрушая напряженiе, надъ тысячами обреченныхъ тысячами молодыхъ и старыхъ голосовъ могуче зазвучалъ похоронный маршъ:

— „Мы же-ер-тво-ю па-а-ли борь-бы-ны ро-ко-вой“...

Какъ прощаніе восходило къ блѣдному небу, къ кровавому солнцу, къ каменному городу, затаившему шумное дыханіе, и народъ, толпившійся по переулкамъ, тянувшійся вдоль улицъ народъ снималъ шапки имъ, идущимъ.

— ...„лю-бви без-за-вѣт-ной къ на-ро-о-о-ду“...

Какъ густо колеблющійся погребальный звонъ, плыло надъ тысячами:

— ...„мы от-да-ли все, что мо-гли за не-го“...

И глаза ихъ сверкали, и блѣдныя лица свѣтились вдохновеннымъ призывомъ, ибо были они обречены.

Розовато дымящійся туманъ окрашивалъ солнце, дома, лица, и острой волной набѣгалъ кровавый запахъ, и чувствовался на языкѣ приторно знакомый привкусъ.

Пространство между надвигающимся погребальнымъ шествіемъ и сѣрыми шинелями, страшное пустотой смерти, таяло, какъ догорающая жизнь.

— ...„но гроз-ны-я бук-вы дав-но на стѣ-нахъ чер-тить ру-ка ог-не-ва-я!“...

Тысячи людей шли, тысячи людскихъ голосовъ звучали погребальной пѣснью, торжествующей пѣснью смерти, и на лицахъ и на бѣлыхъ стѣнахъ домовъ траурно рѣяли черныя тѣни знаменъ.

V.

Офицеръ, съ бережно зачесанными кверху усами, холодно мѣрять привычнымъ глазомъ неумолимо сокращающееся разстояніе, блеснулъ, поднявъ руку, саблей, и губы шевельнулись, произнеся послѣднее слово команды

Страшныя секунды ожиданія покрылись:

— ...„про-щайте-же бра-атья!“..

И въ то же мгновеніе исчезло пространство смерти, затопленное безчисленными черными рядами. Какъ

сверкнувшая вода, блеснули покорно поникшіе къ землѣ штыки, и солдаты, растерянны и радостно улыбаясь, потонули въ человѣческомъ потокѣ, и лица ихъ были блѣдны, и у каждаго было свое особое молодое лицо. И растворилась сѣрая преграда въ безконечно чернѣющихъ рядахъ, какъ скатившійся съ кремнистаго берега гранитный валунъ въ набѣгающихъ волнахъ.

Отвернувшись, опустилъ саблю офицеръ, ненужную, холодную. Глупо глядѣли пулеметы.

Десятки тысячъ людей шли, пѣли гимнъ смерти, и торжественно и могуче изъ могильнаго холода и погребальнаго звона выростала яркая, молодая, радостная жизнь, и сверкала на солнцѣ, и играла на лицахъ тысячъ людей, и народъ, густо чернѣвшій вдоль улицъ, несмолкаемо и изступленно привѣтствовалъ ихъ.

Кровавая дымка подобралась и растаяла, исчезъ приторный привкусъ и острый, раздражающій запахъ. Солнце сіяло, и городъ снова зашумѣлъ тысячами задержанныхъ звуковъ.

Л. СУЛЕРЖИЦКІЙ.

ПУТЬ.

20-ое мая 1905. Ряжскъ.

Дебаркадеръ съ провожающими друзьями почти скрылся, а я все еще размахиваю шляпой и, хотя уже никто изъ нихъ меня не видитъ, по шерци стараюсь непринужденно улыбаться.

— Прощайте, милые, дорогіе, хорошіе мои,—шепчу я, глядя на быстро тающее пятно, надъ которымъ мелькаетъ бѣлый платокъ.

Внезапно на концѣ платформы появляется рослый, растрепанный рабочій. Грязнымъ кулакомъ онъ грозитъ въ мою сторону и, пошатываясь на длинныхъ ногахъ, кричитъ:

— Не махай, не махай!.. Все одно всѣхъ побьютъ.. И тебя убьютъ, всѣхъ убьютъ, будь вы прокляты.

Что-то скребнуло по душѣ, и я по возможности весело крикнулъ ему:

— Оттого и махаю, что убьютъ...

Однако послѣ этого мнѣ уже не хочется больше выглядывать въ окно, ненужная улыбка сходить съ лица, и сразу стало скучно и тяжело.

Почувствовалось настоящее положеніе вещей и то одиночество, въ которомъ всегда оказывается человѣкъ, попадающій въ серьезное положеніе — одиночество, въ которомъ уже никакіе друзья помочь не могутъ.

Передо мною почти мѣсяцъ дороги, а тамъ что-то

непонятное, жуткое, что-то огромное, внушающее, несмотря на свою явную нелѣпость, одновременно и невольный страхъ и уваженіе. Уваженіе, сходное съ тѣмъ, которое мы испытываемъ передъ пожаромъ, грозой или наводненіемъ.

Война!—Вѣдь это такая же разрушительная, слѣпая въ своей жестокости стихія, какъ и пожаръ или наводненіе, внезапно врывающіеся въ жизнь людей и уносящіе сразу, однимъ дуновеніемъ, все то, что создавалось сотни лѣтъ кропотливымъ трудомъ человѣка.

Война!—И подъ колесами пушекъ, смятые грубымъ солдатскимъ сапогомъ, гибнуть тѣ нѣжные, хрупкіе ростки уваженія къ человѣку, которое съ такимъ трудомъ, цѣной собственной жизни, воспитывали въ человѣчествѣ его лучшіе люди. Человѣкъ теперь мясо для пушекъ. Мясо—и больше ничего.

Тысячи людей одинъ за другимъ бросаютъ свое дѣло и бѣгутъ, бѣгутъ, чтобы убивать и быть убитыми. Бѣгутъ и старые и молодые, забывъ свое человѣческое достоинство, свой разумъ, не спрашивая—зачѣмъ и для кого они это дѣлаютъ.

Изъ оконъ смотрятъ большіе, измученные глаза...

Мы встрѣчаемъ уже четвертый поѣздъ съ ранеными. На бѣлыхъ и зеленыхъ вагонахъ нарисованы красные кресты и написано: „для тяжело больныхъ и раненыхъ“, „для легко больныхъ и раненыхъ“.

Черезъ окна видны лежащіе въ одномъ бѣлѣ люди. Загорѣлыя, обросшія бородами лица смотрятъ угрюмо и серьезно. Молодой парень съ забинтованной головой, шеей и щекой, съ распухшимъ, перекошеннымъ лицомъ, уныло смотритъ на насъ. Дальше—руки на перевязяхъ, черные, блестящіе костыли, забинтованные ноги.

Въ дверяхъ устало сидитъ сестра милосердія съ за-

сученными рукавами и внимательно приглядывается къ нашему поѣзду,—не попадаетъ ли знакомое лицо?

Офицеры, ѣдущіе съ нашимъ поѣздомъ на Востокъ, стоя на ступенькахъ вагоновъ, сосредоточенно разсматриваютъ раненныхъ.

Оба поѣзда какъ-то подавленно молчатъ. Въ тишинѣ слышно только раздражающее шипѣніе граммофона, поставленнаго въ вагонъ-столовой для больныхъ. Свистя и захлебываясь, онъ старается изобразить что-то въ родѣ „кэкъ-уока“. Какъ весело, должно быть, слушать его людямъ съ оторванными ногами!

Нашъ поѣздъ трогается, и мы двигаемся, провожаемые долгими, пристальными взглядами больныхъ. Они какъ будто хотятъ сказать намъ:

— Не ѣздите туда,—не надо, тамъ ужасъ...

— Да,—отвѣчаютъ имъ валидами застывшіе на ступенькахъ люди,—ужасъ, по насъ везутъ, и мы ѣдемъ.

И кажется,—еще мнѣмъ, другая, и то „что-то“, что крѣпкой, глухой стѣной стоитъ между людьми и мѣшаетъ имъ говорить другъ съ другомъ, подъ взглядами этихъ испуганныхъ и изстрадавшихся глазъ растаетъ, какъ дымъ...

Но поѣздъ уже грохочетъ, мчится, гремитъ на стрѣлкахъ, и лица раненныхъ сливаются въ одну сѣрую, дрожащую полосу. Только послѣдній вагонъ на мгновеніе задерживается въ нашихъ глазахъ. Здѣсь прижавшись къ рѣшеткамъ, машутъ намъ руками и улыбаются странно наивныя лица. Невольно хочется отвѣтить имъ тѣмъ же, но тотчасъ же улыбка замираетъ на нашихъ лицахъ...

— Это душевно-больные,—говоритъ кто-то робкимъ, придушеннымъ голосомъ.

22-ое мая 1905. Сызрань.

Передъ проходомъ нашего поѣзда было крушеніе, и мы опоздали въ Сызрань на 17 часовъ.

На платформѣ, среди чемодановъ, мѣшковъ и подушекъ, суетились усталые пассажиры. Съ озабоченными лицами они высчитывали версты, часы, путались въ путеводителѣ и время отъ времени въ видѣ утѣшенія приговаривали:

— Вотъ какіе у насъ порядки! Нѣ-ѣ-ѣтъ, далеко намъ до Европы, куда!

Пожилой мужчина въ поддевкѣ, съ дѣвочкой на рукахъ, видимо купецъ, кричалъ трусливымъ голосомъ, тряся бородой:

— Нѣту мѣстовъ въ третьимъ классѣ, сажай во второй, мнѣ какое дѣло? Я вонъ вторыя сутки съ семействомъ на тычкѣ ѣду... А деньги плочены... Плочены деньги или нѣтъ?—накинулся онъ внезапно на своего товарища, какъ будто именно онъ не давалъ ему мѣста во второмъ классѣ.

— Обязательно во второй классъ должны посадить, чего тамъ, —неувѣренно отвѣчалъ ему моложавый купчикъ, разсматривая свои калоши, —не иначе.

Безпокойно шелестя резиновымъ пальто, вертлявая дама въ пенсне и жокейскомъ картузѣ рассказывала, отчего бываютъ крушенія, и, покачивая головой, иронизировала:

— Вотъ посмотрите: назначать слѣдствіе, и, въ концѣ концовъ, откажется, что виноватъ стрѣлочникъ. Стрѣлочникъ виноватъ, и баста!—закончила она, самодовольно оглядывая публику.

Стало невыносимо скучно. Мнѣ показалось, что на этой платформѣ съ запыленными фонарями на сѣрыхъ, столбахъ, среди этихъ мундировъ и ватерпруфовъ, я

былъ уже тысячу разъ. Казалось, что съ этими людьми, такъ охотно повторяющими старья, убогія мысли, я живу цѣлую вѣчность, что весь міръ пусть и некуда уйти отъ этихъ нудныхъ разговоровъ и грязной платформы съ рыжей водокачкой. Мнѣ подумалось, что вѣдь и вся-то русская жизнь такова. Всѣ мы живемъ не у себя дома, а гдѣ-то въ передней, на грязномъ перепутыи; треплемъ чужіе засаленные обрывки мыслей, всегда обиженные, всегда безправные, и хорошо себя чувствуютъ только люди, въ родѣ этого высокаго сутулаго жандарма, дерако-спокойно рассматривающаго публику.

Толстый военный врачъ, вотъ уже третьи сутки высчитывающій, сколько ему придется получить всякихъ поверстныхъ, прогонныхъ, подъемныхъ и т. д., стоитъ теперь передъ чахоточнымъ интендантомъ и, дергая его за пуговицу и боязливо оглядываясь, патетически, съ преувеличеннымъ ехидствомъ шепчетъ, тараща свои бычьи глаза:

— Верста обошла въ 240,000 рубликовъ чистога-номъ, а на каждомъ шагу крушеніе, а? Газвѣ это не мошенники, сукины сыны, а?.... Размыло, говорить... Ра-змы-ы-ло?!—дѣлаетъ онъ страшное лицо,—а харчевые, позвольте васъ спросить, кто мнѣ выдастъ за то, что я здѣсь лишніи сутки сижу, а?..

— Что же это вы дѣлаете съ нами?—цѣпляется онъ съ налету за пуговицу проходящаго мимо начальника станціи.—Что же это мы шуточки ѣдемъ шутить, что ли? Мы же, кажется, на Дальній Востокъ ѣдемъ, а?

Начальникъ станціи, весь закопченный дымомъ паровозовъ, повелъ большими утомленными глазами:

— Господа, все, что могу, сдѣлаю,—проговорилъ онъ плачущимъ голосомъ,—но ежели графикъ забить поѣздами, то невозможность полная, поймите....—говорилъ онъ, умоляюще прижимая одну руку къ груди, а дру-

гой стараясь освободить пуговицу. Но докторъ пуговицы не выпускалъ.

— Мы тамъ вашихъ графиковъ не знаемъ,—кипятился онъ,—а вы намъ скажите—прицѣпите вы нашъ вагонъ къ шестому номеру, или нѣтъ?

Начальникъ станціи съ отчаяніемъ махнулъ рукой и бросился куда-то между вагоновъ.

Мобилизованный прапорщикъ, бывшій адвокатъ изъ Полтавы, маленький смѣшливый человѣкъ, опустилъ руки въ карманы шинели и разставивъ ноги, съ тоненькой сабелькой, безпомощно висящей по самой серединѣ живота, стоялъ передъ фонарнымъ столбомъ съ оторопѣлымъ, изумленнымъ лицомъ.

— Чего онъ кричитъ?—лѣниво повернулся прапорщикъ ко мнѣ, точно разбуженный докторскимъ крикомъ.

— Всѣ торопятся, всѣ чего-съ-то спѣшаютъ, — озадаченно продолжалъ онъ,—шобъ скорѣе имъ поѣздъ былъ, а зачѣмъ скорѣе? Куды мы ѣдемъ, позвольте васъ спросить, зачѣмъ ѣдемъ?—Развѣ я знаю? Ей-Богу, не знаю.... Оттакъ—мобилизовали, то ѣду.... Га?—посмотрѣлъ онъ на меня вопросительно.

Простоявъ нѣсколько минутъ съ растерянной улыбкой, онъ, наконецъ, пришелъ въ себя и, рѣшительно крикнувъ, бодро сказалъ:

— Ну, пойдемъ, выпьемъ, что ли!

Мы пошли.

— Ова! Съ мандолиною! Ото!—остановился прапорщикъ,—е-е-е!—протянулъ онъ съ удовольствіемъ, разглядывая сидящую на чемоданѣ молодую дѣвушку. У ногъ ея лежала мандолина, гитара и еще какіе-то футляры, тоже, какъ видно, съ музыкальными инструментами. Въ небрежно разстегнутомъ пальто, красивыми линиями обрисовывающемъ ея стройную, худенькую фигуру, въ маперѣ носить шляпу, въ томъ, какъ она за-

ложила ногу на ногу—чувствовалась художественная свобода, богема. А какое чудное, дѣтское еще лицо! Свѣтло-сѣрые глаза немножко грустные, напоминающие собою ласковые, тоскливые англійскіе туманы, съ ребяческимъ любопытствомъ, безъ смущенія, наивно останавливались на лицахъ и смотрѣли прямо въ глаза. Вся она, видимо, была поглощена своими наблюденіями. Что-то въ высшей степени довѣрчивое и привлекательное было въ ней, и казалось, что существо это слетѣло сюда откуда-то изъ другого прекраснаго поэтическаго міра, гдѣ все правда и красота.

Рядомъ съ ней стояли два маленькіе, очень похожіе другъ на друга, нѣмца, въ котелкахъ, съ большими мозолистыми руками. Каждый изъ нихъ держалъ на ремнѣ по фоксъ-терьеру. Нѣмцы о чемъ-то вполголоса бесѣдовали, а фоксъ-терьеры на своихъ пружинныхъ лапахъ прыгали и кокетничали другъ съ другомъ. Одинъ изъ нихъ радостно тявкнулъ, неожиданно подпрыгнулъ и перевернулся въ воздухѣ вверхъ ногами. Другой, наклонивъ голову на бокъ и приподнявъ уши, внимательно приглядывался къ товарищу съ такимъ лицомъ, какъ будто хотѣлъ сказать:

— Ну и насмѣшилъ же ты меня, братецъ!

Тутъ же, между корзинами, пріютились два еще со всѣмъ маленькіе мальчики съ длинными локонами, въ синихъ швейцарскихъ плащахъ. Оба блѣдные, съ худенькими, скутяющими личиками, они печально глядѣли на рѣвящихся собакъ, не видя въ нихъ ничего веселаго.

Вскорѣ къ этой группѣ подошелъ розовый нѣмецъ и толстая дама—видимо, его жена. Впереди нѣмца прыгаль чистокровный бульдогъ; онъ все время забѣгалъ впередъ и, заглядывая восхищенными глазами въ лицо хозяину, громкимъ лаемъ старался привлечь къ себѣ его вниманіе.

Подойдя къ дѣтямъ, нѣмка дернула одного изъ нихъ за капюшонъ, шлепнула другого по рукѣ и сказала нѣсколько короткихъ, но, вѣроятно, сильныхъ словъ нѣмцамъ, такъ какъ они сейчасъ же подобрали собакъ и выпрямились, какъ солдаты. Худенькая дѣвушка вся какъ-то съежилась, а дѣти тѣснѣе прижались другъ къ другу, старательно удерживая слезы, очевидно, не ожидая отъ нихъ ничего хорошаго.

Заинтересованный прапорщикъ очень скоро узналъ отъ нѣмца, что это часть странствующаго цирка, ѣдущаго въ Харбинъ, и что худенькая дѣвушка, миссъ Нелли, бывшая пѣвица Вѣнскаго театра. Оказывается, что она бросила тамъ очень хорошее мѣсто и согласилась ѣхать въ циркъ только изъ-за того, чтобы попасть въ Манчжурію и видѣть войну.

— Что вы хотите!—говорилъ нѣмецъ, пожимая плечомъ,—непремѣнно ей хочется быть на войнѣ. Знаете, молодая дѣвушка, у нея такая фантазій посмотрѣть тамъ рицари, храбри рицари.... О! Ничего не подѣлаешь!..

— И что же, надѣетесь вы на хорошіе сборы въ Харбинъ?—спросилъ я нѣмца.

— О, да! Мы уже были тамъ одинъ разъ и, увѣряю васъ, заработали въ десять разъ больше, чѣмъ гдѣ бы то ни было.

— Очень, очень хорошія дѣла дѣлали,—подтвердила съ достоинствомъ директрисса.

Подали поѣздъ. Послѣ обычнаго шума и толкотни, кое-какъ усѣлись. Циркъ ѣхалъ тоже съ этимъ поѣздомъ. Вышло такъ, что миссъ Нелли досталось мѣсто въ купѣ, гдѣ уже сидѣлъ щеголеватый корнетъ и не первой молодости, но еще красивая сестра милосердія, перетянутая въ талии, какъ оса. Вскорѣ оттуда послышался негодующій голосъ сестры, а затѣмъ и писклявый теноръ корнета:

— Кондукторъ!—оралъ, высунувшись изъ купэ, нафабранный корнетъ,—извольте сію же минуту выселить эту дѣвицу отсюда! Я ѣду по казенной надобности и не желаю себя стѣснять изъ-за всякой дряни.

— Это Богъ знаетъ что такое!—горячилась сестра,—какъ только это позволяютъ! Люди ѣдутъ кровь свою проливать, а имъ не даютъ покоя разныя пѣвички!... Кто обираетъ нашу несчастную армію, того сюда милости просимъ!...

Миссъ Нелли собирала свои пожитки и горько плакала, подрагивая головой. Прибѣжавшая на шумъ директрисса спрашивала ее по-нѣмецки, что она сдѣлала „этимъ господамъ“. Миссъ Нелли сквозь слезы сказала, что ее спросили, куда она ѣдетъ, и что она, какъ умѣла, объяснила, что ѣдетъ служить въ харбинскомъ циркѣ.

— И больше я ничего имъ не сказала, я не сдѣлала ничего дурного,—все горячѣе плакала миссъ Нелли и, наконецъ, забилась въ истерикѣ.

Толстякъ-нѣмецъ съ перепуганнымъ лицомъ побѣжалъ за водой, а корнетъ, хотя уже нѣсколько сконфуженный поднявшимся скандаломъ, продолжалъ выкрикивать, что онъ „по казенной надобности“. Побагровѣвшая директрисса одной рукой поддерживала миссъ Нелли, а другой размахивала ридикюлемъ передъ лицомъ сестры и задыхаясь кричала:

— Вы не имѣете права обижать честный дѣвушка, она очень хорошій, очень честный дѣвушка, она ничего не сдѣлала, она тоже платилъ билетъ, — стыдно такъ дѣлать мадамъ, очень стыдно!..

— А вы не кричите, — пробуетъ протестовать сестра,—а то вѣдь можно и жандарма позвать.

— Да я всегда буду говорилъ это, — очень, очень стыдно съ вашей стороны.

Кончилось тѣмъ, что маленькіе нѣмцы въ котелкахъ увели потихоньку миссъ Нелли подъ руки на плат-

форму, а вслѣдъ за ними выгрузилась и осталъная труппа съ мѣшками, чемоданами, бичами и неунывающими собаками.

24-ое мая 1905. Уфа.

Что дѣлается на станціяхъ, гдѣ собирается иногда по нѣсколько воинскихъ поѣздовъ!

Крики, шумъ, толчея....

Всѣ линіи загромождены товарными вагонами, а между ними и въ нихъ толпятся тысячи солдатъ въ бѣлыхъ, грязно-зеленыхъ и желтыхъ рубахахъ.

Съ присвистомъ и гиканьемъ хоръ хохловъ реветъ солдатскую пѣсню:

Вурра, вра, вура,
За вѣру, за Цара!

Дальше, въ тѣсномъ кружкѣ равнодушныхъ зрителей, подъ сильную гармонику два танцора съ серьезными лицами упрямо бьютъ ногами землю, и издали кажется, что они колотятъ каблуками кого-то лежащаго на землѣ и зрителямъ жаль его, но не хочется вступаться. А рядомъ съ ними другой хоръ сыпетъ дробью отвратительную похабную пѣсню.

Обнявшись по-двое, шатаются, наталкиваясь другъ на друга, мертвецки пьяные солдаты. Съ мутными глазами, безъ поясовъ, въ растерзанныхъ рубахахъ, разстегнутыхъ брюкахъ, безъ шапокъ, они машутъ неповинующимися руками и выкрикиваютъ въ пространство бессмысленныя ругательства. По краснымъ, оступѣвшимъ лицамъ вмѣстѣ съ потомъ размазана пыль; взбитая сотнями погъ, она густымъ рыжимъ облакомъ стоитъ надъ землей и пачкаетъ полнеба.

Согнанная въ одно тѣсное пространство на узкихъ каменныхъ площадкахъ, эта одурѣвшая толпа безсознательно путается между путями, цѣпляясь сапогами

за желѣзные рельсы, оретъ на всѣ лады то пѣсню, то грубыя, ужасныя ругательства, оглушая другъ друга и наполняя воздухъ тяжелымъ запахомъ звѣринца.

А гулко ревушіе паровозы, тяжело пыхтя, двигаются во всѣ стороны со страшнымъ видомъ упрямыхъ, злыхъ животныхъ, и похоже, что только они одни знаютъ, куда и зачѣмъ они везутъ этихъ безумныхъ людей со здоровымъ тѣломъ и привозятъ ихъ потомъ обратно съ разбитыми черепами, оторванными ногами, изуродованной грудью.

На платформѣ, среди сбившейся въ кучу равнодушной толпы, слышатся дикія вскрикиванія и вой женщинъ. Какой-то сѣрый землистый комокъ, замотанный въ грязныя платки и сермягу, цѣпляется старческими, скрюченными пальцами за рослаго малаго въ бѣлой солдатской рубахѣ и уже совершенно осипшимъ голосомъ кричить что-то безсвязное, взвизгиваетъ и опять сипитъ, сколько хватитъ дыханія.

У солдата красное, потное лицо, онъ выпятилъ грудь и, растерянно поглядывая въ разныя стороны, упрямо, пастойчиво повторяетъ:

— ... И не желаю... А я вотъ не желаю оставаться тутъ съ вами... Возьму и уѣду... не желаю...—твердитъ онъ все настойчивѣе. И каждый разъ двѣ женскія руки, загорѣлыя, сухія, какъ плети, съ новымъ порывомъ отчаянія поднижуются и безсильно падаютъ на его крѣпкія, молодыя плечи.

— ...Не желаю оставаться, — повторяетъ онъ срывающимся голосомъ, но изъ глазъ уже брызнули слезы, лицо какъ-то сразу раскисаетъ, онъ машетъ рукой и безпомощно, жалобно продолжаетъ:

— И не желаю... и уѣду...

Неподалску стоитъ франтоватый флотскій и, самоуверенно улыбаясь, говоритъ товарищу:

— Вотъ еще деревенщина! И чего, спрашивается, во-

еть, какъ собака? Я какъ уѣзжалъ съ дому, то строго наказалъ своимъ, чтобы этихъ глупостевъ мнѣ никакихъ не было. И все такъ прилично, хорошо однимъ словомъ. Она себѣ говоритъ: — прощайте, Макаръ Ивановичъ, а я—ей, ну и отлично...

— И я тоже такъ. Ну, къ чему такое? Собралась публика, чисто тѣатры! Потѣха, ей-Богу!—заискивающе поддакиваетъ ему дрожащимъ голосомъ угреватый солдатъ въ желтыхъ сапогахъ и тяжело сопить, едва удерживаясь отъ слезъ.

Сигналистъ играетъ на трубѣ „сборъ“.

Мѣдныя, дребезжащія звуки сверлятъ воздухъ, срываются и прыгаютъ одинъ за другимъ въ возбужденную толпу, впиваются, какъ осы, въ утомленный, затуманенный мозгъ и производятъ еще бѣольшую сумятицу. По платформѣ бѣгутъ унтера и фельдфебеля и загоняютъ въ красныя ящики солдатъ, которые, продолжая шумѣть, мало-по-малу все-таки сбиваются въ кучи у открытыхъ вагоновъ и, подсаживая другъ друга, срываясь и сквернословя, забираются туда, поощряемые поясами унтеровъ и угрозами фельдфебелей.

Прошли въ пестрыхъ шнурахъ при револьверахъ офицеры, и, немного погодя, поѣздъ сердито рванулся, загремѣлъ цѣпами и потянулся все дальше и дальше, увозя съ собой эти живыя тѣла, которыя продолжаютъ кричать пьяными голосами, машутъ руками, шумять и безпутствуютъ всѣми способами.

Въ послѣднемъ вагонѣ, прижатый къ дверному косяку, солдатъ горько плачетъ и, не умолкая, надсаживаясь изо всей мочи, хрипло кричитъ:

— У-рр-а-а-а! Урр-а-а-а!..

А по пьяному, налившемуся кровью лицу ручьями бѣгутъ изъ выпученныхъ глазъ слезы и падаютъ темными пятнами на сѣрую, запыленную рубаху.

Это „ура“ выходитъ у него такъ, какъ будто.

онъ кричитъ толпѣ: — „спасите, разбой, выручайте, братцы!...“

Но толпа молча стоитъ съ вяло опущенными руками и покорно, тоскливо глядитъ вслѣдъ убѣгающему поѣзду.

Только гдѣ-то далеко слышны еще старушечьи причитанья и вой...

... Свѣтаетъ.

Съ темнаго еще неба къ намъ, въ окно, не мигая смотреть крупная, блестящая звѣзда.

Если на ней есть какія-нибудь мало-мальски разумныя существа, то какими жалкими и тупыми созданиями должны представляться имъ люди. Люди, которые, набившись вплотную въ какія-то нелѣпныя коробки, мчатся цѣлыми стадами съ одного конца планеты въ другой за тѣмъ только, чтобы тамъ валяться въ грязи голодать, колотить другъ друга прикладами, истреблять сотни тысячъ себѣ подобныхъ, при помощи всевозможныхъ приспособленій, или, схватившись въ объятія перегрызать другъ другу зубами горло...

А знаетъ ли каждый изъ нихъ, зачѣмъ онъ все это дѣлаетъ?

Всѣ они, начиная съ того часа, когда еще дома собирали въ дорогу свои вещи, исполняли цѣлый рядъ приказаній, относящихся большею частью къ сегодняшнему и завтрашнему дню. „Придти туда-то“, „явиться немедленно“, „садиться въ вагонъ“ приказывали имъ разные люди. И они покорно шли, являлись, садились и потомъ, сбитые въ большія смрадные кучи, чужіе другъ другу, одинокіе, точно оглушенные громомъ, ѣхали цѣлые мѣсяцы, ни разу не подумавъ о томъ — нужно ли это все каждому изъ нихъ въ отдѣльности, зачѣмъ и для кого они это дѣлаютъ.

Приѣхавъ въ какую-то совершенно имъ неизвѣстную страну, они располагаются въ сырыхъ землянкахъ, умирають отъ цынги, уродуются на всю жизнь скорбутомъ такъ, какъ не можетъ изуродовать никакой снарядъ, и, наконецъ, въ одинъ прекрасный день по сигналу они вскакиваютъ, торопливо одѣваются, бѣгутъ и, торопясь выпустить какъ можно больше пуль, стрѣляютъ по какимъ-то едва виднымъ точкамъ, чернѣющимъ далеко на горизонтѣ. Въ это время, вспыхивая желтымъ пламенемъ, со страшнымъ трескомъ, оглушающимъ послѣднее сознаніе, рвутся надъ головою снаряды, и съ неба сыплются на нихъ куски желѣза, которые убиваютъ, уродуютъ все кругомъ, рвутъ ихъ тѣло на части...

А когда черныя точки приближаются и видно уже, что это идутъ люди и, несмотря на смерть, которая съ каждымъ шагомъ коситъ ихъ все больше и больше, идутъ твердо, рѣшительно, съ упорными, злыми лицами, то становится страшно, и изъ чувства самосохраненія въ этихъ темныхъ душахъ яркимъ пламенемъ загорается животная злоба и жажда убійства. Хочется мстить за разлуку съ семьей, за холодъ, голодъ, за всѣ тѣ страданія и униженія, которыя онъ перенесъ и въ которыхъ, какъ ему кажется, виноваты только эти люди, идущіе на него съ оружіемъ въ рукахъ и явно желающіе его смерти...

Неужели такъ мало ума въ этихъ сотняхъ тысячъ головъ, что они не въ состояніи понять, что если бы сегодня же каждый изъ нихъ сказалъ: „довольно звѣрства, довольно убійствъ, крови, скотской жизни... Некуда и не зачѣмъ ѣхать для того только, чтобы умирать или быть убитыми,“—то сегодня же всѣ эти ужасы прекратились бы, и могла бы начаться та прекрасная, чудная жизнь, которую предсказывали лучшимъ людямъ, и мечты о которой мало-по-малу умц-

рають въ насъ, задушенныя холодомъ, равнодушіемъ, тупой, безсознательной злобой.

Но они этого не скажутъ, не могутъ сказать. Если бы они ѣхали съ сознательной цѣлью убивать врага, защищать свою родину, мстить за что-нибудь, — все могло бы быть иначе, но ихъ везутъ, везутъ, и они покорно ѣдутъ „проливать свою кровь“, какъ выражаются они.

Зачѣмъ проливать кровь?

Зачѣмъ?

Этого никто изъ нихъ не знаетъ.

25-ое мая 1905 г. Златоустъ.

Поѣздъ нашъ не столько идетъ, сколько стоитъ. На остановкахъ мы беремъ пледы и подушки, укладываемся подъ деревьями, спимъ, потомъ передвигаемся въ ушедшую тѣнь, и только когда слышимъ свистокъ кондуктора, понемногу собираемся въ поѣздъ. Если поблизости рѣчка, мы идемъ туда съ полотенцами и купаемся.

А подъ вечеръ, когда спадаетъ жаръ, все населеніе поѣзда высыпаетъ наружу, и начинаются всевозможныя игры.

Съ нашимъ поѣздомъ ѣдетъ человѣкъ полтора матросовъ, подъ началомъ молодого мичмана. Сегодня мичманъ, на видъ еще мальчикъ, приказалъ матросамъ играть въ чехарду. Самъ онъ тоже довольно ловко прыгалъ вмѣстѣ съ матросами и совершенно неожиданно предложилъ и намъ принять участіе въ этой игрѣ.

Завязалось знакомство.

Разговаривая, мичманъ усиленно басилъ, отрывисто, точно командовалъ, бросалъ фразы и дергалъ себя за черный пушокъ на верхней губѣ, воображая, что крутить лихой усь. О матросахъ онъ выражался такъ:

— Мои молодцы.

Черезъ нѣсколько минутъ послѣ знакомства мичманъ шумно ворвался въ нашъ вагонъ и сдавленнымъ басомъ порывисто сказалъ:

— Не пожалуете ли ко мнѣ чаю выпить? Я былъ бы очень радъ, пожалуйста!

Артиллерійскій капитанъ, я и толстый поручикъ, мои сосѣди по купѣ, отправились къ мичману въ гости. Къ намъ присоединилась ѣхавшая изъ Петербурга съ желѣзнодорожныхъ курсовъ барышня и машинистъ, назначенный на Забайкальскую дорогу.

Мичманъ засуетился. Въ крошечномъ купѣ было невыносимо душно, потъ лилъ съ насъ градомъ, а тутъ еще вертѣлся, толкая подъ бока и наступая всѣмъ на ноги, гостепріимный мичманъ.

— Садитесь, прошу васъ, вотъ сюда, или нѣтъ — здѣсь вамъ лучше будетъ,—приговаривалъ онъ, запиная насъ во всѣ углы. Но его самого было такъ много вездѣ, что очень долго никому не удавалось усѣсться. Обжегшись нѣсколько разъ кипяткомъ и стукнувшись головой о верхнюю койку такъ, что оттуда дождемъ посыпался сахаръ, мичманъ усѣлся на мою шляпу и успокоился. Началось чаепитіе.

— Мои молодцы—занималъ насъ мичманъ, разливая чай,—побунтовались немного въ Москвѣ; побунтовались, но я ихъ живо прибралъ къ рукамъ... Живо... Теперь укрощены на славу, за это ручаюсь,—басилъ мичманъ, хлопая себя кулакомъ по колѣнкѣ и морща брови.

— Изъ-за чего же это они бунтовались?—спросилъ капитанъ.

— Требовали, видите ли, чтобы я имъ выдалъ на руки харчевыя деньги. Я отказалъ, тогда кто-то изъ толпы осмѣлился крикнуть: „такъ что, говорятъ, мы безъ харчевыхъ въ вагоны не сядемъ“. Ну, тутъ, знаете, у меня въ глазахъ помутилось—„а! не сядете?!“ Да какъ

дамъ одному, какъ дамъ другому,—„маршъ по вагонамъ, сволочь вы этакая!“ Такъ что же вы думаете,—еще кто-то нашелся, спрашиваетъ:

— Да до какихъ же это поръ насъ бить будутъ?

Я подлетѣлъ туда, да не замѣтилъ, кто крикнулъ,—трахнулъ перваго попавшагося, вынулъ револьверъ и сказалъ, что сейчасъ же стрѣлять буду, если они не сядутъ...

О! Съ тѣхъ поръ они меня боятся, боятся, знаете... и любятъ, добавилъ онъ, помолчавъ.

— Знаете, я думаю начальникъ долженъ такъ себя держать, чтобы его боялись и любили... Правда?—Наивно спросилъ онъ, обращаясь къ капитану.

Было тяжело и неловко. Всѣ молчали и избѣгали встрѣчаться глазами другъ съ другомъ.

— И-да!... Бываютъ случаи,—проговорилъ, наконецъ, вытирая платкомъ лысину, толстый поручикъ, до тла проигравшійся въ Москвѣ и теперь ѣдущій совсѣмъ безъ багажа,—бываютъ...

— Ну, знаете ли, мичманъ,—заговорила наша попутчица,—вы вотъ говорите, что васъ матросы боятся и любятъ,—можетъ быть и боятся, но насчетъ того, что любятъ, думаю совершенно иначе. Это ужъ позволите усомниться,—проговорила она почти шопотомъ, отодвинувшись въ дальнѣй уголь и глядя оттуда на мичмана широко открытыми, остановившимися глазами.

— Нѣтъ, честное слово, серьезно, очень любятъ, знаете ли, очень, увѣряю васъ,—горячился мичманъ.

— Я вездѣ, гдѣ по пути рѣчка,—торопился онъ выказать свое отношеніе къ матросамъ,—купаю ихъ... И самъ бросаюсь первый. Съ однимъ поспорилъ, знаете, вчера,—оживился мичманъ,—вперегонки.... и... переигралъ... да,—басилъ онъ, все постукивая себя большимъ загорѣлымъ кулакомъ по колѣнкѣ.

— Рязанцевъ! — вдругъ вскинулся онъ и началъ-

нически наморщилъ брови, — прѣсной воды много еще?

— Такъ точно, ваше благородіе, — появился въ дверяхъ стройный матросъ, съ едва замѣтной улыбкой поглядывая на усиленно хмуращагося и глядящаго въ землю мичмана.

— Принеси еще.

— Есть.

Мичманъ опять засуетился и запрыгалъ, устраивая лимонадъ, угощая финиками, конфетами и другими сластями, которыхъ у него оказалось множество. Все это довольно быстро исчезало въ нашихъ желудкахъ; одинъ только механикъ не желалъ ничего. Онъ пришелъ со своей бутылкой рому и не разставался съ ней ни на минуту; выпивая за здоровье каждаго въ отдѣльности, всѣхъ вмѣстѣ, по поводу пріятной встрѣчи, благополучной дороги и т. д., онъ вскорѣ дошелъ до такого состоянія, что, сѣвъ нѣсколько разъ мимо дивана, былъ отправленъ, подъ охраной Рязанцева, въ свое купѣ.

Поѣздъ остановился на разъѣздѣ.

— Господа! Плѣнныхъ японцевъ везутъ! — крикнулъ кто-то на дворѣ.

Мы всѣ вышли посмотреть.

Передъ вагономъ уже собралась большая толпа солдатъ, писарей, рабочихъ.

Большинство японцевъ привѣтливо улыбались и клевали намъ головами.

— А чиво ето въ его така худа рука, не знашь? — спрашивалъ весь въ веснушкахъ курносый солдатъ.

— Не смотри, што худа. Худа, да жиловата! — отвѣчалъ ему мрачный бородачъ изъ запасныхъ.

— Очень просто...

Японецъ, прижавшись лицомъ къ рѣшеткѣ и продѣвъ маленькую темную руку, лепечетъ;

— Гвоя Халибинъ ѣхалъ, моя Маськува...

Мичманъ, подрагивая ногой, отрубилъ:

— Сволочь! Низшая раса... Мерзавцы... Упрямствомъ только и берутъ...

Поѣздъ съ плѣнными тронулся. Одинъ изъ нихъ дружелюбно протянулъ руку стоявшему близъ вагона солдату. Тотъ схватилъ ее и, крѣпко зажавъ въ своей, притянулъ японца къ окну и ткнулъ кулакомъ по рѣшеткѣ на уровнѣ его лица

Толпа загоготала, а японцы неодобрительно закивали головами и, презрительно прижмуривъ косые глаза, молча поглядывали на русскихъ. И только когда уже вагонъ съ японцами сталъ уходить отъ насъ, изъ глубины его кто-то хорошимъ русскимъ языкомъ сказалъ:

— Оборванцы!

И сколько же презрѣнія было въ этомъ одномъ, спокойномъ брошенномъ словѣ!

— Ну, зачѣмъ ты это сдѣлалъ!—спросилъ я у солдата.

— Такъ что, господинъ баринъ, для шутки ради...

— А какъ у васъ насчетъ отеческаго внушенія?—спрашивалъ мичманъ капитана, вертя въ воздухѣ кулакомъ.

— У насъ совсѣмъ нѣтъ этого, развѣ за очень рѣдкими исключеніями, которыя теперь тоже скоро выведутся.

— Ну, у насъ не выведутся,—самодовольно замѣтилъ мичманъ,—по роду службы, знаете. У насъ это прямо необходимо. Никогда не выведется.

— Ой ли? — переспросилъ капитанъ. — И вамъ, батенька, придется съ этимъ разстаться. Въ особенности,

когда введутъ обращеніе къ низшему чину на „вы“. Тогда уже чувство собственнаго достоинства такъ поднимется у солдата, что кулачная расправа окажется совсѣмъ невозможной.

— То-есть какъ это на „вы“? Вы думаете, капитанъ, что когда-нибудь заставятъ офицера говорить нижнему чину „вы“?

— Конечно! По моему убѣжденію, это должно быть, и рано или поздно, но непременно будетъ.

— Ну... ну... Тогда...—совершенно растерялся мичманъ...—Тогда... въ такое время лучше пусть не будетъ меня на свѣтѣ!...—вдохновенно выпалилъ онъ.

Что дѣлается въ головѣ этого пылкаго мальчика?

А между тѣмъ полтораста жизней зависятъ отъ его каприза, отъ вспышки этого недурного и даже добраго юноши, какимъ я узналъ его изъ болѣе интимной бесѣды.

Но такая путаница, такое полное извращеніе понятій о добрѣ и злѣ прорывалось порой и въ этихъ задушевныхъ разговорахъ, что не разъ я съ нѣкоторымъ страхомъ внимательно присматривался къ этому красивому, привлекательному лицу и думалъ—ужъ не душевно-больной ли это?

26-ое мая 1905 г. Челябинскъ:

— Азія! Азія! Да что же вы спите, мы уже въ Азіи,—дергалъ меня за ногу капитанъ. — Уже и чай готовъ... Знаете, просто бѣлый столбъ,—съ одной стороны написано: Европа, а съ другой—Азія, вотъ и все... Однако какъ въ Азіи ѣсть хочется; вставайте, батенька, будемъ чай пить, я страшно промерзъ, всю ночь не спалъ, все боялся пропустить границу.

Добрѣйшій капитанъ, котораго нельзя было себѣ и представить иначе, какъ съ двумя чайниками въ ру-

кахъ, приготовилъ уже завтракъ и будилъ всю компанію.

Я выглянулъ въ окно. Поѣздъ, взбиравшійся вчера съ такимъ трудомъ на переваль, мчался теперь съ бѣшеной быстротой по спирали, скрывающейся гдѣ-то далеко внизу, за каменными выступами.

А по сторонамъ возвышались чудныя зеленѣющія плоскогорія, покрытыя густымъ, веселымъ лѣсомъ и изсиня темно-зелеными кудрявыми соснами, на красныхъ стволахъ. Иногда межъ двухъ крутыхъ вершинъ внезапно покажется зеленая долина, теряющаяся гдѣ-то далеко въ голубой синевѣ горъ. Весело шевеля камешками, бѣжитъ по ней прозрачный ручей и, заигрывая своими шаловливыми струями съ зеленымъ берегомъ, торопится рассказать склонившимся къ нему полевымъ цвѣтамъ все, что онъ видѣлъ на вершинахъ горъ.

И когда въ такой „пади“, какъ называютъ уральцы свои долины, встрѣтится свободно раскинувшійся поселокъ, съ вьющимся изъ трубъ голубоватымъ дымкомъ, то кажется, что люди тутъ счастливы, что имъ легко и привольно живется въ этой сочной, ласкающей долинѣ и что и сами они должны быть и сильнѣе и красивѣе другихъ людей.

А прекрасное, поразительной прозрачности небо съ замерзшими въ недосыгаемой высотѣ бѣлоснѣжными барашками, такими чистыми и бѣлыми, какихъ невозможно себѣ представить не увидавъ,—казалось, говорило, что здѣсь иначе и быть не можетъ.

И въ самомъ дѣлѣ, тѣ нѣсколько человѣкъ, которыхъ мы случайно видѣли изъ оконъ вагона, поразили меня своими рослыми фигурами, здоровыми, мужественными лицами. На разѣздахъ красивыя, загорѣлыя женщины разглядывали смѣющимися глазами пассажировъ и улыбались намъ такъ, какъ будто имъ до-

ставляло радость видѣть насъ. А какія свободныя, граціозныя движенія!

Глядя на нихъ, мы въ первый разъ за всю дорогу почувствовали, что нашъ поѣздъ, этотъ маленькій, клочокъ комфорта, пролегающій мимо сѣрыхъ деревень, съ разобранными на кормъ крышами, и провожаемый голодными, враждебными глазами, тутъ ни въ комъ не возбуждаетъ зависти.

— Вы сами по себѣ, а мы сами по себѣ, казалось, говорили веселыя, полныя жизни лица.

И было немножко грустно, что мы ничѣмъ не связаны съ этой дивной природой и ея привлекательными обитателями. Такъ бы, кажется, и вышелъ изъ трясаго, громяющаго поѣзда и, стеревь все, что осталось позади, началъ бы здѣсь новую, красивую и здоровую жизнь...

Горы понемногу мельчаютъ, удаляются...

29-ое мая 1905. Кайнскъ.

Черезъ широкую гладкую, какъ доска, степь отъ горизонта до горизонта протянулись двѣ блестящія, стальныя полосы. А по нимъ жужжить, катится, быстро мелькая колесами, поѣздъ. За поѣздомъ длинной лентой вытянулось, припавъ къ мокрой землѣ, желтое облако дыма.

Въ необъятномъ, какъ море, пространствѣ поѣздъ нашъ кажется маленькой заводной игрушкой.

Пусто, тихо, ни души...

Блестать только лужицы отъ недавно растаявшаго снѣга, да трепыхается молодыми листочками куца, низкорослая береза.

Уже вторую тысячу верстъ ѣдемъ мы по этой зеленой пустынѣ, а по временамъ кажется, что поѣздъ нашъ совсѣмъ не подвигается впередъ, — такъ одно-

образно, такъ одинаково пустынно и мертво кругомъ. Ни пригорка, ни долины, ни закругленія на пути. Два рельса спереди, два сзади, зеленая степь и ровный, по шнуру отбитый, горизонтъ, а надъ нимъ сѣрое, гладкое небо.

Черезъ нѣсколько дней такого пути начинаетъ казаться, что пустынь этой нѣтъ конца, и странно подумать, что на землѣ есть мѣста, гдѣ люди живутъ, сбившись въ тѣсныя кучи, и ведутъ ожесточенную борьбу не на животъ, а на смерть, лишь бы только оттягать другъ у друга жалкій клочокъ земли.

Комары и слѣпни міриадами носятся въ воздухѣ, и потому вездѣ, гдѣ только попадается человѣческое жильѣ, вездѣ разложены костры, приглушенные сверху навозомъ и сырыми вѣтками. Въ густомъ дыму бродятъ неясныя силуэты людей съ головами, закутанными въ черную кисею, и едва можно различить окружающіе деревья и бревенчатыя постройки.

По временамъ, то тамъ, то здѣсь, въ кострахъ безшумно вспыхиваетъ кровавый языкъ пламени, и тогда изъ темнаго сумрака въ мутномъ кружкѣ свѣта на мгновеніе vyplываютъ головы дремлющихъ коровъ и лошадей; сбившись тѣснымъ кольцомъ вокругъ костра и забравшись копытами въ горячую золу, онѣ, вытянувъ шеи, какъ будто грустно шепчутъ другъ другу о томъ, какъ тяжело жить на свѣтѣ...

Ближе къ Красноярску, со станціи Тайга, дорога прерывается сквозь дикую чащу непроходимаго лѣса. Могучія ели, кедры и лиственница, споря другъ съ другомъ, наперерывъ тянутся изъ мучительной тѣсноты и мрака къ небу—къ свѣту и теплу.

Начинаются угрюмыя, непривѣтливыя горы и глубокіе, темные овраги, замыкающіеся вдали темно-зеле-

ной щетиной вѣковыхъ деревьевъ. То тамъ, то здѣсь видны слѣды бушевавшего лѣсного пожара. Десятками верстъ тянутся сожженные пламенемъ, обуглившіеся стволы исполинскихъ пихтъ и кедровъ. Уткнувшись обгорѣлыми вѣтвями въ землю черные, блестящіе, лежать они на покрытой золой землѣ. Тутъ мертвенно тихо—ни птицы, ни звѣря. Только иногда пронесется холоднымъ дыханіемъ сѣверный вѣтеръ, осторожно зашуршитъ въ золѣ и, закрутивъ ее высокимъ столбомъ, засыпаетъ ею, какъ саваномъ, мертвые деревья. Изрѣдка стоитъ въ печальномъ одиночествѣ какимъ-то чудомъ уцѣлѣвшая сосна. Огонь обглодалъ на ней кору, но верхушка все еще зеленѣетъ и живетъ.

Сотни верстъ воздухъ пропитанъ рыжимъ угаромъ, который ѣстъ глаза и щиплетъ въ горлѣ; и небо кажется адѣсь краснымъ. Болитъ голова... Дымъ все гуще, все ѣдче, дышать все труднѣе, и, наконецъ, мы видимъ, какъ въ верстахъ въ десяти отъ насъ, на горахъ, горитъ лѣсъ и сѣрый дымъ валится оттуда густыми клубами внизъ по ущелью и расплзается далеко по долинамъ, отравляя воздухъ.

— А часто тутъ лѣсъ горитъ?—спросилъ я у пильщика-пермяка, точившаго на отдыхъ свою пилу.

— А то? Извѣстное дѣло—часто. Почесъ рѣдко бываетъ, чтобы нигдѣ не горѣло... Ужъ гдѣ-либо да горитъ... Безъ этого нельзя, — увѣренно добавилъ онъ.

— Будто?

— Вѣрное слово. Народъ все пришлый, взять мепо или хушь тебе. Сѣлъ, щець сварилъ, да и пошелъ далѣ, а огонь бросилъ. Какъ тихо—ну, ничего, а какъ чуть тебѣ вѣтерокъ мало-мало дыхнеть—ну, и учнеть чесать, да и полыхаетъ недѣлю, а то и двѣ... Черезъ то собственно, — благодушно продолжалъ онъ, — какъ онъ мнѣ лѣсъ-то чужой, я тутъ не жилецъ-те...

— Да хоть не жилецъ, а такъ просто развѣ не жаль, что горить такое добро?

Пермякъ посмотрѣлъ на меня черезъ плечо съ такой улыбкой, что видно было, до какой степени глупымъ и наивнымъ показался ему этотъ вопросъ.

— Да вить опять же я былъ тутъ, заработалъ да и пошелъ, я те сказываю... Вотъ те и жаль! Къ примѣру я бы тутъ жилъ, поселенецъ былъ бы, ну другая статья... А то, что онъ стоитъ, что онъ горить, ни вреду ни пользы мнѣ никакой... Хушь тамъ мнѣ, хушь тамъ кому другому прохожающему...—старался онъ растолковать мнѣ такую ясную и очевидную истину.

А я смотрѣлъ на его добродушное, немножко насмѣшливое лицо, на затянутый дымомъ горизонтъ, на исполинскіе, обуглившіеся пни и думалъ:—останется ли хоть что-нибудь отъ этихъ величайшихъ въ мірѣ лѣсовъ къ тому времени, когда русскій человѣкъ научится иначе относиться къ общественному добру?

Сколько еще пожаровъ, дыму и огня понадобится для этого?

31-ое мая 1905. Красноярскъ.

На большой остановкѣ въ Красноярскѣ на тормозъ второго класса вошелъ и нерѣшительно остановился подлѣ меня крупный, пожилой мужчина. Въ рукахъ у него была палка, а на головѣ грубой работы соломенная шляпа, съ обломанными краями.

Я обратилъ вниманіе на его загорѣлое, мужественное лицо, на оборванный, засаленный пиджакъ и на виднѣвшуюся изъ-подъ него рубаху, которая была до такой степени грязна, что жутко было смотрѣть на нее; а на блестящемъ отъ сала воротникѣ я увидѣлъ большую, бѣлую вошь, медленно пробирающуюся къ затылку.

Довольно долго мялся онъ возлѣ меня и, наконецъ, наклонившись немного впередъ, пробасилъ, прикрывая ладонью ротъ и распухшую щеку:

— Знаете, до чего зубы вчера разболѣлись, бѣда! Ну что я сдѣлаю? Говорю доктору на станціи:—Помогите, Бога ради! А онъ давай спрашивать:

— Кто ты есть такой?

— Кто,—проѣзжающій.

— Ну,—говорить,—для такихъ пѣту.

А я говорю ему:—Пускай я за васъ къ Богу вздохну,—помогите!

— Всѣ вырвешь,—говорить,—а чѣмъ жевать будешь?

— Да чѣмъ?—говорю,—у меня дома дочка есть, она будетъ жевать, а я буду кушать. — Ну, смѣется, а все-таки не рветъ — глазной,—говорить,—не хорошо рвать. Все-таки помазалъ чѣмъ-съ-то; правда, легче стало. И еще далъ мнѣ полоскать,—вотъ я вамъ покажу.

Онъ полѣзъ въ карманъ, долго ловилъ что-то за подкладкой и вытащилъ мѣшечекъ съ надписью: бертолетовая соль.

— Разведи,—говорить,— въ стаканѣ и положи. — Какъ же я буду разводить? Тутъ еще стаканъ прежде надо имѣть. Ну, я взялъ все-таки, — спасибо, говорю. Пошелъ, легъ въ третьемъ классѣ, отъ такъ,—показалъ онъ, наклоня голову,—внизъ зубами, на ладонь, скрутился калачикомъ на голомъ полу, заплакалъ и такъ и заснулъ съ плачемъ. Ни подстелить нечего, ни укрыться, отъ такъ, какъ есть—весь тутъ.

И онъ, взявшись руками за полы, распахнулъ пиджакъ, подъ которымъ была все та же ужасная, липкая отъ грязи рубаха.

— Я, знаете, одиннадцать лѣтъ какъ уже въ Сибири, въ Енисейской губерніи, а теперь, черезъ Наслѣдника, получилъ права и ѣду на родину...

Онъ немного замаялся, подошелъ ко мнѣ ближе и просительно зашепталъ:

— Совѣстно мнѣ, не приучился я просить, но по душевности говорю вамъ — билетъ бесплатный дали мнѣ, а денегъ,—онъ безсильно поднялъ плечи,—ни копейки! Ъсть нечего... Можетъ быть, вы дадите мнѣ что-нибудь... Да, такъ и поѣхалъ.. Думаю, добрые люди найдутся, какъ-нибудь доберусь. А тутъ до „Тайги“ доѣхалъ, — оказывается, просить надо,—такъ никто не дастъ... И трудно стало...

И, немного помолчавъ, онъ прибавилъ:

— Не тотъ, знаете, человекъ, чтобы просить.

Спрятавъ тѣ нѣсколько грошей, которые я ему далъ, онъ постоялъ нѣкоторое время молча. Хотѣлось ли ему поговорить, или онъ считалъ себя обязаннымъ рассказать мнѣ свою исторію, только черезъ нѣсколько минутъ онъ началъ:

— Я за бунтъ, — сказалъ онъ спокойно и внушительно.—Да, за бунтъ, — повторилъ онъ это слово, нѣсколько отшатнувшись и почти вызывающе разглядывая меня.

— Я никакого преступленія не сдѣлалъ, — продолжалъ онъ съ достоинствомъ.—Я только хотѣлъ, чтобы дѣти наши имѣли той самый кусокъ хлѣба, что и мы.

Было то, знаете, на границѣ, въ Петроковской губерніи, въ Гутѣ Домбровской, на прокатномъ заводѣ. Я былъ майстеръ въ бляховомъ отдѣленіи, тамъ, гдѣ листы желѣзны прокатываютъ. И мнѣ, какъ я жалованье получаю помѣсячно, то мнѣ бы все одно, по настоящему сказать — безъ надобности... Ну, однимъ словомъ, прихожу я вмѣстѣ съ другими на работу какъ-то утромъ, въ 1892 году, и вижу на дверяхъ что-то неподходящее для насъ. Вижу — объявленіе отъ конторы; написано, что до вчерашняго дня было столько-то за тысячу, а съ сегодняшняго—будетъ уже столько-то. Уже много дешевле.

Для чего такъ?

Собираются товарищи; я и говорю имъ:—смотрите, говорю,—что контора сдѣлала. Смотрите, хлопцы, хорошо ли это намъ такъ будетъ?

— А что же дѣлать, Антекъ? — спрашиваютъ, что, значить, съ конторой дѣлать теперь, — поясняетъ мнѣ рассказчикъ.

— Что дѣлать,—говорю,—прекратить заводъ и шабашъ. Нехай прекратится, то хоть намъ и плохо будетъ, зато наши дѣти жить будутъ, а такъ пропадемъ при такой цѣнѣ всѣ чисто.

Ну и не пошли на заводъ. День не идемъ, два не идемъ.

— Идите!

— Нѣтъ не пойдемъ; давайте тую цѣну, что раньше была.

Вызвали директора. Ну, всѣ товарищи собралися, и по другимъ цехамъ. Тысячи четыре. Прямо гудятъ, какъ море—страшно такъ. Ну, вышелъ директоръ, говорить:

— Такъ постановила контора. Такую цѣну даютъ черезъ то, что дивиденту совсѣмъ мало и фабрика должна черезъ это падать.

Я самъ не знаю уже, какъ это сдѣлалось въ тое время, знаете, только какъ услышали мы эти слова, такъ кинулись до него всѣ какъ одинъ.

— А-а-а! Дивиденды?! А-а-а-а! Фабрика должна падать?!

Я, самъ не знаю какъ, схватилъ его за грудь, всѣ закричали, и давай его бить, кто какъ могъ, такъ, что даже одинъ другого не мало натолкли. Бьютъ и кричатъ:

— На тебѣ дивиденды, вотъ тебѣ дивиденды!

Такъ что скоро онъ мертвый сдѣлался, — шопотомъ, едва шевеля губами, проговорилъ мой рассказчикъ,

наклонясь ко мнѣ и глядя большими испуганными глазами.

— Что жъ?—продолжалъ онъ черезъ минуту. — Ему смерть, или намъ всѣмъ и нашимъ дѣтямъ съ голоду помирать? И ей-Богу же, я хорошо знаю, никто изъ насъ и въ головѣ не имѣлъ чего-нибудь худого ему дѣлать.

И пошли тогда послѣ этого контору разбивать, а тамъ и фабрику... Все потрошили, поразбивали въ мелкій дребезгъ; сами цѣлый день голодные, ничего не ѣли, а все бьютъ и бьютъ до поздней ночи и все кричатъ:

— На те вамъ дивиденды, отъ вамъ дивиденды!

А тамъ казаки пріѣхали. Мы ихъ кто чѣмъ можетъ, и камнями, и палками, и какъ за нами погонятся, то, знаете, я кинусь бѣжать по шахтѣ, то мнѣ все извѣстно, я туда, сюда, да и опять выскочу, а онъ съ конемъ провалится въ яму, да такъ тамъ и пропадетъ. И-и и! сколько ихъ погибло тамъ!

Черезъ это меня арыштували.

Сижу въ тюрьмѣ, подъ слѣдствіемъ годъ. А на заводѣ собраніе. Хлопцы старались за меня, знали, что я черезъ справедливость, за ихъ пострадалъ, то сложились и на 500 руб. адвоката наняли. А тутъ приходитъ извѣстіе, что жена моя умерла. Задумалась очень обо мнѣ и отъ этого померла. Двое дѣтей осталось. Пустили меня на похороны. За гробомъ сейчасъ идутъ дѣти, а за дѣтьми уже и я и сбоку два солдата съ ружьями.

Въ скорости судъ—шесть лѣтъ каторги, а товарищу—восемь. Спасибо адвокату, выхлопоталъ мнѣ замѣну — лишеніе правъ и одиннадцать лѣтъ поселенія.

Ну какъ повели насъ! Ай, Боже жъ ты мой, что это такое было! Тутъ кандалы, а тутъ грязь! Дали мнѣ эти арестантскіе сапоги, отъ такіе широкіе, что туды хоть подушку пхай, грязь — ты хочешь ногу скды, а

сапогъ лѣзеть туды, ты ногу сюды, а сапогъ туды! Вотъ и иди, какъ хочешь, а станокъ тридцать верстъ. Придешь, холодь, не знаешь, гдѣ лечь, кипятку нѣту. Такъ всю дорогу. Пришли въ Красноярскъ; тутъ мостъ строили каторжниками. И меня заставляютъ — я отказался. Двѣ недѣли отказывался:

— Посылайте, — говорю, — меня въ волость, какъ по предписанію.

— А, — говорятъ, — хорошо, мы тебѣ, когда такъ, дадимъ волость. Мы тебя пошлемъ въ Верхоянскій уѣздъ, тамъ, гдѣ много спятъ и мало ѣдятъ.

Я думаю себѣ, — ладно, я жъ тамъ не прикованный буду, нельзя будетъ жить, то и уйду... Не зналъ я, что такое за край! Однимъ словомъ, такая бѣда, что трудно повѣрить. Уже одна мошка; знаете, сразу, какъ пришелъ, все запухло, и глаза заплыли, — такъ пакусала. Вотъ одинъ поселенецъ и далъ мнѣ старую сѣтку, а я ему за это самоваръ починилъ. Хлѣба совсѣмъ нѣту, только рыбу поймаешь или звѣря убьешь, то тѣмъ только и живь. Убѣжать? — зимой не побѣжишь — холодь, а лѣтомъ кругомъ вода дѣлается, такая трясина... Такъ одиннадцать лѣтъ...

...Дѣти остались у брата, онъ меня крѣпко любилъ, и я его тоже. Вся наша семья такая была. Насъ трое — два брата и сестра, то всѣ любили одинъ другого страсть какъ. Онъ ихъ и кормилъ. А тутъ вотъ что случилось.

Въ прошломъ году, какъ началась война, пошло большое движеніе по дорогѣ. Дай, думаю, попробую поступить на службу. Пришелъ въ Красноярскъ, къ начальнику депо, — а я хорошій слесарь, — прошусь. Что жъ, говорятъ, мы нуждаемся въ мастерахъ, иди проси жандармскаго полковника, безъ него нельзя. Я пошелъ. Искать, искать — нѣту нигдѣ, я на платформу; смотрю, — стоитъ тамъ; я и давай просить: такъ и такъ, — говорю, — объяснилъ, что умираю съ голода, а онъ говоритъ:

— Нельзя тебѣ тутъ быть.

Я знаете до того дошелъ, ей-Богу, что на колѣни передъ нимъ сталъ. Прошу:—для Христа,—говорю,—пожалуйте человѣка.

— Нельзя.

А! нельзя? Тутъ я всталъ и такое ему сказалъ, что страшно даже сейчасъ повторить, такое... Сказалъ и отошелъ въ сторону. И даже онъ ничего не сказалъ мнѣ за это, только головой покрутилъ.

А тутъ, вижу, поѣздъ стоитъ товарный, биткомъ набитый людьми, и на платформѣ такъ кучки стоятъ всѣ въ вольныхъ платьяхъ. Досадно мнѣ стало на нихъ смотрѣть,—думаю, если бы эти не пріѣзжали сюда на работу, то, можетъ быть, я бы получилъ какъ-нибудь мѣсто. Когда подхожу поближе, слышу по-польски говорить. Я тоже спрашиваю:

— Куда ѣдете?

— На войну,—говорять.—А, на войну! — запасные зпачить.

— А откуда?

— Да изъ Петроковской губерніи.

Я дальше, больше спрашиваю; вижу изъ моихъ мѣстъ, а подальше уже вижу — мой братъ Костикъ стоитъ. Ну, ей-Богу, самъ Костикъ. Надо жъ такого!

Я все спрашиваю, а самъ на него смотрю.

— А вы,—спрашиваютъ, — откуда?

— Да енисейскій,—говорю.

— А уѣзда, а волости?

— Такого-то,—говорю,—а самъ молчу, а онъ услышалъ волость, да живо такъ подходитъ и спрашиваетъ:

— Изъ Верхоянской волости? Тамъ,—говорить,—у меня братъ есть, не знаете ли, Антонъ Кшесинскій?

Тутъ я уже не выдержалъ. Бросился къ нему и повисъ на шеѣ.

А Боже жъ мой! Что тутъ было! То и мы плакали.

и кругомъ насъ всѣ плакали.. А тутъ свистокъ—ѣхать уже имъ. Говорю ему:

— Вотъ видишь, не даютъ работы, велятъ идти назадъ. Есть у меня три рубля, возьми!

— Не надо,—говорить,—тебѣ нужнѣе.

Поцѣловались еще—прощай!

И остался я опять одинъ, какъ и за пять минутъ раньше. Какъ во снѣ...

Пошелъ назадъ. А черезъ годъ получаю повѣстку придти сюда, получить права. Прихожу, какъ разъ санитарный поѣздъ стоитъ.

— А ну, думаю, чи пѣту тутъ нашихъ?

Захожу. Такъ и есть. Три человѣка съ тѣхъ, что тогда ѣхали. Одинъ отъ такъ безъ руки, другому глазъ протрѣлили, а третьему обѣ ноги выше колѣнъ оторвало...

Ахъ, Боже мой,—вздыхнулъ мой рассказчикъ.—Подхожу, говорю:

— Какъ поживаете?

— А вотъ,—говорить,—видишь,—и показываетъ на ноги,—видишь,—говорить,—какъ... Твой братъ, Костикъ, готовъ—убитый, значить; остался подъ Ляояномъ, а мы вотъ видишь... Лучше бъ и намъ тамъ остаться, чѣмъ такъ жить... И вотъ,—говорить...

Тутъ рассказчикъ началъ прерывисто дышать и то и дѣло смахивалъ пальцемъ обильно навертывавшіяся слезы.

...И вотъ,—говорить,—тебѣ, какъ умиралъ, письмо оставилъ. Разворачиваю я тое письмо, а тамъ написано:

— Корми, дорогой братъ, моихъ дѣтей теперь такъ, какъ я кормилъ твоихъ.

...И больше ничего...

Онъ остановился, отвернулся къ стѣнѣ и, трясаясь всѣмъ тѣломъ, громко, какъ-то странно зарыдалъ.

— Бгу-бгу-бгу...

Поѣздъ тронулся. Онъ пожалъ мнѣ руку.

...И вотъ я ѣду... въ такой рубахѣ... ѣду туда... Кормить... Старый, слабый, въ такой рубахѣ,—схватилъ онъ себя съ отчаяніемъ обѣими руками за рубаху.

И рыдая, слѣзъ уже на ходу и исчезъ въ холодной, жуткой темнотѣ...

Поѣздъ мчится, какъ бѣшеный, гремитъ желѣзо, визжать цѣпи; кажется, что это дождемъ сыплется въ одну нестройную кучу рельсы, колеса, болты, а кто-то разсвирѣпѣвшій мѣрно бьетъ по нимъ тяжелымъ молотомъ:

...Тррахъ-тахъ-тахъ... Тррахъ-тахъ-тахъ...

Въ этомъ зломъ адскомъ шумѣ долго еще слышались мнѣ стоны загорѣлаго человѣка, ревъ возбужденной толпы, убившей директора, звонъ кандаловъ, громъ пушекъ, а въ глубинѣ черной ночи, озаряемой иногда кровавымъ огнемъ поддувала, я видѣлъ окровавленный трупъ. Кости, блѣдныя, испуганныя дѣтскія лица и моего рассказчика...

Что будетъ съ нимъ дальше?

10-ое іюня. Ст. Хайларъ.

Жесточайшій ливень. Тьма кромѣшная.

По песчаной платформѣ бросаются изъ стороны въ сторону пассажиры, отыскивая коменданта, начальника станціи, жандарма, кого угодно изъ администраціи, чтобы обезпечить себѣ хотя какое-нибудь мѣсто.

А дождь шумитъ, реветъ, и огромныя капли, какъ тяжелая дробь, шлепаются съ разгону о желѣзо и камень и разбиваются въ мелкую пыль. Гдѣ-то невдалекѣ бурлятъ потоки воды... И черныя фигуры, пыряющія въ этой темнотѣ и окликающія другъ друга жалкими-голосами, кажутся потерянными, ненужными...

Просмотрѣвъ наши свидѣтельства, жандармскій ротмистръ пропустилъ насъ къ поѣзду.

Въ моемъ купѣ на верхней полкѣ помѣстился капитанъ. Внизу лежалъ необыкновенно высокаго роста поручикъ съ сѣдыми бакенами, какъ у Айвазовскаго; а противъ него устроился совершенно лысый интендантскій чиновникъ.

Поручикъ, человекъ лѣтъ пятидесяти, какъ оказывается, поѣхалъ на войну добровольцемъ. На мой вопросъ, что онъ дѣлалъ раньше, поручикъ отвѣтилъ съ улыбкой и даже какъ будто съ нѣкоторымъ удивленіемъ:

— А ничего!—Цилиндръ носилъ.

Послѣ такого отвѣта онъ сидитъ еще нѣсколько мгновений съ удивленнымъ лицомъ и о чемъ-то думаетъ. Не додумавшись, какъ видно, ни до чего хорошаго, онъ крикнулъ, вздохнулъ и принялся устраивать на короткой скамьѣ свои длиннѣйшія, одѣтыя въ рейтузы, ноги. Накрывъ голову желтымъ кителемъ, онъ выставилъ оттуда большой, горбатый носъ, который тотчасъ же и захрапѣлъ на весь вагонъ.

Лысый чиновникъ злобно посмотрѣлъ на торчащій изъ-подъ кителя носъ и завистливо проговорилъ:

— Экъ, его разбираетъ!

И, зажигая папиросу, такъ чиркнулъ спичкой, что головка у нея оторвалась и полетѣла подъ скамью. Курилъ онъ папиросу за папиросой, не переставая. А такъ какъ онъ боялся простуды и запрещалъ открывать окно, то въ купѣ стоялъ удушливый туманъ. Выкуривъ папиросу и видя, что я не сплю, онъ обратился ко мнѣ съ разговоромъ.

— Вотъ уже которую ночь не сплю... Вы подумайте,—сказалъ онъ, странно вытянувъ впередъ круглую голову на длинной шеѣ,—телеграфировалъ въ штабъ: напишите, что съ сыномъ—никакого отвѣта; я срочно, опять съ уплоченнымъ отвѣтомъ — мнѣ отвѣчаютъ, что не знаютъ, гдѣ его полкъ стоитъ... Ну, что бы вы поду-

мали, гдѣ онъ? Я въ Читѣ служу, и вотъ уже третій мѣсяцъ ничего не знаю...

...Убить, убить, такъ чувствую, что убить,—сказалъ онъ, помолчавъ, отвѣчая самому себѣ.

— То каждый день письма писалъ, ну хоть не каждый день, а ужъ два, три раза въ недѣлю обязательно напишетъ, а то—ни строчки... Ну, какъ вы думаете, а?—спросилъ онъ, весь вытянувшись въ мою сторону и жадно впившись мнѣ въ лицо своими мокрыми, выпученными, съ красными жилками, глазами. Видно было, что онъ тысли разъ уже обращался ко всѣмъ съ этимъ вопросомъ.

Я попытался убѣдить его, что сынъ живъ, но, можетъ быть, онъ гдѣ-нибудь въ далекой рекогносцировкѣ, куда не доходитъ почта.

— Да, да,—обрадовался онъ,—вотъ и я такъ думаю, конечно въ рекогносцировкѣ... да... въ рекогносцировкѣ,—напиралъ онъ на это слово...

— А все-таки я рѣшилъ для спокойствія съѣздить, отыскать его. Знаете онъ у меня одинъ, такой способный, умница. Я,—говорить,—папа, повоюю, а война кончится, буду въ Академію экзаменъ держать, да...—важно сказалъ чиновникъ и погладилъ свою лысину...—Не какъ другіе... Слышите? Богъ знаетъ, что дѣлаютъ!—сказалъ онъ, показывая головой на дверь.

— Право! Какъ не стыдно! три часа ночи, а они орутъ себѣ какъ ни въ чемъ не бывало... Первы и безъ того развинчены...

Въ коридорѣ дѣйствительно было очень шумно. Слышно было, какъ пѣли на мотивъ кэкъ-уока:

Я шансонетка, поберегись:

Стрѣляю мѣтко, не ошибись!..

Намъ денегъ не надо

Насъ любить Микадо!..

— Гони, гони линію, гони!—кричить кто-то съ азартомъ,—гони ее!..

Подъ самыми дверями со звономъ разбилась бутылка.

— Вотъ ужъ именно, чортъ знаетъ что...—проснулся бывший цилиндръ и перевернулся на другой бокъ,—никакъ не успеешь... черти...

И опять захрапѣлъ.

Я вышелъ въ коридоръ. Тамъ, вокругъ маленькаго столика, вплотную заставленнаго бутылками, собралось человѣкъ шесть офицеровъ. Всѣ они были въ грязно-зеленыхъ рубахахъ и въ большихъ, запыленныхъ сапогахъ. Они здѣсь сначала войны и теперь вырвались на двѣ недѣли съ позицій въ отпускъ.

— Немножко поразвлекъ, съ дѣвочками поиграть мало-мало,—наголодались, знаете!—сказалъ мнѣ одинъ изъ нихъ.

Загорѣлые, рослые, плотные, они отчаянно сквернословили, хохотали и пили безъ перерыва. Даже не вѣрилось, чтобы шесть человѣкъ могли выпить всѣ эти стоявшія на столѣ и валяющіяся подъ ногами бутылки.

Черный, толстый прапорщикъ, „душа общества“, бывший присяжный повѣренный, съ веселыми, живыми глазами и трясущимся животомъ, металъ банкъ. Онъ уже проигралъ въ эту ночь 700 рублей и теперь старался отыграться.

Облокотясь грузнымъ тѣломъ на оконную раму, рядомъ съ нимъ стоялъ высокій поручикъ, съ коротенькимъ задорнымъ псомъ, затерявшимся на большомъ плоскомъ лицѣ. Наклоняя голову то на одинъ, то на другой бокъ и жмуря глаза отъ дыма собственной папиросы, онъ лѣниво смотрѣлъ на быстро летающія карты.

Казацій сотникъ съ ехиднымъ, сбитымъ на бокъ ртомъ, жадно ловилъ выпученными бѣлесыми глазами карты и то и дѣло кричалъ прапорщику:

— Гони, гони линію...

Штабной офицеръ, первый разъ ѣдущій изъ Россіи, метопично загребалъ бѣлой рукою съ выхоленными

ногтями выигрышь, продолжая спокойно расспрашивать, гдѣ можно остановиться въ Харбинѣ, какія тамъ развлечения и т. д.

Остальные двое со сбитыми на затылокъ фуражками расплескивая налитыя рюмки, забывъ про нихъ, говорили о жизни въ госпиталяхъ.

— Онъ спрашиваетъ, понимаешь ли—умру?

— Да,—говорятъ ему,—надежды мало. Ну, такъ,—говорить,—подойдите сюда, сестра, ко мнѣ. Вотъ,—говорить,—не откажите, сестра, исполнить мою просьбу, пошлите извѣстіе о моей смерти женѣ, по такому-то адресу, и вотъ,—говорить,—госпожѣ такой-то, по такому-то адресу.

И даетъ ей, понимаешь ли, двѣ записки, видно, еще раньше, бѣдняга, заготовилъ. Я, какъ смотритель госпиталя, случайно былъ тутъ и все это видѣлъ. Въ эту же ночь онъ и помер... Утромъ я и спрашиваю сестру, сама она пошлетъ эти записки, или мнѣ поручить. Такъ вы знаете, что она отвѣтила?—обратился онъ ко всѣмъ.

И поджавъ губы и манерно поводя головой, онъ пропищалъ, подражая женскому голосу:

— Женѣ,—говорить,—я пошлю, не трудитесь, а той негодной женщинѣ и не подумаю посылать. Она, навѣрное, его увлекла и семейную жизнь разстроила, а я вовсе не желаю поощрять развратъ!

Ну, что ты ей скажешь послѣ этого? Я и такъ, и сякъ, спрашиваю, откуда она знаетъ, что женщина эта негодная и прочее такое, а въ концѣ концовъ, и говорю ей, что пошлю записку самъ. А она, какъ услышала это, взяла да на моихъ же глазахъ записку эту въ мелкіе кусочки порвала и въ окно выбросила!

Ну, что съ такой дурищей дѣлать, а?—хлопнулъ онъ себя съ озлобленіемъ по ляжкѣ.

— Чисто сдѣлано, что и говорить!—засмѣялся прапорщикъ, не отрываясь отъ игры.

Разсказчикъ выпилъ рюмку водки и присоединился къ играющимъ.

— Такъ чего же лучше, какъ у насъ было,—проговорилъ его товарищъ, разжевывая твердую, какъ камень, московскую колбасу.—Была у насъ, видите ли, какая-то графиня, чортъ тамъ ее знаетъ, забылъ фамилію, ну да все равно... Такъ та, видите ли, считала своей обязанностью, какъ только солдатъ умираетъ, говорить ему въ утѣшеніе разныя кислыя слова

Вотъ какъ-то разъ подходитъ она къ одному умирающему и начинаетъ:—Какъ,—говорить,—тебѣ должно быть сладко сознавать, что ты умираешь, исполнивъ свой долгъ передъ Государемъ, что ты свой животъ на алтарь отечества положилъ...—и пошла брызжать надъ нимъ. А тотъ слушалъ, слушалъ, заскрипѣлъ зубами, повернувшись къ ней и говорить съ такой ненавистью:

— Да замолчи же ты, пу-у-удная! — закрылъ [глаза да и померъ.

Такъ она сейчасъ же послѣ этого забрала свои манатки и маршъ въ Россію.

— Шабашъ, значить, утѣшать! Мію *).

— Вотъ это аккуратно пущено,—разсѣянно проговорилъ поручикъ съ маленькимъ посомъ, разбираясь въ картахъ.

— Ну, ходи ты, нудная!—подхватилъ казакъ, обращаясь при общемъ смѣхѣ къ поручику

— Нудная-то, нудная,—отозвался онъ,—а вотъ, что я съ этимъ паршивымъ валецомъ профершипилился — это тоже вѣрно.

— Ну? И что же вы, позволяйте вамъ шпросить, псъ-подъ шибс думали?—скопировалъ толстый прапорщикъ сврея.—Утѣштесь—какихъ я вамъ въ Харбинѣ дѣвочекъ покажу! одно жаглядѣніе!—поцѣловалъ онъ кончики своихъ толстыхъ пальцевъ.

*) Мію—по-китайски—пѣть.

— Неужто хорошенькія?—живо повернулся къ нему штабной.

— Да ужъ повѣрьте, что лучше чѣмъ вотъ это дермо, что заперлась въ купэ,—кивнулъ онъ головой на дверь, за которой спала молодая блондинка, жена пограничнаго офицера. Покуда размѣщались въ поѣздѣ, она успѣла нѣсколько разъ довольно ѣдко сръзать пристававшего къ ней прапорщика.

— Изображаетъ изъ себя королеву испанскую,—кивалъ онъ пренебрежительно головой,—а я самъ видѣлъ ее въ Харбинѣ, въ Оріантѣ, съ офицерами,—ну, честное даю вамъ слово... Такъ только задается.

— Да дѣвка, что и говорить... Ну ее къ чертямъ. Я бы и пачкаться не хотѣлъ съ такой дешевкой,—проговорилъ казакъ, которому не нравилось, что разговоръ отвлекаетъ отъ игры.

— Досадно, понимаете ли, что она изъ себя выстраиваетъ.

— Э, да ну ее къ чорту! — стукнулъ нетерпѣливо казакъ по столу картами.

— И еще понимаете ли, прошу,—говорить,—не шумѣть... Очень надо... А ну-ка мы сейчасъ ей серенаду споемъ... Да бросьте, все равно не выиграете больше,—уже денегъ міюла *). Лучше выпьемъ.

Въ рукахъ у толстяка появилась гитара и хитро подмигивая, вскидываясь всѣмъ тѣломъ, какъ будто оно оплывало у него внизъ, онъ запѣлъ:

Я—Я—я кауферша, въ томъ признаюсь,

Дамъ не люблю я, въ чемъ сознаюсь!..

И хоръ, дирижируя другъ другу руками съ полными рюмками водки, дружно подхватилъ, направляя голосъ къ запертымъ дверямъ:

Ужъ я ихъ брѣю, брѣю, брѣю,

*) Міюла—по-китайски—нѣтъ.

Прелестной ручкою своею,
Я кауферша—поберегись!

— Ха-ха-ха!—заливался прапорщикъ,—вотъ тебѣ и прошу не шумѣть! Охъ, что-то шибко на водку погнало, братцы!. Шанго! шибко шанго *), капитена! — похвалилъ прапорщикъ, выпивая рюмку за рюмкой.

— Вотъ только жаль хлѣба нѣтъ, это уже пу-хо! **) проговорилъ поручикъ.

— А водки до утра хватитъ?—спросилъ, плутовато оглядывая всѣхъ, прапорщикъ.

— Этого хватитъ.

— Ну, такъ больше намъ ничего и не надо!

— А вы все-таки насчетъ дѣвочекъ меня не забудьте,—напомнилъ штабной.

— Лишь бы чены ***) были. Эта штука дорогая въ Харбинѣ... Извозчики и дѣвки—самая дорогая штука тамъ. Въ Россіи ей, зашмарканной жидовкѣ, трещница цѣна, а здѣсь четвертной билетъ за ударъ, меньше и не возьметъ, да еще накормить ее стерву надо...

— Хмъ! скажите!—удивился штабной.

— А хотите, — таинственно нагнулся, плотоядно блестя глазами, прапорщикъ,—тамъ, въ третьемъ классѣ, преаппетитненькія ѣдутъ дѣвчонки,—пойдемъ, а? Лови, лови, часы любви,—засмѣялся онъ.—А? побѣжимъ, чортъ меня возьми совсѣмъ...

— А что жъ пойдемте,—вотъ молодецъ, ей-Богу!

— Да куда вы черти?—засмѣялся казакъ вслѣдъ убѣгающимъ прапорщику и штабному.

— Мы сейчасъ,—весело крикнулъ прапорщикъ и хлопнулъ дверью.

*) Шибко шанго—очень хорошо.

**) Пу-хо—нехорошо.

***) Чены—деньги.

Игра продолжалась.

Разговаривая съ высокимъ поручикомъ, я понемногу свернулъ бесѣду на войну и спросилъ его, какъ онъ себя чувствовалъ во время боя.

— Да какъ вамъ сказать?—улыбнулся онъ, — сначала, пока сидишь еще въ окопахъ, ничего себѣ; пульки такъ ласково посвистываютъ, какъ пчелы, только и слышишь, фью-фью, то съ одной стороны, то—съ другой; по ихъ какъ-то не боишься. Шрапнель—вотъ это уже гадость, ну а хуже всего—шимоза. Воетъ, шипитъ, когда летитъ, поневолѣ къ землѣ прижмешься потѣсишь, а потомъ, какъ лопнетъ, только щупаешь себя—цѣлы ли? Она больше на нервы дѣйствуетъ, а вреда собственно отъ нея мало, ее какъ-то узкимъ такимъ снопомъ вверхъ рветъ...

— Что это? Шимоза?—оторвался на минуту отъ карты казакъ.

— Да, я про шимозу,—со смѣшкомъ подтвердилъ поручикъ.

— О, это шибко пу-хо, шибко пу-хо, ну ее къ чорту, вонючая сволочь. Вы говорите вреда мало. Рѣдко попадаетъ—это вѣрно, ну а зато если ужъ попадетъ, то такого скандалу надѣлаетъ! Въ пыль все разнесетъ. Даже кто поблизости былъ и уцѣлѣлъ—отъ газовъ задохнуться можетъ... Бѣда, какая штучка!

— Ну, а нервы какъ?—спросилъ я.

— Это плоховато, — отвѣтилъ поручикъ, — такая, знаете, передряга, что послѣ нѣсколькихъ дней боя, когда уже все кончено, встрѣтимся съ товарищами и не узнаемъ другъ друга, вотъ до чего. Все лицо мѣняется, совсѣмъ другими людьми всѣ дѣлаются.

— А въ атаку вамъ приходилось ходить?

— А какъ же! До чего трудно бываетъ заставить себя вылѣзть изъ окоповъ, бѣда! Тутъ сидишь, весь закрытый землей, а то нужно идти по ровному мѣсту,

весь на виду, какъ на ладони. Иной разъ вылезешь, сердце колотится, въ вискахъ стучить, идешь впередъ—оглянешься а солдаты все еще лежатъ... Досадно лишнее время подъ прицѣломъ быть, а нужно возвращаться. Вернешься—впередъ, братцы, ну!—лежать; ругнешься,—все лежатъ, только мнутъ, ужасно трудно собраться съ духомъ. Помню, одинъ разъ еврейчикъ такой былъ въ ротѣ, выскочилъ первый, повернулся и крикнулъ въ окопы:

— Эхъ вы, сукины сыны, я жидъ, а и то первый иду. Поднимайтесь, что ли!

Ну, тутъ полѣзли! А лишь бы только выбраться паверхъ, тогда уже пошелъ и пошелъ, не удержишь никакъ, скорѣй бы добраться до новой остановки; тамъ все-таки ляжешь на землю, кто за камешекъ спрячется, кто за кустикъ, возьметъ прикладъ подъ мышку (такъ скорѣе можно заряжать) и жарить, какъ миномета, только успѣвай патроны подносить. Всякій понимаетъ, что чѣмъ больше онъ пулю выпуститъ, тѣмъ больше шансовъ сохранить ему свою жизнь. Дождемъ прямо сыплются пули. Тогда уже никто и не цѣлится, не до того; все это дѣлается какъ во снѣ, до того всѣ возбуждены.

— Ну, а раненые и убитые, которые падаютъ тутъ же, рядомъ съ вами,—они не производятъ на васъ особенно тяжелаго впечатлѣнія?

— Ни малѣйшаго. И не видишь ихъ вовсе, т. е. видишь, что упалъ, схватился тамъ за голову или за руку, видишь кровь, но такое какое-то равнодушіе испытываешь въ это время ко всему, что не касается лично тебя, что какъ будто и нѣтъ ничего. Я разъ ногой вступилъ въ вырванные внутренности, поскользнулся, посмотрѣлъ, выругался, вытеръ сапогъ пучкомъ травы и пошелъ дальше. Послѣ уже вспомнилъ, когда бой кончился, что хорошій былъ солдатъ, и даже такъ всего передернуло отъ мысли, что я наступилъ на его

кишки ногой. И нѣсколько дней послѣ этого ходилъ какъ-то петвердо на эту ногу... Да и потомъ, знаете, они тихо такъ падаютъ. Какъ упалъ, такъ и затихъ, полная прострація наступаетъ. Вотъ только эти хохлы проклятые, какъ его ранить, полежить цемного и давай хныкать.

— Ой матипко, ой лышечко!..

— Ну, а великороссы развѣ иначе?

— Тѣ, если легкая рана, большею частью ругаются.— Пшь,—скажетъ,—сволочь, зацѣпилъ таки проклятый!

— У меня, знаете, одинъ,—засмѣялся поручикъ,—только ему перевязку сдѣлали,—а ему ногу пробило,—уже плетется назадъ, въ строй. Я его гоню, а онъ говоритъ:

— Я,—говорить,—ему отомщу. Что жъ, такъ думаете, я ему это и оставлю, что онъ мнѣ ногу испортилъ?

— А скажите, поручикъ, во время боя представляете вы себѣ общую картину боя или только своею личной жизнью живете?

— Я боюсь сказать за другихъ, но хотя самъ я и не изъ трусовъ, много разъ въ атаку ходилъ, но, по правдѣ сказать, ничего кромѣ себя не чувствовалъ и не помнилъ, а все остальное какъ сквозь сонъ, едва замѣчаешь. И солдаты, и голодъ, и канонада, все это какъ будто бы гдѣ-то очень далеко происходитъ, не съ тобой, а съ кѣмъ-то другимъ; вспоминаешь только что вотъ такъ-то нельзя высовываться,—солдатъ такъ высунулся изъ окопа, а его и убили,—или что бываютъ случаи, пуля на излетѣ ударила одного офицера въ лобъ и только шишку набила, и все въ такомъ родѣ, а главное поскорѣе бы, поскорѣе бы рѣшился уже какъ-нибудь этотъ вопросъ—жить мнѣ, или быть убитымъ. Такъ невыносимо ждать нѣсколько дней каждую секунду, что думаешь не разъ, ужъ лучше бы смерть, только бы не ждать больше...

— Ну, а злобы къ непріятелю вы не чувствовали?

— Никакой, нисколько. Подъ конецъ боя уже, черезъ нѣсколько дней, люди дѣйствительно озвѣрѣваютъ отъ голода, постояннаго возбужденія, отъ утомленія,—хочется поскорѣе уже все это кончить какъ-нибудь. И вотъ въ такое время, когда дойдетъ до рукопашной, то всякій дерется уже, какъ звѣрь... Но и то я, напримѣръ, ясно ничего не помню изъ того, что дѣлалось вокругъ меня, когда пошли въ штыки.

— Неужели у васъ не осталось въ памяти ни одного лица изъ тѣхъ, кого вы шли убивать?

Поручикъ подумалъ нѣсколько минутъ и помоталъ головой.

— Нѣтъ, ни одного... ни одного лица не помню...

Съ шумомъ и смѣхомъ вернулись прапорщикъ и штабной и тотчасъ же начали рассказывать, какъ интересно провели они время въ третьемъ классѣ.

— Шельма, то-есть такая это шельма! — хохоталъ штабной, хлопая прапорщика по плечу.

— Ну, господа, а теперь выпьемъ за здоровье этой дѣвки, что тутъ за дверью...

— Да почему же вы думаете, что это дѣвка?—вмѣшался я.

— Оставьте!—сказалъ поручикъ,—здѣсь за эти полтора года мы никого кромѣ дѣвицъ не видали, ну и какъ-то даже не вѣрится, что бываютъ на свѣтѣ честныя женщины...

— Мію, мію! Въ Манчжуріи мію,—подхватилъ услышавшій нашъ разговоръ прапорщикъ.

Стали играть въ желѣзную дорогу.

Настроенный своими рассказами, поручикъ, ставъ на свое мѣсто у окна, посмотрѣлъ нѣсколько мгновеній на начинающійся разсвѣтъ и, задумчиво покачавъ головою, серьезно сказалъ:

— А я теперь, господа, боюсь уже новаго ломайла *). Ей-Богу, боюсь...

Небо начинало свѣтиться холоднымъ, стальнымъ блескомъ, а эти шестеро все еще пили и играли и опять пили изъ большихъ липкихъ стакановъ то пиво, то водку и, закусывая, хватали блестящими отъ жира пальцами разбросанные по столу куски мяса.

Стоя все время на ногахъ, на прыгающемъ полу, они продолжали бросать карты нервными, дрожащими руками, слѣдя за ними воспаленными глазами... И все смѣялись и смѣялись, какъ будто бы, въ самомъ дѣлѣ, было что-нибудь веселое или смѣшное въ тѣхъ отвратительныхъ, грязныхъ сальностяхъ, которыми вспоминали они несчастныхъ, заѣзженныхъ, испитыхъ женщинъ, которыхъ они покупали здѣсь ..

Такъ свѣтло, что кажется, уже давно взошло солнце. Но его все еще нѣтъ. Только небо, готовясь къ радостной встрѣчѣ, горитъ все и трепещетъ въ яркихъ, веселыхъ, праздничныхъ огняхъ. А подъ кустами и въ густо заросшей травой канавѣ, что тянется вдоль нашего пути, прижавъ къ землѣ, прячется ночной сумракъ, не успѣвшій уйти отсюда вмѣстѣ съ ночью.

Въ окнахъ промелькнулъ одиноко стоящій въ голой степи казачій постъ, обнесенный каменной стѣной съ бойницами и наблюдательной вышкой. Стоящій на вышкѣ часовой зѣвнулъ, лѣнливо повернулся, и штыкъ на его ружьѣ блеснулъ голубоватой полоской.

Въ вагонѣ у насъ тихо. Въ купѣ и коридорѣ стоитъ сизый туманъ, валяются пустыя бутылки съ отбитыми горлышками, жирная, смятая бумага съ

*) Ломайла—такъ называютъ китайцы „бой“. производя это слово отъ русскаго „ломать“.

остатками колбасы и окурки, окурки всздѣ и на полу, и на столѣ, и между оконныхъ рамъ...

Безпечныя, молодыя, здоровыя тѣла, въ зеленыхъ рубахахъ, съ револьверами, небрежно раскинулись на диванахъ и мягко вздрагиваютъ и покачиваются на рессорныхъ пружинахъ.

У поручика завернулся рукавъ рубашки, и на толстой, мускулистой рукѣ видѣнъ красный шрамъ отъ вынутаго осколка шрапнели.

Я не могу оторвать глазъ отъ нихъ. Что-то прико-вышаетъ меня къ этимъ здоровякамъ...

Вѣдь это тѣ самые люди, что перенесли столько разъ близость смерти, всѣ тѣ кровавые ужасы, которые не даютъ намъ покоя въ Россіи. Вѣдь вотъ возлѣ этихъ самыхъ череповъ, спинъ, рукъ и ногъ летали съ ласкающимъ свистомъ пули, сыпалась дождемъ шрапнель и, поднимая столбы пыли, рвалась пимоза.

И можетъ быть завтра предстоить имъ то же?

И видя мысленно, какъ отрываются эти здоровыя, налитыя кровью руки и ноги,—мнѣ становится больно смотрѣть на нихъ, на эти будущіе комки окровавленнаго мяса. Хочется обнять, поцѣловать, прижать къ своему сердцу и этого поручика, и картежника-казака, и похабника-прапорщика.

Жалкіе, милые, дорогіе—зачѣмъ вы все это дѣлаете?

...И если бы, хотя на мгновеніе, въ этихъ черепахъ мелькнуло сомнѣніе въ томъ, имѣютъ ли они право уничтожать и калѣчить себѣ подобныхъ?

Но ничего, ни тѣни чего-либо подобнаго...

А вѣдь это образованные интеллигентные люди!

Гдѣ же и въ чемъ тогда прогрессъ?

И какъ жить?

Какъ жить съ позорнымъ сознаніемъ, что прошли тысячелѣтія, а человѣчество все еще не усвоило себѣ понятія о томъ, что жизнь неприкосновенна, что убій-

ство есть величайшее, ничѣмъ не оправдываемое преступленіе. А сколько за это время было учителей, которые только и твердили:—„не убій“, уважай человѣка, люби его!

Но чѣмъ дальше, тѣмъ чаще, тѣмъ злѣе становятся эти кровавыя свалки.

Съ холодной жестокостью высчитывать шаги, углы, траекторіи и, не видя другъ друга, одурѣвъ отъ голода и грохота орудій, уничтожать въ нѣсколько дней сотни тысячъ человѣкъ,—развѣ это не ужаснѣе по духовной тупости, чѣмъ дикія схватки дикарей?

А вѣдь послѣдніе годы эти войны идутъ непрерывно по всему земному шару, въ небывалыхъ до сихъ поръ размѣрахъ. То Англія уничтожаетъ буровъ, то американцы истребляютъ испанцевъ, то всѣ просвѣщенные государства, соединившись вмѣстѣ изъ боязни, чтобы кто-нибудь изъ нихъ не укралъ больше другихъ, грабятъ и убиваютъ мирныхъ китайцевъ, а теперь Японія добываетъ себѣ единственнымъ вѣрнымъ путемъ патентъ великой державы и, проливая кровь своихъ сыновей, старается убить какъ можно больше русскихъ. А русскіе, привыкнувъ, невѣдомо зачѣмъ, убивать и умирать дома, также легко убиваютъ и умираютъ и здѣсь, прославляя на весь міръ свое исключительное, рабское долготерпѣніе и способность страдать безъ конца, не спрашивая—кому и зачѣмъ эти страданія пужны...

...Но неужели, убивъ одного, двухъ человѣкъ, охотясь за людьми съ ружьемъ, устраивая на нихъ засады, волчьи ямы, разрывая ихъ тѣло на колючей проволокъ,—можно вернуться домой и считать себя образованнымъ, интеллигентнымъ человѣкомъ, а не дикимъ варваромъ, для котораго еще и не начиналась сознательная жизнь?

Развѣ не страшно, что сотни тысячъ людей лѣниво подчиняясь чужой волѣ, занимавшейся въ теченіе двухъ

лѣтъ убійствомъ, какъ ремесломъ, вернутся теперь домой и будутъ жить среди мирныхъ жителей, будутъ жить съ женщинами, воспитывать дѣтей...

Пятьсотъ тысячъ убійцъ!

И только потому, что ихъ такъ много, ихъ радостно встрѣтятъ и назовутъ героями.

Развѣ убить человѣка не изъ-за своей личной выгоды, а изъ-за выгоды (если даже предположить, что это будетъ выгодно) своей семьи, своихъ соотечественниковъ лучше или нравственнѣе?

Развѣ это не такое же преступленіе передъ „человѣкомъ“?..

Когда же, наконецъ, и какъ начнется истинная культура человѣческаго духа? Гдѣ и какъ найти средство чтобы люди стали людьми?...

Харбинъ.

Поѣздъ опоздалъ, и мы прибыли въ Харбинъ поздно ночью.

Съ превеликимъ трудомъ добывъ извозчика при помощи солдата, стоящаго съ ружьемъ у подъѣзда вокзала вмѣсто городского, я, наконецъ, поплылъ въ залѣпленной грязью пролеткѣ по харбинскимъ улицамъ.

Тяжело чмокая ногами въ липкой, раскисшей глинѣ, три китайскія крѣпкія лошади едва двигали легкую пролетку. Онѣ то и дѣло останавливались и кряхтя снова влегали въ хомуты. Колеса, увязая по ступицу, шипѣли, перемѣшивая спицами грязь, а пролетка то прыгала съ боку на бокъ, то внезапно останавливалась, и я вскакивалъ съ мѣста, точно собирался бѣжать, съ размаху тыкался носомъ въ мокрую клеенчатую спину извозчика, такъ что изъ глазъ катились слезы, а въ слѣдующій моментъ уже летѣлъ обратно, и мнѣ каза-

лось, что у меня оторвали голову — значитъ, лошади опять рванули впередъ.

Хватаюсь въ темнотѣ за облѣпленную глиной крылья пролетки, за потухшій фонарь, за стегавшій по мнѣ кнутъ, чувствуя, что ноги залила холодная вода, я терпѣливо молчалъ, стараясь выпутаться изъ вожжей, въ которыя попали мои ноги, и удержать хоть часть своего багажа.

Высоко взмахивая руками и кидаясь по козламъ во всѣ стороны такъ, что, казалось, онъ падастъ съ нихъ, извозчикъ непрерывно вздыхалъ и съ горечью бормоталъ:

— Ахъ, Боже мой! О, Господи!

То здѣсь, то тамъ висѣли въ воздухѣ ряды красныхъ свѣтящихся оконъ, и каждый разъ, когда я спрашивалъ извозчика, что это за зданіе, онъ отвѣчалъ такимъ тономъ, какъ будто бы я и самъ отлично зналъ что это такое и спрашивалъ только за тѣмъ, чтобы сдѣлать ему непріятность:

— Госпиталь,—или:—Красный Крестъ,—и опять принимался охать и вздыхать.

И только разъ, когда мы проѣзжали, какъ мнѣ показалось, мимо какой-то высокой насыпи, онъ сказалъ:

— Вотъ тутъ плѣнные японцы содержатся.

Насыпь оказалась землянкой съ открытой, освѣщенной изнутри, дверью, загороженной желѣзной рѣшеткой. А на полу землянки, прижавшись къ рѣшеткѣ, сидѣлъ свернувшись комочкомъ одинъ изъ плѣнныхъ и глядѣлъ оттуда въ темную ночь.

Гдѣ-то брякнулъ ружьемъ часовой, вѣроятно, желая показать, что онъ не спитъ.

Проплывъ черезъ большую, темную площадь, извозчикъ, наконецъ, остановился у дома, гдѣ я долженъ получить свѣдѣнія—гдѣ мнѣ быть и что дѣлать.

Заспанный человекъ открылъ мнѣ дверь и узнавъ, что я назначенъ въ этотъ домъ, почти не глядя, про-

водилъ меня въ какую-то комнату. Открывъ электрическую лампочку съ зеленымъ стекляннымъ колпакомъ, онъ шумно закрылъ дверь и ушелъ, шлепая босыми ногами.

Въ комнатѣ стояли двѣ пустыя постели, на которыхъ, какъ видно, недавно спали, и запыленный столъ съ растрепанными приложеніями къ „Нивѣ“ и высохшей чернильницей. На столѣ валялся обрывокъ бумаги, на которомъ кто-то отъ скуки выводилъ каллиграфическимъ почеркомъ:

..... однако плохо здѣсь встрѣчаютъ новыя лица... новыя лица...однако....

Я стоялъ посреди комнаты и не зналъ, что съ собой дѣлать. Глядя на эту холодную, пустынную комнату, черезъ которую прошло, видимо, немало людей, не хотѣлось признавать въ ней своего дома, не хотѣлось раздѣваться, не хотѣлось прикасаться къ этимъ захватаннымъ стульямъ, засаленнымъ канцелярскимъ стѣнамъ.

Только теперь въ этой комнатѣ я впервые ясно понималъ, какъ я далеко, какое безконечно громадное пространство лежитъ теперь между этимъ мостомъ съ двумя блестящими орудіями, по которому я черезъ желтую мутную рѣку въѣхалъ въ Харбинъ, и тѣмъ міромъ, который остался тамъ, позади, со всѣми своими радостями и печальями.

Стало жутко.

За стѣнной часой сердито пробили три.

Я потушилъ лампочку, торопливо раздѣлся и легъ. Но спать не хотѣлось.

— Госпиталь... Красный Крестъ....—вспомнилъсь мнѣ сердитые отвѣты извозчика.

— Городъ больныхъ и раненыхъ, — подумалъ я. И мертвая тишина, охватившая меня вплотную своими мохнатыми лапами, казалось, дышала вздохами этихъ

пзмученныхъ людей, переполнившихъ собою весь городъ.

И сколько ужаса было въ той слѣпой покорности, которая слышалась въ этихъ вдохахъ.

И я видѣлъ красныя, висящія въ воздухѣ окна, безчисленное множество оконъ, за которыми ворочались на смоченныхъ своею кровью постеляхъ изувѣченные люди, отдавшіе на поруганіе свое тѣло, свою жизнь только потому, что они ни разу не вспомнили, что они люди и поэтому могутъ сами за себя распоряжаться своею жизнью...

Прорѣзавъ густую темноту, въ комнату безшумно прыгнулъ ослѣпительно бѣлый лучъ прожектора, и по молочно бѣлой стѣнѣ теперь торопливо бѣжали все въ одну сторону какія-то едва уловимыя, дрожащія струйки.

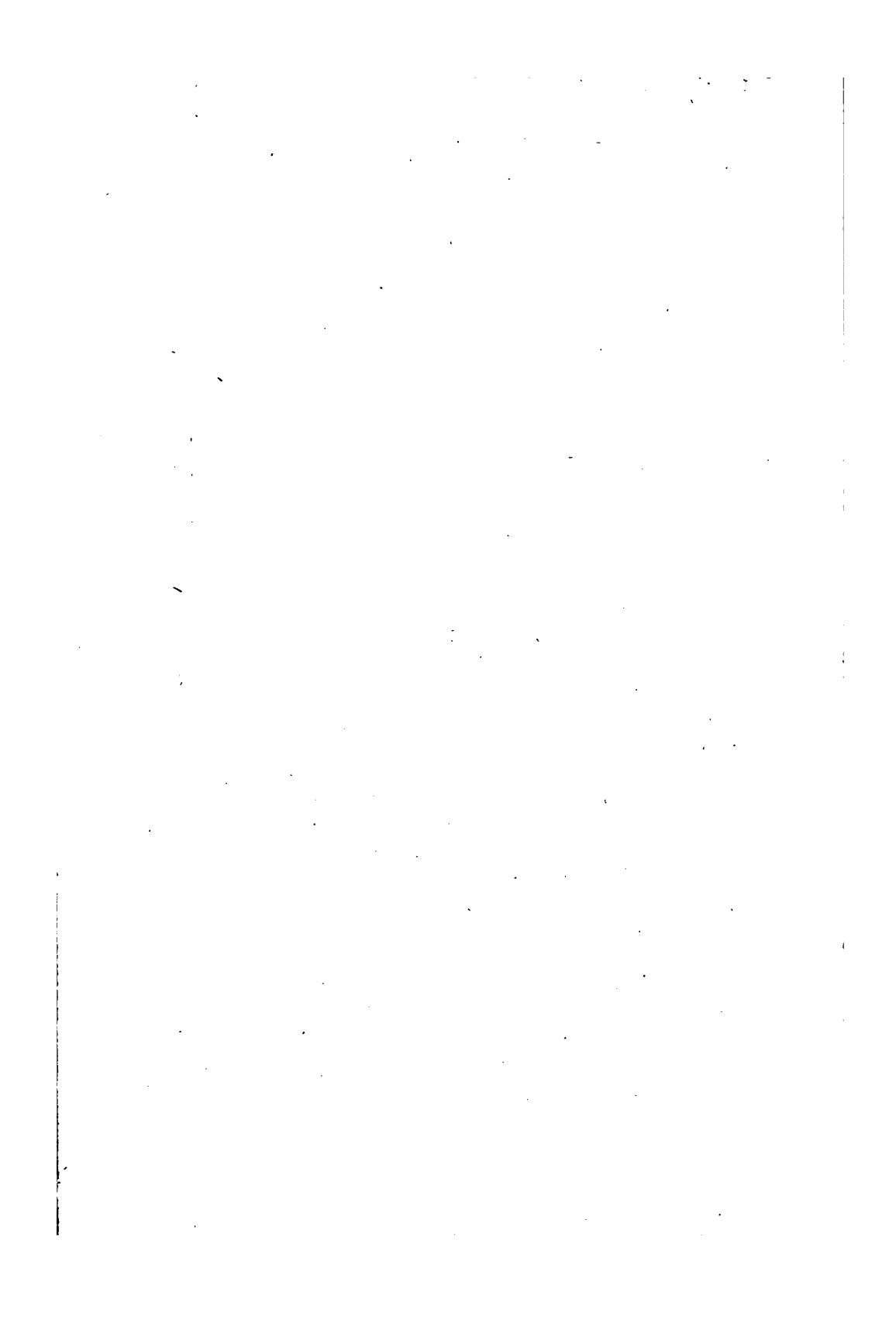
Постоявъ нѣсколько мгновеній въ комнатѣ, холодный, блестящій лучъ быстро, быстро, какъ хищникъ, осмотрѣлъ всѣ углы и также безшумно улетѣлъ въ другой домъ; и я видѣлъ въ окно, какъ онъ все бѣгалъ и бѣгалъ по всему городу, изъ квартиры въ квартиру, изъ окна въ окно, врываясь въ чужія думы и воспоминанія.

И казалось, что это холодный глазъ самой войны провѣряетъ свои жертвы и любитъ ими.

Мнѣ вспомнился темный силуэтъ плѣннаго японца, глядящаго сквозь рѣшетку (въ ночную тьму, въ которой онъ, вѣроятно, видѣлъ свой домъ, семью, любимый трудъ.

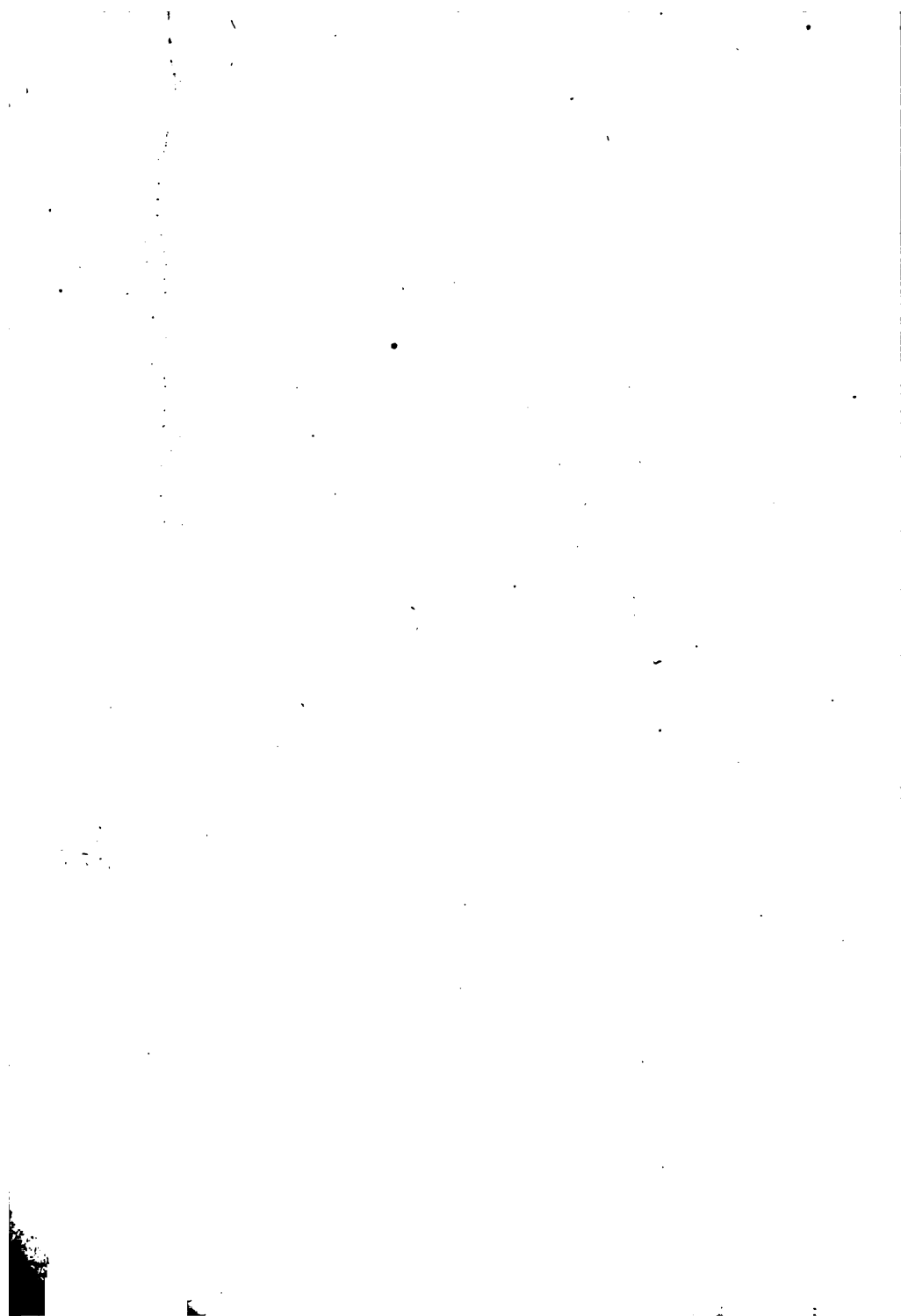
Что сказалъ ему этотъ леденящій свѣтъ, въ мгновение ослѣпившій его косые глаза?

Изъ темнаго, пабухшаго неба, по которому тяжело ворочались какія-то уродливыя глыбы, въ стекла разомъ грянулъ тяжелый ливень, и гдѣ-то далеко на Сунгари, точно испугавшись, жалобно завылъ пароходъ....



СКИТАЛЕЦЪ.

СТИХОТВОРЕНІЯ.



ПРОКЛЯТАЯ СТРАНА.

Здѣсь густою толпой разрослись на болотѣ цвѣты.
Словно смерть—они длинны и тощи и блѣдны.
Рѣдко грѣетъ ихъ солнце, въ туманѣ грустя съ высоты.
Золотые лучи его таютъ и гибнуть безслѣдно.

Красокъ просятъ у солнца цвѣты тихой грустью свое
Каждый лучъ его ловятъ туманы и гасятъ безстрастно,
И цвѣты увядаютъ кругомъ самой смерти блѣднѣй,
Но одинъ изъ нихъ, тотъ, что внизу,—темно-красный.

Краски солнца достичь до него никогда не могли.
Но цвѣтетъ онъ роскошно, пышнѣй становясь и махровѣй.
Ахъ! окраску свою не отъ солнца онъ взялъ,—отъ земли:
А земля напилась человѣческой крови.

Т И Х О С Т А Л О К Р У Г О М Ъ...

Струны порваны! пѣсня, умолкни теперь!
Всѣ слова мы до битвы сказали.
Снова ожить драконъ, издыхающій звѣрь,
И мечи вмѣсто струнъ зазвучали.

Потонули въ крови города на землѣ!
Задымились и горы и степи!
Ночь настала опять, притаилась во мглѣ
И куетъ еще новыя цѣпи.

Тихо стало кругомъ: люди грудой костей
Въ темныхъ ямахъ тихонько зарыты.
Люди въ тюрьмахъ гниютъ, въ кольцахъ крѣпкихъ цѣпей
Люди въ каменныхъ склепахъ укрыты.

Тихо стало кругомъ; въ этой жуткой ночи
Нѣтъ ни звука изъ жизни бывалой.
Тамъ—внизу—побѣжденные точатъ мечи,
Наверху—побѣдитель усталый.

Одряхлѣлъ и изсохъ обожравшійся звѣрь
Тамъ, внизу, что-то видитъ онъ снова,
Тамъ дрожить и шатается старая дверь,
Богатырь разбиваетъ оковы.

Задохнется драконъ подъ желѣзной рукой,
Изъ когтей онъ уронитъ свободу.
Съ громкимъ, радостнымъ крикомъ могучій герой
Смрадный трупъ его броситъ народу.

ВАЛЬКИРИИ.

Окончена грозная битва.
Тѣлами усѣяно поле.
Холодная ночь наступила.
Стихаетъ вдали канонада.

Горять, угасая, пожары.
Клубятся багровыя тучи.
Уходитъ все дальше, все дальше
Могучая музыка битвы.

Подъ страшную музыку боя,
При свѣтѣ горящихъ развалинъ,
Усопшихъ борцовъ попирая,
Смерть—весело пляшетъ надъ полемъ.

Танцуетъ скелетъ исполинскій,—
И, въ тактъ уходящему бою,
Стучать у него кастаньеты,
Сухія, могильные кости.

Уходитъ все дальше, все дальше
Могучая музыка боя.
Стихаетъ вдали канонада.
Багряные гаснуть пожары.

И Смерть въ своемъ танцѣ уходитъ
За звуками пушекъ далекихъ,
И вотъ тишина наступаетъ
Надъ полемъ оконченной битвы.

Тогда изъ-за тучъ темно-синихъ,
Рыдая, луна проглянула,

И мость серебристый спустила
Съ небесъ на безмолвное поле.

Въ прозрачномъ серебряномъ свѣтѣ
Прозрачною легкой гирляндой
Спускаются свѣлыя дѣвы
Съ небесъ на безмолвное поле.

Крылатыя дѣвы сраженій
Склоняются къ мертвымъ героямъ,
Закрыли имъ тяжкія раны
И шепчуть имъ тихо: „вставайте!“

Дорога на небо трепещеть.
Какъ струнъ серебристое пѣнье,
И слышится въ воздухѣ лунномъ
Тѣнь гимна, зовущаго въ битву.

И—въ ногу, беззвучной колонной,
Съ ружьемъ на плечѣ, по дорогѣ
Все выше, все выше и выше
Погибшіе воины идутъ.

Ихъ лица—какъ будто изъ камня.
Могучи, безстрастны и тверды:
Летятъ передъ ними толпою
Валькириі, ангелы битвы!

Летятъ,—и вѣнками героевъ
Ихъ путь устилаютъ прозрачный...
И звѣзды даютъ имъ дорогу..
Такъ храбрые міръ оставляютъ.

Изданія товарищества „ЗНАНІЕ“ (Спб., Невскій, 92).

Списокъ отъ 20 февраля 1906 г.

Цѣна.

Сборникъ т-ва „Знаніе“:	Книга I.	1 р. — к.
» » »	Книга II.	1 » — »
» » »	Книга III.	1 » — »
» » »	Книга IV.	1 » — »
» » »	Книга V.	1 » — »
» » »	Книга VI.	1 » — »
» » »	Книга VII.	1 » — »
» » »	Книга VIII.	1 » — »
» » »	Книга IX. <i>Печатается.</i>	1 » — »
» » »	Книга X. <i>Печатается.</i>	1 » — »
„Нижегородскій сборникъ“		1 » — »
М. Горькій. Разказы. Томъ I.		1 » — »
М. Горькій. Разказы. Томъ II.		1 » — »
М. Горькій. Разказы. Томъ III.		1 » — »
М. Горькій. Разказы. Томъ IV.		1 » — »
М. Горькій. Разказы. Томъ V.		1 » — »
М. Горькій. Пьесы. Томъ VI.		1 » — »
М. Горькій. Мѣщане. Драм. эскизъ въ 4 акт. <i>Только въ перепл.</i>		1 » — »
М. Горькій. На двѣ. Картины.		— » 60 »
Л. Андреевъ. Разказы. Томъ I.		1 » — »
Л. Андреевъ. Разказы. Томъ II.		1 » — »
Л. Андреевъ. Маліе разказы. Томъ III.		1 » — »
Скиталецъ. Разказы. Томъ I.		1 » — »
Е. Чириковъ. Разказы. Томъ I.		1 » — »
Е. Чириковъ. Разказы. Томъ II.		1 » — »
Е. Чириковъ. Разказы. Томъ III.		1 » — »
Е. Чириковъ. Пьесы. Томъ IV.		1 » — »
Ив. Бунинъ. Томъ I. Разказы.		1 » — »
Ив. Бунинъ. Томъ II. Стихотворенія.		1 » — »
Н. Телешовъ. Разказы. Томъ I.		1 » — »
А. Серафимовичъ. Разказы. Томъ I.		1 » — »
А. Нупринъ. Разказы. Томъ I.		1 » — »
А. Нупринъ. Разказы. Томъ II.		1 » — »
С. Юшкевичъ. Разказы. Томъ I.		1 » — »
С. Юшкевичъ. Разказы. Томъ II.		1 » — »
С. Юшкевичъ. Разказы. Томъ III. <i>Печатается</i>		1 » — »
С. Гусевъ-Оренбургскій. Разказы. Томъ I.		1 » — »
Н. Гаринъ. Дѣтство Тѣмы.		1 » — »
Н. Гаринъ. Гимназисты.		1 » — »
Н. Гаринъ. Студенты.		1 » — »
Н. Гаринъ. По Корей, Маньчжуріи и Япон. полуострову.		1 » — »
Н. Гаринъ. Корейскія сказки.		— » 60 »
А. Яблоновскій. Разказы. Томъ I.		1 » — »
С. Елеонскій. Разказы. Томъ I.		1 » — »
С. Елпатьевскій. Разказы. Томъ I.		1 » — »
С. Елпатьевскій. Разказы. Томъ II.		1 » — »
С. Елпатьевскій. Разказы о прошломъ. Томъ III.		1 » — »
С. Найденовъ. Пьесы. Томъ I.		1 » — »
Д. Айзманъ. Разказы. Томъ I.		1 » — »

Изданія товарищества „ЗНАНІЕ“ (Спб., Невскій, 92).

Списокъ отъ 20 февраля 1906 г.

Цѣна.

Эсхиль. Окованный Прометей	—	»	30	»
Софокль. Эдипъ-царь	—	»	40	»
Софокль. Эдипъ въ Колонѣ	—	»	40	»
Софокль. Антигона	—	»	40	»
Эврипидъ. Медея	—	»	40	»
Эврипидъ. Ипполитъ	—	»	40	»
Эсхиль, Софокль и Эврипидъ. Трагедіи. Роск.-иллюстр. изд. <i>Печатается.</i>	—	»	—	»
Гёте. Фаустъ	2	»	—	»
Байронъ. Манфредъ	—	»	40	»
Байронъ. Канни. <i>Печатается</i>	—	»	—	»
Леопарди. Разговоры. <i>Печатается</i>	—	»	—	»
Леопарди. Мысли. <i>Печатается</i>	—	»	—	»
Шелли. Собраніе сочиненій. Томъ I.	2	»	—	»
Шелли. „ „ „ Томъ II.	2	»	—	»
Шелли. „ „ „ Томъ III. <i>Печатается</i>	2	»	—	»
Шелли. Освобожденный Прометей	—	»	50	»
Шелли. Ченчи. <i>Печатается</i>	—	»	—	»
Лонгфелло. Пѣснь о Гайаватѣ. Роскошно-ил. изд.	2	»	—	»
Лонгфелло. Пѣснь о Гайаватѣ. Дешевое изданіе	—	»	80	»
Т. Шевченко. Кобзарь. <i>Печатается.</i>	1	»	—	»
Красинскій. Придиовъ	—	»	60	»
Имре-Мадачъ. Человѣческая трагедія	—	»	50	»
Гауптманъ. Роза Веридтъ	—	»	50	»
Бьернсонъ. Перчатка	—	»	40	»
Э. Золя. Углекопы. Изд. 3-е	1	»	—	»
Эрнманъ-Шатрианъ. Гаспаръ Фиксъ	—	»	65	»
П. Милоновъ. Изъ исторіи русской интеллигенціи. Изд. 2-е	1	»	50	»
Н. Рубакинъ. Этюды о русской читающей публикѣ. <i>Печатается.</i>	—	»	—	»
А. Петрищевъ. Замѣтки учителя	1	»	—	»
Мертваго. Не по торному пути	1	»	50	»
Андреевичъ. Опытъ философіи русской литературы	1	»	20	»
Бекетовъ. Популярныя лекціи и рѣчи. <i>Печатается.</i>	—	»	—	»
Рилль. Введеніе въ философію. <i>Печатается.</i>	—	»	—	»
Штёррингъ. Психопатологія въ приѣженіи къ психологіи	1	»	50	»
Вундтъ. Введеніе въ философію. <i>Печатается</i>	—	»	—	»
Кунс Фишеръ. Исторія новой философіи. Томъ IV: Кантъ	4	»	—	»
Паульсенъ. Общеобразовательная школа будущаго	—	»	40	»
Майръ. Статистика и обществовѣдѣніе	6	»	—	»
Леклеръ. Воспитаніе и общество въ Англіи	3	»	—	»
Гюйо. Исторія и критика совр. англ. ученій о нравственности	2	»	—	»
Гюйо. Происхожденіе идеи о времени. Мораль Эпикура	2	»	—	»
Гюйо. Задачи современной эстетики. Очеркъ морали	2	»	—	»
Гюйо. Воспитаніе и влѣдствительность	1	»	50	»
Гюйо. Стихи философа	1	»	—	»
Гюйо. Искусство съ соціологической точки зрѣнія	2	»	—	»
Моррисъ. Искусство. Съ иллюстраціями. <i>Печатается</i>	—	»	—	»
Мутеръ. Исторія живописи (отъ среднихъ вѣковъ). Томъ I	2	»	50	»
Мутеръ. То же сочиненіе. Томъ II	2	»	50	»
Мутеръ. То же сочиненіе. Томъ III	2	»	—	»
Мутеръ. Исторія живописи въ XIX вѣкѣ	17	»	—	»

Изданія товарищества „ЗНАНІЕ“ (Спб., Невскій, 92).

Списокъ отъ 20 февраля 1906 г.

Цѣна.

Никольскій. Лѣтнія поѣздки натуралиста	2	»	—
Клейнъ. Астрономическіе вечера. Изд. <i>третье</i>	2	»	—
Клейнъ. Прошлое, настоящее и будущее вселенной. Изд. <i>второе</i>	1	»	50
Юнгъ. Солнце. Изд. <i>второе</i>	1	»	50
Тиндаль. Звукъ. Изд. <i>второе</i>	1	»	50
Клейнъ. Чудеса земного шара. <i>Печатается</i>	—	»	—
Боммели. Исторія земли. <i>Печатается</i>	—	»	—
Гетчинсонъ. Вымершія чудовища	1	»	20
Гетчинсонъ. Животныя прошлыхъ геологич. эпохъ. <i>Печатается</i>	—	»	—
Григорьевъ. Краткій курсъ химіи. Изд. <i>3-е</i>	—	»	80
Освальдъ. Школа химіи. <i>Печатается</i>	—	»	—
Леваассеръ. Народное образованіе въ цивилизованныхъ странахъ	3	»	—
Фальборкъ и Чарнолуcкій. Народное образованіе въ Россіи	1	»	50
» » » Внѣшкольное образованіе	2	»	—
Фальборкъ и Чарнолуcкій. Справочныя изданія по народному образова- нію: <i>Поступило въ продажу 20 книжекъ. Подробности см.</i> <i>на стр.</i>	—	»	—
Фальборкъ и Чарнолуcкій. Россійскія партіи, союзы и ангія	1	»	—
Сельбосъ. Полит. исторія соврем. Европы, 2 т. Изд. <i>третье</i>	3	»	—
Гиббинсъ и Сатуринъ. Исторія современной Англіи	1	»	20
Иисаровъ. Современная Франція	2	»	50
Курти. Исторія народн. законодат. и демократіи въ Швейцаріи	1	»	—
Зомбартъ. Идеалы соціальной политикѣ	—	»	40
Каутскій. Колоніальная политика въ прошломъ и настоящемъ	—	»	40
Л. В. Новгородцевъ. Германія и ея политическая жизнь	1	»	20
Вандервальде. Притягательная сила городовъ	—	»	40
Вигуру. Рабочіе союзы въ Сѣверной Америкѣ	1	»	50
Люксембургъ. Промышленное развитіе Польши	—	»	50
Финляндія	3	»	50
Гуго. Новѣйшія теченія въ англійскомъ городскомъ хозяйствѣ	1	»	50
Гобсонъ. Общественныя идеалы Дж. Рёскина	1	»	50
Дрейфусъ. Пять лѣтъ моей жизни	1	»	20
Штраусъ. Вольтеръ	1	»	—

ДЕШЕВАЯ БИБЛИОТЕКА ТОВАРИЩЕСТВА „ЗНАНИЕ.“

	Цена
1. М. Горькій. Пѣсня о соколѣ. — Пѣсня о буреѣстникѣ. — Легенда о Марко...	2 к.
2. М. Горькій. Человѣкъ.	2 „
3. М. Горькій. Макарь Чудра.	3 „
4. М. Горькій. О Чиждѣ, который лгалъ, и о Дятлѣ, любителѣ истины.	2 „
5. М. Горькій. Емельянъ Пилай.	3 „
6. М. Горькій. Дѣдъ Архипъ и Ленъка.	5 „
7. М. Горькій. Челкашъ.	7 „
8. М. Горькій. Старуха Изергиль.	5 „
9. М. Горькій. Однажды осенью.	3 „
10. М. Горькій. Мой спутникъ.	6 „
11. М. Горькій. Дѣло съ застѣжками.	3 „
12. М. Горькій. На плотахъ.	3 „
13. М. Горькій. Болесь.	2 „
14. М. Горькій. Тоска.	10 „
15. М. Горькій. Коноваловъ.	10 „
16. М. Горькій. Ханъ и его сынъ.	2 „
17. М. Горькій. Супруги Орловы.	12 „
18. М. Горькій. Бывшіе люди.	12 „
19. М. Горькій. Озорникъ.	5 „
20. М. Горькій. Варенька Олесова.	—
21. М. Горькій. Товарищи.	4 „
22. М. Горькій. Въ степи.	3 „
23. М. Горькій. Мальва.	10 „
24. М. Горькій. Ярмарка въ Голтвѣ.	3 „
25. М. Горькій. Зазубрина.	3 „
26. М. Горькій. Скуки ради.	5 „
27. М. Горькій. Базинъ и Артемъ.	6 „
28. М. Горькій. Дружки.	4 „
29. М. Горькій. Проходимецъ.	7 „
30. М. Горькій. Кирилка.	3 „
31. М. Горькій. Васька Красный.	5 „
32. М. Горькій. Двадцать шесть и одна.	5 „

« БИБЛИОТЕКА ТОВАРИЩЕСТВА „ЗНАНИЕ“ »

Цѣна:

Филиппа Васильевича. 5 к.
 8 „
 —

. . . Стихотворенія. Книга I. 5 „
 . . . Стихотворенія. Книга II. 6 „
 . . . Сквозь строй. 12 „
 . . . За тюремной стѣной. 5 „
 . . . Октава 12 „
 . . . Ранняя обѣдня. 3 „
 . . . Полевой судъ. 5 „

1. Л. Андреевъ. Набзъ. 2 „
 52. Л. Андреевъ. Ангелочекъ. 3 „
 53. Л. Андреевъ. Молчаніе. 3 „
 54. Л. Андреевъ. Валя. 3 „
 55. Л. Андреевъ. На рѣкѣ. 4 „
 56. Л. Андреевъ. Въ подвалѣ. 3 „
 57. Л. Андреевъ. Петька на дачѣ. 3 „
 58. Л. Андреевъ. У окна. 5 „
 59. Л. Андреевъ. Жили-были. 5 „
 60. Л. Андреевъ. Въ темную даль. 4 „

61. С. Гусевъ-Оренбургскій. Омѣтъ. 3 „
 62. С. Гусевъ-Оренбургскій. Конокрадъ. 2 „
 63. С. Гусевъ-Оренбургскій. Миша. 2 „
 64. С. Гусевъ-Оренбургскій. Последній часъ. 6 „
 65. С. Гусевъ-Оренбургскій. На родину. 4 „
 66. С. Гусевъ-Оренбургскій. Сквозь преграды. 2 „
 67. С. Гусевъ-Оренбургскій. Кахетинка. 3 „
 68. С. Гусевъ-Оренбургскій. Бѣдный приходъ. 2 „
 69. С. Гусевъ-Оренбургскій. Злой духъ. 4 „
 70. С. Гусевъ-Оренбургскій. Жалоба. 5 „

ДЕШЕВАЯ БИБЛИОТЕКА ТОВАРИЩЕСТВА „ЗНАНИЕ“:

	Цѣна:
71. А. Серафимовичъ. Въ камышахъ.	3 „
72. А. Серафимовичъ. Местъ.	4 „
73. А. Серафимовичъ. На льдинѣ.	4 „
74. А. Серафимовичъ. Степные люди.	5 „
75. А. Серафимовичъ. Ночью.	3 „
76. А. Серафимовичъ. Слѣпщикъ.	3 „
77. А. Серафимовичъ. На заводѣ.	5 „
78. А. Серафимовичъ. Подъ землей.	6 „
79. А. Серафимовичъ. Подъ уклонъ.	3 „
81. А. Купринъ. Дознаніе.	3 „
82. Н. Телешовъ. Пѣснь о трехъ юношахъ.	3 „
83. Н. Телешовъ. Противъ обычая.	3 „
84. Н. Телешовъ. Домой.	3 „
85. Н. Телешовъ. Хлѣбъ-соль.	3 „
86. С. Елпатыевскій. Спирька.	8 „
87. С. Елпатыевскій. Пожалѣй меня.	2 „
88. С. Елпатыевскій. Присяжнымъ засѣдателемъ.	3 „
89. Ив. Бунинъ. Стихотворенія.	4 „
90. Б. Бальмонтъ. Стихотворенія.	3 „
91. С. Юшкевичъ. Невинные.	4 „
92. С. Юшкевичъ. Убійца.	3 „
93. С. Юшкевичъ. Кабатчикъ Гейманъ.	7 „
94. С. Юшкевичъ. Ита Гайне.	—
95. С. Юшкевичъ. Человѣкъ.	—
96. С. Юшкевичъ. Евреи.	—
98. А. Черемновъ. Стихотворенія. Книга I.	—
99. А. Черемновъ. Стихотворенія. Книга II.	—
100. Е. Чириковъ. Евреи.	12 „

и другія книги.

Изданіе товарищества „ЗНАНІЕ“ (Спб. Невскій, 92).

Х.

СБОРНИКЪ

ТОВАРИЩЕСТВА „ЗНАНІЕ“ ЗА 1906 ГОДЪ.

КНИГА ДЕСЯТАЯ.

СОДЕРЖАНІЕ:

Л. Андреевъ. Къ звѣздамъ.
Эмиль Верхарнъ. Возстаніе.
А. Серафимовичъ. На Прѣонѣ.
А. Лукьяновъ. Слѣпцы и безумцы.
Лунджи Меркантини. Гимнъ гарибаль-
дійцевъ.
Скиталецъ. Огарки.

Цѣна 1 рубль.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

1906.

Тип. Спб. акц. общ. „Слово“. Ул. Жуковского, 21.

СОДЕРЖАНІЕ:

	Стр
Л. Андреевъ. Къ звѣздамъ	1
Эмиль Верхарнъ. Возстаніе	129
А. Серафимовичъ. На Прѣснѣ	135
А. Лукьяновъ. Слѣпцы и безумцы	165
Луиджи Меркантини. Гимнъ гарибальдійцевъ	169
Скиталецъ. Огарки	175

ЛЕОНИДЪ АНДРЕЕВЪ.

КЪ ЗВѢЗДАМЪ.

ДРАМА ВЪ ЧЕТЫРЕХЪ ДѢЙСТВІЯХЪ.

Леонидъ Андреевъ. Къ звѣздамъ.

Право собственности въ Россіи закрѣплено за авторомъ во всѣхъ странахъ, гдѣ это допускается существующими законами.

Гл. переводчиковъ просятъ обращаться за разрѣшеніемъ на переводъ и за справками къ представителю автора, Ив. П. Ладыжнинову, по слѣдующему адресу:

*Berlin W, 15, Uhlandstrasse, 145;
„Bühnen-und-Buch Verlag russischer Autoren
I. Ladyschnikow“.*

ДѢЙСТВУЮЩІЯ ЛИЦА:

ТЕРНОВСКІЙ, СЕРГѢЙ НИКОЛАЕВИЧЪ. Русскій ученый, уѣхавшій за границу. Директоръ обсерваторіи. Знаменитъ; членъ многихъ академій и ученыхъ обществъ. Пятьдесятъ шесть лѣтъ, но на видъ кажется моложе. Движенія плавныя, спокойныя и очень точныя; такъ же сдержанъ и точенъ въ жестикуляціи, — ничего лишняго. Вѣжливъ, внимателенъ, но отъ всего этого отдаетъ холодомъ.

ТЕРНОВСКАЯ, ИННА АЛЕКСАНДРОВНА. Жена его, тѣхъ же почти лѣтъ.

НИКОЛАЙ. 27 лѣтъ.

АННА. 25 лѣтъ. Красива и суха. Одѣта не къ лицу.

ДѢТИ ТЕРНОВСКИХЪ:

ПЕТЯ. 18 лѣтъ. Блѣдный, изящный, хрупкій; черныя, вьющіеся волосы, бѣлый отложной воротникъ.

ВЕРХОВЦЕВЪ, ВАЛЕНТИНЪ АЛЕКСѢЕВИЧЪ. Мужъ Анны. Лѣтъ 30. Рыжій. Самоувѣренъ, повелителенъ, насмѣшливъ. Иногда грубъ. Инженеръ.

МАРУСЯ. Невѣста Николая. 20 лѣтъ. Красивая.

ПОЛЛАКЪ. Сухой, высокій, съ большимъ лысымъ черепомъ, корректный. 32 года. Механиченъ. Курить сигары.

ЛУНЦЪ, ІОСИФЪ АВРАМОВИЧЪ. Еврей. 28 лѣтъ. Привычка обращаться съ точными инструментами придаетъ движеніямъ сдержанность и точность; но при волненіи Лунцъ не выдерживаетъ и жестикулируетъ со страстностью южанина-сеμίта.

АССИСТЕНТЫ

ТЕРНОВСКАГО:

ЖИТОВЪ, ВАСИЛІЙ ВАСИЛЬЕВИЧЪ. Неопредѣленнаго возраста. Великъ, волосатъ, медвѣдеобразенъ. Всегда сидитъ. Своеобразно красивъ.

третейчъ. Рабочій. 30 лѣтъ. Черный, худощавый, очень красивый; сильно изогнутыя брови; дальнорокъ. Простъ, серьезенъ, несловоохотливъ
шмидтъ. Молодъ. Маленькаго роста; мелкія, но правильныя черты лица; одѣтъ тщательно; говорить тонкимъ голосомъ. Имѣетъ видъ незначительный.
старуха.

Л. Андреевъ. Изъ звездныхъ.

ДѢЙСТВІЕ ПЕРВОЕ.

Обсерваторія въ горахъ. Поздній вечеръ. Сцена представляетъ двѣ комнаты: первая—нѣчто вродѣ столовой, большая, съ бѣлыми, толстыми стѣнами; у оконъ, за которыми мечется во тьмѣ что-то бѣлое, очень широкіе подоконники; огромный каминъ, въ которомъ горятъ полѣнья. Убранство простое, строгое, отсутствіе мягкой мебели и занавѣсокъ. Нѣсколько гравюръ: портреты астрономовъ, волхвы, приведенные звѣздою ко Христу. Лѣстница вверхъ, въ библіотеку и кабинетъ Терновскаго. Задняя комната—обширный рабочій кабинетъ, въ общемъ похожій на первую комнату, но безъ камина. Нѣсколько столовъ. Фотографіи звѣздъ и лунной поверхности, нѣкоторые простѣйшіе инструменты. Сидитъ за работою ассистентъ Терновскаго, Поллакъ. Въ передней комнатѣ: Инна Александровна и Житовъ разговариваютъ; Петя читаетъ; Лунцъ ходитъ взадъ и впередъ. У очага кухарка, нѣмка, готовить кофе. За окнами свистъ и вой горной вьюги. Потрескиваютъ дрова въ каминѣ. Равномѣрно звонитъ колоколъ, сзывая заблудившихся.

ИННА АЛЕКСАНДРОВНА.

Звонить, звонить, а все безъ толку. За четыре дня хоть бы кто пришелъ. Сидишь, сидишь, да и подумаешь: ужъ живы ли тамъ люди-то?

ПЕТЯ (отрываясь).

А кому прійти? Кто поидеть сюда?

ИННА АЛЕКСАНДРОВНА.

Ну, мало ли кто! Снизу можетъ кто прійти...

ПЕТЯ.

Не до того имъ, чтобы по горамъ лазить.

ЖИТОВЪ.

Да, положеніе затруднительное. Дороги нѣтъ—какъ въ осажденномъ городѣ, ни оттуда, ни отсюда.

ИННА АЛЕКСАНДРОВНА.

Денька черезъ два и ѣсть нечего будетъ.

ЖИТОВЪ.

Такъ посидимъ.

ИННА АЛЕКСАНДРОВНА.

Вамъ-то хорошо говорить, Василій Васильевичъ,— вы, какъ медвѣдь, своимъ жиромъ недѣлю сыты будете,—а что мнѣ съ Сергѣемъ Николаевичемъ дѣлать?

ЖИТОВЪ.

А вы ему запасъ сдѣлайте, мы и такъ обойдемся. Лунцъ, а Лунцъ, вы бы сѣли!

(Лунцъ не отвѣчаетъ, ходитъ)

ИННА АЛЕКСАНДРОВНА.

Ну и сторонка! Пойдите, словно постучалъ кто. Пойдите-ка!

(Прислушиваются)

ИННА АЛЕКСАНДРОВНА.

Нѣтъ, показалось. Какая метель, у васъ такой не бываетъ.

ЖИТОВЪ.

Бываетъ... въ степи.

ИННА АЛЕКСАНДРОВНА.

Въ степи не жила... не знаю. Какъ бьетъ въ окна!

ПЕТА.

Ты напрасно ждешь, мама,—никто не придетъ.

ИННА АЛЕКСАНДРОВНА.

А можетъ?.. (Пауза) Газеты старья почитать, что-ли... да ужъ читаны, перечитаны. Іосифъ Абрамычъ, вы ничего новенькаго не слышали?

ЛУНЦЪ (останавливаясь).

Откуда же я могу услышать? Какъ вы странно спрашиваете. Вѣдь это же невозможно, ей-Богу. Откуда я могу услышать, сами посудите. Странно!

ИННА АЛЕКСАНДРОВНА.

Ну-ну, я—такъ, не сердитесь. Душа кровью обливается, какъ подумаешь, что тамъ дѣлается, что тамъ дѣлается! Господи!

ЖИТОВЪ.

Дерутся.

ИННА АЛЕКСАНДРОВНА.

Дерутся! Вамъ-то легко говорить, Василій Васильевичъ, у васъ тамъ никого своихъ нѣту, а у меня вѣдь дѣти! И ничего-то не знаешь, какъ въ лѣсу... да какое—въ лѣсу! Въ лѣсу хотъ птица пролетить, заяцъ пробѣжить, а тутъ...

ЛУНЦЪ (на ходу).

Можетъ быть, тамъ уже полная побѣда. Можетъ быть, тамъ уже новый міръ—на развалинахъ стараго.

ЖИТОВЪ.

✓ Не думаю. Не похоже было.

ПЕТЯ.

Почему это не думаете? Вы читали, что министерство подало въ отставку, что весь городъ въ баррикадахъ, что пролетаріатъ уже овладѣлъ ратушей? А за пять дней что могло произойти!

ЭШО
ВДЬ
Ъ С

3
 11

ЖИТЕЛЬ
НУ. МОЖЕТ БЫТЬ, НЕ ЗНАЮЩИЙ
М-М) Я СКАЖУ, ВЫ ЗА ЭТИ ДВА ДНЯ

ТУНЦ

...луницъ.
...Я вамъ не мѣшаю, и вы не
...некультурно: вриваться въ
...не говорю вамъ: Житовъ, не дружитъ
...не уже пропали вѣчность. Я в
...Штея долъ

Потом подождать кь дуче-
говаривать сь нимь о чуж-
дымъ, изрядка обмывивая:

ИННА АЛЕКСАНДРОВНА
(г. Житомир).

...АЛЕКСАНДРОВНА
(тихо, житоу). Ну что же, Василий Васильевич...
...что-ли, съ горя...

ЖИТОВЪ.

... СМ ЧАЮ ВЫПНТЬ.

ИННА АЛЕКСАНДРОВНА.
И сама, батюшка,
тебя, Сенька,

...АЛЕКСАНДРОВНА.
...И СЫ И САМА, БАТЮШКА, ЧАЙКУ-ТО БЫ ВЫПЕ...
...ВЪ МАЛИНОВЫМЪ ВЪ...
...ЖИ...

ЖИТОВЪ.

ЖИ
- ПРИКУСКУ.

... НИНА АЛЕКСАНДРОВНА
... ВЕЧЕРАМ ЧТО СКАЖЕ
... И ТУЖ ПРИ
... КЪ БЕДЫ

...НА АЛЕКСАНДРОВНА.
...ВЫ ВОТ ЧТО СКАЖИТЕ, ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬ-
...ВООДУ Я ТУГЪ ПРИВЫКЛА, НУ КО ВСЕМУ, И КЪ
...И КЪ БЕДНОСТЬЮ, А ВОТЪ БЕРЕЗКУ ПОЗАБЫТЬ

1. How

Ш

Какъ подумаю, какъ вспомню—такъ часа два
акъ угорѣлая. У насъ въ имѣніи усадьба на
ояла, а вокругъ березовая роща—какая роща!
дожда такой, бывало, подымется запахъ, что...
гиряетъ глаза)

житовъ.

вы бы взяли, да и съѣздили въ Россію мѣсяца
а.

ИННА АЛЕКСАНДРОВНА.

...съ кѣмъ же я его оставляю? Онъ тоже меня
лько разъ уговаривалъ, — да развѣ это можно! Ну
угъ заболѣетъ?—года у меня съ нимъ не маленькіе.

житовъ.

Я останусь.

ИННА АЛЕКСАНДРОВНА.

Нѣтъ, нѣтъ, и не говорите. Нѣту березки, и не надо,—
вѣдь я къ слову сказала. Нѣтъ, нѣтъ. Тутъ тоже
хорошо. Вотъ весна идетъ...

житовъ.

А если-бъ его въ Сибирь услали? Поѣхали-бъ?

ИННА АЛЕКСАНДРОВНА.

А почему-жъ не поѣхать? И въ Сибири люди
живутъ. Эка!

житовъ.

Вы славная, Инна Александровна.

ИННА АЛЕКСАНДРОВНА (вѣжно).

А ты глупый,—развѣ старухамъ такія вещи говорятъ? А и вправду, Василій Васильевичъ, отчего бы вамъ не жениться? Жили бы тутъ да поживали, какъ мы вотъ съ Сергѣемъ Николаевичемъ.

ЖИТОВЪ.

Нѣтъ, куда мнѣ... Человѣкъ я непосѣдливый.

ИННА АЛЕКСАНДРОВНА (смѣется).

То-то, похоже.

ЖИТОВЪ.

Нѣтъ, вѣрно. Нынче здѣсь, а завтра тамъ. Я и астрономію скоро брошу. Я вотъ въ Австраліи еще не былъ.

ИННА АЛЕКСАНДРОВНА.

А туда зачѣмъ?

ЖИТОВЪ.

Да такъ. Посмотрѣть, какъ люди живутъ.

ИННА АЛЕКСАНДРОВНА.

Да вѣдь у васъ, Василій Васильевичъ, и денегъ-то нѣтъ. Это тому хорошо путешествовать, у кого есть деньги.

ЖИТОВЪ.

Да я не путешествовать, я такъ. Поступлю на желѣзную дорогу или на заводъ.

ИННА АЛЕКСАНДРОВНА.

Изъ астрономовъ-то?

ЖИТОВЪ.

Что же, этому легко научиться. Я механику знаю. Мнѣ немного надо, я человѣкъ неизбалованный.

(Пауза. Свистъ вьюги сильнѣе)

ПЕТЯ.

Мама, а папа гдѣ? работаетъ?

ИННА АЛЕКСАНДРОВНА.

Да... просилъ не мѣшать ему.

ПЕТЯ

(пожимая плечами).

Какъ онъ можетъ работать въ такое время! Не понимаю.

ИННА АЛЕКСАНДРОВНА.

А такъ и можетъ. Что же, лучше, если онъ вотъ такъ метаться будетъ? Вонъ Поллакъ тоже работаетъ.

ПЕТЯ.

Ну, Поллакъ... Про него я уже не говорю. Поллакъ!
(Тихо говорить съ Лунцемъ)

ЖИТОВЪ.

Поллакъ человѣкъ талантливый, онъ черезъ пять лѣтъ знаменитостью будетъ. Энергичный человѣкъ. (Инна Александровна смѣется) Чего вы смѣетесь, развѣ не правда?

ИННА АЛЕКСАНДРОВНА.

Да нѣтъ, я не тому. Очень онъ чудакъ,—иной разъ и нехорошо, а не удержишься... Онъ на какой-то

инструментъ похожъ,—какой у васъ есть инструментъ
вродъ него?

ЖИТОВЪ.

Не знаю.

ИННА АЛЕКСАНДРОВНА.

Астролябія, кажется.

ЖИТОВЪ.

Не знаю. А какъ вотъ можете вы смѣяться, удив-
ляюсь я.

ИННА АЛЕКСАНДРОВНА (вздыхаетъ).

Безъ смѣха нельзя, только смѣхомъ иногда и спа-
сешься. Вотъ тоже расскажу я вамъ. Ъхали мы тогда
изъ Россіи съ дѣтьми, со скарбомъ... дѣла были пло-
хія, на билеты денегъ хватило, да и все тутъ. И какъ
это случилось, до сихъ поръ понять не могу—потеряла
я билеты. Никогда ничего не теряла, а тутъ...

ЖИТОВЪ.

Гдѣ же это, въ Россіи?

ИННА АЛЕКСАНДРОВНА.

Если бы въ Россіи, а то заграницей уже. Сидимъ
мы на какой-то австрійской станціи... дѣти, чемоданы,
подушки... взглянула я на эти подушки, да какъ за-
хочу! Ей-Богу! Сейчасъ смѣшно вспомнить.

ЖИТОВЪ.

✓ А скажите, Инна Александровна, я до сихъ поръ
толкомъ не разберусь: за что Сергѣй Николаевичъ вы-
сланъ изъ Россіи?

ИННА АЛЕКСАНДРОВНА.

Да его не высылали, самъ уѣхалъ. Поссорился съ начальствомъ. Бумагу какую-то скверную заставляли его подписать, а онъ не сталъ, а потомъ министру дерзостей наговорилъ. Ну и уѣхали, а тутъ предложили ему эту обсерваторію—вотъ двѣнадцать лѣтъ на камняхъ и живемъ.

ЖИТОВЪ.

Значить, онъ можетъ вернуться, если захочетъ?

ИННА АЛЕКСАНДРОВНА.

Да зачѣмъ? Въ Россіи, вы знаете, такихъ обсерваторій нѣтъ.

ЖИТОВЪ.

А березка-то!

ИННА АЛЕКСАНДРОВНА.

Ну, вотъ, пустяки какіе! Постоите, кто-то стучить.

(Вой метели)

ЖИТОВЪ.

Нѣтъ. Показалось.

ИННА АЛЕКСАНДРОВНА.

А все-таки... Минна, голубушка, сходите узнайте, будто пріѣхалъ кто. Этотъ колоколъ всю душу вымываетъ. Все кажется, словно идетъ кто или ѣдетъ. Слышите?

(Вой метели, звукъ колокола)

ЖИТОВЪ.

Эти мартовскія бури всегда самыя свирѣпыя. Внизу весна, а у насъ зима настоящая. Миндаль уже отцвѣлъ, пожалуй.

МИННА.

Никого нѣтъ.

ИННА АЛЕКСАНДРОВНА.

Что тамъ дѣлается! Что тамъ дѣлается! Главное, я за Коленьку боюсь. Вѣдь онъ такой, онъ ни на что не смотритъ: ружья не ружья, пушки не пушки. Господи! Я и подумать объ этомъ не могу! Хоть бы вѣсточка какая, а то четыре дня—какъ въ могилѣ.

ЖИТОВЪ.

Ну, обойдется, скоро все узнаете. Барометръ поднимается.

ИННА АЛЕКСАНДРОВНА.

А главное, будь бы за свое дѣло дрался. А то и люди чужіе, и страна чужая,—ну какое ему дѣло!

ПЕТЯ (горячо).

Николай—рыцарь. Онъ за всѣхъ угнетенныхъ, кто бы они ни были. Всѣ люди одинаковы, и чья бы страна ни была, все равно.

ЛУНЦЪ.

Чужіе! Страна, государство—не понимаю я этого. Что значить—чужіе, государство? Вотъ это раздѣленіе и создаетъ рабовъ, потому что когда въ одномъ домѣ грабятъ, то въ другомъ сидятъ спокойно, когда въ одномъ домѣ убиваютъ, то въ другомъ говорятъ: это насъ не касается. Свой! Чужіе! Я вотъ еврей, у меня своей страны нѣтъ—такъ, значитъ, я всѣмъ чужой? Нѣтъ, я всѣмъ свой, да... (Ходить) Да!

ПЕТЯ.

Конечно. Это уозость—разбивать землю на какіе-то участки.

ЛУНЦЪ (ходить).

Да. Только и слышишь: свои, чужіе! Негры, жидаы!

ИННА АЛЕКСАНДРОВНА.

Ну, вы опять на свое повернули. Какъ не стыдно! Развѣ я что-нибудь говорю? Развѣ я говорю, что Коленька плохо дѣлаетъ? Сама-жъ я его посылала: поѣзжай, голубчикъ, поскорѣе, а то здѣсь еще больше ты измучаешься. Господи, Коля-то да нехорошо,—я о томъ, что сердце у меня изболѣлось. Вѣдь я недѣлю въ такой мукѣ живу, въ такой мукѣ... Вы ночь-то спите, а я глазъ не смыкаю, все слушаю, слушаю: вьюга да колоколь, колоколь да вьюга. Плачетъ, хоронитъ кого-то... нѣтъ, не увижу я Колюшки!

(Вьюга, колоколь)

ПЕТЯ (ласково).

Ну, успокойся, мамочка, все обойдется. Онъ не одинъ тамъ,—почему непременно съ нимъ что-нибудь случится? Успокойся.

ЖИТОВЪ.

Не говоря уже о томъ, что съ нимъ Маруся и Анна Сергѣевна съ мужемъ. Все-таки поберегутъ. Да и такъ, вы знаете, какъ его любятъ всѣ,—у него теперь свита, какъ у генерала, даромъ пропасть не дадутъ.

ИННА АЛЕКСАНДРОВНА.

Знаю, знаю, да что подѣлаешь! Но только про Ма-

русю вы мнѣ не говорите. Анна—женщина благоразумная, а Маруся—та сама впередъ полѣзетъ. Знаю ее.

ПЕТЯ.

• А ты чего, мама, хотѣла бы? Чтобъ Маруся пряталась?

ИННА АЛЕКСАНДРОВНА.

Опять... да деритесь себѣ, сколько хотите, развѣ я что говорю? только не успокаивайте меня: сама знаю, что знаю, не маленькая. Какъ помоложе была, сама съ волками дралась. Вотъ что!

ЖИТОВЪ.

Съ волками? Вотъ вы какая, не ожидалъ. Какъ же это вы такъ?

ИННА АЛЕКСАНДРОВНА.

Да пустяки. Разъ ночью зимой ѣхала одна на лошади, на меня и напали. Отстрѣлялась. А меня они и дразнить до сихъ поръ.

ЖИТОВЪ.

А вы и стрѣлять умѣете?

ИННА АЛЕКСАНДРОВНА.

Чему, Василій Васильевичъ, при такой жизни не научишься. Я съ Сергѣемъ Николаевичемъ въ Туркестанъ ѣздила на экспедицію, такъ полторы тысячи верстъ верхомъ сдѣлала, по-мужски. Мало-ли бывало! Тонула разъ, два раза горѣла... (Тихо) Только скажу вамъ, Василій Васильевичъ,—нѣтъ ничего страшнѣй въ мірѣ, какъ болѣзнь дѣтей. Разъ, тоже въ экспедиціи, у Колушки жаба открылась, но показалось намъ сначала,

что это дифтерить. Что это было! Ни доктора, ни лѣкарствъ, до ближняго жилья версть 50, а то и больше. Выбѣжала я изъ палатки, да какъ брякнулась о землю... вспомнить страшно. Вѣдь у меня двое дѣтей умерло, вы знаете. Одинъ на седьмомъ году, Сереженька, другой еще груднымъ. Анята разъ при смерти была, да что вспоминать... Тяжелая наша материнская доля, Василиѣ Васильевичъ... Благодареніе еще Богу, что дѣти хорошія вышли.

житовъ.

Да, Николай Сергѣевичъ у васъ удивительный человѣкъ.

ИННА АЛЕКСАНДРОВНА.

Коля-то! Сколько я перевидала людей, а такой души еще не встрѣчала. Вотъ говорила я—чужое дѣло, сразу видно, что эгоистка... а Коля: если увидить онъ, что левъ разоряетъ муравьиную кучу, такъ онъ одинъ съ голыми руками на льва пойдетъ. Вотъ онъ какой! Что-то тамъ дѣлается! Что-то дѣлается!..

житовъ.

Если бы мнѣ не такъ хотѣлось въ Австралію...

ПОЛЛАКЪ (входитъ).

У васъ не найдется, уважаемая Инна Александровна, чашки чернаго кофе?

ИННА АЛЕКСАНДРОВНА.

Какъ же не найдется? найдется! Минна! (Идетъ)

житовъ. .

Ну, какъ дѣла, коллега?

ПОЛЛАКЪ.

Хорошо. А вы что же ничего не дѣлаете?

ЖИТОВЪ.

Погода... Какая тутъ работа! Да и событія такія...

ПОЛЛАКЪ.

А не русская лѣнь?

ЖИТОВЪ.

Можетъ быть, и лѣнь. Кто знаетъ?

ПОЛЛАКЪ.

Нехорошо, дорогой товарищъ. Лунцъ, вы произвели вычисленія, которыя поручилъ вамъ Сергѣй Николаевичъ?

ЛУНЦЪ (рѣзко).

Нѣтъ.

ПОЛЛАКЪ.

Напрасно.

ЛУНЦЪ.

Напрасно, не напрасно, это васъ не касается. Вы такой же ассистентъ, какъ и я, и не имѣете права дѣлать мнѣ замѣчанія. Да.

ПОЛЛАКЪ

(отворачивается, пожимая плечами).

Скажите, Житовъ, чтобы кофе мнѣ подали туда.

ЖИТОВЪ.

Ладно. А надъ чѣмъ сейчасъ работаетъ Сергѣй Николаевичъ? Я какъ-то отошелъ отъ дѣла за это время.

ПОЛЛАКЪ.

О, у него такая работа! Я самъ могу много работать, но я удивляюсь настойчивости Сергѣя Николаевича, силѣ его мозга. Это изумительный мозгъ. Треніе, это возмутительное треніе, отсутствуетъ въ немъ, какъ въ нашихъ инструментахъ. И работаетъ онъ съ правильностью часового механизма: я убѣжденъ, что въ его вычисленіяхъ за 30 лѣтъ нельзя найти ни одной ошибки.

ЛУНЦЪ (прислушиваясь).

Онъ не только работникъ, онъ—талантъ.

ПОЛЛАКЪ.

Совершенно вѣрно. У него числа и цифры—живыя и движутся, какъ солдаты.

ЛУНЦЪ.

Вы все сводите къ дисциплинѣ. Какая юнкерская поэзія!

ПОЛЛАКЪ.

Безъ дисциплины нѣтъ побѣды, дорогой Лунцъ.

ЖИТОВЪ.

Вѣрно!

ЛУНЦЪ.

Я о немъ думаю лучше, чѣмъ вы. Я думаю, что онъ видитъ вѣчность, видитъ, какъ мы вотъ эти стѣны. Да!

ПОЛЛАКЪ.

Я не возражаю. У васъ нѣтъ свѣдѣній, кончилась эта революція, или нѣтъ?

ЖИТОВЪ.

Какія тутъ свѣдѣнія! Слышите, что на дворѣ дѣлается?

ПОЛЛАКЪ.

Я упустилъ это обстоятельство изъ виду.

ПЕТЯ.

По послѣднимъ газетамъ...

ПОЛЛАКЪ.

Нѣтъ, нѣтъ. Вы мнѣ скажете, когда все это кончится. Я не хочу входить въ подробности.

ИННА АЛЕКСАНДРОВНА (входитъ).

Нѣтъ, никого. Выходила сама посмотрѣть—пустыня.

ПОЛЛАКЪ.

Такъ я попрошу васъ, уважаемая Инна Александровна, дать мнѣ кофе туда.

ИННА АЛЕКСАНДРОВНА.

Хорошо, хорошо, работайте. Сейчасъ работа—это прямо счастье.

(Поллакъ уходитъ)

ПЕТЯ.

А я думаю, что бываютъ минуты, когда работать надъ чѣмъ-нибудь нечестно.

ИННА АЛЕКСАНДРОВНА.

Петя, Петя!

ПЕТЯ.

Я не могу! Отчего вы не пускаете меня туда? Я тутъ съ ума схожу, въ этой дырѣ!

ИННА АЛЕКСАНДРОВНА.

Петичка, голубчикъ, вѣдь тебѣ 18 лѣтъ еще нѣту.

ПЕТЯ.

Николай въ 19 лѣтъ въ тюрьмѣ уже сидѣлъ!

ИННА АЛЕКСАНДРОВНА.

Ну, что же тутъ хорошаго?

ПЕТЯ.

Онъ работалъ!

ИННА АЛЕКСАНДРОВНА.

Ахъ, Господи, ну поговори съ отцомъ... какъ онъ скажетъ, такъ и будетъ.

ПЕТЯ.

Онъ говоритъ: ступай.

ЖИТОВЪ.

Зачѣмъ же дѣло стало?

ПЕТЯ.

Я не знаю, я не могу. Тамъ такая великая борьба, а я... Я не могу, я не могу! (Уходитъ)

ЛУНЦЪ.

Петя опять нервничаетъ. Вы, Инна Александровна, занялись бы имъ.

(Идетъ вслѣдъ за Петей)

ИННА АЛЕКСАНДРОВНА.

Ну что же я подѣлаю? Боже мой, Боже мой!

ЖИТОВЪ.

Ничего, пройдетъ.

ИННА АЛЕКСАНДРОВНА.

Нѣжный онъ такой, совсѣмъ какъ дѣвочка... ну куда ему! И что съ нимъ въ эти дни сдѣлалось! А тутъ еще этотъ Лунцъ: нужно бы успокоить, а онъ...

ЖИТОВЪ.

Ну, у Лунца у самого, того и гляди, истерика сдѣлается.

ИННА АЛЕКСАНДРОВНА.

Виджу ужъ. Спасибо вы, Василій Васильевичъ, еще спокойны, а то хоть ложись въ гробъ, да умирай.

ЖИТОВЪ.

Ну, я-то что. Я всегда спокоенъ, у меня ужъ характеръ такой. Иной разъ и радъ бы поволноваться, да не выходитъ.

ИННА АЛЕКСАНДРОВНА.

Хорошій характеръ.

ЖИТОВЪ.

Не знаю. Удобный, конечно, характеръ. Жаль вотъ

только, что газетъ нѣту: люблю почитать, какъ люди тамъ волнуются.

ИННА АЛЕКСАНДРОВНА.

А вы знаете, что у Лунца четыре года назадъ, когда онъ тутъ, заграницей, еще студентомъ былъ, родителей убили? Во время еврейскаго погрома...

ЖИТОВЪ.

Знаю, слыхалъ.

ИННА АЛЕКСАНДРОВНА.

Онъ самъ объ этомъ никогда не говорить, не выносить. Несчастный молодой человѣкъ... я иногда на него безъ слезъ смотрѣть не могу. Опять стучить?

ЖИТОВЪ.

Нѣтъ.

ИННА АЛЕКСАНДРОВНА.

Въ третьемъ году въ такую погоду разносчикъ къ намъ попалъ. Чуть живой. А оттаялъ—сейчасъ же торговать началъ.

ЖИТОВЪ.

Вотъ и я разносчикомъ въ Австралію пойду.

ИННА АЛЕКСАНДРОВНА.

Да вѣдь вы англійскаго не знаете.

ЖИТОВЪ.

Немного знаю. Въ Калифорніи научился.

ИННА АЛЕКСАНДРОВНА.

Ну, а я все-таки газеты почитаю. Ни о чемъ дру-

гомъ думать не могу. И вы бы почитали что-нибудь, Василий Васильевичъ.

житовъ.

Не хочется. Я у камина посижу.

(Инна Александровна надѣваетъ очки и разбираетъ газеты; Житовъ садится у камина. Поллакъ работаетъ. Вьюга, колоколь)

ИННА АЛЕКСАНДРОВНА.

Что-то мой Сергѣй Николаевичъ? Я ужъ его два дня не видала: и пьетъ, и ѣстъ тамъ. И входить не велѣлъ.

житовъ.

М-да.

(Пауза)

ИННА АЛЕКСАНДРОВНА (читаетъ).

Какіе ужасы! Что это такое пулеметы, Василий Васильевичъ?

житовъ.

Это такая пушка особенная.

(Пауза. Минна проноситъ Поллаку кофе)

ИННА АЛЕКСАНДРОВНА.

Взяла бы я сама пулеметь, да ихъ бы...

житовъ.

М-да. Штука серьезная.

(Пауза)

ИННА АЛЕКСАНДРОВНА.

Какъ воетъ! Читать нельзя. А мнѣ васъ жалко будетъ, Василий Васильевичъ, если вы въ Австралію уѣдете. Не ѣздите, а?

ЖИТОВЪ.

Невозможно. Непосѣдливый я человѣкъ. Мнѣ бы, Инна Александровна, хотѣлось всю землю кругомъ ощупать—какая она. Изъ Австраліи я въ Индію поѣду, я еще тигровъ на свободѣ не видалъ.

ИННА АЛЕКСАНДРОВНА.

А зачѣмъ они вамъ повадобились?

ЖИТОВЪ.

Не знаю. Я, Инна Александровна, смотрѣть люблю. Какъ все это вообще. У насъ въ деревнѣ бугоръ былъ, такъ я, мальчишкой еще, по цѣлымъ днямъ сидѣлъ, смотрѣлъ все. Я и астрономіей-то занялся, чтобъ смотрѣть, а вычислять не люблю: не все ли равно, 20 милліоновъ миль или 30. И разговаривать я тоже не люблю.

ИННА АЛЕКСАНДРОВНА.

Ну-ну, не буду. Смотрите себѣ.

(Пауза. Вьюга. Колоколь.)

ЖИТОВЪ (не оборачиваясь).

А вы и въ Канаду съ Сергѣемъ Николаевичемъ поѣдете? На затменіе? *серри*

ИННА АЛЕКСАНДРОВНА.

А? Въ Канаду? Поѣду. Какъ же онъ безъ меня?

ЖИТОВЪ.

Тяжело будетъ. Далеко.

ИННА АЛЕКСАНДРОВНА.

Пустяки. Только бы тутъ все обошлось. Господи, Господи, подумать страшно!

(Молчаніе. Вьюга, колоколь.)

ИННА АЛЕКСАНДРОВНА.

Василій Васильевичъ!

ЖИТОВЪ.

Что?

ИННА АЛЕКСАНДРОВНА.

Вы слышите?

ЖИТОВЪ.

Нѣтъ.

ИННА АЛЕКСАНДРОВНА.

Опять что-то показалось.

(Пауза)

ИННА АЛЕКСАНДРОВНА.

Василій Васильевичъ, вы слышите?

ЖИТОВЪ.

Ну?

ИННА АЛЕКСАНДРОВНА.

Выстрѣлъ былъ.

ЖИТОВЪ.

Откуда тутъ выстрѣлъ? Просто—галлюцинація слуха.

ИННА АЛЕКСАНДРОВНА.

А я такъ ясно слышала.

(Пауза. Далекій выстрѣлъ)

ЖИТОВЪ.

Эге! Стрѣляютъ!

ИННА АЛЕКСАНДРОВНА (бѣжитъ).

Минна, Минна! Францы!

(Житовъ медленно поднимается. Второй выстрѣлъ, ближе. Быстро проходятъ Петя и Лунцъ)

ПЕТЯ.

Что это?

ЛУНЦЪ.

Не знаю. Идемъ!

(Житовъ слушаетъ у окна. Поллакъ поворачиваетъ голову, смотритъ на пустую комнату и снова работаетъ. Гдѣ-то хлопаетъ дверь; собачій лай)

ИННА АЛЕКСАНДРОВНА (выходитъ).

Послала людей съ Вулканомъ. Вѣроятно, кто-нибудь заблудился.

ЖИТОВЪ.

А колоколь?

ИННА АЛЕКСАНДРОВНА.

Вѣтеръ оттуда. Вы слышали, какъ ясны выстрѣлы?

ПОЛЛАКЪ (входитъ).

Я ничѣмъ не могу быть полезенъ?

ИННА АЛЕКСАНДРОВНА.

Пока нѣтъ. Нужно приготовить горячаго.

(Хлопаетъ снова дверь. Слышенъ говоръ. Въ сопровожденіи всѣхъ входятъ закутанные и запорошенные сѣгомъ Анна и Трейчъ и вносятъ Верховцева)

ИННА АЛЕКСАНДРОВНА (на порогъ).

Что это? Анна?

АННА

(снимая платокъ).

Мама, поскорѣ чего-нибудь горячаго. Мы чуть живы. Я боюсь, что Валентинъ отморозилъ себѣ что-нибудь. Скорѣ! (Въ полуобморочномъ состояніи падаетъ на стулъ)

ИННА АЛЕКСАНДРОВНА

(быстро подходитъ къ принесенному).

Валентинъ! Что такое?

ТРЕЙЧЪ.

Онъ раненъ.

ВЕРХОВЦЕВЪ (слабо).

Не... безпокойтесь, теща, не важно... ноги...

ИННА АЛЕКСАНДРОВНА.

А это кто?

ТРЕЙЧЪ.

Другъ.

ИННА АЛЕКСАНДРОВНА

(осматривается съ дикимъ ужасомъ вокругъ).

А Коля?

(Пауза. Петя со слезами бросается къ
Иннѣ Александровнѣ)

ПЕТЯ.

Мамочка, мамочка! Это ничего, ты не пугайся, это
ничего.

ИННА АЛЕКСАНДРОВНА

(слегка отстраняя его, болѣе спокойно).

А Коля гдѣ?

АННА

(приходя въ себя и начиная хлопотать около раненаго).

Ахъ, мама! Да ничего особеннаго, онъ въ тюрьмѣ.

ЛУНЦЪ.

Значить? Постойте, погодите, я ничего не понимаю.
Значить?..

ИННА АЛЕКСАНДРОВНА.

Въ тюрьмѣ. Въ какой тюрьмѣ?

АННА.

Ну, Господи, какъ этого не понять. Мы бѣжали,
вотъ и все... и хотимъ укрыться здѣсь.

ПОЛЛАКЪ.

Революція кончилась?

ЛУНЦЪ.

Но я не понимаю. Неужели?..

ТРЕЙЧЪ.

Да. Мы разбиты.

(Пауза)

АННА.

Мама, да распорядись же относительно горячаго!
Воды, коньяку... Вата у васъ есть?

ИННА АЛЕКСАНДРОВНА.

Сейчасъ все будетъ. Минна! (Идетъ) Въ тюрьмѣ!..

ЖИТОВЪ.

А нужно бы позвать Сергѣя Николаевича.

ИННА АЛЕКСАНДРОВНА.

Я пошлю за нимъ.

ПОЛЛАКЪ.

Разскажите, пожалуйста, какъ это случилось...
господинъ...

ТРЕЙЧЪ.

Трейчъ.

ВЕРХОВЦЕВЪ (слабо).

Безъ Трейча... я бы подохъ. Анна, да не суетись
ты такъ, я чувствую себя... великолѣпно.

АННА.

Какъ мы дошли, я не понимаю! Это такой ужасъ.
Мы сегодня съ восьми часовъ въ горахъ. Цѣлый день.
Насъ чуть не схватили на границѣ.

ЛУНЦЪ.

Я не могу повѣрить...

ПЕТЯ.

Валя, что у тебя? Тебѣ больно?

ВЕРХОВЦЕВЪ.

Ноги ободраны... осколкомъ и... голова... немного.
Вадоръ.

ЛУНЦЪ.

Въ васъ посылали бомбы?

ВЕРХОВЦЕВЪ.

Буржуа... защищался... недурно.

АННА.

Валентинъ, тебѣ нельзя говорить. Какой это былъ ужасъ, какой это былъ ужасъ! Бомбы рвали на клочки, убитыхъ тысячи—десятки тысячъ. У ратуши я видѣла гору труповъ!

ИННА АЛЕКСАНДРОВНА (подходить).

А Коля? Расскажите мнѣ про Колю.

АННА.

Въ сущности, неизвѣстно, гдѣ онъ.

ИННА АЛЕКСАНДРОВНА.

Что? Ты же сказала...

ПЕТЯ.

И Маруси нѣтъ! Вы что-то скрываете. А вотъ вы говорили, Лунцъ...

ЛУНЦЪ.

Петя, Петя! Да развѣ я думалъ! Я не могу повѣрить...

АННА.

Очень нужно скрывать.

ТРЕЙЧЪ.

Успокойтесь, госпожа Терновская. Я убѣжденъ, что Николай живъ.

АННА.

Вонъ Трейчъ расскажетъ. Онъ былъ рядомъ съ Колей на баррикадѣ.

ТРЕЙЧЪ.

Въ послѣдній моментъ, когда баррикада была почти въ рукахъ войскъ, Николая ранили. Онъ стоялъ рядомъ со мной, и я видѣлъ, какъ онъ упалъ.

ИННА АЛЕКСАНДРОВНА.

Господи! Опасно? Можетъ быть, убить? Да говорите же!

ТРЕЙЧЪ.

Не думаю, чтобы опасно.

ФРАНЦЪ.

Г. профессоръ приказали сказать, что сейчасъ придутъ.

АННА.

Конечно, чего торопиться!

ИННА АЛЕКСАНДРОВНА.

Ну-ну! Да говорите же!

ТРЕЙЧЪ.

Кажется, ^{внѣ}пулевая или ^{гдѣ не слѣд}картечная рана въ плечо. Вначалѣ онъ былъ въ сознаніи, но потомъ впалъ въ безпамятство. Я донесъ его до переулка, но здѣсь встрѣтился отрядъ драгунъ. Долго я бороться не могъ, тѣмъ болѣе, что я подвергалъ его опасности разстрѣла; и я оставилъ тѣло имъ, а самъ вернулся къ нашимъ. Теперь, вѣроятно, онъ въ тюрьмѣ.

ИННА АЛЕКСАНДРОВНА (плачетъ).

Колюшка, Колюшка! А мы-то сидимъ и ничего не знаемъ. Чужало мое сердце, чужало. Ну, не опасно онъ, скажите? А?

ТРЕЙЧЪ.

Не думаю.

ПЕТЯ.

А Маруся? Отчего вы ничего не скажете про Марусю?
Она убита?

АННА.

Да нѣтъ! Валя, хочешь воды съ коньякомъ?

ТРЕЙЧЪ.

Мы видѣли ее не одну минуту. Она осталась, чтобы
розыскать товарища Николая.

ИННА АЛЕКСАНДРОВНА.

Ахъ, Маруся! Молодецъ, ей-Богу. Такъ и надо,
такъ и надо. Вотъ скажите, вотъ какая дѣвушка!
Какъ васъ, Трейчъ... хотите коньяку? на васъ лица
нѣтъ. Выпейте, голубчикъ. Я бы васъ поцѣловала, да
знаю, что вашъ братъ этого не любитъ.

ТРЕЙЧЪ.

Сочту за особенную честь. (Цѣлуютъ.)

ИННА АЛЕКСАНДРОВНА.

Ахъ ты, Маруся, Маруся! И этотъ тоже... Минна!
(Выходить)

ЛУНЦЪ

(почти въ безуміи).

Значить, напрасно?

ПОЛЛАКЪ.

Повидимому.

ЛУНЦЪ.

Ты же... Значить, напрасно вся эта кровь, эти тысячи жертвъ, эта безпримѣрная борьба, эта... эта... Проклятые! Зачѣмъ я былъ здѣсь? Зачѣмъ я не легъ тамъ, съ моими братьями?

ВЕРХОВЦЕВЪ.

Какъ же... вы хотите, чтобы... буржуа... сразу отдалъ... свое владѣтельство надъ землей?.. Буржуа... не дуракъ. И лечь еще успѣете.

ТРЕЙЧЪ.

Борьба не кончена.

ПОЛЛАКЪ.

Вы рабочій, г. Трейчъ?

ТРЕЙЧЪ.

Рабочій. Кстати: я не сказалъ г-жѣ Терновской такъ какъ не хотѣлъ тревожить ее напрасно, что Николай, быть можетъ, разстрѣлянъ.

ПЕТЯ.

Разстрѣлянъ!

ТРЕЙЧЪ.

Уже по дорогѣ сюда я слыхалъ, что они разстрѣливаютъ всѣхъ плѣнныхъ безъ суда... и раненыхъ также.

ПЕТЯ

(вадрагиваетъ и закрываетъ лицо руками).

Какой ужасъ!

ЛУНЦЪ.

Звѣри! Они всегда питались человѣческой кровью. Они сыты ею по горло.

ВЕРХОВЦЕВЪ.

Да... они никогда не были... вегета... ріанцами.

ЛУНЦЪ.

Какъ можете вы шутить!

АННА.

Валя, вѣдь тебѣ же нельзя говорить.

ВЕРХОВЦЕВЪ.

Это ободранныя... ноги приводятъ меня въ такое... настроеніе. Я замолчу, Анна, я усталъ. Мнѣ только... интересно взглянуть... на фізіономію звѣздочета.

ТРЕЙЧЪ.

Тише. (Входитъ Инна Александровна) Они борются, и мы, конечно, не можемъ предписывать имъ правилъ борьбы.

ЖИТОВЪ.

А вотъ и Сергѣй Николаевичъ.

(На верху лѣстницы показывается
Сергѣй Николаевичъ и на ходу
бросаетъ)

СЕРГѢЙ НИКОЛАЕВИЧЪ.

Что это? Гдѣ Николай?

ИННА АЛЕКСАНДРОВНА.

Не пугайся, отецъ. Онъ раненъ, въ тюрьмѣ.

СЕРГѢЙ НИКОЛАЕВИЧЪ

(останавливаясь, сверху).

Развѣ тамъ еще убиваютъ? Развѣ тамъ еще есть тюрьмы?

ВЕРХОВЦЕВЪ (злобно).

Съ неба... свалился!

Л. Андреевъ. Къ звездамъ.

ДѢЙСТВІЕ ВТОРОЕ.

Весеннее ясное утро въ горахъ; небо безоблачно; все залито солнцемъ. Справа, въ глубинѣ, уголъ зданія обсерваторіи съ уходящей вверхъ башней; середина—дворъ, по которому проложены асфальтовые дорожки, какъ въ монастыряхъ; дворъ неровный, опускается внизъ, къ задней сторонѣ сцены, гдѣ низкій каменный заборъ и ворота. За нимъ цѣпь горъ, но не выше той, на которой расположена обсерваторія. Слева и ближе къ авансценѣ уголъ дома съ каменной верандой надъ обрывомъ. Полное отсутствіе растительности. Со времени перваго дѣйствія прошло три недѣли. Верховцевъ въ креслѣ на колесахъ: его возитъ взадъ и впередъ Анна. Житовъ сидитъ у стѣны—грѣется на солнцѣ. Всѣ одѣты по-весеннему, кромѣ Житова, который въ одномъ пиджакѣ.

ЖИТОВЪ (сидить).

А то дали бы мнѣ, Анна Сергѣевна, я бы повозилъ.

АННА.

Нѣтъ, ужъ сидите, никого не люблю утруждать. Тебѣ хорошо, Валя?

ВЕРХОВЦЕВЪ.

Хорошо, только за какимъ чортомъ вертимся мы здѣсь, какъ крысы въ крысоловкѣ. Поставь меня рядомъ съ Житовымъ, я тоже хочу запастись энергіей отъ солнца. Такъ, хорошо. Пріятно!

АННА.

Отчего вы не работаете, Житовъ?

ЖИТОВЪ.

Погода такая. Я, какъ взиграетъ весеннее солнце, такъ ужъ не могу въ комнатахъ сидѣть. Вотъ погрѣюсь, погрѣюсь, да и...

ВЕРХОВЦЕВЪ.

Житовъ, а вы не турокъ?

ЖИТОВЪ.

Нѣтъ.

ВЕРХОВЦЕВЪ.

А къ вамъ бы шло: сѣсть этакъ, да на пупокъ
смотрѣть или какъ тамъ...

ЖИТОВЪ.

Нѣтъ, я не турокъ.

ВЕРХОВЦЕВЪ.

А я васъ понимаю: пріятно на солнышкѣ. Жалко
Николу: ему этого удовольствія не получить. Я знаю
эту Штернбергскую тюрьму: въ нее не только солнце
не заглядываетъ, въ ней и неба-то не видно. Я въ ней
только мѣсяцъ просидѣлъ, такъ и то въ какой-то
сплошной компрессъ превратился отъ сырости. Мер-
зость!

АННА.

Хорошо, что хотъ живъ. Я была убѣждена, что его
разстрѣляли.

ВЕРХОВЦЕВЪ.

Погоди, за этимъ еще дѣло не станетъ. Нужно бы
разбудить Маруську, узнать все поскорѣе.

ЖИТОВЪ.

Она поздно пріѣхала.

ВЕРХОВЦЕВЪ.

Слыхалъ. Весь домъ пѣньемъ разбудила. Я даже
удивился, кто можетъ пѣть въ этомъ мавзолеѣ. Поду-
малъ, ужъ не Поллакъ ли новую звѣзду открылъ.

ЖИТОВЪ.

Разъ поетъ, значить, все хорошо.

АННА.

Я не понимаю этого: пѣть, когда всѣ спятъ.

ИННА АЛЕКСАНДРОВНА
(показывается на верандѣ).

А Лунцъ не приходилъ?

АННА.

Нѣтъ.

ИННА АЛЕКСАНДРОВНА.

Господи, что же это! Его Сергѣй Николаевичъ спрашиваетъ—ну что я скажу? Разбрелись всѣ, какъ *tumbled away* овцы, одинъ Поллакъ работаетъ. А Марусечка-то вчера—запѣла! Какъ я услышала—духъ захватило... ну, думаю...

ВЕРХОВЦЕВЪ.

Разбудите-ка ее, теща.

ИННА АЛЕКСАНДРОВНА.

Ни-ни. И не думай. Пусть хоть до вечера спить.

ВЕРХОВЦЕВЪ.

Ну, Шмидта этого.

ИННА АЛЕКСАНДРОВНА.

И Шмидта не стану будить. Человѣкъ съ дороги, такую радость привезъ, а я ему поспать не дамъ! Вотъ вы этого Лунца пришлите, когда вернется. (Идетъ и у двери останавливается) Солнышко-то грѣетъ,—Василій Васильевичъ! Какъ у насъ. Я нынче утромъ въ ящикъ земли насыпала, да редиску посѣяла. Пусть растетъ, кое-кому пригодится! (Уходитъ).

ВЕРХОВЦЕВЪ.

Энергичная старушка. Редиска, х-мъ!

(Пауза)

АННА.

Вы думаете о чемъ-нибудь, Житовъ, когда вотъ такъ устаетесь?

ЖИТОВЪ.

Нѣтъ. Зачѣмъ думать? Я такъ смотрю.

ВЕРХОВЦЕВЪ.

Врете вы. Какъ можно не думать—ну, если не думаетъ, такъ вспоминаете что-нибудь.

ЖИТОВЪ.

У меня воспоминаній не бываетъ. А впрочемъ... Хорошо въ Нью-Йоркѣ было: жилъ я въ гостиницѣ на самой шумной ихней улицѣ, и балконъ у меня былъ...

ВЕРХОВЦЕВЪ.

Ну?

ЖИТОВЪ.

Такъ вотъ: хорошо очень было. Сидишь и смотришь: какъ это они тамъ ходятъ, ѣздятъ. Воздушная дорога. Интересно.

АННА.

У американцевъ высокая культура.

ЖИТОВЪ.

Нѣтъ, я не объ этомъ. А такъ интересно очень. (Пауза) А, правда, гдѣ Лунцъ?

АННА.

Вчера еще съ вечера съ Трейчемъ ушелъ въ горы.

ВЕРХОВЦЕВЪ.

На изслѣдованія?

житовъ.

Изслѣдованія?

ВЕРХОВЦЕВЪ.

Трейчъ всегда что-нибудь изслѣдуетъ. Онъ уже, навѣрное, изслѣдовалъ вашъ храмъ Ураніи и рѣшилъ, что онъ можетъ быть превосходнымъ складомъ для оружія. Теперь онъ изслѣдуетъ горы: вѣроятно, ищетъ мѣста для оружейнаго завода.

АННА.

Трейчъ—фантазеръ.

ВЕРХОВЦЕВЪ.

Ну, не совсѣмъ. Въ его фантазіяхъ есть странная черта. При своемъ иногда явномъ безуміи онъ какъ-то осуществляютъ. Вообще, любопытный малый. Говорить мало, а пропагандировать никто такъ не умѣетъ, какъ онъ. Выражаясь вашимъ астрономическимъ языкомъ—онъ луну заставитъ разгорѣться, какъ солнце. Откуда его Николай вытащилъ, не знаю.

ПЕТЯ (входитъ).

Добрый день.

ВЕРХОВЦЕВЪ.

Что это ты, Пѣтушокъ, такой хмурый?

ПЕТЯ.

Такъ.

АННА.

Ты знаешь, что Николай въ тюрьмѣ?

ПЕТЯ.

Знаю, мнѣ мама говорила.

АННА.

Я не понимаю, отчего ты киснешь. Точно уксусу
напился—противно смотрѣть.

ПЕТЯ.

И не смотри.

ЖИТОВЪ.

Петя, поѣдьте со мной въ Австралію.

ПЕТЯ.

Зачѣмъ?

АННА.

Ты, какъ маленькія дѣти, все—зачѣмъ, зачѣмъ. Его
вчера въ горы зовутъ, а онъ „зачѣмъ?“ А зачѣмъ
ты ѣшь?

ПЕТЯ.

Не знаю. Отстань отъ меня, Анна.

ВЕРХОВЦЕВЪ.

Не могу сказать, чтобы ты былъ чрезмѣрно вѣж-
ливъ, мой другъ. А вотъ и наши! (Показываются забрыз-
ганные грязью Трейчъ и Лунцъ) Лунцъ, васъ звѣздочетъ
спрашивалъ. Держитесь, влетитъ вамъ теперь.

ЛУНЦЪ.

А, ну его къ... Виновать, Анна Сергѣевна.

АННА.

Можете. Я не изъ нѣжныхъ дочерей и присоединяюсь къ вашему пожеланію.

ПЕТЯ.

Какъ это пошло!

ВЕРХОВЦЕВЪ.

Ну, какъ погуляли, Трейчъ? Нашли что-нибудь?

ТРЕЙЧЪ.

Мѣстность хорошая.

АННА.

А вы знаете, что Маруся ночью пріѣхала?

ТРЕЙЧЪ

(дѣлая шагъ впередъ).

Ну?! Николай? Николай?..

ВЕРХОВЦЕВЪ.

Разстрѣлянь. Повѣшенъ. Колесованъ.

АННА.

Да нѣтъ—живъ, живъ!

(За окномъ музыка и пѣніе Маруси)

МАРУСЯ.

Сижу за рѣшеткой въ темницѣ сырой—вскормлен-
ный на волъ орелъ молодой...

МАРУСЯ.

Анна, здравствуйте! (Трейчу) Вамъ—поцѣлуй!

ТРЕЙЧЪ

(быстро закрываетъ рукой глаза и тотчасъ отнимаетъ руку).

Я счастливъ.

МАРУСЯ.

И всѣмъ, и всѣмъ. Тебѣ, инвалидъ, тоже.

ВЕРХОВЦЕВЪ.

Да ты видѣла его?

МАРУСЯ.

Давай улетимъ!

ЛУНЦЪ.

Это даже нехорошо. Всѣ такъ хотятъ знать...

МАРУСЯ.

И видѣла, и все. Да... вотъ этотъ господинъ... это Шмидтъ, позвольте представить. Это удивительный господинъ. Пока онъ такъ, служить въ банкѣ, но со временемъ окажетъ массу услугъ для революціи. Онъ страшно похожъ на шпиона и онъ такъ помогъ мнѣ... Кланяйтесь, Шмидтъ.

ШМИДТЪ.

Я очень радъ. Добрый день.

МАРУСЯ.

Петя, милый мальчикъ, отчего ты такой грустный?

ВЕРХОВЦЕВЪ.

Эго, Маруся, выражаясь скромно—свинство.

МАРУСЯ.

Ну-ну, калѣка, не сердись. Развѣ можно сегодня сердиться? Ну, онъ въ Штернбергской тюрьмѣ...

ГОЛОСА.

Знаемъ. Знаемъ.

МАРУСЯ.

Ну—и хотѣли его разстрѣлять.

ИННА АЛЕКСАНДРОВНА.

Господи—Колю-то!?

МАРУСЯ.

Успокойтесь, мамочка, ничего этого не будетъ. А я—графиня Морицъ. Родовитая ужасно, но только родовая помѣстья мои тамъ. (Обводитъ рукой по воздуху) А они злы, но страшно глупы.

ВЕРХОВЦЕВЪ.

Да, есть-таки.

МАРУСЯ.

Труднѣе всего было узнать, гдѣ онъ. Они скрываютъ имена захваченныхъ, чтобы имѣть возможность тихонько—безъ суда—расправиться съ ними. Но тутъ помогъ мнѣ Шмидтъ. Шмидтъ, кланяйтесь.

(Входитъ Сергѣй Николаевичъ. Онъ въ потертомъ пальто и маленькой мѣховой шапочкѣ; привѣтствуютъ его почтительно, но холодно)

ИННА АЛЕКСАНДРОВНА.

✓ Отецъ, ты послушай, что Маруся рассказываетъ. Они его разстрѣлять хотѣли!

МАРУСЯ.

Такъ вотъ. Долго рассказывать. Однимъ словомъ, я грозила, умоляла, ссылалась на общественное мнѣніе Европы, на ученый авторитетъ его отца,—и расправа отложена. И я была въ тюрьмѣ...

ВЕРХОВЦЕВЪ.

Ну, какъ онъ?

МАРУСЯ (затуманиваясь).

Онъ... немного грустенъ, но это пройдетъ, конечно.

ИННА АЛЕКСАНДРОВНА.

А рана?

МАРУСЯ.

Это пустяки. Уже зарубцевалась, онъ такой вѣдь крѣпкій. Но что это за камера: это подвалъ, погребъ, болото—я не знаю, какъ назвать.

ВЕРХОВЦЕВЪ.

Знаю, сиживаль.

МАРУСЯ.

Но я подняла такой шумъ, что его обѣщали перевести въ лучшую. Вамъ, Сергѣй Николаевичъ, онъ крѣпко жметъ руку, желаетъ успѣха въ работѣ и, вообще, очень интересуется, какъ у васъ...

АННА.

✓Въ такомъ положеніи—и думать о пустякахъ.

СЕРГѢЙ НИКОЛАЕВИЧЪ.

Милый мальчикъ! Я очень благодаренъ ему.

АННА.

Какъ великодушно!

ЛУНЦЪ.

Но какъ же вы-то сами? Какъ васъ не схватили?

МАРУСЯ.

Меня и схватили солдаты—въ тотъ день. Но я такъ плакала, я такъ безумно рыдала о больной бабушкѣ, которая ждетъ меня изъ магазина—что меня отпустили. Одинъ, правда, слегка ударилъ прикладомъ...

ЛУНЦЪ.

Какая гнусность!

МАРУСЯ.

А у меня подъ юбкой знамя было. Наше знамя.

ВЕРХОВЦЕВЪ.

Оно цѣло?

МАРУСЯ.

Я приколола его англійскими булавками—но какое оно тяжелое! Я привезла его сюда. Въ этотъ разъ оно замѣняло Шмидту фуфайку. Вообще, если бы Шмидтъ не былъ такого маленькаго роста...

ВЕРХОВЦЕВЪ.

Онъ былъ бы большого. Отчего ты не принесла его сюда? Взглянулъ бы... Наше знамя! Чортъ возьми, а?

МАРУСЯ.

Нѣтъ, я разверну его, когда мы снова пойдемъ въ битву. Трейчъ, вы знаете, кто предаль насъ?

ТРЕЙЧЪ.

Знаю.

ШМИДТЪ.

Измѣнниковъ и предателей нужно карать смертью.

(Маруся смѣется. Трейчъ слегка улыбается)

ВЕРХОВЦЕВЪ.

Какой вы, однако, кровожадный, г. Шмидтъ.

ШМИДТЪ.

Можно убивать электричествомъ, тогда безъ крови.

ИННА АЛЕКСАНДРОВНА.

Ну, а Колюшка-то!

МАРУСЯ.

Николай? Ну слушайте. Здѣсь нѣтъ никого? Прислуга у васъ?.. Ну хорошо. Такъ вотъ—бѣжать.

ТРЕЙЧЪ.

Я поѣду съ вами.

МАРУСЯ.

Нѣтъ, Трейчъ, Коля велѣлъ вамъ оставаться здѣсь. Вы знаете, какъ васъ ищутъ.

ТРЕЙЧЪ.

Это не имѣетъ значенія.

МАРУСЯ.

Да и не нужно: я уже все устроила, все готово, а вы здѣсь, Трейчъ, на границѣ, займетесь кое-чѣмъ. Нужны только деньги—много денегъ; вмѣстѣ съ Колей

бѣгутъ одинъ солдатъ и смотритель. И, конечно, онъ прїѣдетъ сюда—это само собой. И я сегодня же ѣду,—нельзя терять ни минуты.

ВЕРХОВЦЕВЪ.

Ловко, Маруся!

МАРУСЯ.

Голубчикъ, я такъ счастлива!

ИННА АЛЕКСАНДРОВНА

(смотреть на Сергѣя Николаевича).

Деньги?

СЕРГѢЙ НИКОЛАЕВИЧЪ

(смотреть на Инну Александровну).

А у насъ есть деньги? Инна, ты завѣдуешь этимъ дѣломъ.

ИННА АЛЕКСАНДРОВНА (смущенно).

Только тѣ три тысячи...

МАРУСЯ.

Нужно пять.

ИННА АЛЕКСАНДРОВНА.

Да и тѣ... (Смотрить на Сергѣя Николаевича, тотъ молча киваетъ головой; радостно) Ну, вотъ три тысячи и есть. Слава Богу!

ЖИТОВЪ (конфузясь).

Можно собрать. Вотъ у меня есть 200 рублей.

ЛУНЦЪ.

Поллакъ—богатый человѣкъ, очень богатый.

АННА.

Непріятно къ нему обращаться. Онъ такой сухарь.

ВЕРХОВЦЕВЪ.

Пустое. Вотъ такихъ и нужно обдирать! Петя, позови-ка сюда Поллака... скажи—важно, а то не пойдетъ.

МАРУСЯ.

Ну вотъ, главное сдѣлано, деньги есть. (Поетъ) Зоветъ меня взглядомъ и крикомъ своимъ—и вымолвить хочетъ: давай улетимъ! Трейтъ, мнѣ надо съ вами поговорить. Какой вы грязный! Гдѣ вы были? (Уходятъ)

ЛУНЦЪ.

Какая дѣвушка! Это—солнце! Это вихрь огненныхъ силъ! Это Юдифъ!

АННА.

Да, слишкомъ много огня. Революція не нуждается въ вашихъ вихряхъ и взрывахъ,—это, если хотите знать, ремесло, въ которое нужно вносить терпѣніе, настойчивость и спокойствіе. А эти вихри...

ЛУНЦЪ.

И для революціи нуженъ талантъ.

АННА.

Не знаю. Люди ужъ очень злоупотребляютъ этимъ словомъ—талантъ. На канатѣ хорошо ломается—талантъ. На звѣзды всю жизнь смотреть...

ВЕРХОВЦЕВЪ.

Да. А какъ у васъ, уважаемый звѣздочетъ, обстоятъ дѣла на небѣ?

СЕРГѢЙ НИКОЛАЕВИЧЪ.

Хорошо. А у васъ на землѣ?

ВЕРХОВЦЕВЪ.

Довольно скверно, какъ видите. На землѣ всегда скверно, но, уважаемый звѣздочетъ: всегда кто-нибудь кого-нибудь душитъ; кто-то плачетъ, кто-то кого-то предаетъ... Ноги вотъ болятъ. Намъ далеко до гармоній небесныхъ сферъ.

СЕРГѢЙ НИКОЛАЕВИЧЪ.

✓ Тамъ не всегда гармонія. Тамъ также бываютъ катастрофы.

ВЕРХОВЦЕВЪ.

Очень жаль... значить, и на небо надежда потеряна. А вы о чемъ задумались, г... г... Шмидтъ?

ШМИДТЪ.

Я думаю, что всякій человѣкъ долженъ быть сильнымъ.

ВЕРХОВЦЕВЪ.

Ого! А вы сильны?

ШМИДТЪ.

Къ сожалѣнію, нѣтъ. Природа при рожденіи лишила меня нѣкоторыхъ свойствъ, которыя составляютъ силу. Я очень боюсь крови и...

ВЕРХОВЦЕВЪ.

И науковъ? Кстати: вы платье готовое покупаете, или на заказъ?

ПОЛЛАКЪ (подходить).

Чѣмъ могу служить? Добрый день, господа!

ВЕРХОВЦЕВЪ.

Вотъ что, г. Поллакъ: нужны двѣ тысячи... не скажу, чтобы взаимны, потому что едва ли вамъ ихъ кто отдастъ...

ПОЛЛАКЪ.

А для какой надобности, смѣю спросить?

ВЕРХОВЦЕВЪ.

Надо устроить бѣгство Николая Сергѣевича. Можете дать?

ПОЛЛАКЪ.

Съ удовольствіемъ.

ВЕРХОВЦЕВЪ.

Онъ...

ПОЛЛАКЪ.

Нѣтъ, нѣтъ, прошу безъ подробностей. Уважаемый Сергѣй Николаевичъ, могу я сегодня воспользоваться вашимъ рефракторомъ?

СЕРГѢЙ НИКОЛАЕВИЧЪ.

Пожалуйста. Сегодня у меня праздникъ.

(Поллакъ уходитъ, кланяясь)

ВЕРХОВЦЕВЪ.

Вотъ это ученый. Хорошъ, Сергѣй Николаевичъ?

СЕРГѢЙ НИКОЛАЕВИЧЪ.

Онъ очень способный.

АННА (вообще).

А для чего существуетъ астрономія?

ВЕРХОВЦЕВЪ.

Для календарей, должно быть.

(Маруся и Трейчъ подходят)

МАРУСЯ.

Такъ вы сдѣлаете это, Трейчъ... На васъ нападаютъ, Сергѣй Николаевичъ? Анна такъ ненавидитъ астрономію, какъ будто это ея личный врагъ.

СЕРГѢЙ НИКОЛАЕВИЧЪ.

Я ужъ привыкъ къ этому, Маруся.

АННА.

У меня нѣтъ личныхъ враговъ, вы это хорошо знаете, А астрономію я не люблю потому, что не понимаю, какъ люди могутъ столько времени глазѣть на небо, когда на землѣ все устроено такъ плохо.

ЖИТОВЪ.

Астрономія—торжество разума.

АННА.

По-моему, разумъ больше бы торжествовалъ, если бы на землѣ не было голодныхъ.

МАРУСЯ.

Какія горы! Какое солнце! Какъ вы можете говорить, спорить, когда такъ свѣтитъ солнце!

ЛУНЦЪ.

Вы, слѣдовательно, противъ науки, Анна Сергѣевна?

АННА.

Не противъ науки, а противъ ученыхъ, которые

науку дѣлають предлогомъ, чтобы уклоняться отъ общественныхъ обязанностей.

ШМИДТЪ.

Человѣкъ долженъ говорить: „я хочу“, обязанность—это рабство.

ИННА АЛЕКСАНДРОВНА.

Не люблю я этихъ разговоровъ, и охота людямъ себѣ кровь портить. Василій Васильевичъ... да подымитесь же! Вотъ что: (отводить его къ верандѣ) вы денегъ-то своихъ не давайте. Хватить. Поллакъ—очень великодушный молодой человѣкъ и, въ случаѣ чего... (Смѣется) А все-таки: астрябѣя.

ЖИТОВЪ.

Какъ же теперь ваша экспедиція въ Канаду, Инна Александровна? Деньги-то?

ИННА АЛЕКСАНДРОВНА.

Ну, достану! Годъ еще впереди. Я ловка денегъ доставать. А вы вотъ что, Василій Васильевичъ, попрошу васъ, какъ друга: нападать они будутъ на моего старика,—рады, что онъ молчитъ,—такъ вы ужъ стойте за него, хорошо?

ЖИТОВЪ.

Хорошо.

ИННА АЛЕКСАНДРОВНА.

А я пойду. Нужно Колюшкѣ бѣлье приготовить, и такъ хлопотъ много... (Уходитъ)

СЕРГѢЙ НИКОЛАЕВИЧЪ (продолжаетъ).

Я очень люблю хорошіе разговоры. Во всѣхъ рѣчахъ я вижу искорки свѣта, и это такъ красиво, какъ млеч-

ный путь. Очень жаль, что люди, большей частью, говорят о пустякахъ.

А Н Н А.

Красивыми словами люди часто отдѣлываются отъ работы.

ВЕРХОВЦЕВЪ.

Вотъ вы очень спокойный человѣкъ, Сергѣй Николаевичъ, вы даже не способны, кажется, обижаться,—а случалось ли вамъ когда-нибудь плакать? Я, конечно, беру не тотъ счастливый возрастъ, когда вы путешествовали безъ штановъ, а вотъ теперь?...

СЕРГѢЙ НИКОЛАЕВИЧЪ.

О да! Я очень слезливъ.

ВЕРХОВЦЕВЪ.

Вотъ какъ!

СЕРГѢЙ НИКОЛАЕВИЧЪ.

Когда я видѣлъ комету Беллу, предсказанную Галлеемъ, я заплакалъ.

ВЕРХОВЦЕВЪ.

Причина уважительная, хотя для меня и не совсѣмъ понятная. А вы ее понимаете, господа?

ЛУНЦЪ.

Да, конечно. Вѣдь Галлей могъ ошибаться.

ВЕРХОВЦЕВЪ.

Что же, тогда нужно было бы рвать волосы отъ отчаянія?

МАРУСЯ.

Вы преувеличиваете, Валентинъ.

АННА.

А когда сына чуть не разстрѣляли, онъ остался совершенно спокоенъ.

СЕРГѢЙ НИКОЛАЕВИЧЪ.

Въ мірѣ каждую секунду умираетъ по человѣку, а во всей вселенной, вѣроятно, каждую секунду разрушается цѣлый міръ. Какъ же я могу плакать и приходить въ отчаяніе изъ-за смерти одного человѣка?

ВЕРХОВЦЕВЪ.

Такъ. Шмидтъ, не правда ли, это очень сильно, какъ разъ по-вашему? Такъ что, если Николаю не удастся бѣжать, и его...

СЕРГѢЙ НИКОЛАЕВИЧЪ.

✓ Конечно, это будетъ очень грустно, но...

МАРУСЯ.

Не шутите такъ, СергѢй Николаевичъ. Мнѣ больно, когда я слышу такія шутки.

СЕРГѢЙ НИКОЛАЕВИЧЪ.

Да я и не шучу, милая Маруся. Вообще, я никогда не умѣлъ шутить, хотя очень люблю, когда шутятъ другіе, напримѣръ, Валентинъ.

ВЕРХОВЦЕВЪ.

Благодарю васъ.

ЖИТОВЪ.

Это правда, СергѢй Николаевичъ никогда не шутитъ.

МАРУСЯ (затуманиваясь).

Тѣмъ хуже.

ВЕРХОВЦЕВЪ.

Что значить—заткнуть уши астрономической ватой! Хорошо, спокойно. Пусть весь міръ взвоетъ, какъ собака...

ЛУНЦЪ.

Когда молодой Будда увидѣлъ голодную тигрицу, онъ отдалъ ей себя, да. Онъ не сказалъ: я Богъ, я занять важными дѣлами, а ты только голодный звѣрь—онъ отдалъ ей себя!

СЕРГѢЙ НИКОЛАЕВИЧЪ.

Вы видите надпись: (показывая на фронтонъ обсерваторіи) *Haec domus Uraniae est. Curae procul este profanae. Temnitur hic humilis tellus. Hinc ITUR AD ASTRA.* Это значить: Это храмъ Ураніи. Прочь суетныя заботы! Попирается здѣсь низменная земля—отсюда идутъ къ звѣздамъ.

ВЕРХОВЦЕВЪ.

Да. Но что вы разумѣете подъ суетными заботами, уважаемый звѣздочетъ? Вотъ у меня ноги содраны до кости осколкомъ... это тоже, по-вашему, суетная забота?

АННА.

✓ Конечно.

СЕРГѢЙ НИКОЛАЕВИЧЪ.

Да. Смерть, несправедливость, несчастья, всѣ черныя тѣни земли—вотъ суетныя заботы.

ВЕРХОВЦЕВЪ.

Значить, явись завтра новый Наполеонъ, новый

деспотъ, и зажими весь міръ въ желѣзномъ кулакѣ—
это тоже будетъ суетная забота?

СЕРГѢЙ НИКОЛАЕВИЧЪ.

Д... Я такъ думаю.

ВЕРХОВЦЕВЪ

(обводитъ всѣхъ взглядомъ и грубо смѣется).

Такъ вотъ оно что!

АННА.

Это возмутительно! Это какіе-то Боги, которые предоставляютъ людямъ страдать, какъ имъ угодно, а сами...

МАРУСЯ.

Трейчъ, почему вы ничего не возразите?

ТРЕЙЧЪ.

Я слушаю.

ВЕРХОВЦЕВЪ.

Такъ можетъ говорить только тотъ, кто живетъ на содержаніи у правительства и въ полной безопасности сидитъ на своей крышѣ.

СЕРГѢЙ НИКОЛАЕВИЧЪ

(слегка краснѣя).

Не всегда въ безопасности, Валентинъ. Галилей умеръ въ темницѣ. Джіордано Бруно погибъ на кострѣ. Путь къ звѣздамъ всегда орошенъ кровью.

ВЕРХОВЦЕВЪ.

Мало ли что было... Христіанъ тоже преслѣдовали, а это не помѣшало имъ, въ свою очередь, поджаривать на угляхъ невинныхъ астрономовъ.

АННА.

или У отца даже свои мощи есть, и онъ держитъ ихъ за желѣзными дверями.

СЕРГѢЙ НИКОЛАЕВИЧЪ.

Анна! Это нехорошо.

ВЕРХОВЦЕВЪ.

Это еще что за чепуха?

АННА.

адресна Кусокъ кирпича отъ какой-то развалины,—обсерваторія развалилась,—да клочки подлинной рукописи.

МАРУСЯ.

Анна! Какъ это неприятно! Коля не позволилъ бы себѣ такъ говорить...

АННА.

Николай слишкомъ деликатенъ. Это его недостатокъ.

(Подходить Петя и, незамѣченный, молча становится у стѣны)

ВЕРХОВЦЕВЪ (раздраженно).

Оттого-то насъ и бьютъ на каждомъ шагу...

МАРУСЯ.

Не надо! Не надо!.. Трейчъ, да что же вы!..

ТРЕЙЧЪ (сдержанно).

*дѣла
нѣтъ*

Надо идти впередъ. Здѣсь говорили о пораженіяхъ, но ихъ нѣтъ. Я знаю только побѣды. Земля—это

*There are his own
philosophy or what is
the meaning?*

воскъ въ рѣкахъ человѣка. Надо мять, давить — творить новыя формы. Но надо идти впередъ. Если встрѣтится стѣна—ее надо разрушить. Если встрѣтится гора—ее надо срыть. Если встрѣтится пропасть—ее надо перелетѣть. Если нѣтъ крыльевъ—ихъ надо сдѣлать!

ВЕРХОВЦЕВЪ.

Хорошо, Трейчъ! Надо сдѣлать!

МАРУСЯ.

*Body
of
fact*

Я уже чувствую крылья!

ТРЕЙЧЪ (сдержанно).

Same as above

Но надо идти впередъ. Если земля будетъ разступаться подъ ногами, нужно скрѣпить ее—желѣзомъ. Если она начнетъ распадаться на части, нужно слить ее—огнемъ. Если небо станетъ валиться на головы, надо протянуть руки и отбросить его—такъ! (Отбрасываетъ)

ВЕРХОВЦЕВЪ.

✓ У-ахъ! Такъ!

(Нѣкоторые невольны повторяютъ позу Трейча—Атланты, поддерживающаго міръ)

ТРЕЙЧЪ.

Но надо идти впередъ, пока свѣтитъ солнце.

ЛУНЦЪ.

Оно погаснетъ, Трейчъ!

ТРЕЙЧЪ.

Тогда нужно зажечь новое.

ВЕРХОВЦЕВЪ.

Да, да. Говорите!

ТРЕЙЧЪ.

И пока оно будетъ горѣть, всегда и вѣчно—надо идти впередъ. Товарищи, солнце вѣдь тоже пролетарій!

ВЕРХОВЦЕВЪ.

Вотъ это—астрономія. Ахъ, чортъ!

ЛУНЦЪ.

Впередъ, всегда и вѣчно.

ВЕРХОВЦЕВЪ.

Впередъ! Ахъ, чортъ!

(Всѣ въ возбужденіи разбиваются на группы)

ЛУНЦЪ (волнуясь).

Г.г., я прошу... это нельзя такъ оставить. А убитые! Нѣтъ, г.г., не только тѣ, кто мужественно боролся и погибъ за свободу, а вотъ эти... жертвы. Вѣдь ихъ милліарды, вѣдь онѣ же не виноваты... А ихъ убили!
(Молчаніе)

МАРУСЯ

(звонко кричить).

Клянусь передъ вами, горы! Клянусь передъ тобою, солнце: я освобожу Николая!.. У этихъ горъ есть эхо?

ЛУНЦЪ.

Здѣсь нѣтъ. Но если бы было, оно отвѣтило бы, какъ въ сказкѣ: да!

АННА (Житову).

Какъ это сентиментально. Я не понимаю Валентина...

ЖИТОВЪ
идитъ

Нѣтъ, ничего. Знаете, я погожу ѣхать въ Австра- *wait*
лію: мнѣ тоже захотѣлось повидать Николая Сергѣ-
евича.

МАРУСЯ

(глядя въ небо).

Какъ хочется летѣть!

ВЕРХОВЦЕВЪ.

Вотъ это—астрономія! Ну, какъ, звѣздочетъ, нравят-
ся вамъ такіе астрономы?

СЕРГѢЙ НИКОЛАЕВИЧЪ.

Да. Нравятся. Его фамилія, кажется, Трейчъ?

ВЕРХОВЦЕВЪ.

Онъ такой же Трейчъ, какъ я—Бисмаркъ. Самъ
чортъ не знаетъ, какъ его зовутъ по-настоящему.

ЛУНЦЪ

(перебѣгая отъ одной группы къ другой).

Я счастливъ, я такъ счастливъ. Вы знаете... мои
родители—они убиты. И сестра. Я не хотѣлъ, я никогда
не хотѣлъ говорить объ этомъ... Зачѣмъ говорить?—
думалъ я... Пусть останется глубоко-глубоко въ душѣ,
и пусть я одинъ только знаю. А теперь... Вы знаете,
какъ они были убиты? Трейчъ, вы понимаете меня? Я
никогда не хотѣлъ...

ПЕТЯ (Житову).

Зачѣмъ все это?

ЖИТОВЪ.

Нѣтъ, пріятно.

ПЕТЯ.

Зачѣмъ, когда все это умреть, и вы, и я, и горы.
Зачѣмъ?

(Всѣ разбились на группы. Сер-
гѣй Николаевичъ стоитъ одинъ)

ВЕРХОВЦЕВЪ

(Марусѣ, въ восторгѣ).

Повѣсить мало этого Трейча. Ну, ^{let off digging, the machine} и откопалъ Нико-
лай. Ну, Маруська, вѣдь убѣжить, а?

МАРУСЯ (затуманиваясь).

Я другого боюсь...

ВЕРХОВЦЕВЪ.

Чего еще?

МАРУСЯ.

Но—не стоитъ говорить. Пустое.

ВЕРХОВЦЕВЪ.

Да въ чемъ дѣло? О чемъ ты задумалась?

МАРУСЯ

(не отвѣчаетъ; потомъ неожиданно смѣется и поетъ).

Давай улетимъ!

ИННА АЛЕКСАНДРОВНА

(высовывается въ окно).

Орлятки! Обѣдать!

ВЕРХОВЦЕВЪ.

Цынь-цынь-цынь!

МАРУСЯ.

Будемъ пить шампанское! Мамочка, есть?

ГОЛОСА.

Да, да. Шампанское.

ИННА АЛЕКСАНДРОВНА.

Шампанскаго нѣтъ, а киршвассеръ есть.

(Смѣхъ, восклицанія)

СЕРГѢЙ НИКОЛАЕВИЧЪ

(отводитъ Марусю).

Ну, Маруся, я пойду къ себѣ. Я не хочу вамъ мѣшать.

МАРУСЯ.

Нѣтъ, отчего же. Сегодня такъ весело.

СЕРГѢЙ НИКОЛАЕВИЧЪ.

Да. И я хотѣлъ устроить себѣ маленькій праздникъ ради вашего пріѣзда, но—не вышло.

МАРУСЯ.

Пообѣдайте съ нами.

ЛУНЦЪ (кричитъ).

Нужно притащить Поллака. Онъ порядочный человекъ, онъ очень хорошій человекъ. Я иду за нимъ.

ГОЛОСА.

Поллака! Поллака!

СЕРГѢЙ НИКОЛАЕВИЧЪ.

Нѣтъ, обѣдайте безъ меня.

МАРУСЯ.

Какъ жалъ! Инна Александровна будетъ очень
счастлива.

СЕРГѢЙ НИКОЛАЕВИЧЪ.

Скажите ей, что я работаю. Передъ отъѣздомъ вы
идете ко мнѣ Маруся? (Никѣмъ не замѣченный, уходитъ)

МАРУСЯ.

Шмидтъ, гдѣ вы? Вы будете моимъ кавалеромъ.
Намъ еще съ вами столько дѣла. Г. г., не правда ли,
какъ онъ похожъ на шпиона?

АННА.

Маруся становится неприлична.

МАРУСЯ.

Онъ знаетъ мнѣ нужно было переночевать у него, а
онъ изворачивается. Нельзя.—я живу въ тихомъ нѣмецкомъ
домѣ и даль общаніе не водить къ себѣ жен-
щинъ и собакъ.

ШМИДТЪ.

И что-то никто не ночевалъ. И у меня стоитъ ди-
шетъ, одетъ новымъ шелкомъ, и они каждый вечеръ
сидятъ, не лежатъ ли на немъ какой-нибудь чело-
вѣкъ. Ужасные люди!

ВЕРХОВЦЕВЪ.

А вы идите у Ахати. Шмидтъ, какого чорта!

ШМИДТЪ.

Идите. Они берутъ плату впередъ.

АННА.

А вы бы не давали!

ШМИДТЪ.

Нельзя. Они...

ЛУНЦЪ

(ведетъ Поллака, кричитъ).

Вотъ онъ! насилу оторвалъ. Присосался къ рефрак-
тору, какъ пѣявка!

ПОЛЛАКЪ.

Г. г., это насиліе. У меня тамъ не кончено... *молнии, фокус*

МАРУСЯ.

Поллакъ, милый Поллакъ! Сегодня такъ весело! И
вы такой хорошій человѣкъ, такой милый, васъ такъ
любятъ всѣ.

ПОЛЛАКЪ.

Это очень пріятно слышать, но я не знаю, отчего
вамъ такъ весело? Революція кончилась не въ вашу
пользу.

ВЕРХОВЦЕВЪ.

Мы придумали новый планъ. Мы...

ПОЛЛАКЪ

(отмахивается рукой).

Да. да. Я вѣрю, я вѣрю вамъ.

МАРУСЯ.

Мы выпьемъ за астрономію. Да здравствуетъ орбита!

ПОЛЛАКЪ.

Я не могу, къ сожалѣнію, принимать алкоголя: онъ
причиняетъ мнѣ головную боль и тошноту. *тапш*

ВЕРХОВЦЕВЪ.

Лучшій напитокъ для Поллака—машинное масло.
Поллакъ, вы будете пить масло?

МАРУСЯ.

Нѣтъ. Мы киршвассеру выпьемъ. Самаго чистаго
киршвассеру!

ЛУНЦЪ.

Идемъ, товарищъ. Вы хорошій, честный человекъ.

ИННА АЛЕКСАНДРОВНА (высовываясь).

Да идите же! Что же это, не дозовешься.

МАРУСЯ.

Сейчасъ, мамочка, сейчасъ. Вотъ Поллакъ упирается
Что же, г.г., неужели мы такъ и пойдемъ? Житовъ,
вы умѣете пѣть?

ЖИТОВЪ.

Подтягивать могу.

ЛУНЦЪ.

Марсельезу!

МАРУСЯ.

Нѣтъ, нѣтъ. Марсельезу, какъ и знамя, нужно безъ
речь для боя.

ТРЕЙЧЪ.

Я согласенъ. Есть пѣсни, которыя можно пѣть
только въ храмѣ.

ВЕРХОВЦЕВЪ.

Повеселѣй что-нибудь! Эхъ, какъ грѣетъ солнце!

А Н Н А.

Валя, не раскрывай ногъ.

МАРУСЯ (запѣваетъ).

Небо такъ ясно,—солнце прекрасно,—солнце зоветъ...
(Всѣ кромѣ Пети подхватываютъ) Въ веселой работѣ —
чужды заботѣ—братъ, впередъ.

Слава веселому солнцу!—Солнце—рабочій земли!
Слава веселому солнцу!—Солнце—рабочій земли!

ВЕРХОВЦЕВЪ.

Да поживѣй, Аня! Ты везешь меня, какъ покойника.

В С Ъ

(поютъ. Поллакъ серьезно и сдержанно дирижируетъ).

звѣзды Грозы и бури—ясной лазури—не побѣдятъ.
темнотѣ Подъ бури покровомъ, въ мракъ грозивомъ—молнии *dark thundercloud flash lights*
горятъ!

Славамогучему солнцу!—Солнце—властитель земли!..

(Послѣднія слова пѣсни повто-
ряются за угломъ дома. Петя
остается одинъ и угрюмо смот-
реть вслѣдъ ушедшимъ)

В С Ъ (за сценой).

Славамогучему солнцу!—Солнце—властитель земли!..

Л. Андреевъ. Къ звездамъ.

ДѢЙСТВІЕ ТРЕТЬЕ.

Большая темная комната, нѣчто въ родѣ гостиной. Мебели мало, ничего мягкаго, два книжныхъ шкафа, піанино, Задняя стѣна: дверь и два большія итальянскія окна выходятъ на веранду. Окна и дверь открыты, и видно темное, почти черное небо, усѣянное необыкновенно яркими мигающими звѣздами. Въ углу у стѣны, ближе къ авансценѣ, столъ, на немъ подъ темнымъ абажуромъ лампа. За столомъ Инна Александровна читаетъ газеты. Анна что-то шьетъ. Луицъ ходитъ взадъ и впередъ. У одного изъ шкафовъ Верховцевъ на костыляхъ достаетъ книгу. Глубокая тишина, какая бываетъ только въ горахъ. Молчаніе продолжается нѣкоторое время послѣ открытія занавѣса.

ВЕРХОВЦЕВЪ (бормочеть).

А, чортъ!

ИННА АЛЕКСАНДРОВНА.

Валя, ты читалъ, что президентъ отказалъ Кассовскому въ помилованіи?

ВЕРХОВЦЕВЪ.

Читалъ.

ИННА АЛЕКСАНДРОВНА.

Что же это такое, а?

ВЕРХОВЦЕВЪ.

Разстрѣляютъ.

ИННА АЛЕКСАНДРОВНА.

Докуда же это будетъ, Господи? Неужели и такъ мало жертвъ?

ВЕРХОВЦЕВЪ

(несетъ книгу подъ мышкой, роняетъ).

А, чтобъ тебя чортъ... Анна, подними.

АННА

(медленно встаетъ).

Сейчасъ.

(Лунцъ молча поднимаетъ книгу, кладетъ на столъ и продолжаетъ ходить)

ВЕРХОВЦЕВЪ

(неловко садится, перелистываетъ книгу; А н н ѣ).

Неужели тебѣ не надоѣсть ковырять?

АННА.

Нужно же что-нибудь дѣлать.

ВЕРХОВЦЕВЪ.

Читала бы.

(А н н а не отвѣчаетъ. Молчаніе)

ВЕРХОВЦЕВЪ.

Нѣтъ, не могу. Какая дьявольская тишина, какъ въ гробу! Еще недѣля такая, и я брошусь въ пропасть, запью—побую Поллака.

ЛУНЦЪ (нервно).

Ужасная тишина! Точно осуществился сонъ Байрона: солнце погасло, все уже умерло на землѣ, и мы—послѣдніе люди. Ужасная тишина!

ВЕРХОВЦЕВЪ.

Житовъ, что вы тамъ дѣлаете?

ЖИТОВЪ (съ веранды).

Смотрю.

ВЕРХОВЦЕВЪ (презрительно). *disdainful*

Смотрю! (Молчаніе) Не могу я безъ работы!

АННА.

Что же подѣлаешь, надо терпѣть.

ВЕРХОВЦЕВЪ.

Терпи ты, если хочешь, а я... Чортъ! (Читаетъ)

ИННА АЛЕКСАНДРОВНА

(сидитъ задумавшись).

Серезенькѣ теперъ было бы 21 годъ ужъ... Красивый онъ былъ мальчикъ, на Колю похожъ былъ... Анюта, ты его помнишь?

АННА.

Нѣтъ.

ИННА АЛЕКСАНДРОВНА.

А я такъ помню... Ты, Анюта, била его, ты злая была маленькая. И какъ скрутило быстро: въ три дня. Воспаленіе слѣпой кишки — у такого-то крошки! Какъ стали рѣзать ему животикъ, такъ, повѣрите ли, Іосифъ Абрамовичъ...

ВЕРХОВЦЕВЪ.

Да ну васъ, ей-Богу! Весь вечеръ сегодня все о покойникахъ да о покойникахъ. Ну умеръ, и умеръ, и хорошо сдѣлалъ, что умеръ. Житовъ, идите сюда разговаривать!

ЖИТОВЪ.

Сейчасъ.

ЛУНЦЪ.

Какая тоска!

ВЕРХОВЦЕВЪ.

А что Маруся-то пишетъ, Инна Александровна?

ИННА АЛЕКСАНДРОВНА (со вздохомъ).

Пишетъ много, да толку не добыешься. Обѣщаетъ черезъ недѣлю, а тамъ опять что-нибудь задержало, а тамъ опять черезъ недѣлю. Вотъ и во вчерашнемъ письмѣ то же...

ВЕРХОВЦЕВЪ.

Знаю, знаю, я думалъ, нѣтъ ли чего новаго.

ИННА АЛЕКСАНДРОВНА.

Ужъ не заболѣлъ ли Колюшка?

ВЕРХОВЦЕВЪ.

Такъ и заболѣлъ ужъ! Скажите еще: умеръ.

ЛУНЦЪ.

Она тогда мертваго его украдетъ и привезетъ.

ИННА АЛЕКСАНДРОВНА.

Да что вы? Что вы говорите-то, подумайте!

ЖИТОВЪ (входитъ).

Ну, о чемъ говорить?

ВЕРХОВЦЕВЪ.

Садитесь. Вы что тамъ дѣлаете?

ЖИТОВЪ.

На звѣзды смотрѣлъ. Какія онѣ сегодня красивыя и безпокойныя.

(Входитъ Петя. Вообще, въ теченіе дѣйствія онъ нѣсколько разъ проходитъ сцену)

ЛУНЦЪ.

А я сегодня не могу смотрѣть на звѣзды. Я не знаю, куда бы отъ нихъ ушелъ, я спрятался бы въ подвалъ, но и тамъ я буду ихъ чувствовать. Понимаете: какъ будто нѣтъ разстояній. Какъ будто всѣ эти громады, живыя и мертвыя, столпились надъ землею и приближаются къ ней, и что-то такое въ нихъ есть... Я не знаю. (Ходитъ, продолжая жестикулировать)

ЖИТОВЪ.

Атмосфера тутъ очень чистая. Вотъ въ Калифорніи...

ВЕРХОВЦЕВЪ.

А вы были въ Калифорніи?

ЖИТОВЪ.

Былъ. Вотъ въ Калифорніи, на обсерваторіи Лика, такъ правда иногда жутко смотрѣть.

ПЕТЯ.

Мама, откуда у васъ въ кухнѣ эта старуха?

ИННА АЛЕКСАНДРОВНА.

Какая? А, эта-то? Пришла, я и велѣла ее пріютить. Снизу она, изъ долины. Нищенка — что ли, глухая, у нея не поймешь.

ПЕТЯ.

Какъ же она взошла на гору? Какъ она могла?

ВЕРХОВЦЕВЪ.

Вамъ бы тутъ, теща, богадѣльню устроить.

ИННА АЛЕКСАНДРОВНА.

А что ты думаешь? Можетъ быть, и устрою, если Сергѣй Николаевичъ согласится. Ты почиталь бы...

ПЕТЯ (настойчиво).

Мама, какъ она взошла?

ИННА АЛЕКСАНДРОВНА.

Да не знаю, голубчикъ. Ты почиталь бы, что Марусечка о голодныхъ дѣткахъ пипеть: Мамочка, хлѣбца

хочу,—ну и пошла мать за хлѣбомъ, и ужъ какъ она его тамъ достала—и говорить не стоитъ... Пришла, а дѣвочка-то уже мертвая.

А Н Н А.

Благотворительностью ничего не сдѣлаешь.

И Н Н А А Л Е К С А Н Д Р О В Н А.

Что же, такъ пусть и умирають?

П Е Т Я.

Пусть и умирають. Юсифъ, вы что-то грустны сегодня?

Л У Н Ц Ъ.

Да, Петя, у меня очень тяжелыя мысли. Это такая ночь, я не знаю, какая это ночь. Это ночь призраковъ. Вы смотрѣли сегодня на звѣзды?

П Е Т Я.

А мнѣ вотъ весело! (Бренчать что-то дикое на рояли)

В Е Р Х О В Ц Е В Ъ.

Оставь!

П Е Т Я (играетъ и поетъ).

Какъ мнѣ весело!

И Н Н А А Л Е К С А Н Д Р О В Н А.

Да ну, Петечка, оставь же!

(Петя громко захлопываетъ крышку рояля и выходитъ на веранду. Молчаніе)

Л У Н Ц Ъ.

А Трейчъ скоро вернется?

ВЕРХОВЦЕВЪ.

Не вышло... значить, сегодня или завтра. Житовъ, что вы все молчите?

ЖИТОВЪ.

Такъ. Не хочется говорить что-то.

ЛУНЦЪ.

У меня такія тяжелыя мысли! Такія тяжелыя мысли! Такъ можно убить себя.

ВЕРХОВЦЕВЪ.

Пустое. Среди астрономовъ нѣтъ самоубійцы!

ЛУНЦЪ.

Я плохой астрономъ. Очень, очень плохой.

АННА.

Тѣмъ лучше. Вотъ и займетесь чѣмъ-нибудь дѣльнымъ.

ЛУНЦЪ.

Я сегодня боюсь звѣздъ. Я думаю: какія онѣ огромныя, какія онѣ равнодушныя, и какъ имъ нѣтъ никакого дѣла до меня, и я становлюсь такой маленькій, такой жалкій—какъ знаете, цыпленокъ, который во время еврейскаго погрома спрятался куда-нибудь, сидитъ и ничего не понимаетъ.

(Петя входитъ)

ВЕРХОВЦЕВЪ.

Звѣзды—и еврейскій погромъ. Странная комбинація.

ИННА АЛЕКСАНДРОВНА

(предостерегающе киваетъ головой Верховцеву).

Это оттого, Іосифъ Абрамовичъ, что у всѣхъ васъ нервы развинтились. Вѣдь подумать только: уже

полтора мѣсяца, какъ уѣхала Маруся, а ничего нѣтъ. Я сама, на-что ко всему привычный человѣкъ, а и то вадрэгивать начала.

ЛУНЦЪ.

Летаеть пухъ, звенятъ стекла, а онъ сидитъ—и что онъ думаетъ?

ВЕРХОВЦЕВЪ.

Ничего не думаетъ. Думаетъ, что снѣгъ идетъ.

ЛУНЦЪ.

Меня пугаетъ безконечность. Какая безконечность? Зачѣмъ безконечность? Вотъ я смотрю на звѣзды: одна, десять, миллионъ—и все нѣтъ конца. Боже мой, кому же я жаловаться буду?

ВЕРХОВЦЕВЪ.

А зачѣмъ жаловаться?

ЛУНЦЪ.

Вотъ я, маленькій еврей... (Ходить, продолжая жестикулировать)

ПОЛЛАКЪ (входитъ).

Добрый вечеръ. Я могу, господа, посидѣть съ вами? Я не помѣшаю?

ИННА АЛЕКСАНДРОВНА.

Конечно, нѣтъ. Пожалуйста.

ПОЛЛАКЪ.

Магнитная стрѣлка очень колеблется, Лунцъ. Завтра нужно наблюдать солнце. (Лунцъ что-то бормочетъ) Вамъ я уже не говорю, Житовъ; вы, повидимому, окончательно бросили занятія. Вы уѣзжаете?

ЖИТОВЪ.

Да. Послѣзавтра.

ИННА АЛЕКСАНДРОВНА.

Что это? Вѣдь вы же, Василій Васильевичъ, хотѣли подождать Колюшку? Какъ же это вы такъ? сразу?

ЖИТОВЪ.

Да нѣтъ уже. Надо ѣхать. Засидѣлся!

ВЕРХОВЦЕВЪ.

Вотъ будетъ тощища, какъ вы уѣдете. Пошлите вы къ чорту эту Зеландію.

ЖИТОВЪ.

Нѣтъ, надо.

АННА.

А вы что же не работаете, г. Поллакъ?

ПОЛЛАКЪ.

Сегодня я мечтаю, уважаемая Анна Сергѣевна. Сегодня мнѣ исполнилось 32 года и именно въ эту минуту. Я родился вечеромъ, въ 10 ч. и 37 минутъ. Вычитая разницу во времени, получается (смотреть на часы) какъ разъ 10 часовъ 16 минутъ.

ВЕРХОВЦЕВЪ.

Поздравляю.

ПОЛЛАКЪ.

Благодарю васъ. И я сегодня немного мечтаю. Въ мои 32 года я уже сдѣлалъ довольно много для науки, и мое имя... Впрочемъ, я не буду входить въ подробности. И я уже имѣю право устраивать личную жизнь.

Сборникъ. Т. X.

ВЕРХОВЦЕВЪ.

Да неужели вы женитесь. Вотъ такъ штука!

ПОЛЛАКЪ.

Да, вы угадали. Я женюсь.

ИННА АЛЕКСАНДРОВНА.

И хорошо дѣлаете, голубчикъ. Только бы жена попалась хорошая.

ПОЛЛАКЪ.

Моя невѣста въ этомъ году оканчиваетъ курсъ въ университетѣ, и скоро, уважаемая Инна Александровна, ваше уютное жилище перестанетъ считать меня своимъ членомъ.

ИННА АЛЕКСАНДРОВНА.

Вотъ какой тихоня! И какъ-то вы ни разу не проговорились.

ПЕТЯ (рѣзко).

Я тоже женюсь. У меня тоже есть невѣста. Красавица!

ПОЛЛАКЪ.

Да? Вы шутите?

ИННА АЛЕКСАНДРОВНА.

Петя!

(Петя хохочетъ и уходитъ на веранду)

А Н Н А.

Что это съ нимъ? Какъ распустился!

ИННА АЛЕКСАНДРОВНА.

И не знаю. Съ того дня, какъ вы пріѣхали, прямо

узнать нельзя. Іосифъ Абрамовичъ, вы ближе съ Петей, не знаете, что съ нимъ такое? Безпокоюсь я.

ЛУНЦЪ.

Съ Петей? Онъ хорошій мальчикъ, честный мальчикъ. И у него тоже тяжелыя мысли.

ПОЛЛАКЪ.

Итакъ, продолжайте, г.г... Я сегодня немного нервно настроенъ и съ удовольствіемъ послушаю вашу бесѣду.

ЛУНЦЪ (бормочетъ .

Звѣзды, звѣзды.

ПОЛЛАКЪ.

Что вы хотите рассказать намъ о звѣздахъ, дорогой Лунцъ?

ЛУНЦЪ.

Вотъ и тогда онѣ свѣтили гдѣ-то надъ тучами, когда мы сидѣли, и ждали, и думали, что тамъ уже полная побѣда, и теперь онѣ свѣтятъ... Можно съ ума сойти...

ВЕРХОВЦЕВЪ.

Работать, работать надо, а тутъ сидишь, какъ на цѣпи, въ этомъ чортовомъ гробу. Эхъ! (Ковыляется по комнатѣ къ окну, смотреть нѣкоторое время и возвращается обратно) Кажется, Трейчъ вернулся.

ПОЛЛАКЪ.

Мнѣ очень нравится г. Трейчъ. Это очень серьезный человѣкъ.

ИННА АЛЕКСАНДРОВНА.

Значить, опять ничего?

ВЕРХОВЦЕВЪ (грубо).

А вы чего ждали? Вѣдь вамъ уже писали, что ничего.

ИННА АЛЕКСАНДРОВНА.

Господи, Господи! Колюшка мой, Колюшка. Не дождусь я тебя, голубчика, чуетъ мое сердце. (Тихо плачетъ)

ТРЕЙЧЪ

(входить, здоровается со всѣми и усаживается).

Добрый вечеръ!

ИННА АЛЕКСАНДРОВНА.

Устали, голубчикъ. Поѣсть не хотите?

ТРЕЙЧЪ.

Благодарю васъ, я кушалъ дорогой.

ВЕРХОВЦЕВЪ.

Что новаго?

ТРЕЙЧЪ.

Много арестовъ. О томъ, что Занько повѣшенъ, вы, конечно, знаете?

ГОЛОСА.

Развѣ? Занько? Нѣтъ. Когда же это?

ВЕРХОВЦЕВЪ.

Бѣдный малый! Ну, какъ онъ?..

ИННА АЛЕКСАНДРОВНА.

Такой молодой!.. Вѣдь это онъ былъ здѣсь съ Колюшкой въ прошломъ году? Такой черненькій, съ усиками.

А Н Н А.

Да, онъ.

И Н Н А А Л Е К С А Н Д Р О В Н А.

Руку мнѣ поцѣловаль... Такой молодой... Мать у него есть?

А Н Н А.

Ахъ, мама!.. Не знаете, Трейчъ, не проговорился онъ?

Т Р Е Й Ч Ъ.

Онъ храбро встрѣтилъ смерть, хотя съ нимъ поступили подло. Онъ просилъ, чтобы при казни присутствовалъ его защитникъ: у него нѣтъ родныхъ, и онъ имѣлъ на это браво. Ему обѣщали и обманули его, и въ послѣднюю минуту онъ видѣлъ только лица палачей и звѣзды. Его казнили вечеромъ.

Л У Н Ц Ъ.

Звѣзды, звѣзды!

(Молчаніе)

Т Р Е Й Ч Ъ.

Въ Тернахъ солдаты убили около двухсотъ рабочихъ. Много женщинъ и дѣтей. Въ Штернбергскомъ округѣ—голодъ. Утверждаютъ, что были случаи поѣданія труповъ.

В Е Р Х О В Ц Е В Ъ.

Вы черный вѣстникъ, Трейчъ.

Т Р Е Й Ч Ъ.

Въ Польшѣ начались еврейскіе погромы.

Л У Н Ц Ъ.

Что? Опять?

ПОЛЛАКЪ.

Какое варварство! Какіе глупые люди!

ИННА АЛЕКСАНДРОВНА.

Ну, можетъ быть, еще только слухи. Много говорятъ...

ВЕРХОВЦЕВЪ.

Ну, а наши? А наши?

ТРЕЙЧЪ

(пожимаетъ плечами).

Завтра я иду туда.

АННА.

Ну, и васъ повѣсятъ. Больше ничего. Нужно выждать.

ВЕРХОВЦЕВЪ.

И я съ вами! Къ чорту!

АННА.

Куда же ты съ такими ногами пойдешь? Одумайся, Валентинъ, ты не ребенокъ.

ВЕРХОВЦЕВЪ.

А!..

ТРЕЙЧЪ.

А какъ ваши ноги, Валентинъ?

(Верховцевъ машетъ рукой)

АННА.

Шлохо.

ИННА АЛЕКСАНДРОВНА.

А про Колюшку—ничего?

ТРЕЙЧЪ.

Въ назначенный часъ на мѣстѣ никого не было, и я понялъ, что дѣло отложено. Я самъ теряюсь въ догадкахъ. Завтра я иду туда.

ИННА АЛЕКСАНДРОВНА.

Богъ вамъ въ помощь, голубчикъ. Благословляю васъ, какъ сына.

(Трейчъ цѣлуетъ у нея руку)

ПОЛЛАКЪ (Житову).

Скажите, пожалуйста, рабочій, а какъ воспитанъ. Я удивленъ.

ЖИТОВЪ.

М-да.

ПОЛЛАКЪ.

И мнѣ очень нравится, что онъ рассказываетъ такъ ясно и коротко.

ЛУНЦЪ (кричить).

Вы слышали?

АННА.

Что съ вами? Какъ вы кричите! Испугали...

ЛУНЦЪ.

Опять! Опять убиваютъ отцовъ и матерей, опять рвутъ дѣтей на части. О, я почувствовалъ это, я понялъ это сегодня, когда взглянулъ на эти проклятыя звѣзды!

ПОЛЛАКЪ.

Дорогой Лунцъ, успокойтесь.

ИННА АЛЕКСАНДРОВНА.

Зачѣмъ вы сказали это, Трейчъ!

ТРЕЙЧЪ.

Это ничего.

ЛУНЦЪ.

Нѣтъ, я не успокоюсь, я не хочу успокаиваться! Я довольно былъ спокоенъ. Я былъ спокоенъ, когда убили мать, и отца, и сестру. Я былъ спокоенъ, когда тамъ, на баррикадахъ, убивали моихъ братьевъ. О, я долго былъ спокоенъ. Я и теперь спокоенъ. Развѣ я не спокоенъ? Трейчъ!.. Значить все... напрасно?

ТРЕЙЧЪ.

Нѣтъ. Мы побѣдимъ.

ЛУНЦЪ.

Трейчъ, я любилъ науку. Поллакъ, я любилъ науку. Когда я еще былъ маленькій, такой маленькій, что меня били всѣ мальчики на улицѣ, я уже тогда любилъ науку. Меня били, а я думалъ: вотъ я вырасту и стану знаменитымъ ученымъ, и буду честию моей семьи — моего дорогого отца, который отдавалъ мнѣ послѣдніе гроши, моей дорогой мамы, которая плакала надо мной... О, какъ я любилъ науку!

ПОЛЛАКЪ.

Мнѣ очень жаль васъ, Лунцъ. Я уважаю васъ.

ЛУНЦЪ.

Когда я не ѣлъ, когда я не пилъ, когда я, какъ собака, бродилъ по улицамъ, ища корки хлѣба,—я думалъ о наукѣ. И тогда, когда убили моего отца, и мать, и сестру, я плакалъ, рвалъ волосы и думалъ о

наукѣ. Вотъ какъ я любилъ науку! А теперь... (Тихо) я ненавижу науку. (Кричить) Не надо науки, долой науку!

ПОЛЛАКЪ.

Лунцъ, Лунцъ, какъ мнѣ жаль...

АННА.

Лунцъ, возьмите себя въ руки. Нельзя же такъ, вѣдь это истерія.

ЛУНЦЪ.

Ага, истерія! Пусть истерія, и я спокоенъ, и вы напрасно думаете, что я неспокоенъ. Я не хочу науки. Я уйду отсюда. Я уйду отсюда. Вы слышите?

ТРЕЙЧЪ.

Пойдемте со мной.

ЛУНЦЪ.

Да, я пойду съ вами. Я не хочу науки. Проклятыя звѣзды. Опять, опять! Вѣдь я слышу, какъ онѣ тамъ кричатъ! Вы не слышите, а я слышу! И я вижу— всѣхъ, всѣхъ, кого жгли, убивали, рвали на части. Били за то, что среди насъ родился Христосъ, что среди насъ были пророки и Марксъ. Я вижу ихъ. Они смотрятъ на меня въ окно, холодные, истерзанные трупы, они стоятъ надъ моей головой, когда я сплю, они спрашиваютъ меня: и ты будешь заниматься наукой, Лунцъ? Нѣтъ. Нѣтъ.

ИННА АЛЕКСАНДРОВНА.

Голубчикъ ты мой, помоги тебѣ Богъ.

ЛУНЦЪ.

Да, Богъ. Я еврей, и я зову еврейскаго Бога: Боже отмщеній, Господи Боже отмщеній! Яви себя! Возстань. Судя земли, воздай возмездіе гордымъ! Боже отмщеній! Господи Боже отмщеній! Яви себя!

ВЕРХОВЦЕВЪ.

Местъ палачамъ!

(ЛУНЦЪ молча грозитъ кулакомъ и выходитъ)

ВЕРХОВЦЕВЪ.

Трейчъ, каковъ?

ПОЛЛАКЪ.

Какой несчастный юноша! Это такъ тяжело, если человѣкъ любитъ науку, и ему нельзя ей служить. Мнѣ было такъ весело, а когда онъ говорилъ, я заплакалъ, уважаемая Инна Александровна.

ИННА АЛЕКСАНДРОВНА.

И не говорите. Сердце у меня разрывается. Когда этому конецъ будетъ, Господи! Проживешь, а свѣтлыхъ дней такъ и не увидишь. Жизнь!

ЖИТОВЪ.

Да, тяжело.

(Трейчъ отводитъ Верховцева въ сторону и, продостерегающе показавъ на Инну Александровну, шепчетъ ему что-то. При первыхъ словахъ Верховцевъ отдергиваетъ голову и громко говорить)

ВЕРХОВЦЕВЪ.

Не можетъ быть! Нико...

ТРЕЙЧЪ.

Т-съ! (Шепчутся)

ПОЛЛАКЪ.

Нужно уповать на Бога, уважаемая Инна Александровна, но не Бога отмщенія, о которомъ говорилъ этотъ несчастный юноша, а Бога милосердія и любви.

ЖИТОВЪ.

Да. Боги бываютъ разные, какой кому нуженъ.

ИННА АЛЕКСАНДРОВНА.

Ахъ, дѣти, дѣти! Горе съ вами великое!

(Входитъ Сергѣй Николаевичъ, здоровается)

СЕРГѢЙ НИКОЛАЕВИЧЪ.

И вы здѣсь, Поллакъ?

ПОЛЛАКЪ.

Сегодня день моего рожденія, уважаемый Сергѣй Николаевичъ.

СЕРГѢЙ НИКОЛАЕВИЧЪ.

Поздравляю васъ. (Жметъ руку)

ПОЛЛАКЪ.

И сегодня я имѣлъ честь объявить собравшимся господамъ о моей помолвкѣ съ дѣвицей Фанни Эрстремъ.

СЕРГѢЙ НИКОЛАЕВИЧЪ.

Такъ вотъ вы какой счастливецъ!

ПОЛЛАКЪ.

Да. Теперь у меня будетъ спутникъ, уважаемый Сергѣй Николаевичъ. (Хочетъ)

СЕРГѢЙ НИКОЛАЕВИЧЪ.

Еще разъ поздравляю. А скажите, относительно Николая нѣтъ ничего новаго?

ТРЕЙЧЪ.

Повидимому, бѣгство отложено.

ВЕРХОВЦЕВЪ.

А что на землѣ дѣлается, почтенный звѣздочетъ, если бѣ вы слышали!

СЕРГѢЙ НИКОЛАЕВИЧЪ.

А что? Опять какія-нибудь несчастья?

ВЕРХОВЦЕВЪ.

Да—суетныя заботы... (Склонивъ голову на бокъ) Вотъ смотрю я этакъ на васъ и думаю: есть у васъ хоть какіе-нибудь друзья, или вы такъ—одинъ и одинъ?

СЕРГѢЙ НИКОЛАЕВИЧЪ

(показываетъ на Инну Александровну).

Вотъ мой другъ.

ИННА АЛЕКСАНДРОВНА.

Не конфузъ меня, Сергѣй Николаевичъ. Развѣ тебѣ такой другъ нуженъ?

ВЕРХОВЦЕВЪ.

Ну положимъ. А еще?

СЕРГѢЙ НИКОЛАЕВИЧЪ.

Есть и еще. Но представьте, я ихъ никогда не видалъ. Одинъ живетъ въ Южной Африкѣ, у него обсерваторія, другой—въ Бразиліи, а третій—не знаю гдѣ.

ВЕРХОВЦЕВЪ.

Пропалъ?

СЕРГѢЙ НИКОЛАЕВИЧЪ.

Онъ умеръ лѣтъ полтораста назадъ. А. еще одинъ есть, того я совсѣмъ не знаю, хотя очень люблю—такъ этотъ еще не родился. Онъ долженъ родиться приблизительно черезъ 750 лѣтъ, и я уже поручилъ ему провѣрить кое-какія мои наблюденія.

ВЕРХОВЦЕВЪ.

И увѣрены, что онъ сдѣлаетъ?

СЕРГѢЙ НИКОЛАЕВИЧЪ.

Да.

ВЕРХОВЦЕВЪ.

Странная коллекція. Вамъ бы ее въ какой-нибудь музей пожертвовать! Не правда ли, Трейчъ?

ТРЕЙЧЪ.

Мнѣ нравятся друзья г. Терновскаго.

(Быстро входитъ Петя и оглядывается)

ПЕТЯ.

А Лунцъ гдѣ? Всѣ тутъ? Хорошо. А Лунцъ?

ИННА АЛЕКСАНДРОВНА.

Онъ у себя, Петя, пойди къ нему, поговори, онъ такъ взволнованъ сегодня.

ПЕТЯ.

Пожалуйста, г. г., посидите здѣсь. Я хочу устроить маленькое празднество, сегодня такой день.

ПОЛЛАКЪ.

Ужъ не фейерверкъ ли? О, хитрый Петя. Но это ужъ слишкомъ, хотя, конечно, день такой...

ПЕТЯ.

Я сейчасъ. (Уходитъ)

СЕРГѢЙ НИКОЛАЕВИЧЪ

(прохаживается медленно).

Вы не знаете, Поллакъ, каковъ барометръ сегодня?

ПОЛЛАКЪ.

Довольно низко, уважаемый Сергѣй Николаевичъ.

СЕРГѢЙ НИКОЛАЕВИЧЪ.

Это чувствуется.

ПОЛЛАКЪ.

Въ связи съ колебаніемъ стрѣлки, надо думать, что въ южныхъ широтахъ—циклонъ.

СЕРГѢЙ НИКОЛАЕВИЧЪ.

Да. Безпокойно.

АННА (Иннѣ Александровнѣ).

Навѣрное, Петя задумалъ какую-нибудь гадость. Напрасно вы поощряете его, мама.

ИННА АЛЕКСАНДРОВНА.

Что же я съ нимъ подѣлаю? Ты сама видишь, что съ нимъ...

ВЕРХОВЦЕВЪ

(идеть съ Трейчемъ къ столу).

Какая тутъ у васъ дьявольская тишина: точно въ могилѣ.

СЕРГѢЙ НИКОЛАЕВИЧЪ.

Развѣ? А мнѣ здѣсь внизу кажется нѣсколько шумно.

ТРЕЙЧЪ (Верховцеву).

Да, вотъ еще: если я не вернусь, вы скажете ей, что...

ВЕРХОВЦЕВЪ.

Понимаю! Фу, духота какая!

АННА.

А по мнѣ, скорѣе холодно.

ВЕРХОВЦЕВЪ.

Духота, холодно—все одинъ чортъ. Если я тутъ живу еще недѣлю...

ПОЛЛАКЪ.

А не устроить ли намъ, г. г., болѣе или менѣе правильную бесѣду, въ которой всѣ могли бы принимать участіе? Предсѣдателемъ мы изберемъ...

ЛУНЦЪ (входитъ).

Меня звали? Вы звали меня, Сергѣй Николаевичъ?

СЕРГѢЙ НИКОЛАЕВИЧЪ.

Нѣтъ.

ЛУНЦЪ.

Что же Петя сказать мнѣ? (Хочетъ уйти)

ПОЛЛАКЪ.

Посидите съ нами, дорогой Лунцъ. Теперь, когда вы нѣсколько успокоились, я хочу сказать вамъ, что я не согласенъ съ вами относительно науки.

ЛУНЦЪ.

Ахъ, оставьте! Сергѣй Николаевичъ, я долженъ вамъ сказать: я оставляю обсерваторію.

(Голосъ Пети за дверью: „Пажы Шире дорогу герцогинѣ!“)

ПОЛЛАКЪ (смѣется).

Ахъ, это Петя! Какой забавный мальчикъ! Слушайте, слушайте!

(Распахиваются двери. Входятъ Петя и старуха. Она перегнулась пополамъ, подъ прямымъ почти угломъ и еле идетъ—ужасный образъ нищеты, старости и горя. Петя, взявъ ее за руку, выступаетъ торжественно, какъ въ оперѣ. У дверей улыбающіяся фізіономіи Минны Франца и еще кого-то изъ прислуги)

ПЕТЯ.

Позвольте представить, г. г.: вотъ моя невѣста—пре-
лестная Элленъ.

ВЕРХОВЦЕВЪ

(грубо смѣется).

Вотъ дуракъ!

А П И Л.

Я говорила!

ПОЛЛАКЪ (встаетъ).

Это насмѣшка! Я не позволю насмѣхаться надъ моей невѣстой!

ПЕТЯ (громко).

Прелестная Элленъ, поклонитесь собранію!

(Старуха кланяется)

ПОЛЛАКЪ.

Я протестую. Это оскорбленіе!

ИННА АЛЕКСАНДРОВНА.

Онъ шутить. Петичка, нехорошо, не нужно шутить надъ старымъ человѣкомъ.

ЛУНЦЪ.

Нѣтъ, это не шутка! Я понимаю. О я понимаю!

ПЕТЯ.

Такъ. Теперь поговоримъ, прелестная Элленъ. Вамъ сколько лѣтъ?

(Старуха молчитъ и трясетъ головой)

ПЕТЯ.

Вы сказали 17? Вамъ 17 лѣтъ, очаровательная дѣвица. Герцогъ, вашъ отецъ, и герцогиня, ваша мать, согласны на нашъ бракъ?

(Старуха молчитъ и трясетъ головой)

ПОЛЛАКЪ.

Глубокоуважаемый Сергѣй Николаевичъ! Меня оскорбляютъ въ вашемъ домѣ...

ЛУНЦЪ (бѣшено).

Да что вы лѣзаете? Кому вы нужны съ вашей идиотской невѣстой.

ПОЛЛАКЪ.

Г. Лунцъ, вы отвѣтите!

ЛУНЦЪ.

Звѣзды, проклятыя звѣзды!

ПЕТЯ.

Какъ я счастливъ, прелестная Элленъ! Вы слышите запахъ розъ? Вы слышите, какъ заливается въ саду соловей?—Это о нашей любви поетъ онъ, прелестная Элленъ.

ЛУНЦЪ.

Проклятыя звѣзды!

ПЕТЯ.

Вашъ благоухающій ротикъ, прелестная Элленъ...

ЛУНЦЪ.

Да, да...

ПЕТЯ.

...ваши жемчужные зубки...

ЛУНЦЪ.

Да, да!

ПЕТЯ.

...ваши нѣжныя щечки—я влюбленъ въ васъ безумно, прелестная Элленъ! Зачѣмъ такъ скромно потупили вы очаровательныя глазки ваши?..

ЛУНЦЪ.

Позоръ! И вамъ не стыдно, Поллакъ? Наука! А это вы видите? Это моя мать, это моя мать...

ПОЛЛАКЪ.

Я не понимаю...

ПЕТЯ.

Выпрямите вашъ стройный станъ и гордо объявите себя моей женой, очаровательная Элленъ! Въ вашихъ объятіяхъ найдетъ вѣчный покой мое безпокойное сердце!

(Старуха трясетъ головой)

АННА.

Ихъ всѣхъ надо въ сумасшедшій домъ.

ВЕРХОВЦЕВЪ (съ испугомъ).

Анна, молчи!

ПОЛЛАКЪ.

Это такое...

ЛУНЦЪ.

Молчи, буржуа, а не то... Это моя мать. (Къ старухѣ) Старая женщина! (Отталкиваетъ Петю) Послушайте меня, старая женщина, вотъ стою я передъ вами на кофѣнахъ, маленькій еврей. Вы—моя мать, и дайте же, дайте, я поцѣлую вашу руку...

ПЕТЯ (кричить).

Это моя невѣста!

ЛУНЦЪ.

Это моя мать, оставьте ее.

АННА.

Дайте воды!

ЛУНЦЪ.

Старая женщина! Простите меня: я любилъ науку, глупый еврей... жидъ!..

ВЕРХОВЦЕВЪ (Трейчу).

Нужно что-нибудь сдѣлать!

ТРЕЙЧЪ.

Ничего.

ЛУНЦЪ.

Я люблю только васъ, милая, старая женщина. Возьмите мою голову и сердце мое возьмите. Проклятыя звѣзды! Проклятыя звѣзды!

ТРЕЙЧЪ.

Вы идете со мной, Лунцъ.

ПЕТЯ (кричить).

Это моя невѣста!

ИННА АЛЕКСАНДРОВНА.

Господи! Петюшка! Съ нимъ дурно.

АННА.

Воды!

ЛУНЦЪ.

Я иду съ вами. И клянусь Богомъ...

ВЕРХОВЦЕВЪ.

Да замолчите, вы!

(Петя бьется въ припадкъ. Всѣ, кромѣ Трейча, бросаются къ нему: Сергѣй Николаевичъ дѣлаетъ шагъ, но останавливается и глядитъ на Лунца)

ЛУНЦЪ

(стоя на колѣнахъ).

Старая женщина! Вы видите, я плачу, старая женщина, я—маленькій еврей, который любилъ науку. Вы моя мать, вы мать моя, и, клянусь передъ Богомъ, всю жизнь мою я отдамъ вамъ, моя милая, моя старая женщина. Я плачу... Проклятыя звѣзды!

Л. Андреев. Къ звездамъ.

ДѢЙСТВІЕ ЧЕТВЕРТОЕ.

Въ правомъ углу сцены куполь обсерваторіи въ разрѣзѣ, одной третью своей уходящій за кулисы. Вокругъ купола галлерея съ чугунной прозрачной рѣшеткой. Низъ сцены—часть какой-то крыши, примыкающей къ главному зданію обсерваторіи, и еще намѣченные контуры горъ. Все же остальное—одно огромное пространство ночного неба. Созвѣздія. Внутри купола очень темно; нѣтъ смутно уходятъ очертанія огромнаго рефрактора; два стола, на нихъ лампы съ темными, непрозрачными колпаками. Створы купола раскрыты, и въ нихъ проглядываетъ звѣздное небо. Лѣстница внизъ также въ разрѣзѣ. Тишина, тихій стукъ метронома. Сергѣй Николаевичъ, Петя и Поллакъ.

ПОЛЛАКЪ.

Итакъ, уважаемый Сергѣй Николаевичъ, вы будете любезны наблюдать за камерой. Я ухажу, необходимо окончить таблицы.

СЕРГѢЙ НИКОЛАЕВИЧЪ.

Работайте, работайте. До свиданья!

ПОЛЛАКЪ
(обращаясь къ Петѣ).

Ну, какъ мы себя чувствуемъ сегодня, юный жрецъ богини Ураніи?

ПЕТЯ.

Хорошо. Благодарю васъ.

ПОЛЛАКЪ.

И мы уже больше не будемъ насмѣхаться надъ бѣднымъ Поллакомъ, которому такъ хочется жениться?

ПЕТЯ.

Честное слово, я не хотѣлъ...

ПОЛЛАКЪ.

Я знаю, знаю...

СЕРГѢЙ НИКОЛАЕВИЧЪ.

Онъ уже тогда быть нездоровъ.

ПОЛЛАКЪ.

Я шучу, уважаемый Сергѣй Николаевичъ. Вообще, я долженъ съ удивленіемъ отмѣтить, что открылъ въ себѣ огромные запасы юмора. Когда сегодня Францъ разлилъ молоко, я сказалъ ему: Францъ, вы оставляете за собой млечный путь, и онъ очень смѣялся. (Хохочеть) Но я не буду входить въ подробности. До свиданія.
(Уходитъ)

ПЕТЯ.

Какой смѣшной этотъ Поллакъ! Папа, я тебѣ не помѣшаю, если останусь здѣсь?

СЕРГѢЙ НИКОЛАЕВИЧЪ.

Нѣтъ, дружокъ.

ПЕТЯ.

Мнѣ не хочется внизъ. Теперь тамъ такъ скучно. Ты знаешь, Житовъ вчера прислалъ телеграмму изъ Каира: „Сижу и смотрю на пирамиды“. А ты видалъ пирамиды?

СЕРГѢЙ НИКОЛАЕВИЧЪ.

Видалъ. Я боюсь, дружокъ, что мамѣ одной будетъ тяжело.

ПЕТЯ.

Сейчасъ она уже спитъ. А днемъ я съ ней много чаю. Она все толкуетъ, папа, о Колѣ.

СЕРГѢЙ НИКОЛАЕВИЧЪ.

Да вѣдь ничего неизвѣстно. Отъ Анны нѣтъ извѣстій?

ПЕТЯ.

Нѣтъ. Она не любитъ писать письма. Конечно, ничего еще неизвѣстно, я все время твержу это мамѣ, но ты знаешь, какъ трудно говорить съ женщинами... Ну, я не буду мѣшать тебѣ. Ты тоже будешь вычислять?

СЕРГѢЙ НИКОЛАЕВИЧЪ.

Да. Немного. Я что-то усталъ.

ПЕТЯ.

А я почитаю... Да, папа, вчера я въ журналѣ прочелъ, что ты совершилъ какое-то громадное открытіе относительно туманностей, и что это ставить тебя на ряду...

СЕРГѢЙ НИКОЛАЕВИЧЪ.

Это открытіе, дружокъ, я совершилъ уже десять лѣтъ тому назадъ. Астрономическая слава приходитъ поздно—нами интересуются мало.

ПЕТЯ.

И я не зналъ!

СЕРГѢЙ НИКОЛАЕВИЧЪ.

Мы попрежнему остаемся обособленными, какъ египетскіе жрецы, хотя и противъ воли.

ПЕТЯ.

Какъ это глупо! Папочка,—а почему ты, когда я былъ боленъ, велѣлъ положить меня сюда? Вѣдь, я, навѣрное, мѣшалъ тебѣ.

СЕРГѢЙ НИКОЛАЕВИЧЪ.

Нѣтъ. Но когда что-нибудь становится мнѣ очень мило, мнѣ хочется поднять его сюда. У меня, Петя, смѣшное убѣжденіе, что здѣсь не можетъ быть страданій, болѣзни. Тутъ—звѣзды.

ПЕТЯ.

Разъ ночью я проснулся и увидѣлъ тебя: ты смотрѣлъ на звѣзды. Было тихо, и ты смотрѣлъ на звѣзды. И вотъ тогда я что-то понялъ... Нѣтъ, почувствовалъ. Не знаю—что, я не умѣю объяснить. Какъ будто въ мірѣ мы одни, ты, звѣзды и я... или какъ будто мы уже умерли. И отъ этого не было страшно, а спокойно, какъ-то хорошо—чисто. Мнѣ теперь такъ хочется жить—отчего это? Вѣдь я попрежнему не понимаю, зачѣмъ жизнь, зачѣмъ старость и смерть?—а мнѣ все равно. Ну, работай, работай, я не буду входить въ подробности, какъ говорить Поллакъ.

СЕРГѢЙ НИКОЛАЕВИЧЪ (задумчиво).

Да. Человѣкъ думаетъ только о своей жизни и о своей смерти—и отъ этого ему такъ страшно жить и такъ скучно, какъ блохѣ, заблудившейся въ склепѣ... Чтобы заполнить страшную пустоту, онъ много выдумываетъ, красиво и сильно, но и въ вымыслахъ—онъ говоритъ только о своей смерти, только о своей жизни, и страхъ его растеть. И становится онъ похожъ на содержателя музея изъ восковыхъ фигуръ—да, на содержателя музея изъ восковыхъ фигуръ. Днемъ онъ болтаетъ съ посѣтителями и беретъ съ нихъ деньги, а ночью—одинокій, онъ бродитъ съ ужасомъ среди смертей, неживого, бездушнаго. Если бы онъ зналъ, что всюду жизнь!

ПЕТЯ.

Ты знаешь, папа, чего я первый разъ испугался? Я увидѣлъ стулъ въ пустой комнатѣ, самый простой стулъ—и вдругъ мнѣ стало такъ страшно, что я закричалъ.

СЕРГѢЙ НИКОЛАЕВИЧЪ.

Его мысль рождена птицей—могучей и свободной царицею пространствъ, а онъ связалъ ей крылья и посадилъ ее въ птичникъ—съ проволочными, безстыдно лгущими стѣнами. И небо сквозь сѣтку только дразнить ее, и она ссорится съ другими птицами, тупѣетъ, становится глупой—вмѣсто того, чтобъ летать.

ПЕТЯ.

Бѣдная царица!

СЕРГѢЙ НИКОЛАЕВИЧЪ.

Да, все живетъ. И когда пойметъ это человѣкъ, ему станетъ радостно жить, какъ греку, какъ язычнику. Явятся снова дриады и нимфы, и эльфы запляшутъ въ лунномъ свѣтѣ. Человѣкъ будетъ ходить по лѣсу и разговаривать съ деревьями и цвѣтами. Онъ никогда не будетъ одинъ, ибо все живетъ: и металлъ, и камень, и дерево.

ПЕТЯ (смѣется).

Ты очень смѣшной, папа.

СЕРГѢЙ НИКОЛАЕВИЧЪ.

Да? Развѣ?

ПЕТЯ.

Ты вѣжливъ со стульями. Нѣтъ, это правда, и ты вѣжливъ съ предметами. Когда ты берешь что-нибудь

въ руки, ты дѣлаешь это какъ-то вѣжливо. Я не умѣю объяснить. Ты очень расфѣянный, а ходишь такъ ловко, что никогда ничего не зацѣпишь, не толкнешь, не уронишь. Когда стулья, шкафы, стаканы собираются ночью, какъ у Андерсена, и начинаютъ разговаривать, они, вѣроятно, очень хвалятъ тебя.

СЕРГѢЙ НИКОЛАЕВИЧЪ.

Да? Это мнѣ нравится, что стулья разговариваютъ.

ПЕТЯ.

А что тутъ дѣлается, когда ты уходишь? Вѣроятно, все поетъ?

СЕРГѢЙ НИКОЛАЕВИЧЪ.

Оно и при мнѣ поетъ.

ПЕТЯ.

Труба басомъ, да?

СЕРГѢЙ НИКОЛАЕВИЧЪ.

А ты слышишь, мой мальчикъ, что поютъ звѣзды?

ПЕТЯ.

Нѣтъ.

СЕРГѢЙ НИКОЛАЕВИЧЪ.

Онѣ поютъ, и пѣснь ихъ таинственна, какъ вѣчность. Кто хоть разъ услышитъ ихъ голосъ, идущій изъ глубины безконечныхъ пространствъ, тотъ становится сыномъ вѣчности! Сынъ вѣчности!—да, Петя, такъ когда-нибудь назовется человѣкъ.

ПЕТЯ (смѣется).

Папочка, не сердись: неужели и Поллакъ—сынъ вѣчности?

СЕРГѢЙ НИКОЛАЕВИЧЪ.

Можетъ быть.

ПЕТЯ.

Но онъ такой нелѣпый, такой узкій... Ну, ну, я не буду. Сажусь. Какой у тебя здѣсь воздухъ,—въ комнатахъ такого никогда не бываетъ. Ты все думаешь?

СЕРГѢЙ НИКОЛАЕВИЧЪ.

Да.

ПЕТЯ.

Ну, думай. Конечно, читаю.

(Молчаніе)

ПЕТЯ.

Сегодня ровно три недѣли, какъ уѣхалъ Лунцъ.

СЕРГѢЙ НИКОЛАЕВИЧЪ.

Да?

(Молчаніе. Петя читаетъ. Сергѣй Николаевичъ выходитъ изъ задумчивости и медленно придвигаетъ къ себѣ работу. Работаетъ)

ПЕТЯ.

Первыя ночи, когда у меня былъ жаръ, я очень боялся рефрактора. Онъ двигался по кругу за звѣздой, и когда я снова открывалъ глаза, онъ уже успѣвалъ немного передвинуться. И мнѣ казалось—не знаю—какъ будто это одинъ огромный черный глазъ... въ сюртукѣ и съ фалдочками.

(Молчаніе. Сергѣй Николаевичъ откладываетъ работу и думаетъ, опершись подбородкомъ на руку)

СЕРГѢЙ НИКОЛАЕВИЧЪ.

Петя, ты знаешь, какіе стихи написалъ астрономъ Тихо Браге по поводу одного инструмента. Это былъ параллактическій инструментъ, которымъ пользовался Коперникъ во всѣхъ своихъ работахъ и который сдѣлалъ онъ самъ изъ трехъ деревянныхъ жердочекъ, ужасно плохой инструментъ: у арабовъ были лучше. Такъ вотъ послушай:

Тотъ, солнцу кто сказалъ: „Сойди съ небесъ и стой“,
 Кто землю на небо, луну на землю вскинулъ,
 И, весь перевернувъ порядокъ міровой,
 Скрѣпъ міра не расторгъ нигдѣ и не раздвинулъ,
 А проще не въ примѣръ представилъ и стройнѣй
 Вамъ твердь, знакомую по опыту очей,—
 Тотъ мужъ, Коперникъ самъ, кого я разумѣю,
 Вотъ эти палочки въ простой сложивъ приборъ
 И имъ осуществивъ столь дерзкую затѣю,
 Законы наложилъ на весь небесъ просторъ,
 Свѣтила горнія во славу изъ теченья
 Кусочкамъ дерева ничтожнымъ подчинилъ,
 Къ самимъ проникъ богамъ, куда со дня творенья
 Рокъ смертнымъ вѣдѣтъ почти дорогу возбранилъ.
 Какихъ преодолѣть преградъ не можетъ разумъ!
 Нагроможденные когда-то Пеліонъ
 И Осса съ Этною, Олимпъ съ другими разомъ
 Горами многими вотще со всѣхъ сторонъ—
 Свидѣтели тому, что силой тѣла дикой
 Гиганты мощные, но слабые умомъ
 Не достигнули звѣздъ. Онъ, онъ одинъ великій,
 Искавшій помощи лишь въ разумъ своемъ,
 Не мышцы крѣпкія, а тоненькія жерди
 Орудіемъ избравъ,—возвысился до тверди.
 Какихъ могучихъ здѣсь произведенье думъ!
 Хотя по существу въ немъ стоимости мало,
 Но золото само, когда бъ имѣло умъ,
 Такому дереву завидовать бы стало!..

(Молчаніе. Внизу музыка—нѣсколь-
 ко нерѣшительныхъ и грустныхъ
 аккордовъ: „Сижу за рѣшеткой..
 въ темницѣ сырой...“)

П Е Т Я (вскакиваетъ).

Что это, музыка? Кто же это — тамъ только мама!

СЕРГѢЙ НИКОЛАЕВИЧЪ (обернувшись)

Да. Не Маруся ли?

П Е Т Я (кричитъ).

Маруська пріѣхала! Я сейчасъ, сейчасъ!.. (Бѣжитъ внизъ)

СЕРГѢЙ НИКОЛАЕВИЧЪ (повторяетъ).

...Но золото само, когда бѣ имѣло умъ—такому дереву завидывать бы стало!..

(Длительное молчаніе. На лѣстницѣ показывается Маруся и Петя)

МАРУСЯ.

Не плачь. Что плакать? Пойди къ мамѣ.

(Петя плачетъ, сдерживая рыданія)

МАРУСЯ.

Пойди, пойди, она одна. Поддержи ее—ты мужчина.

П Е Т Я.

А ты?

МАРУСЯ.

Я ничего. Ступай. (Цѣлуетъ его въ голову, расходятся)

СЕРГѢЙ НИКОЛАЕВИЧЪ.

Маруся, милая! Какъ я радъ, что вы пріѣхали. Вы не вѣрите въ то, что я могу чувствовать что-нибудь, а я сегодня в сѣ день чувствовалъ вашъ пріѣздъ.

МАРУСЯ.

Здравствуйте, Сергѣй Николаевичъ. Вы работаете?

СЕРГѢЙ НИКОЛАЕВИЧЪ.

А что Николай? Онъ бѣжалъ?

МАРУСЯ.

Да. Онъ ушелъ изъ тюрьмы.

СЕРГѢЙ НИКОЛАЕВИЧЪ.

Онъ здѣсь?

МАРУСЯ.

Нѣтъ.

СЕРГѢЙ НИКОЛАЕВИЧЪ.

Но онъ въ безопасности, Маруся?

МАРУСЯ.

Да.

СЕРГѢЙ НИКОЛАЕВИЧЪ.

Бѣдная Маруся! Какъ вы устали, вѣроятно. Сегодня весь день я думаю о васъ и о немъ,—о васъ и о немъ. О васъ я говорить не смѣю, но вы—какъ музыка, Маруся! Я такъ радъ! Позвольте мнѣ поцѣловать вашу руку—вашу пѣжную ручку, которая такъ много поработала надъ желѣзными замками и рѣшетками. (Церемонно цѣлуетъ руку) Садитесь, рассказывайте.

МАРУСЯ

(показывая на галлерею).

Пойдемте туда.

СЕРГѢЙ НИКОЛАЕВИЧЪ.

Я такъ радъ. Я возьму для васъ стулъ — вы такъ устали, Маруся. (Выходятъ) Ну, садитесь. Здѣсь, правда, хорошо?

МАРУСЯ.

Да. Очень хорошо.

СЕРГѢЙ НИКОЛАЕВИЧЪ.

А я сидѣлъ здѣсь съ Петей. Онъ такой милый мальчикъ! Онъ въ послѣднее время напоминаетъ мнѣ Николая...

МАРУСЯ.

Да.

СЕРГѢЙ НИКОЛАЕВИЧЪ.

Но въ Петѣ много женственного, слабаго, иногда я беспокоюсь за него. А Николай — онъ такой энергичный, такой смѣлый. Какъ въ немъ все гармонично и стройно, какъ нѣжно и сильно! Это прекрасный образецъ человѣка мужественнаго, рѣдкая, красивая форма, которую природа разбиваетъ, чтобы не было повтореній.

МАРУСЯ.

Да. Разбиваетъ. Я хотѣла сказать...

СЕРГѢЙ НИКОЛАЕВИЧЪ.

Онъ плѣнителенъ, какъ юный Богъ, въ немъ какія-то чары, противъ которыхъ нельзя устоять. Вѣдь его, Маруся, такъ любятъ всѣ, даже Анна, — даже Анна. И онъ такъ красивъ! Вамъ, Маруся, покажется это нелѣпо: онъ напоминаетъ мнѣ звѣздное небо передъ зарею.

МАРУСЯ.

Да. Звѣздное небо передъ зарею.

СЕРГѢЙ НИКОЛАЕВИЧЪ.

Онъ не могъ не бѣжать, я былъ увѣренъ въ этомъ. Тюрьма! Что такое тюрьма—эти ржавые замки и трухлявыя глупыя рѣшетки. Я удивляюсь, какъ они могли такъ долго держать его: они должны были улыбнуться и дать ему дорогу, какъ молодому счастливому принцу!

МАРУСЯ

(падая на колѣна, съ тоской).

Отецъ, отецъ, какой это ужасъ!

СЕРГѢЙ НИКОЛАЕВИЧЪ.

Что, что съ вами, Маруся?

МАРУСЯ.

Разбита прекрасная форма! Отецъ, разбита, разбита прекрасная форма!

СЕРГѢЙ НИКОЛАЕВИЧЪ.

Онъ умеръ! Да говори же!

МАРУСЯ.

Онъ... Его покинулъ разумъ.

(Молчаніе)

МАРУСЯ

(вскакиваетъ).

Что же это! Проклятая жизнь! Гдѣ же Богъ этой жизни, куда онъ смотритъ? Проклятая жизнь. Изойти слезами, умереть, уйти! Зачѣмъ жить, когда лучшіе погибаютъ, когда—разбита прекрасная форма! Ты понимаешь это, отецъ? Нѣтъ оправданія жизни—нѣтъ ей оправданія.

СЕРГѢЙ НИКОЛАЕВИЧЪ.

Расскажи мнѣ все.

МАРУСЯ.

Зачѣмъ? Развѣ можно *это* разсказать. Чтобы разсказать, нужно понять—а развѣ это можно понять?

СЕРГѢЙ НИКОЛАЕВИЧЪ.

Разскажи.

МАРУСЯ.

Онъ былъ моимъ знаменемъ. Когда варвары бросили его въ тюрьму, я думала: но вѣдь это варвары, а онъ—солнце. Я думала: вотъ сейчасъ поднимутся всѣ, кто любить его, и разрушать тюрьму,—и снова засіяетъ мое солнце. Мое солнце!

СЕРГѢЙ НИКОЛАЕВИЧЪ.

Какъ это случилось?

МАРУСЯ.

Какъ гаснетъ звѣзда? Какъ умираетъ птица въ неволѣ? Пересталъ пѣть, сталъ блѣденъ и грустенъ—но успокаивалъ меня. Разъ только сказалъ: я не могу понять желѣзной рѣшетки. Что такое желѣзная рѣшетка—она между мною и небомъ.

СЕРГѢЙ НИКОЛАЕВИЧЪ.

Между мною и небомъ?

МАРУСЯ.

А тутъ ихъ набили. Да, да. Они подняли бунтъ въ тюрьмѣ. Въ ихъ камеры ворвались тюремщики и били ихъ—по одному. Били руками—ногами ихъ топтали, уродовали лица. Долго, ужасно ихъ били—тупые, холодные звѣри. Не пощадили они и твоего сына: когда я увидѣла его, его лицо было ужасно. Милое, прекрасное лицо, которое улыбалось всему міру! Разорвали

ему ротъ, уста, которыя никогда не произносили слова лжи; чуть не вырвали глаза—глаза, который видѣлъ только прекрасное. Ты понимаешь это, отецъ? Ты можешь это оправдать?

СЕРГѢЙ НИКОЛАЕВИЧЪ.

Говори.

МАРУСЯ.

И уже тутъ въ немъ проснулась эта страшная, смертельная тоска. Онъ никого не упрекалъ, онъ защищалъ передо мною тюремщиковъ—своихъ убійцъ,—но въ его глазахъ росла эта черная тоска: душа его умирала. И все еще успокаивалъ меня, все еще утѣшалъ. И разъ только сказалъ: всю тоску міра ношу я въ душѣ.

СЕРГѢЙ НИКОЛАЕВИЧЪ.

Дальше.

МАРУСЯ.

Сталъ забываться. Потомъ умолкъ. Молча выходилъ ко мнѣ—молчалъ, пока я говорила, и молча уходилъ. Глаза у него стали огромные, черные, какъ будто изъ изъ нихъ смотрѣла тоска всего міра—и такой красоты я не видала, отецъ! А когда сегодня я пришла на свиданіе, онъ былъ уже въ больницѣ. Когда вчера его вели на прогулку, онъ хотѣлъ броситься съ лѣстницы, въ пролетъ, но его удержали. Потомъ—безуміе, горячая рубашка—и все.

СЕРГѢЙ НИКОЛАЕВИЧЪ.

Ты видѣла его?

МАРУСЯ.

Я видѣла его. Но объ этомъ я не стану говорить. Я не могу. Разбита прекрасная форма!

СЕРГѢЙ НИКОЛАЕВИЧЪ.

Они всегда избивали своихъ пророковъ.

МАРУСЯ.

Отецъ! Какъ же можно жить среди тѣхъ, кто избиваетъ своихъ пророковъ? Куда мнѣ уйти, я не могу больше. Я не могу смотрѣть на лицо человѣка—мнѣ страшно! Лицо человѣка—это такъ ужасно: лицо человѣка. Я выплакала мои слезы—та же тоска впереди—смертельная, послѣдняя тоска. Ты видишь: я спокойна. Какъ много звѣздъ!

(Пауза)

СЕРГѢЙ НИКОЛАЕВИЧЪ.

А Инна знаетъ?

МАРУСЯ.

Да.

СЕРГѢЙ НИКОЛАЕВИЧЪ.

Что говорятъ врачи?

МАРУСЯ.

Они говорятъ: идіотъ.

СЕРГѢЙ НИКОЛАЕВИЧЪ.

Николай—идіотъ?

МАРУСЯ.

Да. Онъ будетъ долго жить. Онъ станетъ равнодушенъ, онъ будетъ много пить, ѣсть, потолстѣетъ, онъ проживетъ долго. Онъ будетъ счастливъ.

СЕРГѢЙ НИКОЛАЕВИЧЪ.

Николай — идіотъ! Какъ трудно это представить. Этотъ прекрасный человѣкъ, этотъ гармоничный, свѣт-

лый духъ—погружёнъ во тьму, въ скучный, бѣдный, еле колышавшійся хаосъ. Онъ некрасивъ теперь, Маруся?

МАРУСЯ (съ горечью).

Да, онъ некрасивъ. А тебя это беспокоить?

СЕРГѢЙ НИКОЛАЕВИЧЪ.

Я радъ, что ты такъ спокойна; я не думалъ, что ты такъ сильна.

МАРУСЯ.

Ужъ мѣсяцъ я переживаю изо дня въ день эту муку. Я привыкла. Что, отецъ, привычка: это должно быть тоже что-то въ родѣ сумасшествія?

СЕРГѢЙ НИКОЛАЕВИЧЪ.

Что же ты хочешь дѣлать теперь?

МАРУСЯ.

Не знаю, я еще не думала объ этомъ. Какъ-то стыдно, отецъ, надъ свѣжей могилой думать о своей—о новой жизни. Даже собакѣ нужно время, чтобы привыкнуть къ потерѣ щенка.

СЕРГѢЙ НИКОЛАЕВИЧЪ.

Николая я устрою, ему теперь немного надо. А ты, Маруся, больше не ходи къ нему. Совсѣмъ не ходи.

МАРУСЯ.

Нѣтъ, я буду ходить!

СЕРГѢЙ НИКОЛАЕВИЧЪ.

Это кощунство.—Это такое же кощунство, какъ оставить въ своей комнатѣ трупъ. Трупы надо сжигать на огнѣ.

МАРУСЯ.

Я и трупъ оставила бы у себя въ комнатѣ.

СЕРГѢЙ НИКОЛАЕВИЧЪ.

Зачѣмъ?

МАРУСЯ.

Ты знаешь прелестную Элленъ? Я беру ее съ собой.

СЕРГѢЙ НИКОЛАЕВИЧЪ.

Противъ кого это?

МАРУСЯ.

Не знаю. Противъ тебя.

СЕРГѢЙ НИКОЛАЕВИЧЪ.

Противъ меня?

МАРУСЯ.

Да. Я нашла, я знаю теперь, что я буду дѣлать. Я построю городъ и поселю въ немъ всѣхъ старыхъ, какъ прелестная Элленъ, всѣхъ убогихъ, калѣкъ, сумасшедшихъ, слѣпыхъ. Тамъ будутъ глухонѣмые отъ рожденія и идиоты, тамъ будутъ изъѣденные язвами, разбитые параличемъ. Тамъ будутъ убійцы...

СЕРГѢЙ НИКОЛАЕВИЧЪ.

Мнѣ жаль тебя, Маруся.

МАРУСЯ.

Тамъ будутъ предатели и лжецы и существа, подобныя людямъ, но болѣе ужасныя, чѣмъ звѣри. И дома будутъ такіе же, какъ жители: кривые, горбатые, слѣпые, изъязвленные; дома — убійцы, предатели. Они будутъ падать на головы тѣхъ, кто въ нихъ поселится,

они будутъ лгать и душишь мягко. И у насъ будутъ постоянныя убійства, голодъ и плачь; и царемъ города я поставлю Іуду и назову городъ: „Къ звѣздамъ!“

СЕРГѢЙ НИКОЛАЕВИЧЪ.

Бѣдная Маруся, мнѣ жаль тебя!

МАРУСЯ.

Оставь! ты не жалѣешь сына.

СЕРГѢЙ НИКОЛАЕВИЧЪ.

У меня нѣтъ дѣтей. Для меня одинаковы всѣ люди.

МАРУСЯ.

Какъ это бездушно! Нѣтъ, я не пойму тебя.

СЕРГѢЙ НИКОЛАЕВИЧЪ.

Это оттого, что я думаю обо всемъ. Я думаю о прошломъ, и о будущемъ, и о землѣ, и о тѣхъ звѣздахъ—обо всемъ. И въ туманѣ прошлаго я вижу миріады погибшихъ; и въ туманѣ будущаго я вижу миріады тѣхъ, кто погибнетъ; и я вижу космосъ, и я вижу вездѣ торжествующую безбрежную жизнь—и я не могу плакать объ одномъ!

(На лѣстницѣ показывается Петя и Инна Александровна. Она идетъ съ трудомъ, и Петя ее поддерживаетъ. Медленно проходятъ черезъ куполь)

ИННА АЛЕКСАНДРОВНА

(бросается къ мужу).

Колюшка нашъ, Колюшка!..

ПЕТЯ.

Мамочка! мамочка! Не плачь.

ИННА АЛЕКСАНДРОВНА.

Колюшка!

СЕРГѢЙ НИКОЛАЕВИЧЪ

(усаживаетъ ее, выпрямляется, кричить).

Отняли сына! Безумцы! Слѣпцы, на себя поднимающіе руку!

ИННА АЛЕКСАНДРОВНА.

Ничего... отецъ, проживемъ. Колюшка, мой Колюшка...

СЕРГѢЙ НИКОЛАЕВИЧЪ.

Если бы солнце висѣло ниже, они погасили бы солнце,—чтобы издохнуть во мракѣ. Отняли сына! Отняли сына! Свѣтъ отняли! (Топасть ногой)

(Петя и Маруся плача становятся на колѣни и ласкаютъ Инну Александровну. СергѢй Николаевичъ отходить на нѣсколько шаговъ и возвращается)

МАРУСЯ.

Прости меня, отецъ.

СЕРГѢЙ НИКОЛАЕВИЧЪ.

Не надо плакать, не надо. У насъ есть мысль. У насъ есть мысль. Да помоги же ты!.. Да. Должно быть, я старъ.

ИННА АЛЕКСАНДРОВНА.

Колюшка!

СЕРГѢЙ НИКОЛАЕВИЧЪ.

Это ничего. Жизнь, жизнь вездѣ. Сейчасъ, въ эту минуту—да въ эту минуту!—родится кто-то—такой же, какъ Николай, лучше, чѣмъ онъ—у природы нѣтъ повтореній.

МАРУСЯ.

Родится для безумія, для гибели! Родится для того, чтобы такъ же плакала надъ нимъ мать! Ты это хочешь сказать?

СЕРГѢЙ НИКОЛАЕВИЧЪ.

Мать? Да. Да. Онъ погибнетъ. Онъ погибнетъ, Маруся. Какъ садовникъ, жизнь срѣзываетъ лучшіе цвѣты—но ихъ благоуханіемъ полна земля... Вагляни туда, въ этотъ безпредѣльный просторъ, въ этотъ неизсякаемый океанъ творческихъ силъ. Вагляни туда! Тамъ тихо—но если бы ты могла слышать сквозь пространство и видѣть сквозь вѣчность, ты, можетъ быть, умерла бы отъ ужаса, а быть можетъ—сгорѣла бы отъ восторга. Съ холоднымъ бѣшенствомъ, покорные желѣзной силѣ тяготѣнія, несутся въ пространствѣ по своимъ путямъ безконечные міры—и надъ всѣми ими господствуетъ одинъ великій, одинъ безсмертный духъ.

МАРУСЯ (вставая).

Не говори мнѣ о Богѣ!

СЕРГѢЙ НИКОЛАЕВИЧЪ.

Я говорю о существѣ, подобномъ намъ, о томъ, кто такъ же страдаетъ, и такъ же мыслить, и такъ же ищетъ, какъ и мы. Я его не знаю—но я люблю его, какъ друга, какъ товарища. Въ тотъ мигъ, при случайной встрѣчѣ двухъ невѣдомыхъ силъ, загорѣлась первая жизнь—маленькая, крохотная жизнь амебы, протоплазмы—уже въ этотъ мигъ всѣ эти сверкающія громады нашли своего господина. Это мы—тѣ, кто здѣсь, и тѣ, кто тамъ. Великій просторъ небесъ! Древняя тайна! Ты надъ головою моею, ты въ душѣ моей—и ты уже у моихъ ногъ, у ногъ твоего господина.

МАРУСЯ.

Оно молчить, отецъ! Оно смѣется надъ вами!

СЕРГѢЙ НИКОЛАЕВИЧЪ.

Но я хочу—и оно говорить! Туда, въ эту синюю глубину посылаю я мой взоръ, и онъ скользитъ въ пространствахъ, и настигаетъ то, чего никогда, никогда еще не видѣлъ человѣкъ. Я зову, и оттуда, изъ мрака преисподней, выползаетъ на мой зовъ трепещущая тайна. Она корчится отъ злобы и страха и грозитъ раздвоеннымъ языкомъ, и моргаетъ ослѣпшими глазами—безсильное, жалкое чудовище. И тогда я радуюсь, и тогда я говорю въ вѣка и пространства: привѣтъ тебѣ, сынъ вѣчности! Привѣтъ тебѣ, мой неизвѣстный и далекій другъ!

МАРУСЯ.

Но смерть, но безуміе, но дикое торжество рабовъ? Отецъ, я не могу уйти отъ земли, я не хочу уходить отъ нея: она такъ несчастна. Она дышетъ ужасомъ и тоской—но я рождена ею, и въ крови моей я ношу страданія земли. Мнѣ чужды звѣзды, я не знаю тѣхъ, кто обитаетъ тамъ.—Какъ подстрѣленная птица, душа моя вновь и вновь падаетъ на землю.

СЕРГѢЙ НИКОЛАЕВИЧЪ.

Смерти нѣтъ.

МАРУСЯ.

А Николай? А сынъ твой?

СЕРГѢЙ НИКОЛАЕВИЧЪ.

Онъ въ тебѣ, онъ въ Петѣ, онъ во мнѣ—онъ во всѣхъ, кто свято хранитъ благоуханіе его души. Развѣ умеръ Джордано Бруно?

МАРУСЯ.

Онъ былъ великъ.

СЕРГѢЙ НИКОЛАЕВИЧЪ.

Умирають только звѣри, у которыхъ нѣтъ лица. Умирають только тѣ, кто убиваетъ, а тѣ, кто убить, кто растерзанъ, кто сожженъ—тѣ живутъ вѣчно. Нѣтъ смерти для человѣка, нѣтъ смерти для сына вѣчности!

ИННА АЛЕКСАНДРОВНА.

Въ храмахъ древнихъ поддерживался вѣчный огонь. Испепелялось дерево, выгорало масло, но огонь поддерживался вѣчно. Развѣ ты не чувствуешь его—тутъ, вездѣ? Развѣ въ себѣ не опускаешь его чистаго пламени? Кто далъ тебѣ эту нѣжную душу, чья мысль, улетѣвшая изъ брэннаго тѣла, живетъ въ тебѣ—ты можешь ли сказать, что это мысль твоя? Твоя душа—лишь алтарь, на которомъ свершаетъ служеніе сынъ вѣчности! (Протягиваетъ руку къ звѣздамъ) Привѣтъ тебѣ, мой неизвѣстный, мой далекій другъ!

МАРУСЯ.

Я пойду въ жизнь.

СЕРГѢЙ НИКОЛАЕВИЧЪ.

Иди! Отдай ей то, что ты взяла у нея же. Отдай солнцу его тепло! Ты погибнешь, какъ погибъ Николай, какъ гибнуть тѣ, кому душой своей, безмѣрно счастливой, суждено поддерживать вѣчный огонь. Но въ гибели твоей ты обрѣтешь безсмертіе. Къ звѣздамъ!

ПЕТЯ.

Ты плачешь, отецъ. Дай поцѣловать мнѣ руку, дай!

ИННА АЛЕКСАНДРОВНА.

Ужъ ты... не плачь, отецъ. Какъ нибудь... проживемъ.

МАРУСЯ.

Я пойду. Какъ святыню, сохраняю я то, что осталось отъ Николая—его мысль, его чуткую любовь, его нѣжность. Пусть снова и снова убиваютъ его во мнѣ — высоко надъ землею понесу я его чистую непорочную душу.

СЕРГѢЙ НИКОЛАЕВИЧЪ

(протягивая руки къ звѣздамъ).

Привѣтъ тебѣ, мой далекій, мой неизвѣстный другъ!

МАРУСЯ

(протягивая руки къ землѣ).

Привѣтъ тебѣ, мой милый, мой страдающій братъ!

ИННА АЛЕКСАНДРОВНА.

Колюшка... Колюшка!..

3-го ноября 1905 года.

ЭМИЛЬ ВЕРХАРНЪ.

ВОЗСТАНИЕ.

Переводъ А. Лукьянова.

Улица съ шумомъ тревожныхъ шаговъ,
Съ шорохомъ тѣлъ, и откуда-то дико
Тянутся руки къ безумію сновъ...
Полная грезъ, озлобленья и крика,
Улица ужасъ таитъ
И, какъ на крыльяхъ, летитъ...
Улица въ золотѣ дня,
Вечеромъ въ блескѣ багряномъ заката...
Смерть поднимается съ громомъ набата,
Въ пламени яркомъ огня,
Смерть, будто въ грезахъ, съ мечами
И головами
На остріяхъ,
Точно кто срѣзалъ цвѣты на поляхъ...
Грохотомъ пушекъ тяжелыхъ, большихъ,
Лязгомъ орудій глухихъ
Здѣсь исчисляется время стенаній,
Мукъ и рыданій...
Въ башняхъ часы, какъ глаза изъ орбитъ,
Выбиты злобно камнями;
Время обычной чредой не летитъ
Надъ непреклонными въ гнѣвѣ сердцами.
Гнѣвъ изъ земли изощелъ
Къ сѣрымъ камнямъ на могилахъ,
Гнѣвъ безпредѣленъ и золъ,
Съ кровью кипучею въ жилахъ,
Блѣдный и съ воплемъ глухимъ

Смѣлымъ мгновеньемъ однимъ
Гнетъ разрушаетъ столѣтій!
Все, что сіяло въ мечтахъ
Въ будущемъ гдѣ-то—далекомъ,
Все, что горѣло въ глазахъ,
Въ сердцѣ таилось глубококомъ,
И что хранила въ себѣ
Вся человѣчества сила—
Въ этой кровавой борьбѣ
Гнѣвомъ толпа возродила!
Праздникъ кровавый сквозь ужасъ встаетъ,
Люди въ крови, опьяненные, съ крикомъ
Бродятъ по трупамъ въ безуміи дикомъ,
Радости знамя ведетъ ихъ впередъ.
Каски мелькаютъ, какъ свѣтлыя волны,
Вяло атака идетъ на народъ,
Но, ослѣпленный и гордостью полный,
Страстно онъ ждетъ, чтобъ надъ нимъ, наконецъ,
Вспыхнулъ кровавый, побѣдный вѣнецъ!
Чтобъ обновиться,—убить!
Точно природа, въ стремлении
Самозабвеніемъ жить...
Въ пылкомъ, безумномъ мгновеньи:
Жертвою пасть иль убить,—
Жизни нить вѣчную вить!
Вотъ загорѣлись мосты и дома,
Съ кровью на стѣнахъ сливается тьма;
Въ мутныхъ каналахъ нашло отраженіе
Роскоши властной послѣднее тлѣнье,
И золоченыя башни строеній
Городъ вдали окружаютъ, какъ тѣни...
Огненно-черныя руки мелькаютъ,
Въ мракъ головни золотыя бросаютъ,
Крыши горящія къ небу летятъ,
Залпами тамъ непрерывно палятъ...
Смерть подъ сухой, несмолкаемый звукъ

Молча костлявыми пальцами рукъ
Валить тѣла, и они вдоль стѣны
Въ бѣгѣ застывшемъ видны...
Трупы, изорваны пулями, всюду
Падаютъ въ груды,—
Отблескъ на нихъ фантастично горить,
Крикъ этихъ масокъ послѣдній, ужасный
Въ злую улыбку кривить...
Колоколь властный
Бьется, какъ сердце въ борьбѣ, и гудитъ;
Вдругъ замолкаетъ,
Какъ задохнувшійся голосъ, со стономъ глухимъ:
Башня подъ нимъ
Ярко пылаетъ...
Въ замкахъ старинныхъ, съ которыхъ глядѣли
Въ городъ орлы золотые безъ словъ
И отражали набѣгъ смѣльчаковъ,
Двери раскрылись, замки отлетѣли...
Входитъ толпа, разбиваетъ шкапы,
Гдѣ сохранялись для этой толпы
Злые законы тайкомъ,
Пламя ихъ лижетъ своимъ языкомъ,
Гибнетъ ихъ прошлое, черное, злое...
Льется въ подвалахъ вино дорогое,
Съ темныхъ балконовъ бросаютъ тѣла,
Воздухъ они разрѣзаютъ безсильно...
Роскошь, сокровища, — все, что обильно
Жадность преступная въ жизни взяла,
Блещетъ на голой землѣ...
.
Городъ во мглѣ
Вспыхнулъ страной золотою, пурпурной,
Смотритъ онъ къ дали рокошущей, бурной,
Ярко пылаетъ корона на немъ...
Гнѣвъ и безумье горящимъ кольцомъ
Жизнь охватили и тѣсно сжимаютъ,

Кажется — мигъ и земля задрожить!
Мрачно пространство горить,
Ужась и дымъ къ небесамъ подплываютъ...
Чтобъ создавать, обновиться,—убить!
Или убить, чтобы пасть, все равно!
Двери раскрыть или руки разбить...
Будеть зеленой весна или красной,
Развѣ не все въ ней величья полно,
Силы клокочущей, вѣчно прекрасной!

А. СЕРАФИМОВИЧЪ.

НА ПРѢСНѢ.



I.

Буммъ!...

Онъ донесся издалека, этотъ глухо-тупой ударъ, отъ котораго слабо дрогнули стекла, донесся изъ центральныхъ улицъ.

„Началось!“...

И что бы ни дѣлалъ, куда бы ни ходилъ, съ кѣмъ бы ни разговаривалъ, ко всему примѣшивалось: „но вѣдь началось“... Вырвется дѣтскій смѣхъ изъ комнаты, стукнетъ дверь, громко кто-нибудь кашляетъ, и въ памяти угрюмо встаетъ звукъ смолкшаго орудіянаго удара... „Началось!“... И сердце сжалось, сцѣпивъ грудь тоскливымъ предчувствіемъ огромнаго несчастья или огромнаго счастья, и уже не отпускало до конца.

— Матушки-и мои!...—просунувъ голову въ дверь, присѣдая и хлопая себя по бедрамъ, говорила кухарка, мостодонтовидная рязанская баба,—народу-ти навалили-и!... конца-краю нѣту!... вся Тверская черна, одинъ на одномъ лежать, какъ тараканы... со Штрашнаго монастыря содють изъ пушекъ...

Я вышелъ. Орудійные выстрѣлы доносились съ томительными перерывами. Народъ обычно шелъ по панили вверхъ и внизъ по улицѣ. Хрустѣлъ снѣгъ.

На морозномъ небѣ вырисовывалась вдали каланча. Хотѣлось побольше полной грудью забрать этого слав-

кій старичишка,—чорту въ зубы?... изъ пулеметовъ бьютъ...

— А-а... пусть... пусть натѣшатся...—съ такой же злобой кричитъ молодой парень, грозя по *тому* направлению кулаками,—пусть натѣшатся... пусть...—и онъ торопливо обгоняетъ меня.

Какъ роковая полоса, пустынно тянется черезъ перекрестокъ Тверская. Никого нѣтъ, но на углахъ кучки любопытныхъ—дѣти, женщины, мужики, торговцы. Вытягиваютъ шеи, выглядываютъ за уголъ и опять назадъ.

Я замедляю шагъ. Впереди, у самого угла, раздается оглушительный взрывъ. Съ дымомъ и огнемъ вѣрообразно взлетаютъ вверхъ куски чего-то чернаго. Навстрѣчу, что есть силы, бѣгутъ люди. Впереди молча несется, стиснувъ зубы, сжавъ кулаки, огромный рыжебородый мужчина, и алая полоска со лба по носу, по щекѣ теряется въ густой рыжей бородѣ. Дѣвочка лѣтъ двѣнадцати кричитъ нечеловѣческимъ голосомъ:

— Ай, рѣдныя мои... ай, рѣдныя!...

И долго, теряясь гдѣ-то въ концѣ улицы, доносятся:

— Рѣдныя... рѣдныя мои!...

Бѣжитъ старушка съ огромными навывкатъ бѣлками:

— Святъ, святъ, святъ, Господь Саваоѣ, исполни небо и земля!...

Изъ кучки любопытныхъ шрапнель вырвала шестнадцать человѣкъ. Часть раненыхъ разбѣжалась, часть растаскиваютъ по дворамъ, а на снѣгу неподвижно чернѣютъ четверо. Пятый стоитъ въ изумленной позѣ, потомъ постепенно валится, и, не сгибаясь, падаетъ лицомъ въ снѣгъ и такъ же лежитъ неподвижно, какъ и остальные. Возлѣ—воронкообразная яма. Кругомъ кровяныя пятна и какіе-то черные обрывки не то одежды, не то человѣческаго тѣла.

Никого нѣтъ. Хочется заглянуть за уголъ. И страшно, и мучительно тянеть, какъ тянеть заглянуть въ черную бездну. Съ замираніемъ сердца дѣлаю шагъ.

— Погодите...

Я оборачиваюсь. Парень, кричавшій: „пусть натѣшатся“, отдѣляется отъ сосѣдней калитки.

— Обождите трошки, заразы вторая вдарить.

Въ ту же секунду раздается такой же оглушительный взрывъ у противоположнаго угла. Дымъ и огонь расходящимися струями несутся кверху, съ сосѣднихъ домовъ густо сыплется штукатурка, и со звономъ летятъ изъ всѣхъ оконъ стекла.

— Теперича можно.

Чувствуя, какъ холодѣетъ затылокъ, я заглядываю. Тверская мертвенно-пустынно тянется въ обѣ стороны. Только гдѣ-то далеко въ морозной дали маленькіе, игрушечные люди маячатъ около маленькихъ игрушечныхъ пушекъ.

— Отходите.

Я отошелъ дома за два.

— Въ кого же они стрѣляютъ?

— А такъ, глупость одна.

Я гляжу на кобуру отъ револьвера, которая топорщится изъ-подъ разстегнутаго пальто.

— Вы дружинникъ?

— Да.

— Какъ же такъ... мало?

— Мало, а видишь, сколько пушекъ навезли.

— Въ мирныхъ и бьютъ?

— Потому публика необразованная, зря суется... умѣй выйти, умѣй схорониться, а она лѣзетъ. За сегодняшній день эва набили ихъ, а въ нашемъ отрядѣ не раненъ еще никто.

Я пошелъ назадъ. Орудійные удары, то вздвигаясь, то порознь, стояли въ воздухѣ.

Наплывали сумерки на площади красновато броса-

лось изъ стороны въ сторону пламя костровъ: жгли ворота домовладѣльцевъ, которые ихъ запирали. На стѣнахъ смутно бѣлѣли объявленія генераль-губернатора о штрафѣ въ три тысячи рублей, если ворота не будутъ заперты.

Уже царила ночь, темная, глухая. Ни одного фонаря, ни одного огня. Орудійные выстрѣлы смолкли. Зато тамъ, то здѣсь раздавались одиночные или цѣлыми букетами ружейные выстрѣлы. Гдѣ стрѣляютъ, кто стрѣляетъ—нельзя было сказать. И среди глухой темноты эти щелкающіе короткіе звуки впивались болѣзненно и угрожающе. Винтовочныя пули безъ прицѣла летятъ на нѣсколько верстъ и поражаютъ совершенно случайныхъ людей. Скрипѣлъ снѣгъ. На улицахъ ни души.

II.

Съ утра обыкновенно бывало тихо, но къ часу разыгрывалась орудійная стрѣльба. Улицы какъ вымерли. Зато у каждаго воротъ, у каждой калитки, на каждомъ перекресткѣ кучки народу. Передаютъ случаи расправы войскъ и полиціи, подвиговъ дружинниковъ и горячо обсуждаютъ шансы побѣды той или другой стороны въ развертывающейся кровавой драмѣ.

— И у насъ баррикады строить,—и испуганно и радостно говорить прислуга.

— Гдѣ?

— У заставы.

Съ представленіемъ революціи, возстанія, вяжется что-то необычайное, поражающее. Но когда я подходилъ къ заставѣ, все было необыкновенно просто. Съ пѣніемъ, со смѣхомъ, съ шутками валили столбы, тащили ворота, доски, бревна, сани со снѣгомъ, и баррикада вырастала въ нѣсколько минутъ, вся опутанная телеграфной и телефонной проволокой. У воротъ и по тротуару толпился народъ.

— Ну, братцы, и бабы пошли на баррикады... дѣло Дубасова—дрянь... хо-хо-хо...

Всѣ весело подхватываютъ и смѣются.

Баррикады одна за одной вырастаютъ внизъ по улицѣ по направленію къ Прѣсненскому мосту. Вдругъ публика исчезла. Улица пустынно, мертво и грозно бѣлѣла снѣгомъ. Бревна, доски, столбы, перевернутыя сани, неподвижныя и безпорядочно наваленныя поперекъ улицы, придаютъ этимъ домамъ, окнамъ, наглухо закрытымъ лавкамъ, зіяющимъ воротамъ видъ молчаливаго и напряженнаго ожиданія.

Я тоже захожу за уголъ въ переулокъ.

— Что такое?

— Казаки.

И это короткое слово разомъ освѣщаетъ и пустынную улицу и наваленныя бревна ровнымъ, немигающимъ сѣрымъ свѣтомъ, въ которомъ чувствуется: „для кого-то въ послѣдній разъ?“... Любопытные жались къ воротамъ. Молодой парень, поднявъ руку, крикнулъ:

— Пе-ервый номеръ!...

Нѣсколько человѣкъ съ револьверами въ рукахъ сгруппировались у ближайшей къ углу калитки.

— А вы отойдите... отойдите, пожалуйста... а то подойдутъ, вы побѣжите, паники надѣлаете,—говорилъ парень, обращаясь къ публикѣ.

— Это—дружинникъ,—передавали, отходя, шопотомъ другъ другу, и въ этомъ шопотѣ и во взглядахъ, которыми его провожали, таилось уваженіе, смѣшанное со страхомъ, и надежда на что-то большое, что сдѣлаютъ эти люди.

Я выглянулъ. Сѣрымъ развернутымъ строемъ поперекъ всей улицы шли вдали спѣшенныя казаки. Когда вошли на мостъ, ихъ сѣрый рядъ разомъ блеснулъ гнемъ, и раздалось: rrrr... rrrr... rrrr... точно рвали ромадный кусокъ сухого накрахмаленнаго ситца. По

баррикадамъ, по водосточнымъ трубамъ, по вывѣскамъ и окнамъ, а особенно по калиткамъ дворовъ, шелкая, посыпались орѣхи... Рррр... рррр... рррры-ы!... Я вбѣжалъ въ калитку переулка. Тутъ толпилось человѣкъ двадцать прохожихъ и любопытныхъ. Металась какая-то женщина.

— Ой, батюшки, да куда же я...

А ситецъ продолжали рвать. Въ промежуткахъ вѣжно защелкали браунинги. На противоположномъ перекресткѣ дружинникъ спокойно опустил на колѣно, прицѣлился изъ винтовки, блеснулъ огонь, и вдругъ среди стрѣлявшихъ раздались крики и радостный смѣхъ:

— Браво... браво... браво!...

Ситецъ перестали рвать. Публика опять высыпала на улицу. Я тоже вышелъ. Вездѣ стояли кучки. Подобравъ четырехъ раненыхъ, свернувшись повзводно, сѣрѣли вдали, уходя, казаки.

Снова закипѣла работа. Баррикады росли одна за одной. Внизу улицы, возлѣ моста, выросла послѣдняя. Красный флагъ побѣдно волновался надъ нею. А вдали угрюмо и молча глядѣла на нее прѣсенская каланча.

III.

Ночью городъ вымиралъ. Мутно бѣлѣлъ снѣгъ. Черными неясными громадами въ глухой, неподвижной тѣмѣ тонули дома. Ни одного огонька. Ни одного звука. Только собаки лаяли, перекликаясь, и въ промежуткахъ стояло молчаніе. Казалось, среди ночи раскинулась большая деревня, и покоемъ и мирнымъ сномъ вѣяло надъ нею.

Половина одиннадцатаго ночи.

...Рррр...рррр...рррр...

Залпы раздраютъ ночное молчаніе и гонятъ иллюзіи...

...Рррр...

Это уже у насъ внизу, во дворѣ. Я осторожно отво-

ряю форточку. Стрѣляютъ въ воротахъ. Пули, какъ изъ рѣшета, сыплются въ заборъ, въ парадныя двери. Весь домъ какъ мертвый. Дружинниковъ тутъ нѣтъ, потому что имъ неудобно скрываться и оперировать,—дворъ, какъ мѣшокъ, съ однимъ выходомъ, и ихъ легко всѣхъ захватить. Тѣмъ не менѣе солдаты стрѣляютъ во дворъ, въ окна обывателей, чтобъ нагнать страху, чтобъ никто не показывался, и главное потому, что въ дружинниковъ стрѣлять не приходится: они неуловимы.

Выстрѣлы стихаютъ. Съ улицы доносятся говоръ и голоса. Небо понемногу багровѣетъ. Несутся искры, коробится и трещить дерево,—жгутъ баррикады.

Исто-то громко высморкался, и этотъ мирный звукъ звонко и какъ-то умиротворяюще разнесся въ морозномъ ночномъ воздухѣ, и представился солдатикъ, отирающій о полы шинели пальцы, обвѣтренное добродушно-туповатое лицо мужичка, оторваннаго отъ земли, около которой онъ и теперь бы съ наслажденіемъ ковырялся.

Зарево разгоралось. Дома угрюмо выступали, кроваво озаренные, съ мертвыми, незрячими окнами. Потомъ понемногу потухло, все стихло, солдаты ушли, и снова угрюмо царилъ мертвый, молчаливый мракъ, и лаяли собаки.

Конецъ!

Грудь давило, какъ наваленной могильной плитой. Впереди чудился кошмаръ кровавой расправы. Каково же было удивленіе утромъ, когда увидѣлъ, что это еще не конецъ: вновь возведенныя баррикады гордо красовались, и непреклонно вѣялъ красный флагъ. Въ городѣ все было подавлено, только Прѣсня, пустынная и вся связанная баррикадами, угрюмо и гордо давала послѣдній бой.

Мнѣ пришлось ворочаться изъ города, и я попалъ на Прѣсню со стороны Горбатаго моста. Надо было перейти черезъ Большую Прѣсню. Меня остановили.

— Не ходите.

— А что?

— Съ каланчи охотятся... безпремѣнно подстрѣ-
лять...

Я глянулъ. На каланчѣ дѣйствительно вырисовы-
вались фигурки, и иногда доносился оттуда звукъ вы-
стрѣла. Городовые и солдаты, обозленные безсиліемъ
взять Прѣсню, охотились на обывателей. Достаточно
было кому-нибудь показаться, какъ его клали. Пули
обстрѣливали вдоль всю большую улицу, летали по
дворамъ, пронизывали окна.

Большая Прѣсня безлюдно тянулась въ обѣ стороны,
но во всѣхъ переулкахъ, укрытыхъ отъ каланчи, чер-
нѣлъ народъ. Въ эти дни невозможно было усидѣть въ
комнатахъ. Я прислушался.

Ночью у Горбатаго моста студента арестовали, обы-
скали,—револьверъ, потомъ дѣвушку, потомъ рабочаго.
Офицеръ ничего не спросилъ, не узналъ, кто они, какъ
и что, мотнулъ головой, ну и...

— Что?

— Разстрѣляли.

Стояло угрюмое и суровое молчаніе.

— Какъ же мнѣ теперь перебраться?

— А я васъ переведу.

Мальчуганъ лѣтъ десяти, шустрый и проворный, гля-
дѣлъ на меня ясными глазами.

— Какъ же ты?—удивился я.

— Пожалуйста.

Онъ подвелъ къ углу, отъ котораго поперекъ улицы
тянулась баррикада.

— Ложитесь на пузо.

— Что такое?

— Безпремѣнно на пузо, а то все одно подстрѣ-
лять.

Дѣлать нечего. Мы поползли по холодному снѣгу,
укрываясь отъ каланчи за баррикадой. На той сторонѣ,
уже за угломъ переулка, поднялись, отряхнулись. Я

заплатилъ, и мальчуганъ весело, какъ ящерица, завилялъ назадъ, ожидая случая еще кого-нибудь переправить, пока не уложитъ пуля караулящихъ на каланчѣ городскихъ.

„На Москву-рѣку!“...

„На Москву-рѣку!“...

Это, какъ кошмаръ, стояло въ мозгу, ни на минуту не отпуская ни днемъ, ни ночью, ни за работой, ни во снѣ. Они шли, шли трое, быть можетъ, не зная другъ друга, шли молча. И съ трехъ сторонъ шли мужички рязанской, калужской и какихъ тамъ еще губерній, положивъ ружья на плечи. И тоже шли молча.

И не надо было просить, плакать, сопротивляться, ибо было бесполезно. И была морозная мгла. По бокамъ отходили назадъ дома, черные, мертвые, нѣмые. Тамъ, внутри, можетъ быть, спали или ходили, разговаривали, ужинали, раздѣвались, раздавался дѣтскій плачь, а эти шли мимо черныхъ и мертвыхъ снаружи домовъ.

Потомъ потянулись заборы и пустыри. Потомъ была одна морозная мгла, да низко бѣлѣлъ снѣгъ. Остановились. Поставили, чтобъ было удобно. На секунду водворилось великое молчаніе. И эти трое, и мужички изъ рязанской и другихъ губерній думали. О чемъ?...

Потомъ...

Когда мужички ушли, по мутно бѣлѣвшему снѣгу чернѣли три пятна.

IV.

Меня разбудили тяжелые потрясающіе удары. Было темно. Я приподнялся. Дѣти спали. Няня возилась въ сосѣдней комнатѣ. Орудійная канонада разрасталась; домъ трясся. Въ промежуткахъ слышно, какъ трещали пулеметы и разсыпались ружейные залпы. Странные, скрежещущіе звуки, точно много желѣза тащили по желѣзу, тянулись въ стоящей за окномъ мглѣ, и это наводило подавляющую тоску.

Вдругъ: чѣкъ! Съ короткимъ звукомъ пуля, продыравивъ два оконныхъ стекла, впиалась въ стѣну. Штукатурка шурша посыпалась на полъ.

— Ой-ой-ой... убили, убили!... родимые!...—заголосила нянька, мечась по комнатѣ.

По голосу, какимъ она голосила, я угадалъ, что она не ранена.

— Няня, сядьте... сядьте!... не подымайтесь выше подоконника... сядьте на полъ...—старался перекричать я гулъ канонады.

Я сползъ на полъ, одѣлся на полу и, увы!—по-Руссо, на четверенькахъ пробрался къ дѣтямъ. Оба мальчика тихо спали, ничего не подозрѣвая. Я стащилъ ихъ и по полу потащилъ во вторую половину квартиры, которая выходила окнами не къ стрѣляющимъ.

Маленькій сталъ отчаянно ревѣть, а старшій тревожно говорилъ:

— Папа,пусти меня, я самъ пойду...

— Нѣтъ,ничего,—говорилъ я, проползая въ двери,—только не подымай головы.

— Развѣ опасно?

— Нѣтъ, нѣтъ... только не подымай головы!...

Въ дальней комнатѣ собралась прислуга, хозяйева съ дѣтьми. Мы лежали, прижимаясь, на диванахъ, на стульяхъ. Здѣсь, оказывается, тоже нельзя было стать во весь ростъ: трехлинейныя пули, пробивъ двѣ дырочки въ окнѣ, пронизывали внутреннія стѣнки квартиры и впивались въ кирпичъ противоположной наружной стѣны вершка на полтора. То и дѣло слышалось: чѣкъ, чѣкъ. Осыпалась и падала штукатурка, подергивая полъ бѣлымъ налетомъ.

Стало свѣтать. Время ползло томительно-медленно. Орудія гремѣли. Женщины, уткнувшись лицомъ, плакали. Дѣтишки расширенными глазами молча глядѣли на непривычную обстановку.

— Пойдемте, посмотримъ, — проговорилъ хозяинъ, блѣдный, съ подергивающимися губами.

Нагибаясь, мы прошли въ мою комнату и, прижавшись въ уголъ, стали глядѣть наискось въ окна. Разсвѣло. Съ нашего пятого этажа улица и Прѣсенскій мостъ, съ котораго стрѣляли, видны, какъ на ладони.

— Да они разстрѣливаютъ дома!...— вскрикнулъ хозяинъ, блѣлый, какъ полотно.

Дѣйствительно, каждый разъ, какъ изъ жерла орудія, вырывалась длинная огненная полоса, въ одномъ изъ домовъ таялъ клубочекъ дыма, брызгами разлетались осколки, валились кирпичи, чернѣя зіяли бреши и мертво глядѣли провалы вмѣсто оконъ.

Подъ нашимъ поломъ раздался гулъ. Густое облако зеленоватаго дыма проплыло, относимое вѣтромъ, заслонивъ на секунду все, мимо окна. Подъ нами въ квартиру четвертаго этажа попала граната.

Какъ сумасшедшій, я кинулся, уже не соблюдая никакихъ предосторожностей, схватилъ мальчиковъ и бѣгомъ бросился по коридору. За мной бѣжали хозяева съ дѣтьми, прислуга. Пули то и дѣло чѣкали, и сыпалась штукатурка. Надо было сбѣжать по громадной, проходящей всѣ пять этажей, лѣстницѣ. Сквозныя окна, освѣщавшія ее, были пестры отъ пулевыхъ дырокъ. Громадные огни орудійныхъ выстрѣловъ, вспыхивавшіе на мосту, мелькали въ глазахъ. Изъ всѣхъ дверей квартиръ выскакивали полуодѣтые, трясущіеся люди и бѣжали внизъ. Дѣти, старики, женщины, мужчины— все смѣшалось въ живомъ потокѣ.

Мальчики крѣпко обвивали мою шею, и я каждую секунду ждалъ, что эти ручонки разомъ обмякнутъ, и тѣлце безжизненно обвиснетъ у меня на рукахъ. Не разбирая ступеней, бѣшено мчался внизъ, мелькая мимо безмолвно и страшно глядѣвшихъ оконъ. Послѣдняя площадка гдѣ-то далеко терялась внизу. Ноги подкашивались, стучало въ вискахъ.

Наконецъ, выскочилъ во дворъ и облегченно вздохнулъ: дворъ былъ закрытъ зданіями и заборами. Но пришлось и отсюда бѣжать—пули шуршали, дымясь свѣжкомъ, по землѣ, по грудѣ угля, наваленнаго у забора. На обывателя охотились съ каланчи. Я вбѣжалъ, съ мальчиками на рукахъ, въ подвальное помѣщеніе.

Было темновато и сыро и пахло мышами. Смутно видѣлись силуэты сидѣвшихъ, стоявшихъ, прохаживавшихся людей. Звуки выстрѣловъ глухо доносились сюда. Страшная, никогда неиспытанная усталость овладѣла, руки и ноги отваливались. Я сѣлъ на какой-то ящикъ. Надо было собраться съ мыслями.

— Ня-ня!...—капризно протянулъ маленькій.

— Тсс... тсс...—испуганно прошептала какая-то женщина, бросаясь къ ребенку и зажимая ему ротъ.

Всѣ говорили шопотомъ, ходили на цыпочкахъ, какъ будто въ домѣ былъ покойникъ, и какъ будто это отъ чего-то могло спасти.

Въ самомъ дѣлѣ, гдѣ же старуха? Она или убита, или забѣжала въ подвалъ другого корпуса.

Среди шопота слышалось:

— О-о, Господи, за что наказуешь...

Такимъ же придуреннымъ шопотомъ кто-то молился въ углу, и доносилось урывками:

— Боже правый... Боже всеильный... въ твоихъ руцѣхъ... избави и помилуй... отъ глада, труса и напествія иноплеменниковъ....

— Если разрушать верхніе этажи, обвалятся, и насъ тутъ раздавить...

Кто-то поднялся и сталъ шупать руками своды.

— Крѣпко.

— Да еще балки желѣзныя, пять домовъ выдержитъ.

— Да-а, выдержитъ!... если бъ люди строили, а то подрядчики...

— Не знали, что вы тутъ будете сидѣть, а то бы прочно выстроили.

Въ другомъ отдѣленіи чернѣла громадная печь центрального отопленія. Изъ-подъ колосниковъ дрожа ложились на земляной полъ красныя полосы. Приходили и, протягивая, грѣли руки.

На кучкѣ угля, сливаясь съ темнотой, сидѣлъ кочегаръ, угрюмый и черный. Онъ былъ изъ Тульской губерніи, ходилъ безъ мѣста, и его изъ милости пріютилъ управляющій. Онъ помогалъ около печки, и за это ему давали ночлегъ и кормили.

— Что, Иванъ, страшно?

— Все одно,—угрюмо послышалось изъ темноты.

— А какъ убьютъ?

— И убьютъ, не откажешься.

И, помолчавъ, прибавилъ:

— Насъ давно убиваютъ, не въ диковину.

— Какъ?

— А такъ. У меня въ семействѣ, опричь меня съ женой, было восьмеро дѣтей, а теперь—двое.

— Куда же тѣ?

— Померли... съ голоду... голодная губернія.

Опять въ темнотѣ постояло молчаніе. Дрожали красныя полосы, и выскакивали, прыгая, раскаленные добѣла угольки. Всѣ незамѣтно ушли въ другое отдѣленіе. И мнѣ вспомнилось, какъ бѣжалъ я по лѣстницѣ, прижимая ребятъ. И этотъ человѣкъ также прижималъ своихъ дѣтей, и у одного за другимъ разжимались у нихъ руки, и обвисало исхудалое изможденное тѣльце.

Я вышелъ, перебѣжалъ подъ пулями дворъ и сталъ подыматься по лѣстницѣ къ себѣ на квартиру: надо было достать мальчикамъ потеплѣе одежду,—въ подвалѣ было сыро.

Хрустя штукатуркой по полу въ пустыхъ комнатахъ, я прижался къ стѣнѣ и глянулъ въ окно внизъ.

Тамъ, гдѣ еще часъ тому назадъ стояли громадныя

дома, полные дѣтей, женщинъ, полные труда заботъ и жизни, бушевало море огня.

Въ раскаленныхъ окнахъ, среди ослѣпительно-струящагося свѣта, безумно прыгало, металось, кроваво кивало острыми головами, хитро высывалось и пряталось что-то неуловимо-призрачное, и дрожа мелькали, появляясь и исчезая, свѣтлыя одежды. И столько было въ этомъ необузданнаго, мелькающаго, змѣино-хитраго, что я иногда съ ужасомъ видѣлъ живыя существа. Торопливо, безумно - весело играли въ таинственно-непонятную игру, и продолжалась необузданно-дикая пляска.

Временами въ раскаленной атмосферѣ разверзались черные провалы, и оттуда глядѣли обуглившіяся балки, и змѣились перебѣгавшія искорки добѣла накаленного желѣза.

Это веселье и движеніе было мертво.

Огонь бушевалъ, пожирая цѣлый рядъ домовъ. На другой сторонѣ тоже горѣло. За Средней Прѣсней подымался колоссальный столбъ дыма. Дома загорались разомъ во многихъ мѣстахъ. Изъ всѣхъ оконъ, дверей необыкновенно дружно выбивался дымъ, клубясь и застилая. Десятки языковъ со всѣхъ сторонъ лизали стѣны, крышу. Слышался трескъ, шорохъ, несло дымъ и искры. За Прѣсенскимъ мостомъ море пожара. Крыши обрушивались, и уцѣлѣвшія, почернѣлыя трубы, какъ призраки разрушенія, высились среди дыма и пламени.

Было что-то громадное, что-то непередаваемое, противоестественное. Было разрушеніе города.

Я оцѣпенѣло глядѣлъ на совершающееся, какъ сухой мгновенный звукъ цоканья заставилъ вздрогнуть: пуля, пробивъ стекло, расщепляя дерево, пронизала двѣ двери, и пропала въ стѣнѣ другой квартиры. Надо было уходить. Я взглянулъ въ послѣдній разъ

внизъ и не могъ оторваться. У бушующихъ пожаромъ зданій бѣгали торопливыя фигуры.

Они прибѣгали откуда-то, молитвенно поднося руки вверхъ, подбѣгали къ загорающемуся дому, бросались впередъ головой, и въ клубахъ густо-валившаго изъ окна дыма воровато мелькали ноги.

Нѣсколько секундъ тянулись мучительно-медленно. Въ окнахъ молча крутился черный дымъ. Потомъ разомъ появлялась опаленная голова и вся закопченная фигура. Отбѣжавъ нѣсколько шаговъ, задымленный человѣкъ, ловко вышибая ударомъ въ дно ладонью пробку изъ сотки или полубутылки и далеко запрокинувъ голову, торопливо лилъ дрожащей рукой въ ротъ весело колеблющуюся, кроваво искрящуюся на огнѣ водку. Горѣла казенная винная лавка.

А кругомъ рѣяли пули, гудѣлъ пожаръ, лопались стѣны, проваливались крыши.

V.

Въ подвалѣ попрежнему стоялъ гнетущій шопоть. Пробравшаяся сюда няня рассказывала дѣтямъ сказки.

— Вотъ сѣрый волкъ и говоритъ Ивану-царевичу: Иванъ-царевичъ, садись ты на меня, понесу я тебя черезъ луга и лѣса, черезъ горы и дубравы, черезъ моря и рѣки...

Дѣтскіе глазенки широко глядятъ на морщинистое лицо.

— Няня, ты чего плачешь?

— Боже мой, неужели мы не выберемся отсюда, — шопотомъ, полнымъ слезъ и отчаянія, говоритъ больная, неподвижно лежа на кровати.

— Не волнуйся, дорогая... тебѣ такъ вредно волноваться, — говоритъ, наклоняясь у изголовья, братъ.

— Вредно волноваться, — горько усмѣхается она.

Глухо доносятся теперь гдѣ-то дальше выстрѣлы передвину

— А сѣрый волкъ откинулъ полѣно и пустился скокомъ...

— Что такое полѣно?—звенить тоненькій голосокъ.

— Тише. Это волчій хвостъ.

Никто ничего не ѣлъ. Дѣтей поятъ холоднымъ чаемъ.

— Нѣтъ, это невозможно. Надо же отсюда выбраться.

— Да вотъ подите и узнайте.

— Куда же я пойду, стрѣляютъ... подите вы.

— Я бы пошелъ, да вѣдь... дѣти. Что они будутъ дѣлать вдругъ... понимаете...

— Я бы тоже пошелъ, мать у меня... въ Тулѣ... единственный кормилецъ...

— Надо дворника. Яковъ!

— Чего изволите?

— Сходи, узнай, можно намъ отсюда выбраться.

Всѣ дружно накидываются на дворника:

— Вѣдь это же невозможно...

— Не сидѣть же намъ тутъ, пока разстрѣляютъ или сожгутъ...

— Чортъ знаетъ, что такое... надо же мѣры принять... чего же ты ждешь?...

Дворникъ уходитъ.

— А я вотъ что скажу,—слышится глухой ровный голосъ,—я вотъ что скажу, пожаръ подбирается и къ намъ...

— Ахъ, оставьте, оставьте, пожалуйста... терпѣть не могу, когда начинаютъ...

— Какой тамъ пожаръ?... куда подбирается?... за десять верстъ отъ насъ...

— Слава тебѣ, Господи, нашъ домъ громадный, кирпичный и стоитъ отдѣльно...

— Вы—вѣчно!...

Его ненавидятъ. А онъ, помолчавъ, такъ же ровно и глухо говоритъ:

— Отдѣльно!... а вѣдь заборы-то тянутся къ нашему.

А возлѣ забора у насъ, сами знаете, какая громада угля... загорится, косяки, двери, полы начнутъ горѣть... а то кирпичный!... ну, а тогда не выскочишь, ходъ-то одинъ, мимо угля, а полѣземъ въ окна въ переулокъ, въ первую голову разстрѣляютъ, сами понимаете...

Всѣ понимаютъ, онъ говоритъ правду, но его продолжаютъ ненавидѣть, отворачиваются, перестаютъ говорить.

Входить человекъ въ картузъ и фартукъ.

— Вы кто такой?

— Приказчикъ изъ мелочной лавки.

— А-а, это которая говорить... Отъ гранаты загорѣлась?

— Отъ гранаты!—злобно говорить приказчикъ,—отъ гранаты бы не загорѣлась. Ни одинъ домъ отъ гранаты не загорѣлся. Послѣ стрѣльбы, когда весь кварталъ очистили отъ дружинниковъ, пришли солдаты. Ну, мы обрадовались, значить, успокоилось все. Входитъ офицеръ и говоритъ: „уходите всѣ изъ дому“. Мы ротъ раскрыли.—„Уходите сейчасъ, жечь будемъ“. Стали просить. „Некогда намъ дожидаться, сейчасъ же уходите“. Насилу хозяинъ на колѣняхъ умолилъ, четыре ящика товару позволили взять. Солдаты сейчасъ же облили керосиномъ и зажгли въ пяти мѣстахъ. А сколько квартирантовъ, биткомъ, и у всѣхъ имущество.

Что-то слѣпое, холодное и липкое заползало, постепенно наполняя подвалъ... Точно чудовище съ громаднымъ, мокрымъ, тяжелымъ брюхомъ улеглось и бессмысленно глядѣло на насъ невидящими очами, глядѣло безуміемъ жестокости.

— А сейчасъ подожгли домъ съ угла возлѣ васъ, видать вѣтеръ въ ту сторону, ну и подожгли, чтобъ весь порядокъ...

— А-а!!...

У всѣхъ разомъ охрипли голоса.

— Господа... сію минуту... надо завѣсить... вѣдь генераль-губернаторъ... и тише... Ради Бога, тише...

И окна завѣсили, и всѣ ходили на цыпочкахъ, и опять говорили шопотомъ. Стало совсѣмъ темно, только на потолокъ, пробиваясь сквозь щель окна, ложилось отраженіе зарева. И эта кровавая полоса то разгоралась, то блѣднѣла, и всѣ съ замираніемъ слѣдили за ней.

— Да гдѣ же дворникъ?... Боже мой, гдѣ же дворникъ?...—разносился истерическій шопотъ.

— Яковъ, что же ты пропалъ? что жъ ты не узнаешь, когда намъ можно отсюда выбраться?

— Да, узнаешь, подите да узнайте. Я вонъ высунулся, а солдатъ мнѣ отмахнулъ. Я говорю: дозвольте объяснить, а онъ, какъ ахнетъ, такъ уголь у воротъ и скололъ.

Тихій, покладистый и услужливый Яковъ сейчасъ говорить, держать себя свободно и независимо: онъ уже не дворникъ, онъ теперь ровня всѣмъ, кто тутъ есть, ибо подвергается одинаковой опасности сгорѣть заживо или быть разстрѣлянъ.

Ночь или день—трудно различить; должно быть, ночь, и полоса на потолокъ становится кровавѣе.

— Да мнѣ одно ведро!...—звонко и дерзко нарушая, какъ искра, темноту, напряженіе и оцѣпенѣлость, раздается среди подавленности, тишины и мертваго шопота мальчишескій голосъ.

— Тссс!... тише!...—шипятъ всѣ, выскакивая и машутъ руками,—тише... ради Создателя, тише!...

Мальчуганъ лѣтъ одиннадцати, краснощекій, съ круглымъ лицомъ, скаля веселые бѣлые зубы, ловко подставляетъ подъ край ведро, и струя, пѣнясь, наполняетъ шумомъ угрюмое помѣщеніе.

Его обступаютъ.

— Да ты откуда?

— А вò, наискосокъ, изъ бѣлаго дома...

— Значить, по улицѣ ходить можно?

— Съ превеликимъ удовольствіемъ... куда угодно.

Разомъ распадается давившая тяжесть, чудовище исчезаетъ. Всѣ шумно, на перебой говорятъ, торопливо и радостно.

— Ну, вотъ я же вамъ говорилъ: не звѣри же они. Съ какой стати они будутъ жечь и разстрѣливать больныхъ, дѣтей, женщинъ... людей совершенно ни къ чему не причастныхъ.

— Слава тебѣ, Господи... слава тебѣ, Царю и Создателю... — безумно-радостно крестится, приподнявшись на локтѣ, больная, поднявъ глаза къ потолку.

Слышатся счастливыя всхлипыванія.

— Дѣти, одѣвайтесь!

— Иванъ Ивановичъ, куда вы мои калоши дѣли?

— Значить, не стрѣляютъ?

— Стрѣляютъ!—весело бросаетъ мальчишка, заворачиваетъ кранъ, и мгновенно наступаетъ мучительная давящая тишина,—двоихъ заразъ подстрѣлили... лупятъ и по переулку, и по улицѣ, и изъ зоологическаго.

— Какъ же... какъ же ты?

— Да хозяинъ кричитъ: чайку хочца, сбѣгай, кричитъ, Ванька, принеси ведро... у насъ водопроводу-ти нѣту, водовозы боятся, не ѣздютъ... а хозяинъ-ти съ хозяйкой въ погребу сидятъ, со страху рябиновку тянутъ, какъ пуговочки... — мальчишка заразительно хохочетъ, подхватываетъ ведро и исчезаетъ.

Снова давящая тишина, снова шопотъ, снова покойникъ въ домѣ. Ребята бѣгаютъ между наваленнымъ хламомъ, ссорятся, плачутъ, смѣются, визжатъ, и взрослые, останавливая, поминутно шипятъ на нихъ.

VI.

— А пожаръ-то больше,—слышится спокойный, ровный, глухой голосъ.

— Да вы откуда знаете?!—злобно и съ ненавистью накидываются на него.

— А вонь!

И всѣ поднимаютъ глаза къ кровавой полоскѣ на потолкѣ. Она яркая. Потомъ понемногу тускнѣть, тускнѣть. И всѣ жадно тянутся къ ней воспаленнымъ, горячечнымъ взоромъ.

— Ну, вотъ видите, тухнетъ.

— Боже мой, неужели же!

— Дѣточки... дорогіе мои... родные мои... вы спасены..

Всѣ поднимаются, и всѣ, даже дѣти, глядятъ въ одно мѣсто на потолкѣ.

— Да это дымомъ заволочло,—угрюмо слышится все тотъ же спокойный, глухой голосъ.

— А-а оставьте!... каркаетъ ворона на свою голову...

Но на потолкѣ становится опять свѣтлѣе, и кровавая полоса, мигая и шевелясь, равнодушно смотритъ, какъ приговоръ.

Всѣ опускаютъ головы. Что-то чудовищное по своей нелѣпости охватываетъ душу. Иногда кажется, все—сонъ, и хочется проснуться. Я гляжу въ полъ и прячу преступную мысль: всѣ сгорятъ, а я останусь съ дѣтьми цѣлы. И я торопливо и безпокойно бѣгаю воображеніемъ по двору, заглядываю въ сарай, за заборы; ищу маленькой дырки, въ которую бы можно пролѣзть. Взять дѣтей и проползти на животъ черезъ зоологическій садъ, но тамъ особенно усердно разстрѣливаютъ и разстрѣляли сегодня служителя, который шелъ кормить звѣрей. Съ другой стороны колышется пожаръ. Но переулку свистятъ пули, выхода нѣтъ.

Я съ усиліемъ дышу стѣсненной грудью. Подымаю голову, встрѣчаюсь съ злобно сверкающими глазами и въ нихъ ловлю ту же прячущуюся мысль: всѣ сгорятъ, а онъ одинъ останется.

— Гм!.. дымкомъ отдастъ...

И хотя его ненавидятъ, ненавидятъ его глухой голосъ, но не возражаютъ, и въ горлѣ у всѣхъ щеко-четъ горечью, а глаза ѣсть. Дыма на самомъ дѣлѣ нѣтъ, такъ какъ вѣтеръ пока клонить его въ другую сторону, но всѣ чувствуютъ его.

Кровавая полоса разгорается. Глухо отдается выстрѣлъ: кого-то еще?.. А тѣ, кого прикалываютъ штыками?... ткнуть въ сердце, другого, третьяго по-порядку, — спокойно и безъ хлопотъ.

Ночь безконечна.

— Который часъ?

— Должно быть, около трехъ.

— Боже мой, еще четыре часа муки!...

Я достаю часы, гляжу, протираю глаза, опять гляжу.

— *Восемь часовъ!*

— Не можетъ быть... не можетъ быть!..—шелестомъ ужаса проносится,—ваши стоятъ...

И изъ всѣхъ кармановъ лѣзутъ часы.

— Восемь...

— Безъ пяти восемь...

— Десять девятого... — подавленно слышится со всѣхъ сторонъ, и всѣ прикладываютъ часы къ уху.

И тогда всѣ замолкаютъ и сидятъ неподвижно, какъ каменные. Дѣти въ разнообразныхъ положеніяхъ и въ разныхъ мѣстахъ спать.

Всѣ молчатъ, но подвалъ полонъ странныхъ, шепчущихъ звуковъ, шороха, безпокойнаго и трепетнаго, тревожнаго потрескиванія. Разгорающійся пожаръ ведетъ свой собственный разговоръ, и шипѣніе, трескъ дерева, звуки осыпающихся кирпичей воровски вползаютъ, приглушенные, придавленные тяжелыми сводами, толстыми стѣнами, наполняя глухую темноту тревожнымъ ропотомъ отчаянія и тоски.

Слышатся чьи-то всхлипыванія, подавляемые рыданія. Больше, больше. Вырываются неудержимо, за-

полняютъ подвалъ, подавляя стоящій въ немъ шорохъ и шопотъ. Молодая женщина упала на колѣни, спря-тала лицо въ ладони, рыдаетъ.

— Зачѣмъ!.. зачѣмъ обманъ?!.. любовь, счастье... но если это для того, чтобъ на твоихъ глазахъ погибли дѣти, не надо, не хочу... не надо счастья... не надо обмана... не хочу!..

Рыданія неудержимо бьютъ ее. Всѣ молчатъ. Ни у кого не находится слова утѣшенія. Каждому мучительно жалко самого себя. Грозно рдѣетъ кровавый потолокъ.

А время остановилось, остановилась ночь, остановилась мысль, только тѣсный кругъ однихъ и тѣхъ же ощущеній устало давить душу.

VII.

— Они пришли!.. они пришли!!...—изступленно не-сется истерическій крикъ.

Всѣ вскакиваютъ съ изуродованными страхомъ лицами, готовые на самое худшее.

— Кто?!... солдаты?.. артиллерія?.. разстрѣль?..

— Они пришли... они пришли...

— Да кто?.. кто?..

Ее злобно трясутъ за плечи, а она бьется въ судорожной истерикѣ...

— Кто же? кто? говорите!...

— Они... пожарные...

— Тушатъ пожаръ?!..

— Нѣтъ... разбираютъ заборы, которые тянутся къ намъ... насъ не хотятъ жечь...

Всеобщая истерика заполняетъ подвалъ. Женщины на колѣняхъ ползутъ въ уголъ, гдѣ, по предположеніямъ, икона, крестятся, хохочутъ, обнимаютъ другъ друга, цѣлуютъ дѣтей. Проснувшіяся, перепуганныя дѣти отчаянно режутъ. Я выскакиваю въ кочегарку.

Печь почти потухла. Иванъ полудремлетъ, присол-

нившись къ углю—для него все равно. Публика понемногу успокаивается. Всѣ ходятъ съ радостными, улыбающимися лицами, пожимаютъ руки, говорятъ громко. Всѣмъ жалко другъ друга, всѣ любятъ другъ друга. Ночь быстро проходить. Уже десять... Половина одиннадцатаго...

Хочется спать, и чувствуешь, какъ сладко, какъ крѣпко заснулъ бы, но негдѣ прилечь: все занято. Дѣтишки понемногу уgomонились. Красная полоса рдѣетъ на потолкѣ, но на нее никто не обращаетъ вниманія.

— А знаете ли, — слышится глухой голосъ, — я бы убрался по-добру, по-здорову, по крайней мѣрѣ воспользовался бы мирнымъ настроеніемъ и вывелъ бы женщинъ и дѣтей... Вѣрнѣе было бы...

Но ему прощаютъ, даже и его теперь любятъ.

— Зачѣмъ же, — говорятъ ему мягко и въ этой мягкости слышится: „что съ васъ возьмешь? законъ вамъ не писанъ“, — разъ приняли мѣры противъ угрожавшаго намъ пожара, значитъ, находятъ, что въ домѣ сидитъ ни въ чемъ неповинный народъ.

Неодолимая усталость охватываетъ. Я ставлю локти на колѣни, кладу голову на руки и отдаюсь полудремотѣ. Иногда мнѣ хочется расхотаться: до того нелѣпо и бессмысленно наше положеніе.

Потомъ мнѣ начинаетъ сниться, безсвязно и запутанно, и я борюсь со сномъ и сновидѣніями, съ усиленіями подымая брови, открываю вѣки, и они опять отяжелѣвшія, незамѣтно падаютъ. И все кажется краснымъ, и въ этой густой, приторной краснотѣ отражаются мохнатая человѣческія лица, слышится кровавый шопотъ разгорающагося пожара, и солдаты трудятся, стараясь всадить въ меня штыки, и штыки заворачиваются о мое тѣло, солдаты торопливо ихъ распрямляютъ и опять всаживаютъ, и я кричу имъ: „скорѣй... скорѣй!“...

И кто-то кричитъ надъ моимъ ухомъ: „скорѣй... скорѣй!“... — и трясетъ меня за плечи. Я открываю глаза: красный потолокъ, въ красноватой полумглѣ головы, руки, ноги, какъ будто оторванныя и лежащія въ безпорядкѣ, и опять закрываю. Но опять трясутъ, я поднимаюсь.

Стоить дворникъ. Лицо тревожное.

— Солдаты... страсть, ихъ сколько... въ окна въ сторожку заглядываютъ... сказываютъ, заразъ разстрѣливать домъ будутъ...

Разбросанныя въ безпорядкѣ руки, ноги, головы шевелятся, отовсюду поднимаются люди съ заспанно-испуганными лицами.

— Что?...

— Кто говорить?..

— Откуда?..

— Уже два часа... а все думаю—я сплю...

— Боже мой, какая долгая, какая мучительная ночь!..

— Да не можетъ быть, за что будутъ разстрѣливать?... заборъ же разобрали...

— За что?.. а за что разстрѣливали цѣлый день?

— Надо кого-нибудь послать...

Всѣ глаза обращаются на обладателя спокойнаго глухого голоса. Онъ подымается и уходитъ. Потомъ приходитъ черезъ минуту.

— Тамъ не солдаты, а звѣри, я думалъ меня посадятъ на штыки...

— Требуйте, чтобы отвели къ офицеру.

Опять уходитъ. Ждемъ. Проходитъ двадцать минутъ, полчаса... Томительное ожиданіе разрастается въ беспокойство. Поминутно лазаютъ за часами.

— Нѣтъ его!...

Прислушиваются къ малѣйшему скрипу, но звука шаговъ нѣтъ. Одна и та же страшная мысль проползаетъ въ мозгу: „убить“...

— Его убили...—слышу я шелестъ надъ своимъ ухомъ,—не говорите только вслухъ...

— Не говорите только вслухъ,—шепчутъ всѣ другъ другу.

И каждый ревниво слѣдитъ въ кровавой полумгль, чтобы не прочитали въ его глазахъ страшной мысли. Больше всего боятся ужаса паники, когда роковое слово будетъ произнесено.

Вотъ шаги. Всѣ съ секунду напряженно вслушиваются. Можетъ быть, солдаты? Онъ.

Бросаются.

— Что?...

— Сказалъ?...

— Будутъ?...

Онъ ровно говорить такимъ же спокойнымъ, глухимъ голосомъ:

— Вывели со двора. Все время штыки на меня. По переулку все освѣщено пожаромъ, ни души... Куда же вы ведете? „Иди“... Мнѣ стало казаться, приколять гдѣ-нибудь у забора. Однимъ больше, однимъ меньше... Сколько такихъ труповъ валяется по Москвѣ. Вывели на улицу. Свѣтло, какъ днемъ. Стоитъ офицеръ. Лица я у него не видалъ, нѣту лица, одни усы, холеные, громадные, смотрять къ бровямъ. Илагаю ему: дѣти, женщины, больные... Онъ стоитъ ко мнѣ спиной. Потомъ небрежно цѣдитъ сквозь зубы: „если завѣсятъ окна, если никто не будетъ подходить къ нимъ, никто не выйдетъ изъ дому, и если... *со стороны дома и двора не раздастся ни одного выстрѣла, мы... не будемъ разстрѣливать*“.

Въ домѣ снова покойникъ. Всѣ расходятся по мѣстамъ. У всѣхъ окостенѣвшія отъ напряженія лица. Отблескъ пожара играетъ, шевелясь и трепетно озаряя, но въ широко и напряженно открытыхъ глазахъ стоитъ глухая тьма. Шорохъ и ропотъ пожара попрежнему придавленно, суетливо и тревожно шепчутся, но въ

ушахъ этихъ страшно прислушивающихся людей—могильная тишина,—одного ждутъ, одно жадно ловятъ: глухой и слабый звукъ рокового выстрѣла, который съ секунды на секунду раздастся тамъ, за стѣной.

Я съ тоской гляжу на ребятъ и ищу глазами мѣсто, куда бы ихъ положить, если начнутъ стрѣлять въ окна. Но тутъ нѣтъ безопаснаго уголка: мостовая въ уровень съ окнами, и пули усѣять все пространство. Теперь выгоднѣе было бы подняться въ верхній этажъ но показаться въ дверяхъ—быть разстрѣляннымъ. Мнѣ опять хочется расхохотаться. Я не гляжу на часы прислоняюсь и засыпаю крѣпкимъ, безъ сновидѣній чернымъ сномъ.

— ... сидитъ, сидитъ за угломъ, гдѣ заборъ сходится съ нашимъ домомъ... тамъ удобно *ему*, не видно...

Этотъ зловѣщій шопотъ входитъ въ мои уши и раскаленными каплями просачивается въ мозгъ. И на меня смотрятъ хитро-злые глаза, подъ хитро-поднятыми бровями, и голое, морщинистое лицо, все перекошенное хитрой и злобной улыбкой.

— ... и онъ ждетъ только, чтобъ помучить насъ.... онъ наслаждается нашими лицами, нашей мукой ожиданія...

— Да зачѣмъ ему?

— ... а! ... хи-хи-хи, какъ же зачѣмъ?... весь черный, обугленный... все сгорѣло: столы, кровати, платье, дѣти, жена... и онъ не можетъ смотрѣть равнодушно на нашихъ дѣтей... гнѣздится тамъ... и...

И въ мои глаза близко-близко впиваются злорадно-сверкающіе зрачки подъ косо-поднятыми бровями и заглядываетъ голое, морщинистое, перекошенное лицо.

— ... и *выстрѣлитъ* два раза въ воздухъ!...

Я страхиваю теребящіе меня за плечи крѣчковатые, костлявые пальцы.

„Настанетъ день, и все кончится, и все будетъ по-прежнему, но останется безуміе“...

Никогда не встрѣчалъ я съ такимъ ужасомъ счастья брезжущій день, какъ теперь. Я вскочилъ и торопливо одѣлъ дѣтей.

— Ну, что, можно уходить?—съ замираніемъ спросилъ я, прислушиваясь къ одиночнымъ выстрѣламъ.

— Конечно, ручаться нельзя...—говорить дворникъ,—руки только кверху, и сразу надо... никакъ опять начинаютъ...

Я схватываю за руки мальчиковъ и выскакиваю изъ подвала. Видъ обугленного пожараща и разрушенія поражаетъ.

Прокаленный морозъ перехватываетъ дыханіе. Маленькій зѣваетъ, какъ вытащенная рыба, задыхаясь и выпучивъ глаза, и изъ всѣхъ силъ бѣжитъ рядомъ, торопливо сѣменя ножками.

— Папа,—говоритъ старшій, испуганно озираясь, и также бѣжитъ рысцой возлѣ меня,—въ насъ выстрѣлять?

— Нѣтъ, нѣтъ... только скорѣй... скорѣй, дѣтки... скорѣй... скорѣй, пожалуйста!...

Въ заборъ сухо плюхаетъ шальная пуля. Я каждую секунду жду сзади залпа. Раздражающе звонко хруститъ снѣгъ.

— Скорѣе... скорѣе до угла... до угла скорѣе!...

Осталось пятнадцать... десять... пять шаговъ... мы добѣжали, мы заворачиваемъ, мы... спасены!...

Москва.

8—18-го декабря 1905 г.

А. ЛУКЪЯНОВЪ.

СЛѢПЦЫ И БЕЗУМЦЫ...

Слѣпцы и безумцы! Насильемъ владѣя,
Людей вы хотите въ крови утопить,
Но ярко, какъ солнце, сіяетъ идея —

И ей суждено побѣдить!

Слѣпцы и безумцы! За ней миллионы
Возставшихъ изъ мрака горящихъ сердець...
Не радуйтесь, слыша предсмертные стоны,
Не радуйтесь, видя кровавый вѣнецъ!
Не скрыть вамъ мертвящаго, жуткаго страха,
Проникшаго въ души, какъ холодъ могилъ,—
Страшна палачамъ обагренная плаха:
Тамъ головы пали, но духъ побѣдилъ!
Слѣпцы и безумцы! Копайте могилы,
Копайте глубокія ямы себѣ,
Въ крови зарождаются мстящія силы,
Онѣ поразятъ васъ въ послѣдней борьбѣ!
Что міру вы дали: и смерть, и насилье,
Жестокое, черное рабство вѣковъ,
И вамъ недоступны могучія крылья
Великой идеи — творенья рабовъ!
Слѣпцы и безумцы! Вамъ темя сжимаетъ
Позорной побѣды кровавый вѣнецъ,
И васъ, побѣдителей, въ бездну толкаетъ
Живой и мертвецъ!

ЛУИДЖИ МЕРКАНТИНИ.

ГИМНЪ ГАРИБАЛЬДІЙЦЕВЪ.

СЪ ИТАЛЪЯНСКАГО.

Переводъ А. Қолтоновекаго.

Примѣчаніе. Этотъ популярнѣйшій изъ итальянскихъ политическихъ гимновъ, извѣстный въ самыхъ захудалыхъ и глухихъ деревушкахъ Италіи, написанъ по просьбѣ Гарибальди для его добровольцевъ поэтомъ-патріотомъ Лунджи Меркантини. Сначала онъ состоялъ только изъ первыхъ 8 строфъ, написанныхъ въ концѣ декабря 1858 года (тогда же гимнъ положенъ на музыку Алессіо Оливьері). Остальныя 4 строфы Меркантини прибавилъ въ 1860 году. Исторія происхожденія гимна разсказана въ „Rassegna“, отъ 12 іюня 1882 года.

А. К.

Раскрылись могилы, и мертвые встали—
Всѣ братья, что въ мукахъ за родину пали:
Съ мечами въ рукахъ, въ ореолѣ лавровомъ
И съ огненнымъ словомъ:
„Отчизна“—въ сердцахъ.

Впередъ! Развернитесь, ряды молодые!
Впередъ! Загremите, дoспѣхи стальные!
Впередъ! Развѣвайся, побѣдное знамя!
Италіи пламя—
Въ сердцахъ и въ очахъ!

Уйди, чужеземецъ!
Дни ига прошли!
Уйди, чужеземецъ,
Изъ нашей земли!

Страна мандолины, цвѣтовъ, пѣснопѣній
Пусть будетъ, какъ прежде, страною сраженій!
Ей руки тяжелая цѣпь изъязвила,
Но есть еще сила—
Ту цѣпь разорвать!

Ярмо не къ лицу ей, наслѣдницѣ Рима,
И вражья нагайка свистить уже мимо!
Италія больше тирановъ не хочетъ!
Гнѣвъ долго клокочетъ,—
Довольно молчать!

Уйди, чужеземецъ!
Дни ига прошли!
Уйди, чужеземецъ,
Изъ нашей земли!

* *
*

Ты занялъ жилища въ чужомъ тебѣ краѣ;
Оставь ихъ,—твой тебя ждуть на Дунаѣ!
Ты нивы намъ топчешь, ты хлѣбъ расхищаешь,
Дѣтей отнимаешь...
Оставь—не дадимъ!

Два моря и Альпы—вотъ наши границы:
Мы огненнымъ вихремъ своей колесницы
Прорвемъ Апеннины,—и, сбивши чужое,
Мы знамя родное
Вездѣ водрузимъ!

Уйди, чужеземецъ!
Дни ига прошли!
Уйди, чужеземецъ,
Изъ нашей земли!

* *
*

Готовые къ бою, мы словъ не проронимъ,
Но, прямо ударивъ, врага мы прогонимъ,—
Лишь станетъ Италія мыслью одною,
Одною мечтою
Для всѣхъ навсегда...

Но мало побѣды надъ вражескимъ строимъ:
Мы хищникамъ двери въ отчизну закроемъ!
И всѣ въ ней народы въ единый сольются,
Въ единый сомкнутся
Союзъ—города!..

Уйди, чужеземецъ!
Дни ига прошли!
Уйди, чужеземецъ,
Изъ нашей земли!

* *
*

И если границъ нашихъ недругъ коснется,—
На кличъ: „Гарибальди“ страна всколыхнется...
Мигъ—тысячи встали, отъ края до края,
Душою пылая,
Оружьемъ звеня!

За гвардіей красной—сомкнулась пѣхота..
Взвились вымпела итальянскаго флота...
И тамъ, гдѣ оставилъ слѣдъ крови воитель,
Король-Побѣдитель
Пришпорилъ коня...

Уйди, чужеземецъ!
Дни ига прошли!
Уйди, чужеземецъ,
Изъ нашей земли!

* *
*

Конецъ твоей спѣси!.. Италіи волей—
Король ея_имя несетъ въ Капитолій;
Владычицѣ, тронъ свой вернувшей изъ плѣна,
И Темза, и Сена
Привѣтствія шлютъ...

Довольная царствомъ до горъ-великановъ,
Она угрожаетъ лишь власти тирановъ:
Гдѣ сдавать свободу ихъ цѣпи и сѣти,—
Туда ея дѣти
Съ оружіемъ пойдутъ!

Уйди, чужеземецъ!
Дни ига прошли!
Уйди, чужеземецъ,
Изъ нашей земли!

СКИТАЛЕЦЪ.

О Г А Р К И.

ТИПЫ РУССКОЙ БОГЕМЫ.

*Посвящается друзьямъ юности моей,
Владимиру Александровичу Альбрехтъ
и Алексю Андреевичу Тиханину.*

Скиталецъ.

Скиталецъ. Огарки.

Право собственности въ Россіи закрѣплено за авторомъ во всѣхъ странахъ, гдѣ это допускается существующими законами.

Гг. переводчиковъ просятъ обращаться за разрѣшеніемъ на переводъ и за справками къ представителю автора, Ив. П. Ладыжникову, по слѣдующему адресу:

*Berlin W, 15, Uhlandstrasse, 145;
„Bühnen-und-Buch-Verlag russischer Autoren
J. Ladyschnikow“.*

I.

Это было въ холерный годъ на Волгѣ. Лѣто стояло сухое, удушливо-знойное. Волга обмелѣла, похудѣла, обнажила отмели и желтыя косы свои, а Жигулевскіе лѣса все время горѣли отъ засухи. Въ горячемъ безоблачномъ небѣ стояла какая-то странная оранжевая мгла, и зловѣщее солнце свѣтило сквозь нее краснымъ шаромъ, словно раскаленное желѣзо. А ночью весь далекій хребетъ лѣсистыхъ горъ за Волгой освѣщался тихимъ спокойнымъ заревомъ пожаровъ, и было что-то жуткое въ ихъ неугасающемъ свѣтѣ, въ ихъ медленности, постоянствѣ и блѣдномъ, скромномъ спокойствіи.

Весь городъ обнимала непривычная, многозначительная тишина. Этотъ прежде шумный, безалаберный городъ, гдѣ всегда на улицахъ было много пьяныхъ, а полудикое мѣстное населеніе оглашало воздухъ визгомъ гармоникки, бранью и воинственными криками уличной драки—этотъ типично-волжскій городъ вдругъ притихъ, отрезвѣлъ и задумался.

Трактиры пустовали, не слышно стало музыки, ругани и пѣсенъ, на улицахъ и на пристани замерло движеніе. Пассажирскіе пароходы попрежнему совершали свои рейсы, но все чаще и чаще подходили къ пристани съ желтымъ флагомъ, означавшимъ, что на пароходѣ не все благополучно, что на немъ ѣдетъ

ЖИТОВЪ.

Нѣтъ, пріятно.

ПЕТЯ.

Зачѣмъ, когда все это умретъ, и вы, и я, и горы.
Зачѣмъ?

(Всѣ разбились на группы. Сер-
гѣй Николаевичъ стоитъ одинъ.)

ВЕРХОВЦЕВЪ

(Маруся, въ восторгѣ).

Повѣсить мало этого Трейча. Ну, *let off digging the mine* и откопалъ Нико-
лай. Ну, Маруся, вѣдь убѣжить, а?

МАРУСЯ (затуманиваясь).

Я другого боюсь...

ВЕРХОВЦЕВЪ.

Чего еще?

МАРУСЯ.

Но—не стоитъ говорить. Пустое.

ВЕРХОВЦЕВЪ.

Да въ чемъ дѣло? О чемъ ты задумалась?

МАРУСЯ

(не отвѣчаетъ; потомъ неожиданно смѣется и поетъ).

Давай улетимъ!

ИННА АЛЕКСАНДРОВНА

(высовывается въ окно).

Орлятки! Обѣдать!

ВЕРХОВЦЕВЪ.

Цынь-цынь-цынь!

МАРУСЯ.

Будемъ пить шампанское! Мамочка, есть?

ГОЛОСА.

Да, да. Шампанское.

ИННА АЛЕКСАНДРОВНА.

Шампанскаго нѣтъ, а киршвассеръ есть.

(Смѣхъ, восклицанія)

СЕРГѢЙ НИКОЛАЕВИЧЪ

(отводитъ Марусю).

Ну, Маруся, я пойду къ себѣ. Я не хочу вамъ мѣшать.

МАРУСЯ.

Нѣтъ, отчего же. Сегодня такъ весело.

СЕРГѢЙ НИКОЛАЕВИЧЪ.

Да. И я хотѣлъ устроить себѣ маленькій праздникъ ради вашего пріѣзда, но—не вышло.

МАРУСЯ.

Пообѣдайте съ нами.

ЛУНЦЪ (кричитъ).

Нужно притащить Поллака. Онъ порядочный человекъ, онъ очень хорошій человекъ. Я иду за нимъ.

ГОЛОСА.

Поллака! Поллака!

СЕРГѢЙ НИКОЛАЕВИЧЪ.

Нѣтъ, обѣдайте безъ меня.

ЖИТОВЪ.

Нѣтъ, пріятно.

ПЕТЯ.

Зачѣмъ, когда все это умретъ, и вы, и я, и горы.
Зачѣмъ?

(Всѣ разбились на группы. Сер-
гѣй Николаевичъ стоитъ одинъ)

ВЕРХОВЦЕВЪ

(Маруся, въ восторгѣ).

Повѣсить мало этого Трейча. Ну, *let off digging the mine* и откопалъ Нико-
лай. Ну, Маруся, вѣдь убѣжить, а?

МАРУСЯ (затуманиваясь).

Я другого боюсь...

ВЕРХОВЦЕВЪ.

Чего еще?

МАРУСЯ.

Но—не стоитъ говорить. Пустое.

ВЕРХОВЦЕВЪ.

Да въ чемъ дѣло? О чемъ ты задумалась?

МАРУСЯ

(не отвѣчаетъ; потомъ неожиданно смѣется и поетъ).

Давай улетимъ!

ИННА АЛЕКСАНДРОВНА

(высовывается въ окно).

Орлятки! Обѣдать!

ВЕРХОВЦЕВЪ.

Цынь-цынь-цыпъ!

МАРУСЯ.

Будемъ пить шампанское! Мамочка, есть?

ГОЛОСА.

Да, да. Шампанское.

ИННА АЛЕКСАНДРОВНА.

Шампанскаго нѣтъ, а киршвассеръ есть.

(Смѣхъ, восклицанія)

СЕРГѢЙ НИКОЛАЕВИЧЪ

(отводитъ Марусю).

Ну, Маруся, я пойду къ себѣ. Я не хочу вамъ мѣшать.

МАРУСЯ.

Нѣтъ, отчего же. Сегодня такъ весело.

СЕРГѢЙ НИКОЛАЕВИЧЪ.

Да. И я хотѣлъ устроить себѣ маленькій праздникъ ради вашего пріѣзда, но—не вышло.

МАРУСЯ.

Пообѣдайте съ нами.

ЛУНЦЪ (кричитъ).

Нужно притащить Поллака. Онъ порядочный человекъ, онъ очень хорошій человекъ. Я иду за нимъ.

ГОЛОСА.

Поллака! Поллака!

СЕРГѢЙ НИКОЛАЕВИЧЪ.

Нѣтъ, обѣдайте безъ меня.

ЖИТОВЪ.

Нѣтъ, пріятно.

ПЕТЯ.

Зачѣмъ, когда все это умереть, и вы, и я, и горы.
Зачѣмъ?

(Всѣ разбились на группы. Сер-
гей Николаевичъ стоитъ одинъ.)

ВЕРХОВЦЕВЪ

(Маруся, въ восторгѣ).

Повѣсить мало этого Трейча. Ну, и откопалъ Нико-
лай. Ну, Маруська, вѣдь убѣжить, а? *left off digging the machine*

МАРУСЯ (затуманиваясь).

Я другого боюсь...

ВЕРХОВЦЕВЪ.

Чего еще?

МАРУСЯ.

Но—не стоитъ говорить. Пустое.

ВЕРХОВЦЕВЪ.

Да въ чемъ дѣло? О чемъ ты задумалась?

МАРУСЯ

(не отвѣчаетъ; потомъ неожиданно смѣется и поетъ).

Давай улетимъ!

ИННА АЛЕКСАНДРОВНА

(высовывается въ окно).

Орлятки! Обѣдать!

ВЕРХОВЦЕВЪ.

Цыпъ-цыпъ-цыпъ!

МАРУСЯ.

Будемъ пить шампанское! Мамочка, есть?

ГОЛОСА.

Да, да. Шампанское.

ИННА АЛЕКСАНДРОВНА.

Шампанскаго нѣтъ, а киршвассеръ есть.

(Смѣхъ, восклицанія)

СЕРГѢЙ НИКОЛАЕВИЧЪ

(отводитъ Марусю).

Ну, Маруся, я пойду къ себѣ. Я не хочу вамъ мѣшать.

МАРУСЯ.

Нѣтъ, отчего же. Сегодня такъ весело.

СЕРГѢЙ НИКОЛАЕВИЧЪ.

Да. И я хотѣлъ устроить себѣ маленькій праздникъ ради вашего пріѣзда, но—не вышло.

МАРУСЯ.

Пообѣдайте съ нами.

ЛУНЦЪ (кричитъ).

Нужно притащить Поллака. Онъ порядочный человѣкъ, онъ очень хорошій человѣкъ. Я иду за нимъ.

ГОЛОСА.

Поллака! Поллака!

СЕРГѢЙ НИКОЛАЕВИЧЪ.

Нѣтъ, обѣдайте безъ меня.

Фигура, пошатываясь, ввалилась, оглушительно растянула мѣхи гармоніи и запѣла:

Дри-та, дри-та, дри-та, дри-та...
Попѣ любилъ архимандрита...

— Санька! не безобразь!—крикнула на него старуха. Огарки смѣялись.

Санька шумно сомкнулъ гармонію, поставилъ ее у порога и, ударивъ себя въ грудь, сорвалъ съ головы фуражку, склонилъ голову и воскликнулъ, обращаясь къ хозяйкѣ:

— Мать! осужденъ! прости!

Онъ совсѣмъ не былъ пьянъ, но куражился.

Его лицо, костюмъ и манеры—все обличало въ немъ плебейское воспитаніе, и почти ничто не говорило о студентѣ, кромѣ развѣ умныхъ глазъ, которые какъ бы смѣялись надъ нимъ самимъ, надъ его ломаньемъ и куражемъ, но куражу этому онъ отдавался все-таки съ видимымъ удовольствіемъ.

Онъ повернулся къ товарищамъ, и озорной взглядъ его почему-то упалъ на Новгородца.

— Эй, Новгородецъ!—возопилъ Сашка, уперевъ руки въ бока:—толстоголовый чортъ! такали-такали, да Новгородъ-то и протакали, дьяволы! А?

Новгородецъ обидѣлся.

— Не трогай Новгородъ-то!—„верховымъ“ тотокающимъ говоромъ возразилъ онъ, вскочивъ и ударивъ по столу костлявой рукой:—оставь Новгородъ-то въ покоѣ, горчица ты самарская-то, лѣзешь-то въ глаза-то!

— Ну, затотокалъ!—смѣясь, гудѣли огарки.

Толстый ласково посмотрѣлъ на Новгородца инѣжнымъ голосомъ, выразительно, съ разстановкой поддразнилъ:

— Ин-дю-чекъ! не хорохорься!

„Индючекъ“ отвѣтилъ замѣчательно мѣткимъ, злымъ ругательствомъ, что вызвало всеобщій огарческій хохотъ и вполне удовлетворило Новгородца. Онъ разсмѣялся и успокоился.

— Ну, съ нами Богъ и святая Софія!—воскликнулъ Толстый:—такъ кричали новгородцы, когда спросонья, пьяные, въ однѣхъ рубашкахъ и безъ штановъ бросались въ бой. Мы же сядемъ въ префектуру, но зная свое будемъ держать твердо! Павлиха! Благослови!

Толстый и Сашка встали въ рядъ передъ Павлихой и, отирая притворныя слезы, повторяли:

— Прощай, родимая!

— Не поминай насъ лихомъ!

— Богъ проститъ!—смѣясь отвѣчала Павлиха.

— Карты намъ дай! картами снабди насъ: по носамъ въ префектурѣ дуться будемъ.

Огарки хохотали.

— Завтра, какъ проснемся—въ префектуру!

— Сначала въ пивную!—поправлялъ Сашка Толстаго.

— И откуда ты это, Саша, нынче такой веселый?—смѣялась Павлиха.

Сашка присѣлъ къ столу на скрипѣвшій стулъ базарной работы, развалился и, закуривая „собачью ногу“, отвѣтилъ:

— Заработалъ. Сегодня экзамены въ реальномъ по математикѣ. Ну, значить, ученики-то мои, купеческіе сынки, вострепетали: „помози!“—а я имъ: „давъ сюды по пятнадцати ликовъ съ рыла, три лика другу-сторожу, а пива безъ обозначенія, сколько выпьемъ!“

Огарки смѣялись.

— Ну, они было торговаться. Я осерчалъ: „не умѣете учиться, такъ умѣйте хоть платить! Коли дорого—не надо!“ Заплатили. И вотъ засѣлъ я, значить, на углу, въ пивной у Капитошки, противъ реальнаго, пью со сторожемъ пиво и рѣшаю задачи, въ реальномъ экзамены идутъ, а сторожъ въ родѣ какъ безпроводочный телеграфъ!

— Хо-хо-хо!—заржали огарки, заржалъ и Сашка вмѣстѣ съ ними и, чтобы ржать безобразнѣе, нарочно

сдѣлать губы трубой. Потомъ выхватилъ горсть серебра и вновь закуражился, со звономъ разсыпавъ по столу серебряные „лики“, какъ называлъ онъ рубли.

— Да-ка, да-ка сюды деньги-то!—вступилась Павлиха, подбирая со стола монеты:—чево шевыряешься? самъ, чай, знаешь, что всю недѣлю на одной картошкѣ сидимъ, голодаемъ!

— Хо-хо-хо-хо!—грянули голодающіе.

Сашка сгребъ оставшіяся на столѣ деньги въ пригоршни и высыпалъ ихъ всѣ въ передникъ хозяйки. Она, прихрамывая, поплелась въ кухню.

— Ну, теперь у меня вы хоть лобъ расшибите—на водку ни грошика не дамъ!—крикнула она съ порога.

— Хо-хо-хо!—гремѣли огарки.

— Гнусная старушонка!—замѣтилъ Толстый:—деньги копить и въ чулокъ кладетъ,—одинъ чулокъ ужъ полонъ, теперь въ другой начала!..

Гнусная старушонка разсмѣялась и возразила изъ передней:

— Накопишь съ вами! пуще всего! только деньги отдадутъ, какъ и начну-утъ пятіалтынный просить! тѣфу!

— Хо-хо-хо!

— Вотъ разсержусь, да брошу васъ всѣхъ!

— Хо-хо-хо! гдѣ тебѣ бросить! не бросишь! гдѣ ужъ!

— А ежели брошу, какъ тогда станете безъ меня жить-то? пропадете!

— Пропадемъ! хо-хо-хо!

— Что мнѣ отъ васъ?—продолжала, разсердясь, Павлиха:—одно мученье! а я бы у сына могла на спокоѣ жить! почему же это я васъ не брошу?

— Жалко тебѣ насъ, потому и не бросишь! хо-хо-хо!

Павлиха плюнула и ушла.

Огарки долго смѣялись.

— Прижалъ ты богатыхъ-то учениковъ!—сказалъ

Сашкѣ Пискара, на каждомъ словѣ ошибаясь въ удареніяхъ.

— А то какъ же?—удивился Сашка:—такъ и надо: ихъ, богатыхъ-то, при случаѣ очень даже не вредно за жабры взять! они насъ-то, вѣдь, и не такъ еще жмутъ! жмутъ рабочаго, конторщика, служащаго, того же репетитора, всѣхъ! чего же мы-то будемъ съ ними церемониться? Нажмемъ ему на брюшко, чтобы сокъ далъ! очень просто!

— Хо-хо-хо!

— Да еще какъ просто-то, соколъ!—внезапно заговорилъ кузнецъ и всталъ изъ-за стола, сверкая черными глазами: — тутъ вражда ведется съ дѣтства, въ крови она! моя мать была кухарка, а потомъ была кормилицей... Братишку Ванюшку кормить изъ-за нужды не стала, а выкармливала своею грудью одного богатаго щенка... Вотъ я и хаживалъ въ этотъ домъ на кухню. Одинъ разъ даже на елку допущенъ былъ, то-есть такъ—постоять у двери и посмотреть на радость богатыхъ дѣтей... Съ тѣхъ поръ, бывало, какъ встрѣчу котораго-нибудь изъ нихъ на улицѣ—такъ и кинусь лупить... Д-дамъ ему рвачку, а мнѣ, конечно, за это дома порка, а послѣ порки я еще того злѣе луплю ихъ, да такъ и пошло потомъ... на всю жизнь...

— Вотъ она еще откуда антипатія-то ведется!—тонкимъ голосомъ ядовито протянулъ Новгородецъ.

— Классовая борьба!—изрекъ Толстый, расхаживая вдоль всей комнаты и раскуривая длинную трубку.

— Борьба?—возразилъ кузнецъ:—мой отецъ былъ всему городу извѣстный борецъ и кулачный боецъ, никто его не могъ побѣдить — такой былъ соколъ, а богатые слопали! да и я—слава тебѣ Господи... ежели бы въ настоящей борьбѣ... по совѣсти... одинъ-на-одинъ... безъ подлости... а такъ... значить...

Кузнецъ не нашелъ слова и только вытянулъ могу-

чую черную ручищу съ громаднымъ, похожимъ на молоть, кулакомъ.

— Въ честной дракъ!—подсказалъ ему Толстый.

Всѣ сочувственно засмѣялись. Кузнецъ благодушно улыбнулся и, махнувъ рукой, сѣлъ къ столу.

— Эхъ, соколъ!—сказалъ онъ со вздохомъ.

— Въ честной-то, дракъ-то? мы-то? ого!—воинственно воскликнулъ Новгородецъ, потрясая костлявой безсильной рукой.

— Ну, опять затотокалъ?—возразили товарищи.—А кто протокалъ Великій Новгородъ?

Новгородецъ опять пришелъ въ ярость:

— Вы Новгородъ-то не тово... что тамъ Новгородъ? зачѣмъ вамъ Новгородъ?

Толстый ласково посмотрѣлъ на Новгородца и опять затянулъ нѣжнымъ голосомъ:

— Ин-дю-чекъ...

Сашка ударилъ по столу кулакомъ и крикнулъ:

— Эхъ, кабы вся суть была въ дракъ, такъ мы бы первыми людьми стали! Въ прошлый разъ вышло у насъ побоище съ калашниками... я былъ за сапожниковъ... на другой день попадается мнѣ на улицѣ чья-то рожа съ во-о какимъ синячищемъ! я какъ взглянулъ на синякъ, такъ сразу и вижу: нашъ ударъ!

— Хо-хо-хо!

Въ это время на порогѣ уже стоялъ рабочій въ распоясанной промасленной блузѣ, запыленный, съ грязными руками, худой, лѣтъ тридцати, съ продолговатой козлиной бородой и холодными сѣрыми глазами.

— Подайте кто-нибудь умыться!—устало сказалъ онъ пріятнымъ, чистымъ теноромъ.

Изъ угла всталъ Пискра и тутъ же за порогомъ сталъ изъ ковша лить ему воду на руки.

Это былъ Михельсонъ, только что возвратившійся съ завода.

— Эхъ, ты, жисть—потихонечку ложись! еще тише умирай, а не хочешь—удирай!—пѣвуче говорилъ онъ, плескаясь надъ лоханью.

Неизвѣстно, почему онъ звался Михельсономъ,—все въ немъ было русское: мягкія черты лица, прямая козлиная борода, пѣвучій выговоръ и остроумная рѣчь, пересыпанная русскими поговорками.

Скоро онъ вошелъ въ чистой „сарпинковой“ рубахѣ, подпоясанный, умытый и причесанный.

— Ну, и усталъ же!—сказалъ онъ нараспѣвъ:—по субботамъ страсть какъ тяжело работать! Ждешь не дождешься воскресенья, чтобы порѣзвиться хоть!.. А тамъ опять каждый день молотомъ стучать отъ семи утра до семи вечера! всю поясницу разломило! выпить-ба! — впалъ онъ сразу въ жалобный тонъ, завидѣвъ въ глубинѣ дверей Павлиху:—по случаю холеры! а то, вѣдь, заберетъ, проклятущая! Нашъ братъ мастеровой-голубчикъ — что паровой огурчикъ: день цвѣтеть—недѣлю вянетъ!

— Никогда не повѣрю, чтобы меня холера забрала!—рыкнулъ кузнецъ, вытягивая руку и сжимая кулакъ.

— А съ завода нынче увезли одного!—заявилъ Михельсонъ.

— Главное—не нужно измѣнять образа жизни!..—убѣжденно воскликнулъ Сашка:—кто пилъ, тотъ такъ ужъ и пей, не бросай!

Огарки вздохнули.

Въ комнату, ковыляя, вернулась Павлиха. Сашка совершенно неожиданно заключилъ ее въ объятія.

— Да ну тебя!—сердито отбивалась Павлиха.

Она вырвалась и торопливо заковыляла въ кухню.

Но тутъ подвернулся Михельсонъ и загородилъ ей дорогу.

— Ахъ ты, хромой ты нашъ велосипедъ!—воскликнулъ онъ, лѣстиво улыбаясь ей, и взялъ ее за талию.

Старуха вырвалась, но попала прямо въ широкія, могучія объятія Толстаго.

— Другъ ты нашъ сладкій!—заговорилъ онъ воркующимъ голосомъ, низко наклоняясь къ ея морщинистому, добродушному лицу: — кабы ты знала, какъ мы любимъ тебя! ну вотъ, лопни моя утроба, не видать мнѣ ночью солнца, а днемъ мѣсяца, коли мы тебѣ къ именинамъ новое платье не сошьемъ! а какъ намъ еще извѣстно, что за тебя, честную вдову, лавочникъ сватается, то мы и подвѣнечное тебѣ...

— Не умасливай!—перебила Павлиха и не выдержала—разсмѣялась:—не дамъ ни копейки!

Но Толстый еще ниже наклонился и началъ что-то убѣдительно шептать ей на ухо. До слушателей долетѣло слово „чулокъ“.

Легенда о „чулкѣ“ опять разсмѣшила Павлиху.

— Накопишь съ вами! отвязись ты отъ меня, окаянный, демонъ ты искушитель!—говорила она, сдаваясь.

— Дай пятіалтынный!—энергично шепталь ей искушитель.

— У меня мелкихъ нѣтъ!

— Ничего! мы—раз-мѣ-няемъ!

— Знаю я, какъ вы размѣняете!—совсѣмъ уже смягчилась Павлиха, вытаскивая изъ кармана большой кожаный кошель и сребролюбиво роясь въ немъ.

Огарки окружили ее, жадно заглядывая въ Павлихины богатства.

— Я тебѣ пѣсенку спою!—пообѣщаль кто-то.

— Слыхала я ваши пѣсенки! Эхъ вы, пьяницы, пьяницы!—укоризненно качая головой и отдавая пятіалтынный, говорила она:—нѣтъ вамъ ни дна, ни покрышки!

— А ты давай, давай!—сразу перемѣнили тонъ огарки:—нечего раздобарывать! небось и самой-то, старой хавжѣ, выпить хочется! такъ только, для виду

ломается, старая корга! А? Можете себѣ представить, что она дѣлала, когда сынъ ее ханжей назвалъ? Она думала, что это богохульство, плакала, грозила проклясть Андрюшку родительскимъ проклятіемъ навѣки нерушимо, ходила къ попу спрашивать, что такое значить слово „ханжа!“ А?

— Гнусная старушонка!—неблагодарно отозвался Толстый, передавая пятіалтынный Новгородцу и сдѣлавъ ему глазами какой-то знакъ.

Новгородецъ шмыгнулъ въ дверь съ пустой бутылкой подъ мышкой.

— Ну, больше не просите!—заявила съ порога Павлиха:—въ послѣдній разъ дала!

И, удаляясь въ кухню, бормотала:

— И что это я живу съ такими дураками? Уйду, право-слово уйду! вотъ только бы сынъ пріѣхалъ! ужъ мое-то слово—олово!

— Слышали мы это!—безпечно смѣялись огарки:—знаемъ! никуда ты не уйдешь!

Черезъ нѣсколько минутъ Павлиха стала собирать ужинъ. Она накрыла столъ грубой скатертью, подала хлѣбъ, деревянные ложки, поставила тарелки.

— Хоть бы поужинали скорѣе!—говорила она:—все, можетъ быть, вина-то меньше выпьютъ.

Новгородецъ мигомъ принесъ бутылку сивухи самаго низшаго сорта, налитой прямо изъ бочки.

Огарки сѣли ужинать. Смеркалось. Въ подземельи стало совсѣмъ темно. Павлиха внесла и поставила на столъ жестяную лампу.

Въ центрѣ стола сидѣлъ Толстый. Онъ уже снялъ феску и сидѣлъ между огарковъ огромный, съ голымъ широкимъ черепомъ, красивый и сосредоточенный.

— Пи-искра! — сказалъ онъ среди общаго молчанія какимъ-то особеннымъ, тонкимъ голосомъ, словно подчеркивая что-то въ этомъ словѣ.— Писк-ра!... готовъ плюмъ-пуддингъ!...

Пискра молча и покорно, такъ какъ приготовленіе „плюмъ-пуддинга“ было его обязанностью, началъ рѣзать въ тарелку тонкими ломтиками свѣжіе огурцы... Нарѣзавъ, полилъ уксусомъ, обильно посыпалъ солью, посыпалъ перцемъ, пустилъ еще ложку горчицы и, приготовивъ забористый салатъ, поставилъ на столъ для закуски.

Толстый дрожащей отъ нетерпѣнія рукой налилъ водки въ старую свинцовую чарку и, пробормотавъ: „за земледѣліе и промышленность“, выпилъ первый, передалъ чарку сосѣду и аппетитно закусилъ „плюмъ-пуддингомъ“.

Чарка пошла въ круговую.

Пили молча, съ нетерпѣніемъ ожидая очереди, и только вполголоса переговаривались:

— Не задерживай! люди ждуть!

— По душѣ-то какъ будто съ образами прошли!—сказалъ Толстый, прислушиваясь къ ощущеніямъ желудка.

— Какъ Христосъ босикомъ прошелъ!—поддержалъ его Михельсонъ.

— Не задерживай!

— Ворсинки-то въ желудкѣ отъ радости и руками и ногами машутъ!—подѣлился своими ощущеніями Сашка.

Свинчатка совершила два круга.

— Хороша бываетъ настойка на апельсиновыхъ коркахъ!—мечтательно изрекъ Толстый.

— А ты пилъ?

— Пилъ.

— Ну и что же?

— Все равно что въ апельсиновой рошѣ сидишь и пьешь!

— Не задерживай!...

Павлиха принесла огромную глиняную миску щей. Застучали ложки.

Толстый разстегнулъ воротъ рубахи, засучилъ рукава... Видъ пищи волновалъ его.

Онъ ѣлъ вдохновенно, увлекательно, съ какимъ-то сладострастіемъ, однимъ своимъ энергичнымъ видомъ возбуждая у всѣхъ аппетитъ, заставляя поспѣвать за собой.

Но поспѣть было трудно.

Руки его дрожали отъ волненія, глаза возбужденно сверкали, на щекахъ заигралъ румянецъ.

Ложка эгоистично ловила ему весь жиръ съ поверхности щей, обижая остальныхъ огарковъ.

Онъ ѣлъ...

Свинчатка безостановочно ходила вкруговую. Огарки дружно работали ложками и, любясь Толстымъ, посмѣивались надъ нимъ.

— На поправку пошелъ, шельменокъ!

— Инда за ушами ужжить!

— Розовый какой!

— Амуръ!

— И рубашечка на брюшкѣ вздернулась!

Павлиха подала жаркое съ картофелемъ. Толстый молча положилъ себѣ мяса и картофеля на тарелку „конусомъ“.

— Ну, и аппетитъ же у тебя, Илюшка!—невольно изумился кто-то.

— Средній,—отвѣчалъ онъ скромно.

Кузнецъ, сидѣвшій рядомъ съ нимъ, любовно опустилъ на его широкую спину пудовый ударъ смуглаго кулака.

Толстый не обратилъ вниманія.

Онъ ѣлъ.

Всѣ огарки любовались его аппетитомъ, цвѣтущимъ здоровьемъ и красотой.

— Дѣтина!

— Женщины больно любятъ его! даже Павлиха и та все норовить ему лакомый кусочекъ подсунуть!

• — Что новаго на заводѣ?—спросилъ кузнецъ Михельсона.

— Ставили мы нынче гидравлическій прессъ!...— не спѣша отвѣчалъ Михельсонъ, онъ говорилъ—словно пѣлъ:—машина! на заводѣ—тѣснота; хоть бы и еще такое зданіе по количеству машинъ! наладили „тали“—это чѣмъ поднимають тяжести—начали набивать ихъ. Только я обернулся зачѣмъ-то, гляжу—идетъ хозяинъ: такой сытый, тѣло жирное, бѣлое, рассыпчатое, волосы ежикомъ, лобъ—ат-ле-та, а на брюхѣ золотая цѣпь—хоть коня приковывай, на пальцахъ перстни, визитка—словно влитая, только фалды, какъ у щедринскаго героя, отъ умиленья сзади раздвигаются, видъ—важный, какъ есть индюкъ! А у насъ идетъ работа: цѣпи у „талей“ похрустываютъ, десятидюймовый ремень, какъ старикъ кряхтитъ, металлы блестять, прессъ медленно, но вѣрно идетъ въ свое мѣсто. Я покрикиваю: „набивай, молодчики! набивай, родимые! скоро онъ, голубчикъ, начнетъ денежки выжимать! хо-зя-ину! хар-ро-ше-му! да д-доброму!“

— Хо-хо-хо!—прорвало огарковъ.

— Вдругъ—онъ ко мнѣ; поблѣднѣлъ, пыхтитъ, глаза круглые, злые: „т...ты, говоритъ, вотъ что... тово... попридержи языкъ-то... надо дѣло дѣлать, да поскорѣя, а то больно долго возитесь! мнѣ убытокъ!“ У меня—заклокотало. Однако сдержалъ себя и вѣжливо спрашиваю: „вы—что? Иванушка-дурачекъ что ли?“ „То есть, какъ это?“ Глаза вытаращилъ. „Да такъ, говорю, вѣдь это ему можно было: „по шучьему велѣнью, по моему хотѣнью—прессъ! встань передо мной, какъ листъ передъ травой!“ а онъ бы вамъ—бухъ! въ родѣ какъ въ ножки—и готово!“

— Хо-хо-хо!

— А впрочемъ, говорю, если вы можете скорѣе сдѣлать—такъ извольте—честь и мѣсто! работайте сами!—расшаркался передъ нимъ, при этомъ что было въ рукахъ изъ инструментовъ—бросилъ, рабочихъ остановилъ.—Встали мои ребята.

— Здорово!

— Откуда ни возьмись—механикъ: „вы что стоите? пожалуйста продолжайте! время дорого! я васъ прошу...“

— Да мы, молъ, ничево, а это вонъ ихъ степенство недовольны...

Механикъ сейчасъ къ нему:

— Вы ко мнѣ? пожалуйста въ контору!—подхватилъ его таково нѣжненько подъ ручку и увелъ...

— Смикитиль!

— Не песъ, а смыслить!

— Еще бы! а въ конторѣ, говорятъ, вышелъ у нихъ такой разговоръ: „да они у васъ разбойники, нельзя слова сказать,—всякое лыко въ строку! вѣдь я—хозяинъ!“—А механикъ юлитъ: „вы, Николай Михалычъ, не разговаривайте съ ними, вы ко мнѣ обращайтесь, я вамъ все объясню!“—А тотъ: „не надо мнѣ вашего объясненія! я—хозяинъ! могу я распоряжаться, али нѣтъ?“

— Конечно, конечно, только вы ихъ не знаете...

— Знаю! рвань! голъ! туда же съ гоноромъ! вчера думалъ ихъ поощрить: „братцы, говорю, постарайтесь!“ А они окрысились, кричатъ: „попробуй самъ! какіе мы тебѣ братцы? Сѣрый волкъ тебѣ братецъ!“ Сволочи! Это, чай, все больше зачинщики дѣйствуютъ, смутьяны, Михельсонъ да тотъ, черный-то—какъ его? Соколъ, что ли? И прозвище-то разбойничье!

— Не знаю,—отвѣчаетъ механикъ,—который изъ нихъ лучше: два сапога пара и оба на лѣвую ногу!

— Хо-хо-хо!

— Опять попрутъ васъ, голубчиковъ!

— Попрутъ!

— Я въ степь уйду!— съ дикимъ видомъ воскликнулъ кузнецъ:— на молотилку! тамъ воля, просторъ!...

— Послѣ этой передряги, — продолжалъ Михельсонъ, — потянуло меня на воздухъ. Вышелъ я изъ завода на Волгу и не могъ не залюбоваться; представьте: надъ Жигулями облако въ тонъ имъ, раза въ четыре выше горъ, не разберешь ихъ соприкосновенія... слышу, кто-то говоритъ: „эхъ, какъ Жигули-то выросли!“ А наверху бѣлое облачко; какъ будто снѣгъ на вершинѣ, освѣщается все это заходящимъ солнцемъ сквозь розовую дымку тумана, Волга-то тихо течетъ, не шелочнется и совсѣмъ розовая! прелесть! а на нашемъ берегу мотаются, какъ маятники, пять паръ пильщиковъ...

— Это ужъ диссонансъ!—вставилъ Толстый.

— И представилось мнѣ, братцы,—воодушевляясь, продолжалъ Михельсонъ,—будто мы всей нашей фракціей сидимъ за Волгой на лонѣ природы, глаза у всѣхъ горятъ, всѣ на седьмомъ взводѣ и оремъ пѣсни. И происходитъ у насъ такое удивительно пріятное для всѣхъ насъ пьянство!...

— Въ самый бы смакъ теперь Гаврилъ съ икрой пріѣхать! — мучительно вырвалось у Сашки: — брюшко тлѣ пощекотать бы!

— Хо-хо-хо!

— Подоить бы!—подхватилъ Толстый:—чтобы сокъ дала тля!

— Икорки бы надавить!

— Пермешковъ-ба!—мечтали со всѣхъ сторонъ:—пивца-ба!... вишнепочки-ба!...

— Рожна бы вамъ горячаго!—пожелала Павлиха, проходя мимо и унося пустыя тарелки.

— Вѣдьма!—отпарировалъ Толстый.

Въ минуту общаго смѣха на порогѣ подземелья появился высокій и узкій, похожій на фабричную трубу, дѣтина въ длинномъ лѣтнемъ пальто, надѣтомъ поверхъ синей блузы. Лицо у него было маленькое, съ жидкими безцвѣтными усами и съ глубоко сидящими въ орбитахъ, угрюмыми и вмѣстѣ добродушными глазами, смотрѣвшими изъ-подъ низкаго, узкаго лба.

— Вы всегда все только ржете!—укоризненно, резонерскимъ тономъ заговорилъ онъ, вертя въ огромныхъ закоптѣлыхъ рукахъ новый суконный картузь на красной подкладкѣ.

— А-а! Митяга!—шумно загудѣли огарки:—балда царя небеснаго! не хочешь ли выпить съ нами?

Митяга съ нескрываемой брезгливостью сѣлъ на стулъ поодаль отъ огарковъ и, поматывая картузомъ, смотрѣлъ на нихъ угрюмо, враждебно и раздраженно.

— Я не пью!—сказалъ онъ, какъ бы огрызаясь:—да и вамъ бы не велѣлъ! пить—безнравственно и некультурно! а вѣдь вы, если бы захотѣли, могли бы сдѣлаться сознательными личностями... Могли бы даже быть приняты интеллигенціей...

— Балда!—кратко, но увѣсисто вымолвилъ Толстый.

— Арясина!—подхватили другіе:—лошадь! телеграфный столбъ!

Митяга смотрѣлъ на нихъ угрюмо, съ ненавистью.

— А вы не ругайтесь!—возразилъ онъ добродушно и мрачно:—вѣдь я правду вамъ говорю: ничево вы путнаго не дѣлаете! Только у васъ и занятія, что—хо-хо-хо! да го-го-го! На языкъ вы мастера, а на по-вѣрку-то какой отъ васъ толкъ? охальничанье да пьянство—больше ничего! стыдно! Гаврилу, напримѣръ, опиваете! Развѣ порядочные люди такъ дѣлають?

Въ глубинѣ души огаркамъ было, дѣйствительно, немножко стыдно за отсутствіе у нихъ настоящаго, достойнаго ихъ, дѣла и настоящей жизни, было больно и

обидно за что-то, но тѣмъ громче они смѣялись надъ Митягой.

— Молчи, ты!..—презрительно крикнулъ на него Толстый:—вавилонскій кухарь! Что смыслишь ты въ жизни и судьбахъ огарческихъ? Какъ смѣешь являться къ намъ съ твоею пошлою мѣщанской моралью? Жалкій сплетникъ, ты играешь гнусную роль соглядатая и парламентаря между нами и опереточными генералами интеллигенціи! Мы порвали съ ними. Мы, можетъ быть, что-нибудь сдѣлаемъ и безъ нихъ! Мы—выдѣлились въ самостоятельную огарческую фракцію! Мы сами—люди бывалые! Я выгнанъ изъ всѣхъ университетовъ!—гордо закричалъ Толстый...—Я вездѣ держалъ высоко знамя, всегда былъ въ первыхъ рядахъ! попалъ сюда послѣ разгрома Дерптскаго университета! Михельсонъ былъ высланъ на Волгу по этапу, и его привезли въ кандалахъ, извѣденнаго вшами! Мы явились съ волчьими паспортами, безъ копейки денегъ, безъ знакомыхъ въ чужомъ дикомъ городѣ! Кто пришелъ къ намъ на помощь? Никто не пришелъ, кромѣ Павлихи! Интеллигенція насъ не приняла. Интеллигенція насъ оскорбила и оскорбляетъ. Они подвергли насъ ostracismу за то, что мы не захотѣли ей повиноваться, и все-таки въ случаѣ надобности пользуются нами. Они тамъ всѣ только словоизверженіемъ занимаются, а нелегальныхъ личностей—у насъ укрываютъ? безработныхъ—къ намъ присылаютъ? а доступъ къ рабочимъ кто имъ даетъ, какъ не огарки? Мы, конечно, гусиной шеи не дѣлаемъ, мы сидимъ здѣсь, какъ греки подъ березой, но, вѣдь, на то мы и огарки, а вотъ имъ-то какое дѣло до насъ? зачѣмъ они присылаютъ тебя подглядывать за нами? руководители! кто изъ этихъ болтуновъ дѣлаетъ хоть что-нибудь дѣйствительно важное? неужели Лось? или Васька Слюнтяй? или, можетъ быть, Таинственный Викентій—эта тириликалка, пустая бала-лайка, гнусная помѣсь обезьяны съ канарейкой?

Огарки захохотали.

— Ну, и чортъ!—восхитился Михельсонъ:—слово скажетъ—какъ подзатыльникъ дастъ!

Толстый сидѣлъ на стулѣ посреди комнаты въ картинной позѣ, и лицо его во время этой тирады выражало уничтожающее презрѣніе.

Митяга сталъ еще мрачнѣе отъ ѣдкихъ словъ Толстаго. Онъ долго моталъ картузомъ и, наконецъ, вымолвилъ:

— А все-таки вы безпутный народъ. Ничего не дѣлаете.

— Да ты-то что дѣлаешь, Митька?—хоромъ огрызнулись огарки.

— Я?—глухо возразилъ машинистъ, поднимая голову и обводя своихъ враговъ тяжелымъ взглядомъ:—я какъ пріѣзжаю съ поѣздомъ, вывернется у меня три дня свободныхъ—сейчасъ за книгу залагу и читаю. Да, я основательныя книги читаю, не какую-нибудь беллетристику: я читаю, напримѣръ, Дарвина, Спенсера, Бокля, Маркса... тяжелыя это книги для пониманія, ну, а я упрямя, хочу-таки ихъ понять...

— Поймешь ли, Митя? смотри не надорвись!

— Пойму!—отвѣчалъ Митяга, угрюмо глядя передъ собой.

— А потомъ что будешь дѣлать, когда поймешь?

— Потомъ... накоплю денегъ... я уже и теперь коплю ихъ... двѣсти рублей отложилъ ужъ... и поѣду за границу... поступлю тамъ въ университетъ...

Огарки были озадачены.

— Да зачѣмъ тебѣ учиться?—спросилъ Толстый.

— А что?

— Да не лучше ли тебѣ, Митя, жениться?

— Тьфу!—плюнулъ Митяга.

— Онъ у нихъ самый умный!—донимали его огарки.

— Предсѣдателемъ выбрали!—съ важнымъ видомъ

заявилъ Толстый, расхаживая по комнатамъ и шлепая обрѣсками отъ сапоговъ.

— Ну-у?

— Какъ же! и ключи у него!

— Какіе ключи?

— Отъ исполнительнаго комитета!

— Хо-хо-хо-хо!

— Совсѣмъ напрасно смѣтается надъ чтеніемъ, — мрачно возразилъ Митяга. — Какъ вамъ знать? Можетъ быть, я ихъ и пойму все-таки, книги-то? тогда и видно будетъ, что надо дѣлать! А тебѣ бы и совсѣмъ стыдно смѣяться! — обратился онъ къ Толстому; — ты во всѣхъ университетахъ учился!..

— Я не только въ университетахъ! — серьезно заговорилъ Толстый: — я вездѣ учился... во всей жизни... Я и въ казенной палатѣ начальникомъ былъ и мальтійскій крестъ за это имѣю!.. А потомъ — въ опереткѣ пѣлъ!

— Неужто? — заинтересовался Митяга: — неужто и въ актерахъ былъ?

— Былъ.

— Отъ этого ты и брѣшешься по-актерски?

— Отъ этого самаго.

— А мальтійскій крестъ отчего ты получилъ?

— Оттого, что я — мальтійскій рыцарь!

— Ну, диво!.. а въ опереткѣ какія ты роли игралъ?

— Всякія!.. — небрежно отвѣтилъ Толстый: — игралъ ко-ро-лей...

— Ну?

— Ду-ра-ковъ... — тянулъ Толстый, въ упоръ смотря на Митягу.

— Ну, а въ какихъ же ты опереткахъ участвовалъ?

— Да много... Вотъ, напримѣръ, есть оперетка „Нашествіе французовъ, или смерть Ляпунова“.

— Ну, и, конечно, ты на афишахъ былъ не подъ своей фамиліей?

— Ужъ это само собой разумѣется!

— А какая же у тебя была фамилія по сценѣ?

Толстый сѣлъ къ столу, принялъ величественную осанку и, театрально барабана пальцами по столу, процѣдилъ сквозь зубы:

— Казбаръ-Чаплинскій.

Митяга посмотрѣлъ на художественную фигуру артиста: Казбаръ-Чаплинскій полулежалъ въ могучей и небрежной позѣ гениальнаго Кина.

— Какъ же ты могъ пѣть?—сообразжалъ Митяга:— вѣдь, у тебя, кажется, голосъ-то плохой.

— Это ничего не значить: я знаю средство, какъ съ плохимъ голосомъ брать высокія ноты,—самое плевое дѣло... сожмешь себѣ хорошенько вотъ въ этомъ мѣстѣ... подъ микитками...

Онъ сдѣлалъ неопредѣленно-фривольный жестъ и воскликнулъ:

— Сразу на два тона выше берешь!

Огарки долго крѣпились, но тутъ не выдержали. Грянулъ хохотъ.

Митяга сообразилъ, наконецъ, что надъ нимъ издѣваются.

— Тьфу!—плюнулъ онъ съ негодованіемъ:—я съ вами серьезно хотѣлъ поговорить, а вы...

И неожиданно добавилъ:

— Храпидолы! нѣтъ у васъ никакихъ убѣжденій!..

— А у тебя-то что за убѣжденія?—возражали ему.

Митяга всталъ, нахмурился, принялъ важный видъ и многозначительно щелкнулъ пальцемъ по красной подкладкѣ своего картуза.

— Вотъ мои убѣжденія!—сказалъ онъ.

Опять грянулъ хохотъ.

Но Митяга продолжалъ:

— Каждый интеллигентный человѣкъ, который имѣетъ убѣжденія, долженъ ихъ проповѣдывать другимъ. За этимъ я къ вамъ и хожу, да только время зря теряю. А вотъ недавно за городомъ, около монастыря,

встрѣтилъ я монаха... сейчасъ это завелъ съ нимъ разговоръ... „Ты что, молъ, дармоѣдничаешь-то? а? развѣ это хорошо?“—Онъ отвѣчаетъ: „я, говорить, въ родѣ какъ спасаюсь!“—А я ему и сказалъ: „чего тамъ „въ родѣ?“ просто даромъ хлѣбъ жрешь! тунеядецъ ты! вотъ—дамъ тебѣ раза по шеѣ—ты у меня въ землю и вопьешься!“

— Хо-хо-хо-хо!—восторженно загремѣли огарки:—Митька! дерево ты стоеросовое! убирайся къ чорту! уморить ты насъ пришелъ!..

— И то пойду!—съ неизмѣнной серьезностью согласился, Митяга:—лучше книги читать, чѣмъ съ вами время губить!.. нераскаянные вы! огарки!

Митяга нахлобучилъ свой картузъ съ красными убѣжденіями и пошелъ къ выходу, а вслѣдъ ему весело неслись отборныя слова, заимствованныя огарками у запорожцевъ:

— Свинячья морда!

— Александрійскій козолупъ!

— Вавилонскій кухарь!

— Македонскій колесникъ!

— Великаго и малаго Египта свинары!

— И самого Вельзевула секретарь!

— И ключарь!

— А нашего Бога ду-у-рень

Огарки кричали, надрываясь, и ржали послѣ каждого ругательства.

— Олоферна пестрая, эфиопская!.. Го-го-го!..

Даже молчаливый Пискра сосредоточенно и серьезно лаялъ, ошибаясь въ удареніяхъ:

— Мы тебя кулакомъ по башкѣ!.. не ходи къ намъ на квартиру!

II.

Кто-то съ трескомъ подкатилъ на извозчикѣ къ подземелью огарковъ. Сашка вскочилъ на столъ и выглянулъ въ окно.

— Гаврила!—радостно заораль онъ, оборотясь къ „фракціи“ въ торжествующей позѣ:—ого-го-го!

Произошло радостное движеніе.

— Икрыный?—спросилъ его Толстый озабоченно.

— Икрыный! кульки! пиво!

— Ого-го-го-го!—загудѣла вся фракція.

Въ прихожую вошелъ извозчикъ. Онъ внесъ нѣсколько кульковъ, изъ которыхъ торчали горлышки бутылокъ, корзину пива, мѣшокъ муки и съ полпуда говядины, въ кулькѣ.

За извозчикомъ вошелъ и Гаврила, снялъ съ головы котелокъ и раскланялся на всѣ стороны.

Это былъ совсѣмъ еще безусый юноша нѣжнаго тѣлосложенія, розовый, хорошенькій, приличный. Одѣтый безукоризненно, въ новую пару и желтые ботинки, въ бѣлоснѣжныхъ воротничкахъ и цвѣтномъ галстукѣ—онъ казался благовоспитаннымъ маменькинымъ сыномъ, закормленнымъ сладостями, скромнымъ, милымъ мальчикомъ, который всегда послушенъ родителямъ и наставникамъ.

— Гавр-рила!—радостно заорали огарки и раскатились оглушительнымъ смѣхомъ:—съ икрой? съ вишнешкой? съ рябиновой? все какъ слѣдуетъ?

— Все какъ слѣдуетъ!—тоненькимъ скромнымъ голоскомъ отвѣчалъ Гаврила:—урвалъ деньжонокъ у ма-маши, а гдѣ же мнѣ и порѣзвиться-то, какъ не у васъ?

— Вѣрно! гдѣ тебѣ болѣе занятную компанію найти?

— Я Илюшу больно люблю!—продолжалъ Гаврила, пожимая руки огаркамъ:—онъ, вѣдь, мой учитель! черезъ него я на весь міръ другими глазами сталъ смотрѣть!.. ну, и прочихъ тоже... души у васъ хорошія, вольныя... Ахъ! да!—хлопнулъ юноша по лбу себя:—вѣдь я только вино взялъ, а водки позабылъ! послать что ли?

Онъ былъ порядочно пьянъ.

— Конечно послать!—загудѣли огарки:—водка—это самое главное!

Гаврила вынулъ пятирублевку и, сунувъ ее Новгородцу, сказалъ:

— Тащи бутылку!

Новгородецъ устремился.

Скоро непокрытый огарческій столъ украсился изящными бутылками вишневки, рябиновой, коньяку и самой изысканной закуской, среди которой главное мѣсто занимала свѣжая зернистая икра въ очень большомъ количествѣ.

Огарки весело галдѣли. Пробки хлопали.

Въ дверяхъ появился Новгородецъ съ четвертью вмѣсто бутылки.

— Я ужъ четверть взялъ-то!—простодушно заявилъ онъ:—чтобы зря-то не бѣгать-то!

— Странная вещь!—продолжалъ Толстый:—какъ все глупо на свѣтѣ: у кого есть деньги—тотъ не умѣетъ сдѣлать изъ нихъ надлежащаго употребленія, а вотъ тутъ люди и знали бы и умѣли—денегъ нѣтъ!

— Кабы намъ да деньги,—гремѣли огарки:—мы бы устроили на лужайкѣ дѣтскій крикъ!..

— Кабы намъ-то да капиталы-то. Ого!—слышался голосъ Новгородца:—мы бы знали! мы бы умѣли!

— Индю-чекъ!..

Огарки галдѣли...

Всѣ они сидѣли обычной группой за столомъ, уставленнымъ бутылками, и предавались чревоугодію. Звенѣли стаканы, хлопали пробки. То и дѣло раскатывался хохоть.

— Доведись до меня,—возвышалъ голосъ Толстый,—я бы Гаврюшкиному отцу всю рожу хуже заячьяго око-рока сдѣлалъ!

— Я бы поступилъ съ нимъ, какъ древляне съ Иго-ремъ поступили.. Приди-ка онъ сюда—въ этотъ „вертепъ Венеры погребальной“.

Во время одного изъ раскатовъ смѣха отъ порога

длиннаго и полутемнаго „вертепа Венеры погребальной“ раздался необыкновенно густой, мрачный басъ:

— Привѣтствую пиръ во время холеры!..

— Ба!—закричали огарки:—Сѣверовостоковъ! Степка-Балбесъ! доброгласная труба Господня!

— . . . И жажду принять въ немъ участіе!..—трубилъ Сѣверовостоковъ, подходя къ столу и появляясь на пространствѣ, освѣщенномъ лампой.

Предстала великолѣпная фигура.

Появившись изъ тьмы, она показалась желѣзнымъ призракомъ богатыря сказочныхъ временъ...

Это былъ высокій, ширококостный плечистый чело-вѣкъ, страшно—худой, истомленный, но необыкновенно-жилистый, казавшійся скованнымъ изъ желѣза. Отъ него вѣяло тяжестью и силой.

Онъ состоялъ только изъ крупныхъ, словно мамонтовыхъ, костей, смуглой кожи и стальныхъ сухожилій.

Голова его казалась громадной отъ цѣлой охапки густыхъ и длинныхъ черныхъ кудрей, гордо закинутыхъ назадъ и открывавшихъ прекрасный, „шекспировскій“ лобъ. Лицо было огромное, съ крупными энергичными чертами, обрамленное прекрасной темной бородой. Эта голова была утверждена на могучемъ, словно дубовомъ, стволѣ длинной, крѣпкой шеи, въ которой чувствовалась страшная физическая сила. Шея незамѣтно переходила въ пологія огромныя плечи, по которымъ, поверхъ пиджака, выпущенъ былъ широкій воротъ голубой атласной рубашки, завязанный толстымъ шелковымъ снуркомъ съ голубыми кистями.

Пиджакъ, надѣтый прямо на эту франтовскую, оригинальнаго покроя, рубашку, заправленную въ брюки, былъ распахнутъ и обнаруживалъ гибкій богатырскій станъ, туго перетянутый широкимъ кожанымъ поясомъ.

Когда эта фигура умѣстилась за столъ между Соколомъ и Толстымъ, то даже среди здоровяковъ показалась вышедшей изъ богатырскаго вѣка.

— Промочи хайло-то!—сказали ему огарки:—надо-
ѣло, чай, аллилуйю-то тянуть?

— Дайте ковшичекъ—выпью!—прогудѣлъ Сѣверово-
стоковъ, усаживаясь:—колѣна моя изнемогоста отъ поста,
всенощная длинная была: Гуряшка служилъ и чуть
языкомъ ворочалъ—пьянъ былъ... еле можаху...

— Хо-хо-хо! Это архирей-то?

— Ну, да, Гуряшка... У насъ это зачастую бываетъ:
архирей пьянъ, протодьяконъ пьянъ, регентъ пьянъ и
хоръ весь пьянъ: вся обѣдня пьяная!

— И ничего—поете?

— Поемъ!

— Хо-хо-хо!

Пискра подалъ ему желѣзный ковшъ, которымъ
Павлиха обыкновенно черпала воду. Въ этотъ ковшъ
архіерейскому басу налили водки, и онъ выпилъ ее, какъ
воду.

— Многовато я пью ея, проклятой!—сказалъ онъ,
мощно крикнувъ и вытирая усы.

— Средне!—ввернулъ Толстый.

— Да онъ какъ будто и пришелъ-то тепленькій?

— Есть!—рокочущей октавой признался басъ:—съ
нынѣшняго дня разрѣшилъ я... съ полгода ничего не
пилъ... а нынче и за всенощной пилъ,—мы, вѣдь, все-
нощную поемъ на эстрадѣ, позади клироса устроена,—
сѣлъ я—ножки калачикомъ—на полъ, кругомъ хоръ
стоитъ,—не видать меня народу-то: сижу съ бутылкой,
пью и пою октавой: „къ тихому пристанищу притекъ,
вопію ти“...

— Хо-хо-хо! и въ ноты не глядишь?

— Чего въ нихъ глядѣть-то? съ дѣтства пою: не
умомъ живемъ, а глоткой!...

Огромное, мужественное лицо его съ ввалившимися
щеками, изрѣзанное, какъ шрамами, трагическими
морщинами, носило слѣды исключительныхъ страданій,
пламенныхъ душевныхъ мукъ, еще и теперь не совсѣмъ

угасшихъ. Изъ ввалившихся орбитъ печально смотрѣли большіе темно-каріе глаза: суровые, добрые и глубокіе, эти глаза таили въ своей глубинѣ мрачно тихо-тлѣющій огонь.

Смотря на изстрадавшееся лицо Степана Сѣверовостокова, трудно было рѣшить, сколько ему лѣтъ: можно было дать и сорокъ и двадцать восемь...

— Хайло у тебя, Степанъ, завидное!

— Шляпа пролѣзаетъ!—говорили огарки, смачно выпивая.

— Еще бы!—подтвердилъ Толстый:—я какъ-то недавно пьянствовалъ съ ихъ регентомъ Спиридономъ Косымъ и отцами дьяконами, такъ они говорятъ, что самъ Гурьяшка на его горло не наладуется: никто, говорить, такъ „облаченія“ спѣть не можетъ, какъ Степка-Балбесъ, хоша и пьянъ, говорить, всегда, но облачаетъ мя торжественно!—такъ Гурьяшка выразился.—Давно бы говорить, я его протодьякономъ сдѣлалъ, голоштанника, да за поведеніе-то у него единица значится, у свиньи гадаринской.—Такъ добавилъ преосвященный!

— Хо-хо-хо!

Сѣверовостокъ улыбнулся.

И эта улыбка, свѣтлая, удивительно добродушная, вдругъ освѣтила его мрачнѣе лицо, а изъ глубоко ввалившихся печальныхъ глазъ неожиданно глянула до вѣрчивая дѣтская душа. И только послѣ этой улыбки можно было разсмотрѣть и убѣдиться, что ему не больше тридцати лѣтъ, а можетъ быть—и меньше.

— Да!—прогудѣлъ онъ:—ужъ Гурій меня призывалъ къ себѣ: „зачѣмъ, говорить, погибаешь въ пѣанствѣ?“—А я ему: „въ безднѣ грѣховнѣй валяясь, неизслѣдную твоего милосердія призываю бездну!“

— Недурной каламбуръ!—похвалилъ Толстый.

— Всю жизнь изъ-за этого кола страдаю,—продолжалъ пѣвчій:—никуда не принимаютъ... Такъ и остался на клиросѣ...

— За что же тебѣ единицу-то?—пропищаль уже забытый всѣми Гаврила.

— А за мальчишество за мое: увлекся нигилизмомъ, а наипаче того въ кулачныхъ бояхъ отличался и еще я любилъ по ночамъ на пустыряхъ купцовъ пугать: ѣдетъ купецъ въ коляскѣ на ворономъ рысакѣ, сейчасъ это подкараулишь, схватишь лошадь подъ уздцы, скажешь: „стой!“—лошадь-то и присядетъ на заднія ноги. Тутъ подойдешь къ нему, вѣжливо шляпу приподнимешь позвольте отъ вашей папироски прикурить!“— „Какъ? что? пошелъ прочь! трогай!“ Кучеръ тронетъ, а я опять лошадь остановлю, нажмешь плечомъ на оглоблю, дуга-то и распряжется. Тогда опять подходишь: „позвольте прикурить!“ Дѣлать нечего... Кругомъ пустырь, безлюдье, ночь... Затрясется и дастъ прикурить.

— Го-го-го!

— А выгнали-то меня изъ шестого класса семинаріи изъ-за пустого случая. Поднимался я отъ Волги на гору, по Заводской улицѣ... Спускъ тамъ крутой. Лѣзь я, лѣзь по мостовой. Только выбрался на гору, перевелъ духъ и крикнулъ. И какъ разъ въ эту пору изъ-за угла губернаторская карета съ губернаторской дочкой... Лошади-то испугались меня и понесли... Дочка въ обморокъ. Выгнали.

— Хо-хо-хо! не крикай!...

— И выгнали-то какъ разъ передъ экзаменами, весной. Поѣхаль я тогда къ отцу: въ селѣ онъ у меня, дьякономъ, и сейчасъ живъ... Открылся я ему. Погореваль, поругался старикъ и обошелся было: не клиномъ же свѣтъ... Единицу-то я скрылъ. „Поѣдемъ, говорить, рыбачить за рѣку. Запрягли лошадь, поѣхали. Выбрали мѣсто, телѣгу на берегу поставили, лошадь пустили на траву. Сами наладили удилица, сидимъ рядкомъ, удимъ.

И зашелъ у насъ споръ о философіи. Я какъ началъ, по мальчишеству моему, выкладывать ему Конта

да Канта, Шопэнгауера да Декарта, всю мою скороспѣ-
 лую ученость—Бога-то у меня и не оказалось... А ста-
 рикъ озвѣрѣлъ. „Такъ ты, говорить, эдакъ?“—„Эдакъ,
 молъ!“—„Прочь, говорить, съ глазъ моихъ долой, въ
 одной и телѣгѣ-то съ тобой не поѣду!“—А я ему: „Баба
 съ возу—мерину легче!“—„Я, говорить, любилъ тебя,
 чорта!“—А я ему: „Полюби лучше коневу маму—она
 принесетъ тебѣ и-го-го.“ Разговоръ вышелъ громкій: го-
 лосище у него куда здоровѣй моего, вся и рыба-то на дно
 ушла, всѣ птицы попрятались. „Отвѣчай, ореть, есть
 Богъ?“—„Нѣтъ!“ Тутъ онъ какъ вскочить, да какъ схва-
 тить меня за жабры, поднялъ на воздухъ одной рукой да
 и шваркнулъ оземь. „Мужъ языченъ не исправится на
 земли“. Пролетѣлъ я подѣ телѣгу, треснулся башкой объ
 землю—инда огни изъ глазъ посыпались. Потомъ вы-
 лѣзаю изъ-подѣ телѣги, гляжу на колесо и говорю ему:
 „А угоди я башкой объ колесо—разлетѣлась бы въ
 черепки башка-то!“ И онъ ужъ испугался, злость про-
 шла, шепчетъ: „Слава Богу, что не объ колесо!“ Тутъ
 я ему: „Ну, счастливъ твой Богъ, что я ногами-то
 земли не досталъ, а то быть бы тебѣ въ рѣкѣ!“

— Переговорили о Богѣ!

— Хо-хо-хо!

— На какое же чудовище похожъ твой батька, коли
 съ тобой подѣ силу ему такъ обращаться?

— Я передъ нимъ плюгавъ и тонокъ, какъ дягиль:
 онъ толщины необъятной да и ростомъ повыше...

— Да!.. выходить, что захудалъ ты, Степка-Балбесъ!
 не можешь имѣть толщины!..

— Ого! не можетъ! пусти-ка его на хорошую-то
 жизнь, что изъ него получится?

И огарки звучно расхохотались при одной мысли о
 томъ, что получится изъ Степки-Балбеса, если „пустить“
 его на хорошую жизнь.

— Сила у насъ въ роду!—гудѣлъ Сѣверовостоковъ:—
 мой младшій братишка Николка такъ даже въ бѣду

недавно попалъ: поетъ онъ теперь въ Кіевѣ, въ Софійскомъ соборѣ... Ну, подрались тамъ между собой въ трактирѣ два баса, товарищи его: взяли каждый по гирѣ и лупятъ другъ друга гирями. Ну, онъ и подошелъ ихъ разнять: схватилъ ихъ обоихъ за шиворотъ да и стукнулъ другъ объ дружку лбами—ихъ въ больницу и отвезли! Вотъ вѣдь какой неосторожный народъ!

— А чѣмъ у васъ тогда кончилась драка съ отцомъ?

— Съ отцомъ? Сѣли опять рыбачить. Только все-таки я скоро уѣхалъ и съ тѣхъ поръ не былъ у него... лѣтъ десять... Жалуется онъ постоянно въ письмахъ: всѣ сыны мои бродятъ по бѣлому свѣту и не вышло толку ни изъ одного: всѣ изъ духовнаго званія вырвались, не хотятъ!.. Молчали мы съ нимъ тогда съ недѣлю. Только когда ужъ собрался я уѣзжать—спрашиваетъ: „что будешь дѣлать?“—„Въ актеры, говорю, уйду!“ Ну, тутъ опять ссора вышла. „Врешь, говоритъ, не уйдешь! а уйдешь—воротись: кровь заговорить! Нельзя уходить изъ духовнаго рода! Нашъ-то родъ, говоритъ, еще изъ Византіи пришелъ! Еще при Владимірѣ Красномъ Солнышкѣ наши-то предки духовными были! Сила-то наша тысячу лѣтъ копилась, отвердѣла, окаменѣла она!“ И разное такое понесъ! „Держись, говоритъ, ближе ко храму!“ Я его и спросилъ: „куда же мнѣ дѣвать мою силу, во храмъ-то, коли мнѣ ее тысячу лѣтъ мои предки копили?“ Ну, въ опёрномъ хорѣ мнѣ все-таки, дѣйствительно, скоро пѣть прискучило!... Возненавидѣлъ лукавствующихъ и нечестивыхъ!..

Огарки на минуту задумались.

— Ахъ! наслѣдство!—тихо пропищаль Гаврила:—твое наслѣдство — сила! Водку пьешь ковшомъ и—ничего! А я вотъ пока еще пьянъ—такъ хорошо себя чувствую, а какъ утромъ проспихься, такъ „она“ и является: сядетъ рядомъ съ тобой, сѣрая, пыльная—и отряхнется! бр-р!

Гаврилу передернуло.

— Кто отряхается?

— Она. Сѣрая. Съ гуся она. Крылья у нея, какъ у летучей мыши, носъ—утиный и лапки съ перепонками. А на крыльяхъ—пыль. Вотъ она сядетъ—и начнетъ пыль отряхивать. Такая мерзость!...

— Д-да! это—скверно!—согласились огарки:—кишка тонка у тебя, Гаврила! нельзя тебѣ много пить! а намъ—можно! Выпьемъ!

Пискара вновь наполнилъ стаканы для фракціи и ковшъ для Сѣверовостокова.

Толстый всталъ въ позу, поставилъ одну ногу въ опоркѣ на табуретъ, подбоченился и поднялъ въ рукѣ чайный стаканъ рябиновой.

— Милостивые государи!—театральнымъ тономъ провозгласилъ онъ, обводя всѣхъ вдохновеннымъ взоромъ:—и милостивыя государыни!—галантно кивнулъ онъ Павлихѣ, стоявшей у печки:—па-аз-вольте въ краткой, но безпристрастной формѣ сообщить вамъ д-духхъ и направленіе—современной деф-фи-ми-ціи! Пауперизмъ, происшедшій отъ аномальныхъ элементовъ нашей современной, культурной изолированной расы, и цинизмъ принциповъ, лик-то-фи-руя авторитеты симптомовъ парадоксальной иллюзии, игнорируетъ, такъ сказать, теорію самобытности и абстрактнаго бытія человѣчества и индивидуумовъ!

Скажу проще: мы—огарки, дѣти бѣдняковъ, дьяконовъ, мастеровъ, дворовыхъ людей, дѣти крестьянъ, ку-хар-ки-ны дѣти, чортъ возьми! мы—олицетвореніе пауперизма! цинизмъ принциповъ нашего голоштаннаго существованія сов-вер-шен-но игнорируетъ всѣ абстрактныя теоріи такъ же, какъ и теорія игнорируетъ насъ! она—не предусмат-риваетъ нашего бытія въ подонкахъ культурной изолированной расы, а культурная раса даже ощутила бы нѣкое торжество справедливости, если бы съ поверхности земного шара исчезли такіе

индивидуумы, какими являются огарки! Но въ жилахъ нашихъ течетъ кровь народа, здоровая кровь трудящагося класса! Въ душѣ нашей живетъ вѣковая любовь къ несправедливо-обиженной и молчаливо-прощающей деревнѣ, природѣ, землѣ! Жизнь выгнала, вырвала оттуда насъ съ дѣтства и бросила въ этотъ „вертепъ Венеры погребальной“, гдѣ сидимъ мы, какъ греки подъ березой, не получая со стола жизненнаго пира ни гусиной шеи! О, проклятая деффимиція! что она такое? на какихъ звѣрей похожа? Она давитъ и душитъ насъ, обрекая на гибель отъ голода и пьянства!

Но—клянусь—мы не погибнемъ! мы—не сопьемся Пусть культурная изо-ли-рован-ная раса считаетъ насъ илотами, огарками—пусть! Время покажетъ цѣну каждому! Жизнь, какъ математика, всегда вѣрна самой себѣ и всегда безпощадна! Пробьетъ часъ—изолированные потерпятъ неизбѣжную кару за свою изолированность и со скорбью въ сердцѣ узнаютъ кузькину мать, узнаютъ, чему равняется квадратура круга и гдѣ зимуютъ раки! Огарковъ на свѣтѣ—„энь“ плюсъ единица!

Господа! мы находимся на границѣ босячества—да! но мы не пойдемъ въ босяки, мы будемъ добиваться отвѣта у жизни, чтобы узвать, гдѣ же, наконецъ, наше мѣсто въ природѣ? и—я увѣренъ—она укажетъ намъ его не въ отбросахъ общества—нѣтъ! напротивъ, снизу поднимемся мы на самый гребень волны и, быть можетъ, еще скажемъ свое огарческое слово! Придетъ время—и всѣ огарки воспрянутъ и соберутся вмѣстѣ! Тогда и мы найдемъ себѣ поле, поднимемъ свое знамя и будемъ держать его твердо!

А теперь, пока мы, какъ собака на заборѣ, стоимъ на рубежѣ, не будемъ терять дорогого времени: молодость два раза не приходитъ! порѣзавимся! устроимъ на лужайкѣ дѣтскій крикъ! Гаврила угощаетъ насъ! предъ нами — рябиновая! предъ нами—

вишневая, предъ нами—икра! предадимся чревоугодію! предадимся веселію! Выпьемъ „медвѣдя“, чтобы въ голову ударило! Пусть Степка-Балбесъ, ближайшій родственникъ Владиміра Святого, возьметъ свои гусли-мысли и ударить въ золотыя струны! отхватаемъ гопака! покорячимся! пьянаго и малаго Богъ бережетъ! да здравствуетъ пьяная огарческая фракція!

— Съ нами Богъ и святая Софія!—воинственно заревѣли огарки, поднимая полные стаканы.

— Есть еще пороховъ въ пороховницахъ!—заоралъ Толстый, патетически указывая на бутылки:—перевѣдаемся!

Онъ запрокинулъ голову и, не мѣняя своей картинной, театральной позы, выпилъ свой стаканъ.

Изъ-за стола вскочилъ Михельсонъ, побѣждалъ въ сосѣднюю темную комнату и вынесъ оттуда народныя волжскія гусли, формой своей напоминавшія шляпу Наполеона. Они были некрашенныя, грубой работы, только стальные колки были сдѣланы и отполированы изящно, очевидно, любящей рукой артиста-слесаря—вѣроятно, самого Михельсона—да трещина на верхней декѣ была скрѣплена мѣднымъ изображеніемъ какой-то фантастической птицы, похожей на ту, которой боялся Гаврила; птица была сдѣлана тоже очень хорошо. Края верхней деки были еще разрисованы кѣмъ-то, а надъ рисунками крупной славянской вязью былъ написанъ какой-то афоризмъ.

Сѣверовостоковъ вытянулъ длинную ручищу, подхватилъ гусли и началъ налаживать струны. Близо къ нему подсѣлъ Михельсонъ. Кругомъ въ разнообразныхъ позахъ пили огарки.

— Заводи!—прогудѣлъ пѣвчій слесарю и взялъ нѣжный бархатный аккордъ.

Огарки затихли.

Михельсонъ сидѣлъ съежившись около гуслей,

взялъ въ горсть длинный клинъ своей бороды, закрылъ глаза и запѣлъ.

Гусли вторили ему.

У него былъ небольшой тихій теноръ, необыкновенно-пріятнаго тембра, чистый, свѣтло-серебряный, съ бари-тонными нижними нотами, звучавшими въ его груди какъ-то особенно бархатисто.

Въ саду ягода лѣсная
Пріукрытая спѣла!..

Пропѣлъ онъ нѣжно, печально и спокойно, какъ бы рассказывая что-то эпическое и уже обѣщая драму...

Нѣжно и печально вторили гусли.

А княгиня молодая
Съ княземъ въ теремъ жила!..

Густо подхватили огарки знакомую, любимую пѣсню...

Всѣ звуки поглощала темная глухая октава Сѣверо-востокова. Онъ бралъ медленные стройные аккорды на пѣвучихъ струнахъ и пѣлъ осторожно, сдерживая колоссальный голосъ до полушопота, онъ какъ бы мурлыкалъ себѣ подъ носъ, и все-таки казалось, что гдѣ-то по темной каменной лѣстницѣ катится въ „вертепъ Венеры погребальной“ огромная пустая бочка.

Какъ у князя былъ Ванюша,
Кудреватый, молодой...

Нѣжно и задушевно звенѣлъ бархатный теноръ. Нѣжно и пѣвуче говорили за нимъ гусельные струны.

Ванька-ключникъ—злой разлучникъ—
Разлучилъ князя съ женой...

Отвѣтилъ огарческій хоръ, накрытый отдаленнымъ гудѣніемъ расплывающейся, какъ туча, глухой, тяжелой октавы.

Эта старая пѣсня свѣжа и поэтична: она полна вѣяніемъ грустной легенды. Представляется мрачный

старинный теремъ съ низкими сводчатыми потолками, съ маленькими слюдовыми окнами, гордо и мрачно стоящій среди княжескихъ полей и лѣсовъ... Въ немъ живетъ молодая княгиня, тайно любящая „кудрева-таго“ ключника... Старая грустная пѣсня.

Князь дознался—догадался
Посадилъ Ваню въ тюрьму...

Князь хочетъ вырвать у него признаніе. Онъ говорить:

Гей вы, слуги мои, слуги,
Слуги вѣрные мои,
Вы подите—приведите
Ваньку-ключника ко мнѣ!..

Голосъ запѣвалы взвывается высоко, звонко и раз-
машисто:

Ой, ведутъ—ведутъ Ванюшу!
Вѣтеръ кудри Вани вьетъ...

И Ваня передъ смертью своей жестоко вонзаетъ въ сердце врага роковую правду:

Цѣловала! миловала!
Называла: „милый мой!“
Вмѣстѣ спать съ собою клала...

Льется все тотъ же мотивъ, эпически-простой, печальный, оплакивающій. Глухо, какъ отдаленная гроза, плыветъ неясная октава.

Какъ повѣсили Ванюшу
На пеньковой на петлѣ!..

Повѣстуетъ теноръ.

Огарки любили эту пѣсню: она будила въ ихъ душѣ что-то глубокое, родное.

А княгиня молодая
Умираетъ на ножѣ...

Размашисто откликнулись они запѣвалъ.

Но Толстый, раскраснѣвшійся отъ вина, уже не былъ способенъ къ лиризму: его распирало отъ веселости, ему хотѣлось озорства...

Все вертится на ножъ!..

Радостно пѣлъ онъ въ неумѣстномъ восторгѣ. Со стаканомъ въ рукѣ, съ веселой и озорной улыбкой на румяныхъ губахъ онъ тотчасъ же запѣлъ новую пѣсню, безпечную, веселую...

Аристотель мудрый
Древній философъ...

Гусляръ и хоръ подхватили:

Пропилъ панталоны
За сивухи штофъ!

Голоса у Толстаго не было никакого, но пѣлъ онъ задорно, остроумно и великолѣпно декламируя:

Цезарь—сынъ отваги
И Помпей—герой...

Хоръ грянулъ:

Пропивали шпаги
Тою же цѣной!..

Толстый цариль... Толстый дирижировалъ. Морда его то сжималась въ кулакъ, то снова разжималась...

Папа Пія девятый
И десятый Левъ...

Хоръ не давалъ ему докончить и, чокаясь между собой, пѣлъ:

Пили допель-кюмель
И ласкали дѣвъ!..

Толстый всѣхъ увѣрялъ:

Даже передъ громомъ
Пьетъ Илья—пророкъ!

Хоръ добавилъ:

Когель-могель съ ромомъ
Или чистый грогъ!

Всѣ уже постукивали каблуками и кулаками. Глаза огарковъ сверкали, щеки горѣли.

Тогда гусларь какъ-то особенно забористо ударилъ въ струны.

Чарочки по столику похаживаютъ,
Пьяницы бородушки поглаживаютъ!

Звонко запѣлъ Михельсонъ, поглаживая бороду. Толстоголовый Новгородецъ тоже демонстративно тербилъ рыжій клокъ на своемъ подбородкѣ.

— Толстоголовый! Лезгинку!—кричали другіе.

На середину комнаты выскочилъ пьяный Новгородецъ. Гусларь заигралъ лезгинку.

Новгородецъ пустился танцевать. Огарки мѣрно хлопали въ ладони. Лица ихъ были серьезны.

Толстоголовый танцевалъ безобразно. Видно было, что о лезгинкѣ онъ не имѣлъ понятія, и почему ее любилъ—оставалось тайной.

Онъ былъ смѣшно-пьянъ, тѣлодвиженія выходили у него преднамѣренными, заранѣе обдуманнми, но неудачными, и вся тощая фигура его—въ синей блузѣ, подпоясанной ремнемъ отъ чемодана, въ традиціонныхъ огарческихъ обрѣзкахъ, съ толстой стриженной головой и близорукими глазами въ очкахъ—очень мало шла къ лезгинкѣ.

Онъ кончилъ тѣмъ, что подбросилъ съ ноги къ потолку свой стоптанный обрѣзокъ.

Огарки расхохотались.

Послѣ него выскочилъ на середину комнаты Сашка.

Онъ сбросилъ пиджакъ, ухарски топнулъ ногой и закричалъ:

— Гопака!

Раздались подмывающіе отчаянные звуки запорожскаго танца.

— Выходи!—вызывающе крикнулъ Сашка Толстому.

Толстый медленно вышелъ изъ-за стола и всталъ противъ Сашки. Онъ былъ живописенъ въ своихъ необъятныхъ штанахъ запорожца, съ разстегнутой грудью, въ мягкой тюбетейкѣ, съ черной длинной кистью на макушкѣ и огарческихъ опорахъ.

— Жары!—сказалъ онъ Сашкѣ.

Сашка „пустилъ дробь“.

Онъ плясалъ залихватски, отчаянно, весь отдаваясь пляскѣ и любясь на свои сапоги, со всѣми приемами и колѣнцами пляшущаго мастерового.

— Ахъ, собака! что дѣлаетъ!—одобряли пляску зрители:—землю ѣстъ!

Гусли звенѣли.

Но когда Сашка, запыхавшись и тяжело дыша, всталъ на свое мѣсто, Толстый съ первыхъ же движеній уничтожилъ противника. Началъ онъ съ того, что сдѣлалъ граціозный прыжокъ балерины и, вставъ на носки своихъ опорковъ, послалъ на обѣ стороны воздушные поцѣлуи „публикѣ“. Лицо его въ это время изобразило „очаровательную“ улыбку. Потомъ онъ сдѣлалъ фривольное „па“ и вдругъ могуче топнулъ, подбросилъ къ потолку опорокъ, опять попалъ въ него ногой, упалъ спиной на полъ, перекувыркнулся черезъ голову, вскочилъ, разбѣжался, высоко и легко подпрыгнулъ и только тогда уже пустился въ могучую запорожскую „присядку“.

Эта пляска сотрясала всю комнату, заставила плясать столъ и стулья, со стола съ громомъ повалились на полъ пустыя бутылки, половицы пола заходили, какъ клавиши, а Толстый все плясалъ, плясалъ, плясалъ, все сильнѣе, все отчаяннѣе, увлекательнѣе, вдохновеннѣе. Черная кисть его фески на бритой головѣ извивалась и тоже плясала, напоминая чубъ запо-

рожца, и весь онъ, неистовый и мощный, въ своемъ дикомъ весельи напомнилъ далекія героическія времена Запорожской Сѣчи.

Волна безшабашной удали захлестнула душу, зажгла, увлекла, умчала ее, и душа ринулась куда-то въ безбрежное, въ ширь и даль, способная все сокрушить, все взять, всего достигнуть и потомъ—все бросить.

„Гопакъ“ звенѣлъ...

Взошло солнце, а огарки все еще пили, пѣли и плясали.

— Погаси лампу голосомъ!—приставалъ Сашка къ Сѣверовостокову.

— Такали-такали, да Новгородъ-то и протакали, черти толстоголовые!..—дразнили другіе Новгородецъ...

— Тор-ре-одоръ, смѣ-лѣ-е!—пѣлъ Михельсонъ.

— Лампы всегда гаснутъ, когда я пою!—лѣниво отвѣчалъ Сѣверовостоковъ: — гласа грому моего убоются!

— Знаемъ! это — когда ты верхнюю ноту заорешь, какъ влюбленный оселъ! а ты низомъ погаси! а? октавой! вотъ и не можешь октавой-то!..

— Погашу и октавой!..

— Врешь, не погасишь!..

— Погашу!.. а-а-а!..

Степка-Балбесъ выпрямился, разинулъ свое „хайло“ и пустил необыкновенную, чудовищную октаву. Звукъ этотъ не имѣлъ ничего общаго съ человѣческимъ голосомъ и былъ болѣе мощенъ, чѣмъ ревъ буйвола: словно чугунное бревно вылѣзало изъ его глотки, сотрясало своей страшной тяжестью грудь пѣвца и, грозя всѣхъ раздавить, упиралось въ низкіе своды подземелья.

Нижняя губа его широко-раскрытой пасти дрожала отъ тяжести голоса, сила звука, казалось, шатала самого обладателя этой силы, онъ держался желѣзными

руками за столъ и грохоталъ пушечнымъ голосомъ, внушая всѣмъ чувство невольнаго ужаса.

Огарки смотрѣли на него пьяными, остановившимися глазами.

Лампа мигала на дрожащемъ столѣ, но не гасла.

— Что, собака, не можешь?..—подзадоривали пѣвца.

Сѣверовостоковъ заревѣлъ еще страшнѣе, не сводя глазъ съ лампы: она, повидимому, была въ ужасѣ, спрятала пламя и все-таки не гасла.

— Что, братъ, октавой-то? не л-любимъ? а?.. хе-хе-хе!..

Басъ разсердился.

Онъ еще шире разинулъ пасть, немножко повысилъ ноту и рванулъ голосомъ:

— Г-а!..

Лампа погасла.

— Хо-хо-хо!—возвеселились огарки: — вотъ хайло! вотъ прорва!

Въ окна уже свѣтили косые лучи восходящаго весенняго солнца. Послышался первый протяжный ударъ соборнаго колокола.

— Пора на клирость!—прогудѣлъ Сѣверовостоковъ, вставая и вытаскивая откуда-то широкополую черную шляпу.

— А въ нирвану?—предложили ему.

— Нѣтъ. Я всегда на своемъ мѣстѣ.

— Желѣзный ты человѣкъ, Степанъ.

— Ничего, перетерпимъ.

— Орать пойдешь?

— Пойду орать.

— Опять Гурьяшку облачать будешь?

— Облачу.

— Покажи ему кукишъ отъ насъ, долговолосому пьяницѣ!

Огарковъ клонило ко сну. Новгородецъ, Гаврила и Пискра уже спали такъ крѣпко, что даже оглушительный ревъ Сѣверовостокова не разбудилъ ихъ. Спали

они какъ и гдѣ попало, въ тѣхъ позахъ, въ какихъ были захвачены хмѣлемъ: кто сидя, кто склонивши голову на столъ, кто подъ столомъ.

Пѣвчій надвинулъ шляпу на бекрень, при чемъ сталъ похожъ на бандита, постоялъ у порога, посмотрѣлъ на отходящее ко сну „огарчество“ и задумчиво прогудѣлъ, уходя:

— „Мысля — значить существую!“ сказалъ... Декартъ.

— Погрузимся въ нирвану! — заплетающимся языкомъ предложилъ Толстый.

— Погрузимся! — съ трудомъ отвѣчали ему.

И они погрузились въ нирвану.

Въ комнатѣ сразу наступила тишина.

Огарки свалились кто куда попало и устѣяли своими спящими тѣлами весь полъ „вертепа Венеры погребальной“.

У входа въ сосѣднюю комнату палъ Толстый, не дойдя до постели: онъ раскинулся во весь свой огромный ростъ въ львиной позѣ спящаго запорожца. На его большой бритой головѣ такъ и осталась мягкая шапочка съ чернымъ чубомъ, разстегнутая рубашка обнажила бѣлую бархатную грудь, съ босой ноги свалился опорокъ.

Лицо его поблѣднѣло, какъ мраморъ, красивыя губы сложились въ гордую, презрительную улыбку, а все лицо сохраняло благородное спокойное выраженіе.

Спящій и пьяный — онъ все-таки былъ поразительно хорошъ собою.

Въ углу, надъ нимъ стоялъ деревянный безголовый манекенъ женщины, принадлежавшій Павлихинымъ дочерямъ, и, казалось, грустилъ объ этой гибнущей красотѣ.

Вдругъ проснулся Гаврила отъ наступившей тишины.

Съ безумными, широко - открытыми, но спящими

глазами, протянувъ руки впередъ, онъ побрелъ, какъ лунатикъ, задѣвая за тѣла и, наконецъ, наткнулся на манекенъ.

Нащупавъ женскій бюстъ, онъ прижался къ нему грудью и бормоталъ:

— Гдѣ я?.. и кто ты? поцѣлуй меня, пожалѣй хоть на минуту... я погибшій человѣкъ... а? отчего ты молчишь? женщины — онѣ — безчувственныя... въ нихъ нѣтъ души, въ нашихъ женщинахъ... а ты... тебя я люблю... ты простая... Да что же ты молчишь-то? отчего ты мнѣ не отвѣчаешь?

Онъ долго стоялъ, качаясь вмѣстѣ съ манекеномъ, заключеннымъ въ объятія, потомъ оттолкнулъ его и запѣлъ своимъ полудѣтскимъ голосомъ:

Тор-ре-одоръ, смѣ-лѣ-е!..

Онъ шагнулъ, споткнулся и упалъ рядомъ съ Толстымъ.

То-ре-одоръ!..

Голова его медленно склонилась къ ногамъ Толстаго.

То-ре-одоръ!..

Закончилъ онъ, засыпая у ногъ своего учителя...

Опять стало тихо.

Въ комнату глухо донесся протяжный звонъ соборнаго колокола.

Мимо раскрытыхъ огарческихъ оконъ уже проѣзжалъ мужичонко, сидѣвшій на огромномъ возу черныхъ гробовъ. Мужичонко былъ пьянъ, крутилъ вожжами надъ своей головой, погонялъ пару лошадей и бессмысленно смѣялся. Онъ казался сквернымъ, болѣзненнымъ сномъ алкоголика. Слуга холеры словно хотѣлъ заглянуть и въ это мрачное подземелье, гдѣ всю ночь пили и пѣли никому ненужные люди, любившіе жизнь и презиравшіе смерть, гдѣ съ первобытной

энергіей танцовать запорожець, а игралъ ему на гуслиахъ богатырь.

III.

Такъ жили огарки, и такъ заканчивался для нихъ каждый прїѣздъ Гаврилы.

Его появленіе въ „вертепъ Венеры погребальной“ было для нихъ языческимъ праздникомъ пьянства и обжорства. Они „нажимали ему на брюшко“ и Гаврила „давалъ сокъ“. Все, привезенное имъ, выпивалось и съѣдалось тотчасъ же: на другой день уже нечѣмъ было опохмѣлиться, а черезъ нѣсколько дней опять всѣ сидѣли „на одной картошкѣ“.

Половина „огарковъ“ по различнымъ причинамъ всегда лежала безъ дѣла, а тотъ, кто сколько-нибудь зарабатывалъ, все отдавалъ Павлихѣ на содержаніе всей фракціи.

Сашка и Толстый жили грошовыми уроками, Новгородецъ — случайной перепиской, Пискара брался за все.

Главнымъ фондомъ былъ трудъ Михельсона, каждую субботу приносившаго семь рублей. Иногда въ ожиданіи этихъ рублей огарки голодали дня по два. Мученія голода они старались заглушить въ себѣ островами надъ собой и, увеселяя себя, хохотали обычнымъ своимъ гомерическимъ смѣхомъ.

Когда, наконецъ, на закатѣ солнца являлся Михельсонъ и приносилъ такъ мучительно и нетерпѣливо ожидаемый заработокъ — слѣдовалъ быстрый, лихорадочный ужинъ, приправленный всегда свѣжимъ остроуміемъ.

Но, по утоленіи голода, огарки начинали скучать.

Имъ становилось тѣсно и душно сидѣть въ „вертепъ Венеры погребальной“, хотѣлось какихъ-нибудь впечатлѣній, хотѣлось куда-то пойти, но пойти было некуда, кромѣ общественнаго сада на берегу Волги.

И они ходили въ садъ.

Огарки ненавидѣли это мѣсто общественнаго гулянья, гдѣ, казалось, каждый кустъ былъ засаленъ и захватанъ „публикой“, но тѣмъ не менѣе, томимые скукой, оторванностью отъ жизни и однообразіемъ своего оброшеннаго существованія ходили туда каждый вечеръ.

Тамъ они прятались отъ людей въ темной поперечной аллеѣ, гдѣ почти всегда никого не было, садились всѣ въ рядъ на длинную скамейку и слушали музыку струннаго оркестра, звуки которой мягко доносились къ нимъ съ вышки курзала.

Они не знали названій пьесъ, исполняемыхъ оркестромъ, но многое изъ его репертуара слушали въ сотый разъ и знали мелодію наизусть.

И была у нихъ любимая пьеса, такъ же, какъ и прочія, неизвѣстная имъ, которую они называли: „прорѣзающая“.

Каждый вечеръ дожидались они, когда оркестръ заиграетъ ее, и упивались чьей-то удивительной музыкой.

Иногда они выходили изъ своей аллеи къ курзалу, гдѣ на верандѣ, за столиками, накрытыми бѣлой скатертью, пила и ѣла разодѣтая, чистая публика, а мимо по главной, ярко-освѣщенной электричествомъ, аллеѣ медленно двигалась густая толпа гуляющихъ, такая же чистая, нарядная, затянута и шуршащая, какъ и та, которая ѣла на верандѣ.

И огарки становились въ рядъ, какъ разъ противъ веранды, наполненной ужинающими, и лицомъ къ лицу съ безконечной вереницей гуляющей нарядной толпы.

Прислонясь къ фонарному столбу или изгороди, долго и угрюмо смотрѣли они на все, происходившее передъ ихъ глазами, и стояли какъ укоризненные, голодные тѣни.

Всматриваясь въ мелькающія фізіономіи толпы,

они словно хотѣли узнать, чѣмъ эти люди, прилично одѣтые, имѣющіе деньги, женъ, счастье — выше и лучше ихъ, огарковъ, ничего изъ благъ жизни не имѣющихъ.

И всѣ эти безъ конца смѣнявшіяся лица сливались, наконецъ, въ ихъ глазахъ въ одну огромную скверную, скотскую рожу, безобразно самодовольную, низменную и неприхотливую, поразительно ко всему равнодушную, не слышащую за своимъ гвалтомъ чудной музыки.

И огарки чувствовали себя выше толпы.

Имъ казалось, что если бы они когда-нибудь попали въ это общество, живущее въ роскошныхъ квартирахъ, гдѣ звучать струны рояля, гдѣ женщины красивы, образованны, нѣжны и выхолены, — то непременно были бы тамъ интереснѣе другихъ, умнѣе, остроумнѣе, лучше всѣхъ. Но они презираютъ это общество. Они бы тамъ издѣвались.

Презирая сытую толпу, огарки все-таки съ завистью смотрѣли на ѣду сидящихъ на верандѣ, на рюмки, на бутылки, на золотистое, пѣнистое пиво.

Если въ этотъ моментъ въ гуляющей толпѣ мелькалъ высокій Митяга въ своемъ новомъ картузѣ, — Сашка, какъ самый дерзкій изъ огарковъ, открывалъ на него охоту: выждавъ, когда Митяга доходилъ до конца аллеи, Сашка внезапно появлялся изъ-за куста и, не говоря ни слова, срывалъ съ головы Митяги знаменитый картузъ, подбитый красными убѣжденіями.

— Давъ сюда поль-лика! — говорилъ онъ Митягѣ, держа картузъ за спиной.

Чтобы скорѣе отвязаться отъ огарка, скупой Митяга, растерявшійся и негодующій, ворча ругательства, быстро вынималъ кошелекъ и вносилъ выкупъ за свои убѣжденія.

Съ поль-ликомъ огарки отправлялись въ дешевую, грязную пивную Капитошки.

Тамъ, за пятью бутылками пива, они давали волю своему сарказму. Въ душѣ ихъ поднималась бессознательная ѣдкая горечь, обида и отчаяніе, но выливалось все это въ крѣпкое, ядреное остроуміе и безшабашную удаль,—они словно хотѣли сказать кому-то: „вы считаете насъ пьяницами, кабацкими личностями, ну, такъ вотъ смотрите: мы, дѣйствительно, такіе, думайте о насъ именно такъ—намъ на это наплевать!“

Толстый сыпалъ самыми неожиданными сравненіями, мѣткими, убійственными словечками, и фракція топила свою горечь въ громозвучномъ смѣхѣ, а тоску—въ пивѣ.

Домой они возвращались весело и проказливо настроенные: по дорогѣ Сѣверовостоковъ выворачивалъ деревянныя тумбы, выдергивалъ съ корнемъ фонарные столбы и, показавъ товарищамъ свою сказочную силу, втыкалъ тумбы и столбы на прежнее мѣсто.

„Рѣзаясь“ такимъ образомъ, они спустились опять въ свое подземелье и, чтобы не разбудить Павлихи, снимали съ ногъ своихъ опорки.

Но она просыпалась и бранила ихъ.

Знакомство огарковъ съ Павлихой началось еще въ первые дни ихъ появленія въ городѣ, когда они бродили въ одиночку въ поискахъ работы, какъ голодныя собаки. Можно сказать, что цементомъ фракціи была Павлиха.

Одинъ по одному, по какой-то роковой случайности, собрались они въ ея „вертепъ“ — голодные, грязные, измученные. Квартирная хозяйка, у которой столовались рабочіе изъ мастерскихъ, она каждого изъ нихъ обласкала, накормила, словно и не замѣчая того, какъ они опустились.

Она такъ славно улыбалась каждому новоприбывшему, какъ будто бы и ни вѣсть какой кладъ къ ней свалился.

У нея была незлобивая дѣтски-довѣрчивая душа.

Всю жизнь отъ рожденія до старости судьба жестоко была Павлиху, словно насмѣхалась надъ ней, а Павлиха такъ и не озлобилась на судьбу, продолжая быть преисполненной доброты и того сердечнаго жалѣнія людей, которымъ отличаются деревенскія женщины.

Изъ ея отрывочныхъ, безсвязныхъ упоминаній о прошломъ огарки знали, что Павлиха два раза была замужемъ, похоронила обоихъ мужей и осталась нищенствовать съ троицею дѣтьми: двумя дѣвочками и мальчикомъ. Была прачкой, служила въ нянькахъ, торговала воблой и ягодами, ходила съ лоткомъ по улицамъ города съ ранняго утра до поздней ночи, выручая двугривенный на калачъ ребятишкамъ и себѣ. Казалось бы, что при такихъ плачевныхъ обстоятельствахъ ничего не оставалось ей дѣлать, какъ стонать и жаловаться, а всегда выходило такъ, что къ ней же люди шли за утѣшеніемъ и помощью, и она находила въ себѣ силы вселять упавшимъ духомъ вѣру въ лучшее будущее. Въ ея кухню постоянно приходили кухарки, судомойки, няньки и горничныя безъ мѣсты, каждая со своимъ горемъ, выплакивали ей свои слезы, и Павлиха всѣхъ утѣшала:

— И-и, матушка!—слышался въ такихъ случаяхъ ея голосъ:—всего горя не перегорюешь и слезъ всѣхъ не выплачешь! утрись-ка, родимая!

И начиналась поучительная повѣсть о собственномъ прошломъ, о прежнихъ и настоящихъ страданіяхъ.

— Погляди-ка на меня; вѣдь живу же!—философски заканчивала свой рассказъ Павлиха.

Дочери ея работали въ швейной мастерской, а сынъ, о которомъ она всегда упоминала съ гордостью, былъ машинистомъ и жилъ гдѣ-то въ другомъ городѣ.

Огарковъ она любила не меньше, чѣмъ родныхъ дѣтей. Въ первое время жизни съ Павлихой они долго недоумѣвали, за что она такъ матерински ласкова съ

ними, но потомъ убѣдились, что Павлиха со всѣми обездоленными одинакова, что вмѣстѣ съ ними находили у нея пріютъ и другіе. Эти другіе были—безработная прислуга, которую Павлиха умѣла устраивать. Иногда въ ея кухнѣ находила пристанище и горничная, забеременѣвшая отъ „чистенькаго господина“.

„Чистое общество“ было предметомъ старой огарческой ненависти: отбросы его потребленія неизмѣнно попадали къ Павлихѣ, и предъ глазами огарковъ всегда была оборотная сторона „чистенькой жизни“.

Если въ эти минуты приходилъ къ нимъ Митяга—обращать къ „интеллигенціи,“ то не было конца ихъ желчнымъ выходкамъ, сквернымъ словамъ и жестокимъ шуткамъ.

— Женился бы ты лучше, Митяга!—возражали они на всѣ его разсужденія.

— Жениться, — поучалъ ихъ Митяга, — культурному человѣку не такъ просто, какъ, напримѣръ, мужику: надо сначала сойтись характеромъ...

— Конечно!—желчно перебивалъ его Толстый:—вонъ у Павлихи беременная горничная живетъ: какой-то человѣкъ культурный сошелся съ ней характеромъ... Ты, Митя, напечатай объявленіе въ газетѣ: „сходится характеромъ! согласенъ въ отъѣздъ!“

— Хо-хо-хо!—гремѣла фракція.

Нравственный Митяга отплевывался, а огарки злобно хохотали недобрымъ хохотомъ: слишкомъ глубокая была ихъ затаенная, почти органическая, ненависть къ „чистой публикѣ“.

Иногда фракція огарковъ увеличивалась пріѣзжими, бродячими огарками: это были рабочіе, въ родѣ Михельсона, или разночинцы по образу Новгородца, отправляемые въ ссылку и возвращавшіеся изъ нея, или просто гонимые судьбой и безпокойствомъ своихъ натуръ.

Каждый изъ нихъ жилъ во „фракціи“ нѣсколько

дней и затѣмъ исчезалъ навсегда. Появляясь, они приносили письма и вести отъ какихъ-то далекихъ огарческихъ друзей, разбросанныхъ по различнымъ окраинамъ Россіи: прїѣзжали съ Кавказа и Крыма, изъ Малороссіи и Польши. Путники эти были, большею частью, рваные, запыленные, обоженные солнцемъ.

Входя, они спрашивали Толстаго и подавали ему измятое, засаленное въ дорогѣ письмо. Толстый, съ важною кошевого атамана развалиясь на стулѣ и посаывая трубку, углублялся въ чтеніе, а новоприбывшій стоялъ передъ нимъ подѣ испытующими взорами огарковъ.

Толстый прочитывалъ письмо, задавалъ гостю нѣсколько краткихъ вопросовъ о какихъ-то ему одному извѣстныхъ людяхъ и затѣмъ уже торжественно „принималъ“ его въ „лоно“ фракціи.

И гость съ первыхъ же словъ оказывался чистокровнѣйшимъ „огаркомъ“. Можно было думать, что на Руси огарковъ много, что „фракція“ эта существуетъ во всѣхъ климатическихъ поясахъ Россіи: видно было, что огарки иногда сидятъ въ тюрьмахъ и выходятъ изъ нихъ, отправляются въ Сибирь и возвращаются изъ Сибири, имѣютъ своихъ вожakovъ и атамановъ, содержатъ своихъ безработныхъ и всячески помогаютъ другъ другу, но продѣлываютъ все это самостоятельно, безъ особой организаціи и какъ бы тайно отъ интеллигенціи. За внѣшне разгульной и непутевой огарческой жизнью чувствовалась другая, внутренняя жизнь, строго скрываема, но полная значенія для нихъ.

И она, эта скрытая, обособленная жизнь, только что зарождавшаяся въ самомъ сердцѣ рабочаго класса, эта близость къ рабочимъ и давала огаркамъ ту гордую самонадѣянность и чувство собственного достоинства, которыя отличали ихъ повсюду среди всѣхъ людей.

Всѣмъ огаркамъ все-таки хотѣлось выбиться изъ „вертепа Венеры погребальной“. Они вѣчно мечтали объ

этомъ, строили планы, хватались за всякій удобный случай. Но удобные случаи почти всегда оказывались неудобными для огарковъ. Толстый давно уже былъ изгнанъ изъ богатаго дома Гаврилы, котораго онъ готовилъ было куда-то, и потерялъ цѣнный урокъ, поссорившись съ его отцомъ: открылось, что, по наущенію Толстаго, Гаврила покупаетъ запрещенныя книги. Кузнецъ Сокѣлъ былъ выгнанъ съ завода и уѣхалъ „въ степь“. Остальные мечтали „податься на низовье“, „на Кубань“, „гдѣ вольныя земли“, думая, что „тамъ“ будетъ лучше. Сѣверовостоковъ пилъ водку ковшомъ и ждалъ, не пройдетъ ли мимо гастролирующая опера, чтобы „опять пошататься“.

На темной стѣнѣ вертепа у нихъ было единственное украшеніе—большая фотографическая карточка никому изъ нихъ неизвѣстнаго города, снятаго съ птичьяго полета: за городомъ до самаго горизонта тянулась не то степь, не то пустыня, а подъ карточкой размашистымъ твердымъ почеркомъ Ильи Толстаго было подписано: „вольныя земли“.

Въ рѣдкія минуты скуки, грусти и общаго молчанія они, сидя вокругъ стола, иногда подолгу смотрѣли на этотъ неизвѣстный городъ, и лица ихъ дѣлались грустными, задумчивыми... Каждый думалъ о многомъ, о проклятомъ, вездѣсущемъ гнетѣ жизни и мечталъ о вольной свободной сторонѣ, дороги въ которую никто изъ нихъ не зналъ...

Въ одинъ изъ такихъ черныхъ, скучныхъ дней, когда огаркамъ еще съ утра нечего было ѣсть, Толстому выпало небывалое счастье: черезъ какое-то знакомство ему предложили урокъ на сто рублей въ мѣсяцъ „въ отъѣздъ“, въ аристократическое семейство, уѣзжавшее на все лѣто въ свое родовое имѣніе.

Фракція была въ восторгѣ. Толстый великодушно обѣщалъ взять сто рублей задатку и оставить его товарщикамъ, а затѣмъ „порѣзвясъ“, „улетѣть въ сіяньи голубого

дня“ „на солнышкѣ покорячиться“. Нужно было только пойти, представиться, условиться и взять задатокъ.

Вся фракція одѣвала Толстаго: на него надѣли чистую парусиновую блузу, Сѣверовостоковъ далъ ему почти новыя брюки, поясъ, широкополую шляпу. Павлиха вымыла ему ноги, дала чистыя портянки, а опорки вычистила ваксой: въ такомъ костюмѣ Толстый выглядѣлъ внушительно.

— Облече-бо ты въ ризу спасенія и одеждою веселія одѣй ты!—гудѣлъ пѣвчій, одѣвая товарища.

— Ужгу я ихъ блузой-то!—говорилъ Толстый самоувѣренно.

— Ну, тоже и противъ такихъ опорковъ не всякое дамское сердце устоитъ!—любовалась имъ фракція.

— И брюки къ лицу!

— Адью!

Толстый сдѣлалъ прыжокъ балерины, послалъ на обѣ стороны поцѣлуи и „улетѣлъ“, „какъ птичка“.

Черезъ часъ онъ вернулся назадъ мрачнѣе тучи. Уже по лицу его видно было, что Толстый провалился.

— Все къ чорту!—бурчалъ онъ, переодѣваясь въ свой домашній костюмъ, т. е. надѣвая феску и мало-россійскіе штаны:—потерпѣлъ фіаско!

— Изъ-за чего же?—изумились огарки.

— Изъ-за фрака! Совсѣмъ было кончили разговоръ и сто рублей получилъ, какъ вдругъ мнѣ: „еще одно маленькое условіе: къ обѣду вы должны непременно во фракѣ выходить“... Ну, я и отказался отъ урока.

Огарки прыснули.

— Да что же ты это?

Какъ ни золъ былъ Толстый, но вся эта исторія представилась ему съ комической стороны.

Въ фескѣ на бекрень, въ запорожскихъ штанахъ и опоркахъ онъ сталъ передъ фракціей и началъ оправдываться.

— Не могу я во фракъ, господа! во фракъ я буду чувствовать себя, какъ Венера, выходящая изъ воды!

И Толстый представилъ Венеру.

Огарки загрохотали.

— И фиговымъ листкомъ буду закрываться!

И опять изобразилъ всей своей фигурой, сколь стыдливо онъ будетъ закрываться, если надѣнетъ фракъ.

— Хо-хо-хо! — непрерывно ржали огарки надъ каждымъ его словомъ и тѣлодвиженіемъ.

— Вотъ тебѣ и покорячился на солнышкѣ!

— Улетѣлъ въ сіяньи голубого дня!

— Въ брюхѣ-то у всѣхъ ни гусиной шеи! Хо-хо-хо!

— Ухъ, какъ жрать хочется! кажись, топоръ бы съѣлъ!

— Топоръ не топоръ, а мѣдный ключикъ переварю! — похвалился Толстый.

— Въ семь часовъ Михельсонъ придетъ! — уповающе воскликнулъ кто-то: — денегъ принесетъ!

— Въ семь! съ утра ни чорта не жрали, а теперь только пять! вонъ въ соборѣ ко всенощной ударили! Балбесъ, орать идешь?

— Иду! — прогудѣлъ Балбесъ, надѣвая шляпу: — восхваляю Бога моего дондеже есмь!

— Хвали съ голоднымъ брюхомъ! Не пошлетъ ли тебѣ Господь косушку! Небось, Гуряшка-то будетъ служить сытъ и пьянъ и носъ въ табакъ?

— Не ядый ядущаго да не осуждаетъ! — басомъ изрекъ пѣвчій: — и не пійя піющаго — такожде!

— Не ціяй! — съ тоской загудѣли огарки, поджимая животы.

Сѣверовостоковъ ушелъ.

Съ улицы доносились торжественные удары соборнаго колокола.

— Сходите хоть разъ въ церковь-то! — вмѣшалась Павлиха: — и я бы пошла! Некогда мнѣ съ вами, грѣхотниками, и Богу-то помолиться!

Толстый хлопнул себя по лбу.

— Прекрасная мысль! — воскликнул онъ съ пафосомъ:—постоймъ до семи въ соборѣ, послушаемъ, какъ Степка на клиросѣ горло деретъ, подобно влюбленному ослу,—про ѣду-то и забудемъ!

— Идемъ! — согласилась фракція.

Всѣ они отправились въ соборъ: впередъ шелъ Толстый съ Павлихой подъ ручку, а за ними Сашка, Новгородецъ и Пискара.

Но въ церкви всѣхъ ихъ и даже Павлиху насмѣшилъ Толстый.

Въ громадномъ соборѣ при началѣ всенощной молящихся было мало. Голоса хора гулко перекатывались подъ высокими сводами, а всѣ звуки подавлялъ мощный басъ Сѣверовостокова: онъ пѣлъ, какъ артистъ, выразительно отчеканивая каждое слово.

Благослов-ви... душе моя... Го-спода!..

торжественно гремѣло въ куполѣ.

Одѣйся свѣтомъ, яко ризою...

Вездѣна яко риза... одѣяніе...

Запоминались огарками отдѣльные красивыя слова.

Толстый всталъ впереди всѣхъ и такъ усердно молился, что ежеминутно клалъ земные поклоны, словно хотѣлъ ими заглушить плотскія требованія желудка. Но, опускаясь на колѣни и склоняясь къ холодному каменному полу, онъ однимъ глазомъ выразительно глядѣлъ межъ своихъ ногъ на стоящую позади и неприличную къ церкви фракцію. Этотъ молчаливый, серьезный и внимательный глазъ какъ бы заглядывалъ въ ихъ души, сознавался въ безсиліи молитвы и словно хотѣлъ сказать: „а ѣсть-то все-таки хочется!“

И чѣмъ сильнѣе молился искушитель, тѣмъ болѣе уничтожалъ молитвенное настроеніе фракціи. Улыбну-

лась даже Павлиха. „подбулавленная“ въ черный новый платокъ.

А на клиросѣ читали:

Вино веселить сердце человѣка,
И хлѣбъ сердце человѣка укрѣпить...

Народу въ соборѣ все прибавлялось, хоръ гремѣлъ, сѣдой протодьяконъ внушительно ревѣлъ, на амвонѣ показался архіерей Гурій и благословилъ народъ, а всю фракцію уже началъ душить хохотъ, вызванный усердною, но безуспѣшной молитвой Толстаго.

Наконецъ, стало неприлично оставаться въ церкви, и компанія поспѣшила выйти.

Предаться религіозному настроенію никому не удалось, зато всѣ развеселились и, смѣясь надъ Толстымъ, легче переносили голодъ.

Такъ прошло время до семи часовъ.

Едва они успѣли возвратиться домой, какъ пришелъ Михельсонъ съ получкой за недѣлю.

Павлиха затопила печь, и голодающая фракція приняла участіе въ изготовленіи ужина.

— Илюша!—доносился изъ кухни озабоченный голосъ Павлихи, хлопотавшей около печи:—поди-ка, погляди, такъ что ли я дѣлаю?

Толстый имѣлъ откуда-то кулинарныя познанія, умѣлъ „дѣлать“ коньякъ изъ водки и сахара, а въ денежныя дни училъ Павлиху стряпать какія-то особенныя кушанья.

— Сейчасъ!—притворнымъ голосомъ и въ тонъ ей отвѣчалъ онъ, запуская въ бездонный карманъ мало-россійскихъ штановъ пустую бутылъ отъ водки и ловко вытѣзая со стола въ окно.

Онъ исчезъ, какъ духъ, сопровождаемый благодарными взорами молчаливой фракціи.

Черезъ пять минутъ Толстый возвратился тѣмъ же путемъ съ наполненной бутылкой.

Какъ разъ въ этотъ моментъ Павлиха опять позвала его:

— Ильюша! поди-ка, говорю, сюды!

Толстый отправился къ ней.

— Вотъ такъ... а это... сюда... поставить на вольный духъ...

Глубокомысленно доносился его смакующій голосъ.

Когда Павлиха вошла въ комнату съ большой дымящейся миской въ рукахъ,—она чуть не вскрикнула: всѣ огарки съ невиннымъ озабоченнымъ видомъ пили водку и жевали „плюмъ-пуддингъ“.

— И какой это лѣшій спровориль? — возопила Павлиха, крѣпко поставивъ миску на столъ и всплеснувъ руками: — ужъ я сама у порога караулила! ни одного пса бы изъ избы не выпустила!

Огарки глухо ржали съ набитыми ртами.

-- Ладно, ладно колесить-то тебѣ, гнусная старушонка, хромой велосипедъ, чортова перешница, старая корга! небось и самой-то, старой ханжѣ, выпить хочется?

Началась обычная сцена.

Въ самый разгаръ „выпрашиванія пятіалтыннаго“ появилось новое лицо—художникъ Савоська.

Онъ былъ поразительно малаго роста, почти пигмей, но сложенъ крѣпко.

Его костюмъ составляла измятая шляпенка, рубашка „фантазія“, коротенькій пиджачокъ съ жилетомъ и запачканныя красками брюки, заправленные въ высокіе охотничьи сапоги. Физіономія Савоськи походила на лягушечью: широкій чувственный ротъ, выпученные рачьи глазки въ очкахъ и тоненькіе жиденькіе усишки, задорно закрученные кверху. Въ цѣломъ онъ былъ похожъ на фавна изъ дѣтской сказки и на „кота въ сапогахъ“.

Въ одной рукѣ Савоська держалъ подъ мышкой складной мольбертъ, а въ другой—ящикъ съ красками.

Художникъ нѣсколько мгновений постоялъ у порога, укоризненно покачалъ своей круглой головенкой съ отросшими до плечъ прямыми сѣрыми волосами и произнесъ какимъ-то уморительно-важнымъ, квакающимъ тономъ:

— О, изверги рода человѣческаго! доколѣ вы будете трескать винище и пивище?

Онъ поставилъ у порога атрибуты своего искусства и продолжалъ:

— Истинно, говорю вамъ: не войдете вы въ царствіе небесное и не будете тамъ вмѣстѣ съ херувимами и серафимами восклицать: „осанна!“ Ибо сказано: трудно пьяному сквозь игольное ухо пролѣзти! Что вы тратите свои молодые силы у дверей кабаковъ, грязныхъ, прокопченныхъ табачнымъ дымомъ и людскимъ неряшествомъ? Оглянитесь, бѣдные, блѣднолицые братья мои! Посмотрите на меня: водка не искушаетъ меня, ибо ужасные примѣры предъ моими глазами! Гнусенъ грязный видъ рванаго огарка, глаза его, какъ у слѣпого, и мрачна душа его, и хочется плакать надъ нимъ и говорить: братъ! вотъ далъ Богъ тебѣ отъ рожденія душу чистую—и что сдѣлалъ ты съ нею? какой отвѣтъ дашь ты Ему? „Пропилъ, Господи!“ трясаясь и стоная, отвѣтишь ты...—Братцы, поднесите рюмочку, съ большого я похмѣлья и, кажется, избить былъ вчера — кѣмъ-то!—неожиданно заключилъ Савоська...

Быстро переменявъ тонъ, художникъ уже сидѣлъ за столомъ среди огарковъ и тянулся къ рюмкѣ.

Огарки смѣялись.

— Откуда ты это, Савося, съ такими сентенціями?—иронически спросилъ его Михельсонъ.

Савоська важно развалился на стулѣ, засунулъ руки въ карманы брюкъ и, пережевывая „плюмъ-пуддингъ“, квакалъ:

— Съ этюдовъ... шатался по Жигулевскимъ горамъ...

а сюда привезъ полотно на выставку... цѣлый мѣсяцъ мазаль... шаркнулъ я, братцы, такую картинищу—ого! угадайте сюжетъ!

— А чего тутъ угадывать? — вмѣшался Толстый: — вѣдь ты давно собирался писать картину на тему: „Хамъ, насмѣхающійся надъ своимъ отцомъ, пьянымъ Ноемъ“.

— Хо-хо-хо!

— А вотъ и нѣтъ!—возразилъ Савоська:—такой неприличной сцены я писать не собирался! Я написалъ картину „Волки“.

— Это что же за картина?

— Это? — Савоська воодушевился. — Это — зимняя ночь въ степи. Темное-темное беззвѣздное небо... темная даль... только зимняя холодная луна однимъ краешкомъ освѣщаетъ снѣжную равнину... снѣгъ такой чистый, влажный, холодный... и мгла ночная тоже написана холодными тонами. Холодно... грустно... одиноко. А на дорогѣ стоитъ волкъ. Такой матерый, старый волчище... Худой, голодный. Онъ весь сжался въ комокъ, согнулся и стоитъ, поджавши хвостъ, но щелкая зубами... Понимаете? под-жав-ши хвостъ,—н-но—щелкая зубами!..

Савоська увлекся и, жестикулируя, изображалъ изъ себя волка.

Огарки, улыбаясь, слушали и ѣли.

— Хорошо теперь овцамъ!—думаетъ волкъ:—живутъ они въ теплой закутѣ, спятъ въ тепломъ навозѣ, плодятся и ѣдятъ теплый, готовый кормъ... Э! не бѣда, что ихъ стригутъ,—шерсть опять отрастаетъ,—что ихъ караулятъ собаки, эти подлая твари, продавшіяся человѣку за кусокъ хлѣба, вѣдь овцы не нуждаются въ свободѣ! проклятыя! онѣ не знаютъ волчьей свободы, волчьихъ страданій!.. Онѣ сыты! всегда — сыты! О! такъ бы ихъ всѣхъ и перерѣзалъ; впился бы

острыми, какъ пила, зубами въ глупое овечье горло, пилъ бы кровь и приговаривалъ: а! вы сыты! вы счастливы въ вашемъ подломъ навозѣ! подлыя, глупыя, рабскія—твари!

Такъ думалъ волкъ, поджавши хвостъ и щелкая зубами.

— Здорово!—одобряли огарки.

— Но вотъ онъ повелъ носомъ... чѣмъ-то пахнетъ... онъ видитъ — на снѣгу чернѣетъ что-то... такъ... это падаль, почти занесенная снѣгомъ... Э!.. поѣмъ хоть падали... А на горизонтѣ, далеко-далеко мелькаютъ парами огненные точки — волчьи глаза... слышенъ голодный вой... волкъ озирается... длинная мокрая шерсть встаетъ на его худомъ хребтѣ... Вотъ вдали мелькнулъ волчій силуэтъ... Э!.. придется подѣлиться...

Савоська щелкнулъ зубами.

— Вотъ моя картина! — торжественно воскликнулъ онъ.

— Разсказано хорошо, а вотъ какъ все это на картинѣ—неизвѣстно...—поддразнилъ Михельсонъ.

— Э!—гордо квакнулъ Савоська:—не знаете что ли вы мою кисть? Написано моимъ широкимъ мазкомъ... да... Это, впрочемъ, не важно, какъ написано: главное—замыселъ, идея! Это — просто небольшой этюдъ, а у меня, вѣдь, пристрастіе къ большущему полотну! Ты мнѣ дай полотно въ нѣсколько сажень, тогда я шаркну картинищу! А можетъ быть, что я совсѣмъ и не художникъ, а будущій великій декораторъ! А можетъ быть — поэтъ? Чортъ меня знаетъ? Я не могу вполне отдаться живописи—она не удовлетворяетъ меня! Мнѣ вотъ хочется стихи писать; разныя сказки и разказы лѣзутъ въ башку!

— Знаемъ!—со смѣхомъ прервали Савоську:—изъ лягушиной жизни! слышали!

— Или изъ быта африканскихъ львовъ!

— Нѣтъ, въ прошлый разъ онъ хорошо рассказаль „комариное засѣданіе на болотѣ“.

— Хо-хо-хо!

— Э!—самодовольно квакнулъ Савоська.—Я не люблю людей, я люблю животныхъ, люблю насѣкомыхъ, пресмыкающихся, птицъ и звѣрей... Шатаюсь по лѣсамъ и болотамъ, я подружился съ ними, я знаю ихъ душу, ихъ мысли, жизнь, борьбу, любовь и маленькія звѣринныя драмы!.. Я много могу о нихъ рассказать!

— А ну, расскажи что-нибудь...—лѣниво отозвались огарки:—изъ быта африканскихъ львовъ...

Послѣ ужина они испытывали чувство неопредѣленной, знакомой тоски: денегъ не было, идти было некуда, дѣлать—нечего, всѣ чувствовали, какъ давить ихъ проклятый „вертепъ Венеры погребальной“.

Огарки разбрелись по угламъ подземелья: кто прилегъ, кто сѣлъ на убогую постель, кто угрюмо слонялся изъ угла въ уголъ.

Толстый сидѣлъ у стола и задумчиво сосалъ длинный чубукъ.

Пигмей помѣстился на полу, у ногъ его, облокотился на колѣно гиганта и, глядя ему въ глаза, началъ рассказывать.

Жестяная лампа слабо мерцала на столѣ, рождая въ черномъ, печальномъ подвалѣ трепещущія, молчаливыя тѣни, которыя, вмѣстѣ съ неясными фигурами людей, словно прислушивались къ звукамъ голоса почти одичавшаго, лѣснаго человѣка.

— Э!—квакаль онъ, улыбкой фавна раздирая лягушечій ротъ свой почти до ушей:—какъ хороша африканская пустыня на закатѣ солнца! Багрянымъ шаромъ погружается солнце на горизонтъ въ раскаленные волны песку, и молчитъ кругомъ великанша-пустыня. Только около крохотнаго оазиса, у маленькой вѣчно мутной лужицы, стоятъ высокія тонкія пальмы и, ше-

веля своими головками, съ мольбою смотреть на небо... А небо?.. Безжалостно и жестоко вѣчно-ясное небо пустыни!..

Вотъ пробѣжало на водопой стадо хорошенькихъ антилопъ... Темнѣетъ. Становится прохладнѣе...

Савоська величественно протянулъ передъ собой руку и продолжалъ, вдохновляясь:

— Подулъ... сухумъ...

— Можетъ быть, самумъ?—поправилъ изъ угла ядовитый теноръ Михельсона.

— Рахатъ-лукумъ!—добавилъ кто-то.

Всѣ засмѣялись. Савоська пришелъ въ бѣшенство.

— Не перебивайте меня!—крикнулъ онъ, гнѣвно топнувъ ногой:—ну, самумъ, ну, что же изъ этого? Художникъ имѣетъ право не знать географіи! Вѣдь я же не былъ въ Африкѣ! Я напрягаю мою фантазію, когда переносу васъ отсюда въ Сахару, въ бытъ и нравы африканскихъ львовъ, а вы меня перебиваете! не буду рассказывать!

— Ну, ну, Савоська, не ужжи!

Савоська съ минутой помолчалъ. Гнѣвъ его отошелъ.

— Расскажу вамъ другое... О слонѣ...—примирительно началъ онъ.—Огромный сѣрый индійскій слонъ тяжело ступалъ по дорогѣ своими могучими лапами... На спинѣ его колыбалась роскошная палатка, въ палаткѣ сидѣлъ принцъ съ принцессой и дѣтьми, а около головы слона сидѣлъ назойливый человѣчекъ съ острымъ молоточкомъ и пребольно постукивалъ слона по затылку. Слонъ давно уже привыкъ возить на себѣ принца и давно притерпѣлся къ назойливому человѣчку, но сегодня ему было особенно грустно...

Дорога шла къ старому тропическому лѣсу, о которомъ въ душѣ слона еще хранились смутныя дѣт-

скія воспоминанія: онъ помнилъ, какъ еще маленькимъ слоненкомъ взять былъ въ этомъ привольномъ лѣсу, полномъ чудесъ, и съ тѣхъ поръ жизнь его полна несчастій: его приучили возить на спинѣ палатку, ему постоянно стучали по головѣ острымъ молоточкомъ...

Но лѣсъ, таинственный лѣсъ внезапно пробудилъ въ немъ глубокую тоску по свободѣ, по веселому, умному стаду свободныхъ слоновъ.

Слонъ шагаль по опушкѣ лѣса и, хмуря брови, думалъ: „Э! Неужели всѣ слоны возятъ на себѣ принца? Неужели такъ-таки и необходимо повиноваться этому ненавистному маленькому человѣчку, котораго можно было бы сбросить самымъ легкимъ ударомъ хобота?.. Какъ хорошъ лѣсъ! какъ хорошъ лѣсъ! Э!“

Слонъ шагаль черезъ лѣсную поляну. Могучія деревья шумѣли подъ вѣтромъ, по гибкимъ лѣанамъ лазили проворныя обезьяны, дразнили его и убѣгали на верхушки лѣса, разноцвѣтные попугаи висѣли на вѣтвяхъ внизъ головой и смѣялись надъ нимъ.

Слонъ шагаль и хмурилъ брови, палатка мѣрно покачивалась на его могучемъ хребтѣ, а назойливый человѣчекъ все стучаль ему по затылку острымъ молоточкомъ, все стучаль, все стучаль...

Вдругъ...—Савоська опять величественно вытянулъ передъ собой руку и восторженно продекламировалъ:— изъ опушки лѣса на поляну вышелъ и остановился въ изумленіи прямо передъ нимъ—молодой, прекрасный, д-ди-кій б-бѣл-лый сл-лонъ!..

— До бѣлыхъ слоновъ довался!—не выдержалъ кто-то.

— Да не перебивайте же!—взмолился Савоська:— иначе я ни одного разсказа не кончу! Ну, вотъ, теперь надо опять что-нибудь новое! Поймите же, что, вѣдь, это—импровизація, экспромты! Я и самъ не знаю, что и какъ разскажу и чѣмъ кончу! Ну, слушайте!

— О! Весело было въ звѣринцѣ: старый христый оркестріонъ ревѣлъ на три версты кругомъ, день былъ праздничный, чистая публика гужомъ подходила къ кассѣ, гдѣ продавалъ билеты армянинъ, хозяинъ звѣринца, и двугривенные звонко сыпались въ его шкапулку.

Весело было въ звѣринцѣ: по бокамъ длиннаго сарая стояли огромныя желѣзныя клѣтки съ четвероногими узниками, музыка гремѣла, а чистая публика гуляла, переходя отъ одной клѣтки къ другой и любовалась заключенными. Публику водилъ за собой толстый, рыжій нѣмецъ и ломанымъ русскимъ языкомъ рекомендовалъ каждаго звѣря:

— Хорекъ! ошинъ злѣбни! воруйтъ яицы!

— Руски волькъ! кровожадни звѣрь...

— Бури медвѣды!..

Молодой бурый медвѣдь сидѣлъ въ своей клѣткѣ на заднихъ лапахъ, а одну изъ переднихъ протягивалъ къ зрителямъ; онъ просилъ сахару, но кто-то просунулъ ему сквозь рѣшетку палку. Острая морда его была грустна и добродушна.

— Американски павіанъ!

Несчастливая чахоточная обезьяна, исхудалая, какъ скелетъ, съежившись въ жалкій комокъ, кашляла за рѣшеткой душу раздрающимъ чахоточнымъ кашлемъ и смотрѣла на людей человѣческимъ страдальческимъ взглядомъ изъ глубоко-ввалившихся орбитъ.

— Бенгальски тигръ!—громче обыкновеннаго провозгласилъ нѣмецъ, гордясь этимъ важнымъ и опаснымъ узникомъ.

За рѣшеткой, безостановочно расхаживая взадъ и впередъ, крутился великолѣпный бенгальскій тигръ. Шаги его были беззвучны, всѣ движенія полны эластичности и благородной граціи. Зеленые глаза горѣли неугасимымъ гнѣвомъ.

Онъ съ ненавистью и презрѣніемъ скользнулъ по толпѣ своимъ загадочнымъ, пламеннымъ взглядомъ.

— Проклятые!—словно хотѣлъ онъ сказать имъ:—проклятые! трусы! вѣдь васъ много, а я одинъ! отоприте же клѣтку и тогда открыто помѣряемся силами! О, какъ бы я бросился на васъ! какимъ фонтаномъ брызнула бы ваша подлая кровь изъ-подъ моихъ справедливыхъ лапъ! О! проклятые!

Вдругъ онъ внезапно, какъ молнія, прыгнулъ въ сторону зрителей, вцѣпился всѣми четырьмя лапами въ толстые желѣзные прутья, выпустилъ огромные когти, затрясъ клѣтку и яростно заревѣлъ своимъ могучимъ, наводящимъ ужасъ, голосомъ.

— Проклятые!—слышалось въ этомъ ненавидящемъ ревѣ:—проклятые!..

Савоська стоялъ уже на ногахъ, потрясалъ кулаками въ воздухъ и, блѣдный, дрожа всѣмъ тѣломъ, сверкая глазами, повторялъ съ глубокой, искренней ненавистью, отъ которой дрожалъ его голосъ:

— Проклятые!..

Въ эту минуту Савоська совсѣмъ не былъ смѣшонъ: онъ захватилъ слушателей. Накопившаяся горечь, многолѣтнія обиды и пламенная жажда мести звучали въ его проклятіяхъ.

Всѣмъ стало немножко жутко.

Жгучая сила ненависти изошла отъ его маленькой, трагикомической фигуры.

Онъ отдышался и, послѣ всеобщаго минутнаго молчанія, продолжалъ болѣе спокойно.

Публика шарахнулась прочь.

— Святъ, святъ, святъ!—прошепталъ кто-то изъ толпы.

А вслѣдъ за смѣлымъ крикомъ тигра сталъ бѣсноваться весь звѣринецъ: всѣ звѣри выли, ревѣли, рыкали, лаяли, визжали и яростно метались въ клѣткахъ. За грознымъ шумомъ возмущенныхъ звѣрей не слышно стало музыки.

Тогда раздался, наконецъ, голосъ льва. До этихъ поръ онъ спалъ, положивши голову на лапы. Словно громъ, прокатилъ голосъ царя по всему звѣринцу, и всѣ узники сразу смолкли, внимая царственному слову.

— Довольно!—гремѣло рыканіе льва:—замолчите! не всѣ же наши сидятъ за желѣзной рѣшеткой! еще много есть тигровъ, барсовъ, львовъ и леопардовъ тамъ, на волю! замолчите же и не беспокойте меня!—сказать, легъ, вытянулъ передвѣя лапы, опять положилъ на нихъ свою косматую мощную голову и закрылъ глаза.

Наступило глубокое молчаніе. Всѣ невольно почувствовали бессознательный символизмъ Савоськиныхъ разсказовъ.

— Савоська!—съ важностью вымолвилъ Толстый:—у тебя есть несомнѣнное перо!

— Навѣрное!—охотно согласился Савоська:—я иногда и стихи пишу. Хотите—прочту!

— Валяй!

Савоська опять усѣлся у ногъ Толстаго, облокотился на его колѣно и сталъ читать тихимъ, размѣреннымъ голосомъ:

Я не любилъ, какъ вы, ничтожно и безстрастно,
На время краткое, безъ траты чувствъ и силъ,
Я пламенно любилъ, глубоко и несчастно—
Безумно я любилъ.

Я весь былъ для нея, и отъ нея все было,
И вся моя душа стремилась къ ней, любя
Я воспѣвалъ ее... Она, смѣясь, твердила:

Я не люблю тебя.

Я звалъ забвеніе. Покорный волъ рока,
Безцѣльно я бродилъ съ мятежною душой,
Но всюду и всегда, преслѣдуя жестоко,

Она была со мной.

Я проклиналъ ее и съ бѣшеною силой
Искалъ всесильнаго забвенія въ винѣ...
Но и въ паряхъ вина являлся сбразъ милый
И улыбался мнѣ.

И въ рѣдкіе часы, когда, людей прощая,
Я снова ихъ люблю, имъ отдаю себя,
Она—является и шепчетъ, повторяя:
Я не люблю тебя!

Савоська вдохнулъ и еще разъ горько прошепталъ:

Я не люблю тебя!

Въ эту минуту вошелъ Сѣверовостоковъ, успѣвшій послѣ всеобщей гдѣ-то выпить. Отъ него исходилъ легкій водочный ароматъ, а голосъ звучалъ задушевною любовью къ товарищамъ.

— Братіе!—загудѣлъ онъ:—не знаю, какъ вы, а я выпилъ съ отцами дьяконами и регентомъ Спиридономъ Косымъ въ задней комнатѣ у Капитошки—тайно образуя и трисвятю пѣснь припѣвая...

Онъ оглядѣлъ скучающую фракцію и покрутилъ головой.

— Эге! душа ваша—яко кожа! Что же вы тутъ сидите? Пойдемте въ садъ: сегодня вечеръ—благораствореніе воздуха! А! Савоська, здравствуй!..

— Въ самомъ дѣлѣ! зашевелились огарки:—въ садъ! въ садъ! чортова скучища здѣсь!

— Сквѣрна квартира!—отозвался даже вѣчно безмолвный Пискара.

И они пошли въ садъ.

Тамъ они сѣли всѣ въ рядъ, на своей скамейкѣ, въ темной аллеѣ, и погрузились въ молчаливыя думы. Весенняя ночь была теплая, черная, небо—почти безъ звѣздъ. Сквозь вѣтви сіяли огни курзала, и слышалось гудѣніе „гуляющей“ чистой публики.

— Проклятые!—все еще шепталъ Савоська, стискивая зубы.

Вдругъ заигралъ оркестръ. Огарки насторожились. То была „прорѣзающая“.

На фонѣ плавно-густыхъ, нѣжно-стройныхъ звуковъ

вдругъ взвился вопль первой скрипки и уже не умолкалъ до конца пьесы. Скрипка пѣла и плакала, прорѣзая своимъ гибкимъ голосомъ весь оркестръ, словно вырвался голосъ ея изъ глубины души и запѣлъ о какой-то великой обидѣ, словно безвозвратно и непоправимо погибло что-то увидительно-чистое, рѣдкое и важное для всѣхъ. И скрипка, плача, требовала, чтобы весь оркестръ остановился и выслушалъ ее... Но онъ мѣрно и стройно плыль, какъ плыла внизу спокойная Волга.

И огаркамъ казалось, что безпокойно прорѣзающая оркестръ скрипка поетъ о неудачничествѣ, о лишнѣхъ людяхъ, объ униженныхъ и оскорбленныхъ, о незамѣченной никѣмъ, оклеветанной и растоптанной огарческой жизни. Затаивъ дыханіе, блѣднѣя и волнуясь, съ трепещущимъ сердцемъ слушали они эту музыку.

— Чортъ возьми!—со вздохомъ вырвалось у кого-то изъ нихъ.

— Хотя бы узнать какъ-нибудь, что это за вещь? въ чемъ тутъ дѣло? отчего она такъ забираетъ?

— Я знаю! вспомнилъ!...—прогудѣлъ въ темнотѣ голосъ Сѣверовостокова:—это — изъ Риголетто! это — проклятiя Риголетто!

Тогда всѣ огарки хоромъ прошептали:

— Проклятiя Риголетто!

И задумались.

Они долго и мрачно молчали и все смотрѣли туда, гдѣ сквозь вѣтви аллеи горѣли огни и гудѣла чистая публика.

— Проклятые!—стиснувъ зубы и грозя кому-то кулакомъ, шепталъ Савоська.

Осенью, съ послѣдними пароходами, Михельсонъ и Новгородецъ „подались на низовье“, „на вольныя земли“, Сашка уѣхалъ въ Сибирь искать счастья „на новыхъ мѣстахъ“, Митяга накопилъ денегъ и тоже уѣхалъ—

за границу, Пискра смѣшно женился на русской бойкой мѣщаночкѣ, „перемѣнилъ квартиру“ и разнакомился съ огарками.

Зато возвратился Сокдль, остались такіе „столпы“ фракціи, какъ Толстый и Сѣверовостоковъ, и съ ними сталъ жить Савоська, промышляя „по декораторской части“. Запилъ Небезызвѣстный и почти не расставался съ ними.

Фракція начинала медленно падать и разрушаться, но жизнь ея все еще текла попрежнему, еще былъ порохъ въ ея пороховницахъ, еще крѣпко стояли огарки.

IV.

Пришла зима.

Въ пивной Капитошки въ зимній вечеръ набиралось много народу.

Капитошкино „заведеніе“ состояло всего изъ одной тѣсной и низкой комнаты, заставленной круглыми столиками. За этими столиками сидѣли и пили пиво за коптѣлыя фигуры рабочихъ съ ближайшаго завода, налѣво отъ двери помѣщалась стойка, на которой, въ видѣ украшенія, стоялъ маленькій стеклянный аквариумъ съ золотыми рыбками, а за стойкой сидѣлъ „самъ Капитошка“—буфетчикъ въ русскомъ стилѣ, толстый, въ розовой рубашкѣ на выпускъ, въ глухомъ черномъ жилетѣ и высокихъ сапогахъ, степенный, дѣловитый, полный чувства собственного достоинства. Изъ „помѣщенія“ были открыты двери въ кухню съ плитой, а за кухней виднѣлись апартаменты Капитошки, откуда по временамъ доносилось пѣніе канарейки.

Въ углу пивной, за большимъ круглымъ столомъ, сидѣли Толстый, Сѣверовостоковъ, Савоська, Гаврила и фельетонистъ Небезызвѣстный. У фельетониста была типично-литераторская паружность: длинные до плечъ

пушистые волосы, козлиная борода, блѣдное лицо съ тонкими чертами и прекраснымъ открытымъ лбомъ.

Въ противоположность косматой шевелюрѣ фигура его была хрупкая, небольшая, изящная. Разговаривая онъ однообразнымъ жестомъ помахивалъ передъ собой правой маленькой, какъ у женщины, ручкой. Лѣтъ ему казалось за сорокъ.

Толстый къ зимѣ отпустилъ густые кудри пепельнаго цвѣта и, попрежнему тщательно выбритый, походилъ теперь на хорошаго провинціального актера.

Передъ всей компаніей стояло уже съ дюжину опустошенныхъ бутылокъ пива.

Гаврила пилъ клюквенный квасъ, былъ совершенно трезвъ и очень серьезенъ. Онъ говорилъ:

— Да-съ, господа! Этотъ спектакль и весь вообще литературный вечеръ въ пользу общества трезвости устраиваю я, а не кто другой! Потому и приглашаю васъ смѣло участвовать! Это, братцы, моя идея! Я имъ покажу, какъ нужно устраивать литературные вечера; я такъ поставлю вечеръ, какъ еще не ставили до меня и не будутъ ставить послѣ меня! Вы только послушайте, какая программа и сколько будетъ участвующихъ: во-первыхъ—пьеса, во-вторыхъ—чеховскій водевиль, а не какое-нибудь старье, и въ-третьихъ—разнообразный дивертисментъ: музыка, пѣніе, чтеніе!...

— Кто же участвующіе?

— Участвующіе? Пьесу будетъ играть желѣзнодожный кружокъ любителей, и въ ней примутъ участіе изъ насъ только двое: я и Савоська. Савоська будетъ играть еврея, а я сыграю пьянаго. Чеховскій водевиль, въ родѣ монолога, сыграетъ Илюша, а вотъ на дивертисментъ-то я и приглашаю васъ всѣхъ! У насъ приглашена уже извѣстная пѣвица Соловьева-Перелетова, будетъ читать одинъ декламаторъ изъ адвокатовъ, Степанъ Сѣверовостоковъ выступитъ соло съ

хоромъ, да и господинъ Небезызвѣстный согласились прочитатъ своего „Илью Муромца!“

— Такъ въ чемъ же теперь дѣло? въ псевдонимахъ?—квакнулъ Савоська.

— Да, въ псевдонимахъ!—задумчиво подтвердилъ Гаврила:—не могу же я, антрепренеръ, выводить васъ въ качествѣ огарковъ: пусть думаютъ, что вы какіе-нибудь пріѣзжіе.

Взоры всѣхъ обратились къ Толстому.

— Кто же лучше Илюшки выдумаетъ? Ни у кого нѣтъ такихъ словъ, какъ у него. Выдумывай, Толстый!—гудѣла фракція.

Толстый побарабанилъ пальцами по столу.

— Что жъ тутъ выдумывать?—возразилъ онъ:—кто еще кромѣ насъ участвуетъ въ дивертисментѣ?

— Одинъ частный повѣренный, ходатай по дѣламъ...

— Ну, вотъ и пиши такъ: при благосклонномъ участіи адвоката Ходатай-Карманова, литератора Самъ-Другъ-Наливайко, пѣвца Степана Балбесова, а самъ подпиши: антрепренеръ и распорядитель Плачъ-Гаврилинъ.

Всѣ засмѣялись.

— Почему же „Плачъ“? — спросилъ Гаврила, невольно улыбаясь и все-таки записывая въ книжку „псевдонимы“.

— Да, вѣдь, ты же всегда плачешь, когда бываешь пьянъ!

— Вѣрно!—согласился антрепренеръ:—потому я и перешелъ на квасъ....

— Какъ вы себя чувствуете на квасу?—галантно спросилъ его Небезызвѣстный.

— Отлично!—отвѣчалъ Гаврила:—я въ первый разъ въ жизни отвѣдалъ этотъ напитокъ.

— Неужели, братцы, у него эта квасопійство сдѣлается хроническимъ?

— Ну, вотъ еще!—возразилъ Толстый:—съ какой

статѣ? Вотъ, Богъ дастъ, проводимъ литературный вечеръ и тогда... опять...

Онъ запнулся, подыскивая словцо позабористѣе.

— Опять.... какъ-нибудь его.... встр-рѣтимъ!

— Ну, нѣтъ, не встрѣтите!—нервно воскликнулъ Гаврила:—для меня этотъ литературный вечеръ—важное дѣло; послѣ него я поднимусь... и брошу пьяную жизнь! ..

— Дай Богъ!—со вздохомъ пожелалъ Толстый.

— Ну, а тебя-то какъ записать?—спросилъ Гаврила, тыкая карандашомъ Толстому въ брюхо.

— Меня?

Толстый задумался.

Потомъ тряхнулъ кудрявыми волосами и сказалъ, раздувъ ноздри:

— Пиши меня крупными буквами: извѣстный артистъ Казбаръ-Чаплинскій проѣдомъ изъ Петербурга въ Сибирь....

Дружный взрывъ огарческаго смѣха покрылъ его слова.

Дверь съ улицы отворилась, впустила цѣлое облако холоднаго воздуха, а изъ облака выдѣлился и подошелъ къ огаркамъ кузнецъ Сокдлъ.

Онъ былъ все такой же, какъ и лѣтомъ, сильный, черный, въ мѣховомъ пиджакѣ и высокихъ сапогахъ. Только смуглое лицо его стало еще чернѣе и худѣе, а черные глаза горѣли мрачной печалью.

— Здравствуйте, хлопцы!—звучно сказалъ онъ, протягивая товарищамъ черную, кузнечную лапу.

— Ну, что, какъ твое дѣло?—спросили его.

Сокдлъ присѣлъ къ столу, отхлебнулъ немного пива, облокотился и вздохнулъ тяжело, глубоко и протяжно. Потомъ скрипнулъ крѣпкими зубами и безнадежно махнулъ рукой.

— Швахъ!—промолвилъ онъ тихимъ голосомъ.

Лицо его было усталое и грустное.

— Совсѣмъ поругался съ купцами. Ходилъ къ фабричному инспектору, сейчасъ отъ него—сюда. И слушать не сталъ! Конченное дѣло, ушелъ я отъ нихъ; теперь только одно осталось—газета!

Сокдлъ грустно посмотрѣлъ на товарищей и, обращаясь къ Небезызвѣстному, попросилъ голосомъ, полнымъ послѣдней надежды:

— Напишите объ нихъ, подлецахъ, въ газетѣ!

Всѣ засмѣялись.

— Крѣпко же васъ они обидѣли, видно?—улыбаясь, спросилъ газетчикъ.

— Обидѣли-то? Да меня всю жизнь, какъ волка, травятъ, душатъ за горло, а теперь вотъ устаю терпѣть! Начальство вездѣ меня знаетъ, ненавидитъ оно меня и на работу нигдѣ не беретъ, даромъ что я по мастерству одинъ изъ лучшихъ считаюсь: думаютъ, что я зачинщикъ и смутьянъ; а, вѣдь, у меня семья—пятеро! Тяжело. Иногда даже такая мысль приходитъ: броситься подъ поѣздъ!

— Ну, что ты, Сокдлъ!—въ одинъ голосъ воскликнули слушатели.

— Да!—мрачно воскликнулъ кузнецъ:—тяжело становится! немоготу терпѣть! Если бы вы знали,—продолжалъ онъ, понижая голосъ до задушевнаго, грустно-мрачнаго шопота,—если бы вы знали, какая въ нашей жизни, у рабочихъ, борьба идетъ, неустанная, на жизнь и на смерть, какъ никогда ни одной минуты вздыху не знаешь, и какъ со всѣхъ сторонъ норовятъ наступить тебѣ на горло и задушить!

Черные глазищи Сокдла свирѣпо сверкнули.

— Я бы ихъ,—прошепталъ онъ тихо, но съ такой злобой, которая могла накопиться только годами, подавляемая, но хранимая въ глубокой, сильной душѣ,—я бы ихъ схватилъ вотъ такъ за глотку, да и вырвалъ бы ее, глотку-то!

Онъ протянулъ передъ собой свою черную, словно желѣзную, ручищу и сдѣлалъ мощный жестъ, отъ котораго всѣмъ стало немножко страшно.

Капитошка, собственноручно ставившій на столъ свѣжія бутылки, поймалъ его слова, искоса взглянулъ на кузнеца и счелъ нужнымъ нравоучительно вставить свое слово:

— Прощать надо... любить и терпѣть... да! а не скандалить! вотъ!

И, не дожидаясь отвѣта, Капитошка съ важностью удалился за буфетъ.

Сокѡлъ тяжело и глубоко погрузилъ свой жгучій взоръ въ наблюдательные глаза фельетониста.

— Терпѣть...—вымолвилъ онъ:—прощать... да надо ли терпѣть-то? можно ли простить это? Да, вѣдь, я же только и дѣлалъ, что терпѣлъ... поневолѣ терпѣлъ и поневолѣ прощалъ, не мстилъ. Только и было моей мести разъ, на молотѣбѣ, въ степи, когда я работалъ у казаковъ... Богатые они, черти, и здоровые... Велѣли они меня работникамъ своимъ связать и связаннаго бить... Да тутъ, на мое счастье, подоспѣли рабочіе мои, артель, работниковъ разогнали, а меня освободили... Хотѣли они и казаковъ, хозяевъ моихъ, вздуть, да я не велѣлъ никого изъ нихъ пальцемъ тронуть, а велѣлъ только всѣхъ ихъ связать. И когда ихъ связали, я далъ имъ каждому по одному разу въ морду, собственноручно далъ, чтобы испытали они на себѣ то же самое, что надо мной выдѣлывали... Вотъ только и было за всю жизнь... а то—никогда не мстилъ...

Глаза его опять мрачно сверкнули, и, поднявшись во весь ростъ, онъ громко и возбужденно заговорилъ своимъ рѣзкимъ, металлическимъ голосомъ, обращаясь къ фельетонисту:

— Вѣдь, вотъ вы пишете—а про что пишете? Заглянешь въ газету—все больше кругомъ да около ходите! А вы бы написали про начальство, да про

купцовъ, про эту мошну расейскую, безславную, дикую, которая весь рабочій людъ гнетъ, мнетъ и бьетъ; про нее бы, грязную и нахальную, написали бы вы, какъ она оскорбляетъ и унижаетъ насъ, да и не понимаетъ еще всей силы униженій нашихъ, потому что у насъ больше чести и уваженія къ человѣку, чѣмъ у нихъ, потому что очень ужъ у нея, у мошны у этой, рабскаго много, чтобъ ей задохнуться въ себѣ самой!

Сокѡлъ поднялъ и показалъ всѣмъ свои здоровенныя ручищи.

— Поглядите на меня,—продолжалъ онъ,—поглядите на эти руки и подумайте: развѣ это не дико, чтобъ такой здоровый дѣтина, вотъ съ такими руками, мастеръ своего дѣла, желающій трудиться—не находилъ себѣ работы? ну, какъ это понять? Ахъ чтобъ ихъ чортъ взялъ въ самое пекло, или бы они намъ хоть это мѣсто, хоть пекло-то уступили, а то мы и на томъ свѣтѣ не поладимъ съ ними!

Онъ тяжело опустился на стулъ и продолжалъ уже тише, сдержаннѣе:

— Вѣдь, они чего хотятъ?

И самъ же отвѣтилъ:

— Чтобы я человѣкомъ не былъ, человѣка во мнѣ топчутъ, за человѣка меня не считаютъ! О черти! Никогда я имъ не покорюсь, до могилы бороться буду, не могу не бороться! Вѣдь, и хотѣлъ бы покориться, семья страдаетъ, неповинныя дѣти, пятеро.. н-но... какъ только подумаю переломить себя, переверотить себя наизнанку...

Сокѡлъ скрипнулъ зубами, затрясъ головой и энергично крикнулъ:

— Нѣтъ!

Онъ замолчалъ и вытеръ грязнымъ кулакомъ глаза, на которыхъ внезапно выступили слезы, словно выжатая изъ сердца желѣзными тисками, и уже чуть

слышно и коротко, но рѣшительно, съ безсознательнымъ драматизмомъ прошепталъ:

— Нѣтъ!

Слезы не измѣнили его лица въ жалкую гримасу: оно попрежнему было мужественное, сильное.

За столомъ наступило общее молчаніе... Всѣ насупились и потянулись къ пиву.

— Знаешь что?—воодушевился вдругъ Гаврила:— поступай къ намъ въ театральные рабочіе? а? Я бы могъ это устроить! Пока идутъ вечера и спектакли—все-таки сколько-нибудь заработаешь!

— Господи!—воскликнулъ обрадованный Сокдль:— да я съ радостью, хоть сейчасъ! Вѣдь, ребятишки-то у меня безъ хлѣба сидятъ, Настя плачетъ!..

— Ну, вотъ! пусть не плачетъ. Я тебѣ сейчасъ вечеровой задатокъ выдамъ!

Гаврила порылся въ кошелькъ и вытащилъ трешницу.

— На!—сказалъ онъ:—завтра же являйся въ Народный домъ, будешь тамъ Савоськѣ помогать декораціи писать... Въ день спектакля будешь ихъ уставлять, а въ пятомъ актѣ громомъ гремѣть...

— Здорово!—одобрили огарки.

— Вся наша фракція приметъ участіе.

— Не вѣшай голову! чево тутъ? впервой что ли?—ободряли Сокола.

Сокдль внезапно утѣшился.

— Чево мнѣ вѣшать? вотъ!—весело воскликнулъ онъ:—проживемъ!

Онъ „хлопнулъ“ стаканъ пива и добавилъ, вставая:

— Ну, иначе, побѣгу съ трешницей-то: дома ни чаю, ни сахару, ни крошки хлѣба!

Онъ крѣпко пожалъ всѣмъ руки и ушелъ, громко хлопнувъ заиндевѣвшей дверью пивной.

— Сколько лѣтъ ужъ я его знаю!—сказалъ Савоська:—всегда онъ такъ жилъ!

— И все-таки какъ много въ немъ энергіи,—прогудѣлъ Сѣверовостокъ:—и этой постоянной вѣры въ будущее!

— Вѣрой живемъ!—сказалъ Толстый, барабани пальцами.

— Проклятые!—шепталъ Савоська, наливая пива.

Фельетонистъ Небезызвѣстный всталъ съ полнымъ стаканомъ въ рукѣ и постучалъ ножомъ по бутылкѣ, желая сказать рѣчь. Въ глазахъ его мелькало легкое опьянѣніе.

— Дорогіе мои!—началъ онъ и сдѣлалъ свой обычный жестъ маленькой, изящной рукой.—Э... э... дорогіе мои, нашъ общій товарищъ, только что ушедшій кузнецъ Сокѣль, бросилъ мнѣ совершенно справедливый упрекъ въ томъ, что наша пресса совсѣмъ не о томъ пишетъ, не о важномъ пишетъ, она, бѣдная провинціальная пришибленная пресса! Э... И я совершенно согласенъ съ нимъ. Скажу даже болѣе: писаніе въ газетахъ отнынѣ я считаю пустымъ и бесполезнымъ толченіемъ воды въ ступѣ! д-да-съ!

— Дорогіе мои!—продолжалъ онъ, воодушевляясь и все сильнѣе помахивая рукой:—предъ вами стар-рая литературная собака, съ вами вотъ уже нѣсколько лѣтъ пьетъ по кабакамъ старая водовозная кляча, которая однажды сказала сама себѣ: „не хочу возить воду“ и распряглась! да-съ!

Голосъ его звучалъ рѣзко и до ненужности громко.

— Сегодня объяснился я съ редакторомъ и заявилъ, что выхожу изъ состава сотрудниковъ! Пускай поищутъ себѣ другого такого водовоза, какъ старикъ Небезызвѣстный! Ха! Не могу больше!

Онъ поднялъ стаканъ кверху, запрокинулъ голову и завопилъ:

— Свободы жажду, обновленія хочу! Я имъ тамъ, въ редакціи, высказалъ сегодня все, сбросилъ съ моего стола всѣ газеты на полъ, истопталъ ихъ ногами и...

ушелъ! Ушелъ на волю! Э! Все живое уходитъ, ищетъ живой жизни, иду и я!..

— Куда же ты идешь, мужественный старикъ?— улыбаясь спросилъ его Толстый.

— Я? Я иду проповѣдывать! Да, на проповѣдь вышаль я! Пора, давно пора вынести свободное слово прямо на улицу, а не держать его подъ полой, не душить эзоповщиной! Я буду говорить открыто, на площадяхъ, на вокзалахъ, въ вагонахъ, въ пивныхъ—вездѣ, гдѣ встрѣчу толпу: бояться и терять мнѣ нечего! Э, дорогіе мои, вѣдь, все въ прошломъ: восьмидесятые годы, народничество... любовь.. жена... остроги... ссылка... семь лѣтъ Якутіи... все проходитъ передъ моимъ умственнымъ взоромъ, какъ сквозь дымку, все позади! Потомъ—крушеніе идеаловъ, гибель вѣры во многое, усталость сердца и—пьянство! Вотъ—жизнь!

— Н-но!—рѣзко и грозно повысилъ онъ голосъ:— не смирился я! Пусть я усталъ, постарѣлъ, измѣтъ и израненъ, пусть уже отходить мое поколѣніе въ прошлое, но живъ Богъ мой и жива душа моя! Снова вспыхнулъ я и горю послѣднимъ огнемъ моимъ, хочу сжечь остатокъ жизни моей въ неустанномъ движеніи впередъ, хочу и умереть такъ же ярко, какъ жилъ!

Подъ бровей съ простымъ наборомъ,
Хлѣба кусъ жуя,
Въ жаркій полдень ѣдетъ боромъ
Дѣдушка Илья!
И ворчитъ Илья сердито:
Ну, Владиміръ, что жъ?
Посмотрю я, безъ Ильи-то
Ка-акъ ты проживешь?

Ударившись въ стихи, Небезызвѣстный растопырилъ руки и въ полномъ упоеніи возопилъ на всю пивную рѣжущимъ уши голосомъ:

Вновь изъѣдаю я, старый,
Волюшку мою!

Ну же, ну, шагай, чубарый,
Уноси Илью!

Огарки рааразились сочувственнымъ смѣхомъ.

— Дай обнять тебя мужественный старикъ! — театральнo воскликнулъ Толстый, раскрывая объятія.

Хрупкое тѣльце „мужественнаго старика“ прильнуло къ богатырскому брюху Толстаго. Въ этой позѣ двѣ комически несходныя фигуры замерли на минуту, при общей сочувственной улыбкѣ.

— И ты, вѣдь, ушелъ когда-то Илюша? изъ казенной-то палаты? — прижимаясь къ Толстому и впадая въ чувствительность, нѣжно спросилъ его бывший фельетонистъ.

— Ушелъ... — согласился Толстый.

— А кстати, какъ это все случилось? — спросилъ Савоська. — Меня тогда здѣсь еще не было!

— Дорогіе мои! — восторженно воскликнулъ Небезызвѣстный: позвольте ужъ мнѣ рассказать и выяснить, по моему разумѣнію, всю эту, такъ сказать, эпопею Илюшкиныхъ подвиговъ на государственной службѣ...

Онъ нервно привскочилъ за столомъ, поправилъ очки, невольно и безъ нужды сдѣлалъ странную ужимку, какъ бы собираясь чихнуть, и быстро почесалъ пальцемъ около носа.

— Э... э... дорогіе мои! Дѣло въ томъ, что объ этомъ я даже хочу написать рассказъ... да! Представьте вы себѣ такую картину: учрежденіе.. чино-вничество... власть и давленіе, такъ называемыхъ, „шишекъ“ и покорная пришибленность мелкихъ сошекъ... Понимаете, м-мелкихъ с-сошекъ! Величіе, — съ одной стороны, и трепеть — съ другой. И вотъ въ качествѣ самой мелкой сошки появляется тамъ такая личность, какъ Илюшка Толстый. И обаяніе этой личности оказалось такимъ, что около него мало-помалу сплываются всѣ мелкія сошки и подъ его предводительствомъ вступаютъ въ борьбу съ шиш-

ками. Шагъ за шагомъ завоевываютъ они себѣ чловѣческія права, научаются сознать себя силой, дѣйствовать заодно. Наконецъ, уже диктуютъ шишкамъ свои требованія, а на требованія шишекъ выражаютъ свое коллективное не-сог-ла-сі-е или даже порицаніе. Однимъ словомъ, все перевернулось—учрежденіе испортилось! Понимаете, учреж-де-ні-е ис-пор-ти-лось! Ха-ха! Шишки оказались подъ контролемъ сошекъ, сошекъ стали считать людьми, обращаться съ ними стали вѣжливо, стали прислушиваться къ ихъ мнѣніямъ, желаніямъ, настроеніямъ. Съ ними стали бороться и—не могли побороть! Д-да-съ, дорогіе мои, сошки побѣдили шишекъ!

Небезызвѣстный отпилъ пива, опять сдѣлалъ гримасу и продолжалъ, махая ручкой:

— И все это, дорогіе мои, сдѣлалъ одинъ чловѣкъ, потому что мелкія сошки оказались, въ концѣ концовъ, все-таки мелкими сошками! Можете представить себѣ гнѣвъ начальства и ненависть его къ этому предводителю сошекъ! Ненависть эта возросла тѣмъ болѣе, что выжить его оказалось очень трудно: у него обнаружился геній быстро и талантливо выполнять самую трудную, отвѣтственную, самостоятельную работу! Озолотить можно было такую голову, не передайся онъ на сторону сошекъ!

И вотъ, дорогіе мои, со скорбью въ сердцѣ, начальство должно было держать его на виду, на отвѣтственной, важной работѣ, выдавать ему награды и представлять къ повышенію. Каково это было начальственному, отеческому сердцу? какую змѣю отогрѣло оно?

Но тутъ съ героемъ моимъ что-то случилось: забравши силу и наладивъ своихъ сошекъ, онъ вдругъ отчего-то загрустилъ, все бросилъ, ушелъ и—запилъ!

И тогда, дорогіе мои, все моментально принимаетъ свой первоначальный видъ, какъ будто сошки имъ однимъ и держались: мелкія сошки всѣ бросаются

вразсыпную, теряють все свое значеніе и становятся по своимъ прежнимъ мѣстамъ. И опять, съ одной стороны, неукоснительная строгость, а съ другой—рабская трусость и трепеты!

Небезызвѣстный крѣпко поставилъ на столъ опорожненный стаканъ, который онъ все время своей рѣчи держалъ въ рукѣ, и закончилъ рѣзкимъ голосомъ:

— Вотъ, дорогіе мои, что значить сильная личность, вотъ тема будущаго моего разсказа: „Шишки и Сошки“.

Онъ снова наполнилъ свой стаканъ, отпилъ, поставилъ его и, помахивая ручкой, продолжалъ:

— И представляется мнѣ, дорогіе мои, жизнь Ильи Толстаго въ такомъ видѣ: вышелъ онъ изъ деревенской земли и, стремясь къ свѣту, алкая какого-то большого, особеннаго дѣла, для котораго онъ родился, проходитъ черезъ нашу мелкотравчатую жизнь, какъ черезъ мутную рѣчку. Идетъ онъ, неудовлетворенный, не находя себѣ мѣста, а по пути, мимоходомъ, случайно, при малѣйшемъ соприкосновеніи съ жизнью, обнаруживаетъ дивную силу свою! И чувствуется, что все это—слишкомъ тѣсно, узко и мелко для него, и что настоящей своей точки, на которую онъ могъ бы упереться и проявить всего себя, онъ не находитъ!

Эхъ, ты, камень самоцвѣтный, дивный перлъ, драгоценный даръ великаго народа, выброшенный имъ изъ нѣдръ своихъ, никѣмъ неузнанный, неоцѣненный и самъ себѣ цѣны не знающій! Да неужели ты не догадываешься, что ты созданъ быть вождемъ, что у тебя есть таинственная сила вліянія на толпу, тебѣ дано увлекать ее, ты — природный агитаторъ! Ты — артистъ, поэтъ и вдохновитель!

Небезызвѣстный запрокинулъ свою косматую голову и, простирая впередъ руки, произнесъ важно, съ пророческимъ видомъ:

— Придутъ дни, великіе дни! Мелкую рѣчку по-

кроетъ грозное бушующее море, будетъ великая буря, великій гнѣвъ! И въ первой волнѣ возмущеннаго народа пойдутъ Михельсоны и Соколы, Сѣверовостоковы будутъ строить баррикады, поднимая самыя громадныя тяжести, и будутъ драться на баррикадахъ всѣ долго и много терпѣвшіе, всѣ озлобленные, всѣ годами копившіе горечь свою, и явятся среди нихъ вожди и герои! Изъ неизвѣстности своей явятся они, изъ отброшенности, изъ огарчества придутъ эти люди, и это будетъ все одинъ типъ: Илья Толстый будетъ это! Остроумный, чарующій, спокойный и мужественный, онъ займетъ тогда свое мѣсто, онъ подниметъ знамя!

Сквозь шумъ и гвалтъ кабака изъ хозяйскаго помѣщенія давно уже доносилось треньканье балалайки. Двери черезъ кухню были отворены насквозь, и всѣмъ въ пивной была видна Капитошкина комната, увѣшанная желтыми птичьими клѣтками.

Капитошка сидѣлъ у порога, на обитомъ бѣлой жестию сундукѣ, и артистически игралъ на балалайкѣ. Струны такъ и выговаривали „барыню“, подмывая въ плясъ; массивный серебряный перстень на среднемъ пальцѣ пухлой Капитошкиной руки, съ непостижимой быстротой ударявшей по струнамъ, сверкалъ въ воздухѣ, какъ молнія, но лицо самого Капитошки было неподвижно и безстрастно, какъ лицо судьбы.

Онъ игралъ, какъ власть имѣющій, словно зная впередъ, что пернатые пѣвицы, заключенныя въ его клѣткахъ, и люди, сидящіе въ его кабацѣ, не уйдутъ изъ-подъ власти его.

Черезъ минуту канарейка покорилаcь звукамъ балалайки и запѣла сначала съ перерывами, а потомъ увлеклась аккомпанементомъ и залилась безконечною пѣсней. Она музыкально слѣдовала темпу и мотиву балалайки, вслѣдъ за звуками струнъ повышая и понижая трели, почти выговаривая „барыню“.

Мало-по-малу кабацъ заинтересовался пѣвицей и

притихъ. Взоры всѣхъ посѣтителей—по виду, большому частью, рабочихъ—устремились на двери кухни.

— Ишь, какъ заливается! — сказалъ нѣкто закопѣлый.

— Веселая!—добавилъ другой.

— Пѣсельница!

— Что ей? Птица! Кормъ готовый! Одно ей занятіе—пѣть!

— Тебя бы, чорта, посадить въ клѣтку-то, какъ бы ты тамъ развеселился!...

Промерзлая дверь съ шумомъ отворилась, и вмѣстѣ съ бѣлыми клубами морознаго воздуха въ пивную вошелъ гигантъ въ огромныхъ валяныхъ сапогахъ съ красными крапинками, въ засаленой, рваной, чѣмъ-то подпоясанной, курткѣ и рваной шапкѣ. Борода и усы у него обледепѣли.

Онъ крѣпко хлопнулъ дверью и, стащивъ шапку, грузно опустился на табуретъ около свободного столика у входной двери.

Пока ему подавали пиво, онъ отдиравъ ледъ съ бороды и усовъ и, глубоко кашляя, сказалъ сиплымъ, густымъ голосомъ:

— Хорошо кобелю въ шерстѣ, а мужику—въ теплѣ!
И улыбнулся.

Его темное лицо было страшно отъ сажи и копоти, а когда онъ улыбнулся, обнаруживъ бѣлые, сверкающіе зубы, то отъ улыбки сталъ еще страшнѣе.

— Силанъ, здорово! — громко сказалъ ему кто-то изъ рабочихъ.

— А, и ты здѣся! кхе! кхе!—кашляя, отвѣтилъ Силанъ и протянулъ товарищу нечеловѣчески огромную руку:—чево это вы всѣ туда глядите? кхе! кхе!

— Не глядимъ, а птичку слушаемъ: хозяинъ ей на струнахъ играетъ, а она поетъ!

— Птичку?—мрачно говорилъ громадный челоѣкъ:—ну, я ужъ птичку не услышу: у насъ, у глухарей.

тугое ухо! Со мной и говорить-то надо громче, а то не слышу. Въ ушахъ гудить отъ котла.

— Ты нешто въ котлѣ работаешь?

— Въ котлѣ... кхе!... кхе!... глухарь я... Всѣ мы такіе-то... кхе... безъ ушей... такая работа!... какъ въ аду живемъ!... кхе!... кхе!...

Онъ говорилъ спокойнымъ тономъ, не жалуясь и не возмущаясь, а только называя вещи ихъ именами.

— О чемъ толкуютъ-то?—хрипѣлъ глухарь, кивая собесѣднику на огарковъ.

— А видишь ли,—закричалъ емутоварищъ,—господа хотятъ въ тѣатрѣ ломаться... представленіе будутъ дѣлать... въ пользу общества трезвости...

Глухарь помоталъ головой.

— Никъ чемуэто!—вымолвилъ онъ:—въ пользу общества трезвости... пустяковина все... Небось и сами-то пьянствуютъ... а нашему-то брату при такой работѣ какъ не пить? и то сказать: на представленіе-то рази пропустятъ глухаря? а пустятъ—ничего не услышу... кхе!... кхе! Вотъ кабы они въ пользу облегченія рабочаго человѣка что-нибудь сдѣлали, потому забираютъ насъ шибко! вотъ—я, къ примѣру, кашляю... кхе!... а отъ чего? отъ сѣры! Хозяинъ въ топливо сѣру валить! Ему отъ этого въ углѣ экономія, а намъ—смерть, да вѣдь и барышъ-то ему отъ сѣры этой такъ себѣ—пустяковый. Такъ нѣтъ! Ему свой грошъ дороже людей... Человѣкъ-то для него что выходитъ? такъ себѣ—тѣфу! околѣвайте, молъ, много васъ!... кхе!... кхе!...

Небезызвѣстный быстрыми, хотя и нетвердыми, шагами подошелъ къ глухарю и заговорилъ ваволнованно, въ чрезвычайномъ возбужденіи протягивая ему обѣруки:

— Дорогой мой, я съ вами совершенно согласенъ совершенно—но согласенъ, вы—глухарь? гаршинскій глухарь? да? очень пріятно встрѣтиться! позвольте пожать вашу честную руку!

И, пожимая огромную черную ручищу глухаря, онъ сѣлъ съ нимъ рядомъ.

— Будемте друзьями!—задушевымъ голосомъ продолжалъ онъ, помахивая ручкой:—я—стар-рая литературная собака! понимаете? Стар-рая литературная собака, стар-рая кляча, которая однажды сказала сама себѣ: „не хочу возить воду!“ и распряглась!

— Ну-ну!—сказалъ Толстый, выходя изъ пивной на тротуаръ вдвоемъ съ Гаврилой:—ты говоришь, что надо теперь въ Народный домъ завернуть, на репетицію кружка?

— Непремѣнно,—подтвердилъ Гаврила, махнувъ рукой извозчику:—тебѣ нужно посмотрѣть расположеніе сцены и познакомиться съ кружкомъ. Я тебя представлю!

Они сѣли въ извозчичы сани и понеслись въ вихрѣ морозной пыли. Послѣ промозглаго воздуха Капитошкиной пивной такъ хорошо дышалось на морозѣ. Жгучій вѣтеръ покалывалъ щеки, снѣгъ визжалъ подъ полозьями.

Въ довольно большомъ залѣ Народнаго дома была устроена крохотная сцена. Стѣны зала, бревенчатые, безъ всякихъ обоевъ, имѣли грустный и мрачный видъ. вмѣсто креселъ стояли длинныя скамьи, выкрашенныя охрой. Театральный залъ былъ окутанъ мракомъ, и только нѣсколько тусклыхъ керосиновыхъ лампъ въ рампѣ освѣщали авансцену.

Посреди сцены за большимъ круглымъ столомъ, сидѣлъ весь „желѣзнодорожный кружокъ“—человѣкъ десять; это были, словно на подборъ, тщедушные и плюгавые люди съ болѣзненными нервными лицами, одѣтые въ форму мелкаго желѣзнодорожнаго начальства.

Они сидѣли каждый съ тетрадкой и были очень серьезно заняты „считкой“ пьесы.

Сцена была обставлена декораціей комнаты, но сверху, вмѣсто картонаго потолка ея, висѣлъ огромный холстъ, изображавшій небо.

Для входа на сцену изъ зала была приставлена деревянная лѣсенка изъ трехъ или четырехъ ступеней. Гаврила, съ видомъ хозяина, знающаго здѣсь всѣ ходы и выходы, поднялся по этой лѣсенкѣ, приглашая за собою жестомъ и своего спутника.

Но едва Толстый всталъ на ступени входа въ храмъ Мельпомены, какъ онѣ затрепали подъ тяжестью его большого тѣла и рассыпались, а самъ онъ всею массой грохнулся на сцену, но тотчасъ же съ ловкостью гимнаста вскочилъ на ноги.

— Ну, смѣю сказать, и скамейки у васъ!—сказалъ онъ, снисходительно разсмѣявшись надъ собою, хотѣлъ отряхнуться, но въ разсѣянности и отъ непривычки къ декораціямъ прислонился огромной спиной къ холщевой стѣнѣ.

Тогда стѣны комваты закачались и рухнули на сцену, небо упало и накрыло всю труппу.

Все это случилось такъ неожиданно и быстро, что никто даже не успѣлъ крикнуть, и „кружокъ“ только завертѣлся подъ огромнымъ полотномъ.

Артистъ Казбаръ-Чаплинскій нѣсколько мгновений стоялъ, какъ демонъ разрушенія надъ кучкой слабыхъ людей, придавленныхъ небомъ, потомъ сконфуженно махнулъ рукой, осторожно вылѣзъ въ залъ и направился къ выходу, недовольно бормоча:

— Что за кукольная сцена, ей-Богу, право? Не разберешь ни гусиной шеи! Сидятъ всѣ, какъ греки подъ березой, ну и чувствуешь себя, какъ собака на заборѣ!

V.

Въ день спектакля театральнй залъ Народнаго дома былъ переполненъ публикой: было какъ разъ „двадцатое число“, и въ публикѣ преобладали „двадцатники“—полупьяное чиновничество, праздновавшее „двадцатое“, свой „двунадесятый“ праздникъ.

Почти всѣ мужчины были „навеселѣ“, въ антракты во всемъ театрѣ стоялъ веселый гулъ, воздухъ, испорченный спиртнымъ дыханіемъ, пропитался табачнымъ дымомъ... Было тѣсно, жарко, грязно и пьяно.

За кулисами тоже тѣснились, толкались, бѣгали, кричали, ругались. Пьеса не ладилась и шла такъ скверно, что Гаврила, въ гримѣ „пьянаго“ и самъ пьяный, усталый, растерянный, глубоко-унылый, вяло ходилъ за кулисами въ состояніи тихаго отчаянія. На всевозможные вопросы, просьбы и требованія участвующихъ онъ только безнадежно махалъ рукой.

За кулисами хлопали пробки и булькало пиво, нѣкоторые изъ актеровъ были пьяны, „герой“ Сурковъ, единственно талантливый человѣкъ изъ кружка, могъ держаться на ногахъ только тогда, когда его выталкивали на сцену. Адвокатъ Ходатай-Кармановъ и литераторъ Самъ-Другъ-Наливайко тоже были „на-взводѣ“ и все еще „подкрѣплялись“. Трезвыми казались только Сѣверовостоковъ и Казбаръ-Чаплинскій.

„Декораторъ“ Савоська, одѣтый и загримированный „евреемъ - ростовщикомъ“, вдребезги разругался со всей труппой изъ-за „театральнаго рабочаго“ Сокола: въ труппѣ оказалось начальство желѣзнодорожныхъ мастерскихъ, знавшее Сокола и помнившее за нимъ какія-то старыя вины. Съ горя Савоська тутъ же, около, кулись, выпилъ изъ горлышка одну за другой, безъ передышки, двѣ бутылки пива, что, при его маломъ ростѣ, возбудило всеобщее удивленіе.

Соколы, наткнувшись въ труппѣ на своихъ исконныхъ враговъ, были мраченъ, золь и швырялъ декорациями, не обращая ни на кого вниманія. Три первыхъ акта пьесы прошли позорно: Сурковъ упалъ на сценѣ, Савоська вмѣсто „еврея“ сыгралъ какого-то „рыжаго“ изъ цирка, и только одинъ Гаврила прекрасно сыгралъ „пьянаго“, но онъ, дѣйствительно, былъ пьянъ

Шелъ послѣдній, четвертый актъ пьесы, и Гаврила все еще волновался за исходъ его.

Растрепанный, мокрый отъ пота, съ блѣднымъ страдальческимъ лицомъ, обсыпаннымъ пудрой послѣ снятаго гримма, онъ подошелъ къ одному изъ распорядителей, молодому человѣку приличнаго вида.

— Удивляюсь,—сказалъ онъ, пожимая плечами,—отчего до сихъ поръ нѣтъ Соловьевой-Перелетовой: вѣдь, она первая поетъ въ дивертисментъ!

— А ужъ я не знаю,—отвѣчалъ молодой человѣкъ, тоже раздраженный и усталый.—Ты послалъ за ней лошадь?

— Какую лошадь?

— Да, вѣдь, ты же самъ говорилъ ей, что приплешь за ней лошадь. Она, вѣроятно, и ждетъ когда за ней приплютъ!

Гаврила хлопнулъ себя полбу.

— Вотъ лошадь-то послать за ней и забылъ, а теперь ужъ поздно посылать! какая досада!—произнесъ онъ печально.

— А я такъ даже радъ этому!—возразилъ собесѣдникъ:—она бы тутъ въ обморокъ упала, при видѣ пьяной труппы и пьяной публики! Эхъ!

Гаврила подумалъ и, махнувъ рукой, сказалъ:

— Ну, чортъ съ ней!

Въ тактъ этимъ словамъ надъ сценой прокатился ударъ театрального грома.

Гаврила вздрогнулъ и схватилъ себя за волосы.

— Р-рано!—зашипѣлъ онъ сдавленнымъ „трагическимъ“ шопотомъ:—р-ра-но!.. и-долъ!.. чор-ртъ!..

На колосникахъ, высоко надъ сценой, виднѣлась мрачная фигура Сокола: онъ держалъ въ рукахъ огромный листъ кровельнаго желѣза и гнѣвно потрясалъ имъ.

И по всему театру грохотали оглушительные непрерывные громовые раскаты. Напрасно актеры на сценѣ повышали голоса и, наконецъ, охрипнувъ, вы-

крикивали каждое слово: ихъ никому не было слышно, и яростное смятеніе овладѣло трупной. Напрасно изъ-за кулисъ дѣлали ему знаки и кричали, чтобы онъ оставился: громовержець былъ неумолимъ.

Гнѣвный, съ горящими глазами, черный, страшный, недосыгаемый, онъ былъ выше всѣхъ и чувствовалъ свою власть надо всѣми.

Въ громъ желѣза разразилась гроза его души, неотомщенныя обиды, страданія, лишенія, униженія долгихъ и многихъ лѣтъ. Онъ чувствовалъ себя, какъ Самсонъ, ощутившій свою силу и собирающійся погубить враговъ своихъ. Потрясающіе звуки грома были какъ бы увертюрой, въ которую вложилъ онъ всю свою жажду мщенія, всю мрачную музыку тѣхъ громовъ, которые рабочій призывалъ на головы своихъ угнетателей.

Оглушительная гроза продолжалась до самаго конца пьесы, не услышаннаго никѣмъ, и когда, опустился занавѣсъ, громъ все гремѣлъ и, наконецъ, въ послѣдній еще разъ ударилъ съ такой силой, визгомъ и стономъ, что, казалось, будто ударъ этотъ брошенъ былъ кѣмъ-то съ неба на землю.

„Чеховскій“ водевиль на обычную тему о страданіяхъ „дачнаго мужа“ походилъ на монологъ, и Казбаръ-Чаплинскій былъ единственнымъ лицомъ на сценѣ.

Эта сцена представляла крохотную комнату, въ родѣ бомбоньерки.

Онъ вышелъ въ халатѣ, загримированный солиднымъ дачникомъ, въ бакахъ, съ брезгливымъ и вмѣстѣ олимпійскимъ выраженіемъ на лицѣ. Должно быть, онъ сразу напомнилъ собою какое-то живое извѣстное лицо, такъ какъ, при самомъ его появленіи, въ публикѣ пошелъ шопотъ и смѣхъ.

Усаживаясь въ кресло около стола на авансценѣ, онъ продѣлалъ какую-то мимическую сцену, вызвавшую новый смѣхъ.

Затѣмъ онъ принялъ въ креслѣ шаблонно-водевиль-

ную позу, побарабанилъ пальцами по столу и, обращаясь къ публикѣ, заговорилъ.

Сначала это было нѣсколько фразъ изъ его роли, но потомъ артистъ началъ приплетать къ ней „отсебятину“, и, наконецъ, изъ устъ его полилась рѣчь, ничего общаго съ „чеховскимъ“ водевилемъ не имѣющая.

— Милостивыя государыни и милостивые государи!— говорилъ онъ:—позвольте въ краткой, но безпристрастной формѣ сообщить вамъ духъ и направленіе современной деффимиціи...

Публика заинтересовалась.

Чтобы лучше слышать, сидѣвшіе въ заднихъ рядахъ встали и сгруппировались къ переднимъ рядамъ.

Наконецъ, всѣмъ стало ясно, что артистъ экспромптомъ пародируетъ важное административное лицо. Жалобы дачника замѣнены были жалобами администратора, въ которыхъ сквозила давно всѣмъ извѣстная исторія о „шишкахъ и сошкахъ“.

Со сцены говорилъ какъ бы губернаторъ, внушающій обывателямъ въ мягкой канцелярской формѣ свои предначертанія. Физиономія его то сжималась въ кулакъ, то разжималась, глаза вращались, а указательный палецъ, плавно двигаясь, грозилъ.

Публика хохотала.

— М-мы,—говорилъ онъ жирнымъ генеральскимъ баскомъ,—мы, сановники, стоимъ въ центрѣ, находимся, такъ сказать, въ водоворотѣ жизни, мы кипимъ, но тѣмъ не менѣе не забываемъ и о васъ, скромныхъ труженикахъ, обитателяхъ „окраинъ“, мы интересуемся также и вами: м-мы—слѣдимъ...

— Хо-хо-хо!—гремѣла публика.

— Конечно, мы готовы сдѣлать все для вашей самодѣятельности, но только въ извѣстныхъ гр-раницахъ! въ извѣстныхъ, такъ-сказ-зять, р-рамкахъ! д-да-съ! Мы стоимъ за прогрессъ! Н-но... чтобы подъ бокомъ у меня

дѣйствовали злонамѣренныя лица?.. чтобы подъ носомъ у меня—была Женева?—я т-того, я—н-не потерплю! н-не допу-щу! очисти!..

Глаза Казбаръ-Чаплинскаго совсѣмъ вылѣзли изъ орбитъ, указательный палецъ двигался удивительно эластично и внушительно.

— Посмотрите на мой палецъ!—воскликнулъ „сановникъ“:—онъ движется, а вся рука и даже самая кисть—непоколебима: такъ движется палецъ только у тѣхъ, кто самой природой предназначенъ въ губернаторы!..

Публика вслѣдъ за нимъ начала продѣлывать это „губернаторское“ тѣлодвиженіе, и оказалось, что никто не могъ грозить пальцемъ такъ внушительно и съ соблюденіемъ полной неподвижности руки, какъ это умѣлъ дѣлать „губернаторъ“.

Поднялся хохотъ.

А Казбаръ-Чаплинскій не унимался.

Скоро весь театръ былъ охваченъ гомерическимъ смѣхомъ: смѣялись всѣ до одного человѣка, всѣ сторожа и лакеи, всѣ находившіеся за кулисами, всѣ хохотали, какъ сумасшедшіе, плакали отъ смѣха, хватались отъ боли за бока.

Наконецъ, онъ только молча показалъ публикѣ палецъ.

Началась психопатическая буря смѣха, стонувъ, криковъ „браво“ „спасибо“ и „довольно“.

Во время изступленнаго рева публики и былъ опущенъ занавѣсъ.

Когда публика успокоилась и занавѣсъ подняли, на сцену изъ-за кулисъ медленно вышелъ человѣкъ, одѣтый и загримированный очень странно: хрупкая, тщедушная фигура облечена была въ поддевку съ чьихъ-то богатырскихъ плечъ, на ногахъ громыхали огромные мужичьи сапожищи, накладная полуаршинная борода и наклеенныя косматыя брови скрывали почти все его маленькое, съ кулачокъ, личико,—передъ

публикой былъ мужичокъ—съ ноготокъ, борода—съ локотокъ.

Сапоги его гремѣли, спадывая съ ногъ, и можно было опасаться, что онъ какъ-нибудь выскользнетъ изъ нихъ и сапоги пойдутъ отдѣльно отъ человѣка.

Но человѣкъ благополучно дошелъ до ramпы, всталъ въ трагическую позу, скрестилъ руки на груди, сдвинулъ свои невѣроятныя брови и мрачнымъ, рѣжущимъ уши, голосомъ началъ:

Подъ б-р-ронею съ простымъ наборомъ,
Хлѣба кусъ жуя,
Въ жаркій полдень ѣдетъ боромъ
Дѣдушка Илья!..

Литераторъ Самъ-Другъ-Наливайко (ибо это былъ онъ) читалъ монотонно, и все-таки въ его чтеніи подкупала необыкновенная любовь чтеца къ этому стихотворенію. Онъ читалъ—и всѣмъ существомъ своимъ испытывалъ наслажденіе. Сталъ понятенъ и его странный костюмъ: онъ загримировался „Ильей Муромцемъ“.

И видно было, что стихи эти, столь прочувствованные чтецомъ, относились имъ непосредственно къ самому себѣ:

Всѣ твои богатыри-то—
Значить—молодежь!..
Вотъ безъ стараго Ильи-то
К-ка-акъ ты проживешь?

Рѣзкимъ голосомъ бросалъ онъ кому-то укоризны повернувшись въ ту сторону, гдѣ, по его мнѣнію, было зданіе оставленной имъ редакціи.

Публика заинтересовалась чтецомъ. Этотъ человѣкъ, много поработавшій для жизни, много выстрадавшій и уже сходящій со сцены, говорилъ теперь свое послѣднее, невольное укоризненное слово „публикѣ“, которая каждый день читала его всегда ядовитыя и злыя строчки и никогда не знала живого, дорогаго человѣка, болѣвшаго о чемъ-то душой своей.

И, глядя на него, вспоминались его рѣзкія, коротко брошенныя слова: „восьмидесятые годы... семь лѣтъ Якутіи.... крушеніе идеаловъ и пьянство....“

Погружаясь въ жизнь огарческую, онъ еще не терялъ какой-то надежды уйти навстрѣчу новымъ скитаніямъ.

Душно въ городѣ, какъ въ скрынѣ—
Только киснетъ кровь!
Государынѣ-пустынѣ
Поклонюся вновь!

Богатырь въ поясѣ поклонился публикѣ, потомъ выпрямился, растопырилъ руки и завопилъ своимъ оригинальнымъ, рѣжущимъ слухъ, голосомъ:

Снова вѣетъ воли дикой
На меня просторъ!
И смолой и земляникой
Дышетъ темный боръ.

Грянули дружные аплодисменты, а „Илья Муромецъ“, пятясь задомъ за кулисы, граціозно раскланивался и прижималъ руку къ сердцу, какъ будто всю жизнь свою пожиналъ лавры на сценѣ. Только борода его съ одного боку отклеилась, да сапоги чуть-чуть не остались на сценѣ.

Послѣ него вышелъ адвокатъ Ходатай-Кармановъ и прочиталъ стихотвореніе „Сумасшедшій“. Для вящаго сходства съ умалишеннымъ, онъ вышелъ въ больничномъ колпакѣ и горячечной рубашкѣ, что было уже излишнимъ: Ходатай-Кармановъ такъ былъ пьянъ и взъерошенъ, что и безъ того могъ* походить на сумасшедшаго.

Прочиталъ онъ артистически.

Это былъ неудавшійся актеръ по призванію, страстный любитель искусства, которому въ прошломъ не пришлось почему-то попасть на сцену. Худой, желтый, испитой и пьяный, онъ весь казался однимъ болѣз-

неннымъ комкомъ издерганныхъ нервовъ и трепеталь отъ избытка чувствъ.

Публика ревѣла, какъ прожорливое чудовище, и требовала „биса“.

Но, читая „на бисъ“ извѣстное стихотвореніе „Бурлакъ“, онъ сбился. Въмѣсто словъ „пѣтухи пропоютъ“ онъ сказалъ „пѣтухи отдохнутъ“ и, наткнувшись опять на слово „отдохнуть“—всталъ.

Хмель, временно соскочившій было съ него, снова окуталъ его голову. Онъ развелъ руками и, обращаясь къ публикѣ, пьянымъ голосомъ, удивленно воскликнулъ:

— Вотъ такъ фунтъ!

Публика приняла это за „фортель“ и дружно аплодировала.

Но Ходатай Кармановъ исчезъ.

На сцену сталъ выходить архіерейскій хоръ. Впереди выстроились мальчики съ нотами, слѣва—тенора, справа—басы. Маленькая сцена сплошь была занята толпой пѣвцовъ.

Съ краю всѣхъ басовъ, около рампы, стоялъ Сѣверовостоковъ въ своемъ „испанскомъ воротникѣ“. Издали голова его съ громаднымъ лбомъ и длинными, закинутыми назадъ, кудрями напоминали портретъ Шекспира.

Вышелъ и всталъ на возвышеніи, впереди хора, регентъ Спиридонъ. Публика встрѣтила его аплодисментами. Эго былъ рыжій, широкоплечій мужчина, съ брюшкомъ, въ сюртукѣ. Кудрявые, густые волосы лежали у него вѣякомъ, но на макушкѣ уже свѣтилась небольшая лысина.

Круглое, русское лицо его выражало сосредоточенную важность, черные, молодецкіе усы вились кольцомъ. Онъ поплевалъ на кончики пальцевъ и еще закрутилъ усы.

Потомъ тихонько задалъ тонъ и взмахнулъ руками.

Хоръ стройно и густо затянулъ: „Гой, ты, Днѣпръ ли

мой широкий“. Онъ словно стоналъ отъ могучей тяжелой октавы Сѣверовостокова, октава сразу стала давить его.

По окончаніи этого „номера“, на сценѣ наступила коротенькая пауза, во время которой Спиридонъ опять поплевалъ на кончики пальцевъ, покрутилъ усы и задалъ другой тонъ.

Изъ хора на полшага впередъ выступилъ Сѣверовостокъ, выпрямился и, по мановенію регента, запѣлъ одинъ высокимъ и громовымъ басомъ:

Встарину живали дѣды
Веселѣй своихъ внучать...
Какъ простую пили воду,
Медъ и крѣпкое вино...

Отъ каждой ноты этого чудовищнаго голоса все сотрясилось въ театрѣ, двѣ люстры, по шести керосиновыхъ лампъ, освѣщавшихъ зрительный залъ, замигали дрожащими язычками своихъ огоньковъ. Было больно барабанной перспонкѣ, больно нервамъ: голосъ грохоталъ, какъ близко ударившій громъ.

Неестественнымъ и страннымъ казалось, чтобы изъ груди человѣка могли исходить такіе, вполне вѣщескіе, звуки.

Веселились, потѣшались,
Пировали круглый годъ...
Вотъ какъ жили при Аскольдѣ
Наши дѣды и отцы...

Гремѣлъ чугунаый, тяжкій голосъ....

Спиридонъ энергично взмахнулъ руками.

Ну, вотъ слышитеъ, ребята,
Какъ живали встарину?

Дружно подхватилъ хоръ, но прекрасные голоса архіерейскаго хора показались теперь чѣмъ-то тихимъ, дребезжащимъ и дряблымъ послѣ плотнаго, кованаго голоса Сѣверовостокова.

И являлась почему-то мысль о далекой, героической старинѣ, когда подвизались богатыри, полусказочные люди, сильные во всемъ, у которыхъ все выходило грандіозно, даже пиры и веселье, которые „медъ и крѣпкое вино“ „какъ простую пили воду“.

И опять запѣлъ Сѣверовостоковъ. И снова по всему театру прошло сотрясеніе, и огни люстръ замигали.

Онъ пѣлъ объ исчезнувшемъ народѣ-силачѣ, народѣ-побѣдителей...

Ну, вотъ слышите ль, ребята,
Какъ живали встарину?

Наизидательно спрашивалъ хоръ.

Вдругъ пѣвецъ сдѣлалъ шагъ впередъ, къ рампѣ, развернулъ богатырскую грудь, выпрямился во весь ростъ, словно сразу выросъ, вытянулъ передъ собой руку и съ какимъ-то разбойничьимъ видомъ грянулъ въ страшно-высокую, отшибающую память, ноту:

Б-безъ... вар-яговъ... управлялись...

У всѣхъ на моментъ помутилось въ головѣ отъ сотрясенія воздуха. На первой же нотѣ, при словѣ „безъ“, всѣ лампы обѣихъ люстръ погасли, и въ залѣ мгновенно наступила тьма.

И дико, стихійно ревѣла во тьмѣ восторженная толпа.

Пѣніе умолкло.

Пока суетились лакеи, притаскивая лѣстницу и зажигая люстры, пѣвецъ и хоръ стояли на сценѣ, а публика бушевала.

— Сначала! Бисъ! Bravo! Ура!—ревѣли изступленныя, потныя и пьяныя фізіономіи.

Начали пѣть сначала. Опять все сотрясалось. Опять мигали лампы. Но когда пѣвецъ дошелъ до „безъ варяговъ“, люстры снова погасли на той же нотѣ еще эффектнѣе, чѣмъ въ первый разъ...

Публика пришла въ полное изступленіе.

Когда лампы загорѣлись, начались оваціи.

Это было дикое поклоненіе силѣ. Публика сгрудилась къ рампѣ, съ дикимъ ревомъ махая и кидая въ пѣвца шапками.

Пѣнія продолжать уже было невозможно. Хоръ двинулся за кулисы. Сѣверовостоковъ взялъ шляпу и уже хотѣлъ уйти, но его не пустили. Толпа перебралась на сцену, окружила его и стала совать ему въ шляпу.... деньги.

Изступленная, хмѣльная толпа купцовъ и чиновниковъ бросала въ его глубокую, широкополую шляпу смятыя кредитки, сыпала горстями серебряныя рубли.

Наконецъ, онъ поднялъ шляпу надъ головой: она была полна денегъ.

И, придерживая смятыя бумажки сверхъ шляпы ладонью, онъ, сопровождаемый восторженной толпой, прошелъ черезъ залъ и фойѣ къ кассѣ.

Тамъ онъ опрокинулъ шляпу въ окошко кассира, вытряхнулъ ему деньги, нахлобучилъ шляпу, въ которой онъ ходилъ зимой и лѣтомъ, надѣлъ потертое ватное пальто и пошелъ пѣшкомъ въ „вертепъ Венеры погребальной“.

Въ этотъ же вечеръ „въ высшемъ интеллигентномъ обществѣ“ было очень скучно.

Еженедѣльные вечера въ квартирѣ либеральнаго дѣятеля были извѣстны всему городу и въ шутку назывались „ассамблеями“ за ихъ демократическій характеръ, за то, что, кромѣ „вышей“ интеллигенціи, туда допускалась и „низшая“; набивалось народу каждый разъ человекъ сто, и выходило „всякой твари по парѣ“. Кромѣ „судейскихъ“ и „желѣзнодорожныхъ“, присяжныхъ повѣренныхъ и учителей гимназіи, тамъ бывали сотрудники мѣстной газеты, врачи, статистики

и даже неблагонамѣренные молодые люди безъ опредѣленныхъ занятій.

Иногда появлялся актеръ или пѣвица, какая-нибудь заѣзжая маленькая провинціальная знаменитость, пѣвецъ, беллетристъ или дѣлецъ — все равно — все это одинаково преподносилось гостямъ къ ужину, какъ десертъ.

До ужина почти всегда было скучно: публика наполовину собиралась случайная, незнакомая между собой. Но за ужиномъ происходила демократическая выпивка, и „преподносилась“ гостямъ какая-либо „интересная личность“, если таковая имѣлась.

Въ этотъ вечеръ преподнести было, должно быть, некого, и ужинъ подавать медлили.

Во всѣхъ комнатахъ, и даже въ передней, толпились нарядные гости. Было тѣсно и жарко. Дамы и дѣвицы въ свѣтлыхъ платьяхъ обмахивались вѣерами. Мужчины блистали питьемъ „судейскихъ“ и „желѣзнодорожныхъ“ мундировъ.

Всѣ гости тоскливо бродили по комнатамъ, не зная, что имъ дѣлать. Деревянная скука и хандра написаны были на лицѣ у всѣхъ.

Разговоры плохо клеились, и видно было, что всѣмъ этимъ людямъ ни о чемъ не хочется разговаривать. Казалось, что они выжимаютъ изъ себя слова и говорить только для того, чтобы не воцарилось всеобщее молчаніе, котораго они боялись.

Въ просторномъ залѣ кто-то пробовалъ играть на рояли что-то ухарски-веселое, пробовали пѣть хоромъ, но ничего не выходило.

Наконецъ, въ столовой зазвенѣли тарелки, и публику пригласили „закусить“.

Столовая не могла вмѣстить всѣхъ, и поэтому сначала пригласили дамъ.

Дамы наскоро закусили и опять занялись въ залѣ музыкой и пѣніемъ.

Тогда призвали къ закусѣ мужчинъ, и мужчины плотно засѣли за длиннымъ столомъ, уставленнымъ тарелками, бутылками и закуской. Въ мужскомъ обществѣ осталось нѣсколько женщинъ.

Отъ выпивки настроеніе нѣсколько поднялось, и загудѣлъ общій говоръ.

Въ самый разгаръ закуски въ дверяхъ столовой появился пьяный литераторъ Небезызвѣстный подъ ручку съ Толстымъ, облеченнымъ въ сюртукъ Сѣверовостокова.

Небезызвѣстный сдѣлалъ театрално-торжественный жестъ и провозгласилъ своимъ рѣзкимъ голосомъ:

— Дорогіе мои, р-рекомендую: мой старый товарищъ.... петербургскій фельетонистъ... только что приѣхалъ!..

„Петербургскій фельетонистъ“ взглянулъ на своего товарища.

Одинъ только мигъ на лицѣ Толстаго мелькнуло изумленіе, потомъ иронія, а въ слѣдующій моментъ онъ уже заговорилъ съ милой любезностью путешественной знаменитости:

— Господа, прошу, пожалуйста, меня извинить... что я такъ... запросто... хе-хе... прямо съ дороги...

Его внушительная фигура и красивое, выразительное лицо сразу произвели на всѣхъ выгодное впечатлѣніе.

Новымъ гостямъ тотчасъ же дали мѣсто за столомъ. На „петербургскаго фельетониста“ всѣ устремились, всѣ думали: „такъ вотъ кого преподнесли намъ сегодня!..“

На „интересную личность“ сразу насѣли. „Приѣзжаго“ закидали вопросами. Около него тотчасъ же образовался кружокъ.

Толстый вралъ артистически. Выпивая и закусывая, онъ отвѣчалъ на всѣ стороны и тотчасъ же обнаружилъ своеобразное остроуміе.

Его „словечки“ уже начали вызывать смѣхъ и невольное восхищеніе.

Сразу было видно замѣчательнаго фельетониста. По всѣмъ общественнымъ вопросамъ онъ былъ въ курсѣ дѣла, все зналъ изъ первыхъ рукъ, обо всемъ судилъ смѣло и оригинально, не допуская возраженій. Онъ бываетъ „запросто“ у всѣхъ петербургскихъ знаменитостей, знаетъ много интереснаго изъ ихъ прошлаго и настоящаго. А чѣмъ пахнетъ теперь въ Петербургѣ? О! это ему прекрасно извѣстно: пахнетъ очень и очень интересными вещами... Но, къ сожалѣнію, онъ долженъ быть немножко конспираторомъ... Онъ пріѣхалъ сюда по одному конспиративному дѣлу... небольшое порученіе общественнаго характера... Во всякомъ случаѣ, въ Петербургѣ все идетъ на повышеніе... Жизнь растетъ... Заря занимается..

Ножи и вилки стучали. Рюмки и бокалы звенѣли. Гости оживились. Въ столовой гудѣлъ общій говоръ.

Изъ зала привалила еще толпа, подѣ предводительствомъ блѣдной дамы въ шикарномъ костюмѣ, съ пышными бѣлокурыми волосами и съ гитарой въ рукахъ.

— Божественно! восхитительно! чудно!—говорили ей изящные „фрачные“ кавалеры.

Дама улыбалась.

Она какъ-то особенно ухарски сѣла на стулъ передъ пьющей и закусывающей публикой и заиграла на гитарѣ цыганскій романсъ.

Дама изображала изъ себя „цыганку“ и запѣла съ дѣланной, преувеличенной страстностью, растягивая мотивъ и какъ бы изнемогая:

З-за-ха-чу—пал-лю-ба-лю!

З-за-ха-чу—ра-за-люба-лю!

И вдругъ, всей рукой ударяя по струнамъ, выкрикивала дикій припѣвъ:

Я—какъ пташка вольна!
Жизнь на радость намъ дана!

Около нея сладострастно млѣли яѣсколько товарищей прокурора, напоминая голодныхъ собакъ, сидящихъ у дверей кухни, хотя въ дамѣ не было ничего ни цыганскаго, ни соблазнительнаго.

Я а-ба-ж-жа-а-ю...

Запѣла она, снова ударивъ по струнамъ.

А около „петербургскаго фельетониста“ все болѣе и болѣе увеличивалась толпа слушателей.

Наконецъ, и дама прекратила цыганскія пѣсни и вмѣстѣ съ другими стала заглядывать черезъ чужія плечи на интересную фигуру. „Литераторъ“ говорилъ тихо, и только по взрывамъ дружнаго смѣха можно было судить, что рѣчь его остроумна.

Общій говоръ затихъ, и тогда въ столовой стали раздаваться только одинъ голосъ—голосъ „петербургскаго фельетониста“.

— ...Да, господа! если бы вы знали, какъ хочется иногда встрѣтиться и наговориться съ читателемъ-другомъ, съ невидимкой, съ этой фантазіей писателя!

Въ поздніе ночные часы, при свѣтѣ рабочей лампы, являлся въ былое время его задушевный образъ предъ измученнымъ взоромъ писателя и однимъ своимъ видомъ прибавлялъ ему силы и бодрости. Онъ былъ молчаливой тѣнью, въ которую вѣрилъ писатель.

Изрѣдка и одиноко мелькая передъ нимъ, другъ-читатель дѣлалъ ему таинственные, ободряющіе знаки,—и онъ писалъ... Сердце его горѣло ярче, а изъ-подъ пера смѣлѣе лились горячія строки.

Но зато сильнѣе разгоралась ярость живого, настоящаго читателя, читателя-врага, и тогда печальная, но сочувствующая тѣнь скрывалась и молчала.

Но жизнь все-таки шла впередъ, она росла въ ширь

и глубь, и уже никакія силы не могли остановить ея роста.

И вотъ писателю стало чудиться, что бодрое слово, которое иногда вырывалось на волю изъ глубины его пришибленной души, сказанное его одинокимъ, надорваннымъ голосомъ, повторяется гдѣ-то волшебнымъ, невидимымъ хоромъ, вызываетъ далекій, но могучій откликъ, перекачивается, словно чудодѣйственное эхо въ сказочныхъ горахъ.

И чувствуетъ писатель, что это какъ будто онъ—читатель-другъ—воплотился и такъ размножился, что до него дошелъ голосъ писателя, что, вмѣсто рѣдкаго и молчаливаго мельканія, откликается онъ тысячами устъ, миллионами вздоховъ, откликается жаждой жизни, молодой вѣрой въ свѣтлое будущее, въ лучшіе дни, въ новыя, бодрыя пѣсни! И тепло стало въ груди писателя.

„Писатель“ отпилъ глотокъ вина изъ большого, чайнаго стакана, всталъ во весь свой ростъ и, поднимая стаканъ, продолжалъ уже громче, съ искреннимъ чувствомъ:

— Привѣтствую тебя, простой читатель, мой другъ и братъ по духу и несчастьямъ! Ты грубъ, но у тебя нѣтъ фарисейскаго презрѣнія къ ближнему, который смѣетъ думать не какъ всѣ! Ты не умѣешь смѣяться надъ смѣлой мыслью, потому что у тебя нѣтъ предвзятыхъ мыслей и ты самъ способенъ быть смѣлымъ!

Для читателя-врага искусство и литература—предметъ развлеченья, для тебя они — источникъ чистыхъ слезъ. Ты чувствуешь бѣніе сердца писателя: оно бьется въ тактъ съ твоимъ, потому что оба вы просты сердцемъ, знаете грусть и горечь жизни и все-таки любите жизнь, и у васъ еще не изсякла сила души, и есть еще пороховъ въ пороховницахъ.

Пусть твоя жизнь грустна и непріятна и много въ ней темнаго, пусть долго приходилось тебѣ, какъ и мнѣ, блуждать ночью въ пустынѣ, ища дороги къ

свѣту, пусть много силъ твоихъ убито, но—вѣрь мнѣ—ночь прошла, и пустыня кончена!

Во мглѣ и туманѣ виденъ ярко-красный шаръ солнца, сквозь гарь и дымъ горящаго болота свѣтъ его кажется багровымъ и зловѣщимъ—не унывай: ночь все-таки прошла!

Изъ глубины народной жизни идутъ волна за волной свѣжія, пробужденныя силы, и уже близко то время, когда эти силы оплодотворятъ увядшую жизнь, завладѣютъ ею, станутъ хозяевами ея, и властно раздастся ихъ голосъ, требующій для всѣхъ счастья, свѣта и свободы! Они идутъ уже, и отъ нихъ брызжутъ горячіе солнечные лучи, здоровый смѣхъ и отважный вызовъ жизни!

И тогда — горе тѣмъ, кто спалъ въ жизни тихой, въ жизни сытой, въ жизни спокойной!

Горе тѣмъ, чья плоская мѣщанская жизнь течетъ въ дорогахъ, богато убранныхъ квартирахъ, тусклая жизнь, освѣщенная матовымъ свѣтомъ китайскихъ фонариковъ, убаюканная звуками рояля, усыпленная сладострастными пѣснями!

Внезапно придутъ къ нимъ безчисленные легіоны обездоленныхъ и обойденныхъ и ударятъ ихъ въ ту-пое, ожирѣвшее сердце!

Придутъ отброшенные и непризнанные, насквозь, до мозга костей прожженные огнемъ страданій, придутъ „огарки“ и разобьютъ у нихъ скучное низменное счастье! Придутъ „огарки“, прошедшіе черезъ огонь и воду, побывавшіе и закаленные въ горнилѣ жизни, придутъ—и выгонять трутней изъ жизни тихой, жизни сытой, жизни спокойной!

А теперь, пока они еще не пришли, выпьемъ, господа, за этихъ добрыхъ малыхъ, ибо они славные ребята, ей-Богу!

Рѣчь оратора была покрыта дружными апплодисментами.

Во все время этой рѣчи Небезызвѣстный безъ отдыха пилъ водку. Онъ давно уже былъ мрачно пьянъ.

Теперь его кудластая голова оказалась какъ-то по-собачьи засунутой въ большую кастрюлю съ горячимъ картофелемъ: онъ закусывалъ тамъ и ворчалъ, ругая кого-то.

Потомъ вылѣзъ изъ кастрюли, вымазанный картофелемъ, негодующій и покачивающійся. Изъ глазъ его смотрѣло алкоголическое безуміе.

Онъ вцѣпился обѣими руками въ скатерть и, намѣреваясь рвануть ее, чтобы сбросить на полъ вмѣстѣ съ посудой, неожиданно завопилъ своимъ пронзительнымъ, рѣзкимъ голосомъ:

Подъ б-бр-ронею съ простымъ набор-ромъ,
Хл-лѣба кусъ ж-жу-я!..

Еще моментъ—и произошелъ бы бой посуды.

Но тутъ на плечо Самъ-Другъ-Наливайко ласково опустила огромная лапа „петербургскаго фельетониста“.

— Уйдемъ отсюда, мужественный старикъ!—сказалъ онъ улыбаясь.

При звукахъ дружескаго голоса, Небезызвѣстный пришелъ въ себя и сразу впалъ въ сентиментальное настроеніе.

— Илюша! другъ!—сказалъ онъ жалобно: — скажи мнѣ, гдѣ мое мѣсто въ природѣ? а? Болитъ у меня все! все болитъ! Гдѣ такой компрессъ, который можно было бы приложить къ болящей душѣ моей?

— Идемъ, идемъ!—обнимая старика, говорилъ „фельетонистъ“.

Обнявшись, они вышли изъ комнаты, направляясь къ передней.

Они уже были у порога шинельной, какъ вдругъ

въ залѣ кому-то пришла фантазія заиграть на рояли „малорусскій гопакъ“.

При звукахъ плясовой „мужественный старикъ“ ожилъ.

Онъ вырвался изъ руки друга и, выскочивъ на середину зала, пустился въ бѣшеную пляску.

Его длинные пушистые волосы картинно развѣвались по воздуху, лицо приняло трагическое выраженіе, и въ эту минуту онъ не былъ ни смѣшонъ, ни жалокъ, но страшенъ, какъ изступленный король, сошедшій съ ума отъ душевныхъ страданій.

VI.

Пришла опять весна, разлилась Волга, засіяла щедрое весеннее солнце...

Пріѣхала на гастроли оперная труппа.

Все чаще и задумчивѣе смотрѣли огарки на таинственную картину неизвѣстнаго города, съ надписью, „вольныя земли“.

Савоська по недѣлямъ пропадалъ на „этюдахъ“. Расписывалъ какому-то купцу потолоки въ новомъ домѣ и руководилъ гдѣ-то въ имѣніи на Волгѣ постройкой сельской церкви, такъ какъ считалъ себя еще и архитекторомъ.

Толстый, подобно Сашкѣ, „зарабатывалъ“ на „экзаменахъ“.

Сѣверовостокъ пилъ безъ просыпу цѣлый мѣсяцъ. Все это время онъ лежалъ въ постели и спалъ; просыпаясь, доставалъ изъ-подъ кровати бутылку водки, дрожащей рукой выливалъ ее въ желѣзный ковшъ, выпивалъ однимъ духомъ и опять „погружался въ нирвану“.

Въ маѣ, наконецъ, онъ рѣшилъ прекратить спячку.

— Многовато я пью ея, проклятой!—глубокой и мощной октавой пророкоталъ онъ товарищамъ.

— Надо полагать!—съ хохотомъ согласились они:—

ковшомъ вмѣсто рюмки дуешь,—не всякій черкасскій быкъ такую марку выдержать!

— Марка большая!—вслухъ размышлялъ могучій басъ:—дальше-то, пожалуй, и некуда идти въ этомъ дѣлѣ! Великъ я въ пьянствѣ: чѣмъ больше пьешь, тѣмъ больше жажда—бездна бездну призываетъ!

Онъ сѣлъ на кровать, спустилъ ноги и пощупалъ свое желѣзное тѣло.

— Силѣ-то ничего не дѣлается!—съ грустью убѣдился онъ:—въ молотобойцы, что ли хоть пойти? Осторожнѣло мнѣ Гурашкино „облаченіе“: утрудихся дыханіемъ моимъ!..

— Опера пріѣхала!—сказали ему.

— Опера?—Сѣверовостоковъ задумался.—Пойти развѣ? попробовать голосъ?—разсуждалъ онъ самъ съ собой.

— И то пойди!—посовѣтовалъ Толстый:—пора намъ всѣмъ отсюда... на вольныя земли...

— Да и уѣхать?—продолжалъ размышлять пѣвчій.

Наконецъ, онъ рѣшительно крикнулъ въ какую-то подземную, несуществующую въ музыкѣ, ноту, поднялся во весь свой богатырскій ростъ и густо произнесъ:

— Азъ уснухъ и спяхъ, возстахъ! Гряди!

Сѣверовостоковъ одѣлъ свою испанскую рубашку, расчесалъ спутанные кудри и отправился въ театръ.

Черезъ часъ онъ возвратился сконфуженный.

— Что?—спросили его.

— Не приняли!—глухо прогудѣлъ басъ:—исторія: стали подъ рояль пробовать голосъ, я разинулъ хайло, хватъ—вмѣсто верхняго „до“ изъ глотки-то свистъ!

— Хо-хо-хо!

— Что же тебѣ сказали?

— Что сказали! Бился-бился я—ничего нѣтъ, кромѣ свисту, плюнулъ да и пошелъ, а дирижеръ остановилъ меня и говорить: это у васъ не отъ водки ли? Отъ

нея, молъ, отъ проклятой: сильно, говорю, страдаю этимъ извѣстнымъ русскимъ недостаткомъ!

— Хо-хо-хо!

— Ну, говорить, полѣчите горло, а потомъ приходите! Это онъ потому, что октавой-то я ему контръ-соль взялъ...

— Смажь чѣмъ ни на есть хайло!

— Дня черезъ два все само воротится!—увѣренно возразилъ Сѣверовостоковъ.

Черезъ два дня голосъ, дѣйствительно, воротился, и обладатель его былъ принятъ въ оперный хоръ на семьдесятъ пять рублей въ мѣсяцъ.

Басу позавидовалъ Савоська.

— Э!—квакнулъ онъ:—пойду и я! не попаду ли въ помощники декоратора?

При содѣйствіи Сѣверовостокова взяли и Савоську „по декораторской части“.

Около того же времени Толстый получилъ откуда-то большое письмо: какіе-то далекіе друзья звали его къ себѣ на югъ Россіи.

„Мужественный старикъ“, которому было „все равно“, не захотѣлъ отстать отъ друга, и они рѣшили ѣхать вдвоемъ.

Уговорились „податься на низовье“ всѣ вмѣстѣ, послѣ прощальнаго спектакля, на одномъ пароходѣ съ труппой.

„Фракція“ распадалась.

„Вертепъ Венеры погребальной“ скоро долженъ былъ опустѣть.

Дня за три до прощальнаго спектакля Сѣверовостоковъ досталъ всѣмъ даровые билеты на „Демона“.

Оперная труппа оказалась большая, солидная. „Демона“ пѣлъ знаменитый баритонъ, хоръ былъ огромный, составленный исключительно изъ большихъ, сильныхъ голосовъ.

Огарки болѣе, чѣмъ „демономъ“, заинтересовались

хоромъ: одѣтый въ живописные черкесскіе костюмы, красочный, картинный, хоръ наполнялъ весь театръ густыми волнами красивыхъ аккордовъ.

Сѣверовостоковъ и фигурой и голосомъ выдѣлялся изъ всего хора: въ коричневой черкесскѣ, въ бѣлой папахѣ, плечистый, смуглый, въ своей собственной бородѣ, онъ, какъ шапкой, накрывалъ всѣ голоса громовымъ басомъ и въ сильныхъ мѣстахъ заглушалъ всѣ звуки хора и оркестра.

Публикѣ казалось, что какой-то необыкновенный пѣвецъ скрывается въ хорѣ.

Въ „ноченькѣ“ онъ пѣлъ октавой.

Хоръ красиво полулежалъ въ глубинѣ потемнѣвшей сцены, около декоративныхъ скалъ и электрическихъ „костровъ“, а въ центрѣ всего хора, лежавшаго полукругомъ, виднѣлась богатырская фигура Сѣверовостокова и рокотала, покрывая всѣхъ:

Но-чень-ка... тем-на-я...

Ско-о-ро-ль... пройдетъ... она?

Тихо и стройно звучала толпа голосовъ, и когда хоръ переводилъ дыханіе, густая, чугунная октава, расширяясь, какъ волна, продолжала катиться и снова подхватывала весь хоръ на свой темный, широкій и неясный хребетъ:

с За-втра-же... съ зо-рень-кой...

Въ пу-уть намъ... о-пягъ...

Наканунѣ отъѣзда огарки „рѣзвились“ за Волгой.

По разбойничьей дикой рѣкѣ Усѣ, которая, подобно тетивѣ, соединяетъ огромный полукруглый изгибъ Волги, добрались они на лодкѣ до величаваго Молодецкаго кургана, залѣзли на самый верхъ его и „устроили на лужайкѣ дѣтскій крикъ“.

Всѣ шестеро—Толстый, Сѣверовостоковъ, Сокѣль, Завоська, Небезызвѣстный и Гаврила сидѣли и полу-

лежали на заросшей зеленым дерном верхушкѣ кургана, подъ тѣнью стараго развѣсистаго дуба, и, выпивая, отдыхали отъ суточного путешествія по Усу на лодкѣ. На суку, надъ головой Сѣверовостокова, висѣли, покачиваясь, гусли; струны гусель подъ свѣжимъ теплымъ вѣтромъ издавали по временамъ тихіе, грустные и невнятные аккорды, и подъ эти мелодичные, чуть слышные, звуки Савоська рассказывалъ товарищамъ свои лѣсные сказки.

Они слушали или не слушали, но съ наслажденіемъ, почти безъ словъ и безъ движеній, жадно и ненасытно отдавались созерцанію чарующей и приковывающей къ себѣ волжской природы—это было все, что они здѣсь любили.

Они лежали на краю гигантской отвѣсной скалы, высоко надъ водой, почти наравнѣ съ вершинами сосѣднихъ горъ.

Внизу, у подножія Молодецкаго кургана, чуть слышно плескалась Волга и разливалась кругомъ, какъ море: у кургана Уса впадаетъ въ Волгу; Волга, блестящая, глубокая и спокойная, здѣсь такъ широка, что чуть-чуть видна вдали песчаная отмель противоположнаго берега.

Молодецкій курганъ—отвѣсный утесъ, правильный, какъ стѣна крѣпости—грозно стоитъ надъ широкой водной равниной. Онъ встаетъ прямо изъ пучины, неприступный съ Волги, и кажется сложеннымъ циклопами изъ огромныхъ слоистыхъ камней.

Изъ расщелинъ этихъ камней растутъ ели и березы, охватывая своими корнями голые, твердые камни. Внизу клекочутъ степные орлы, вьющіе здѣсь свои гнѣзда. Да и самъ Молодецкій курганъ, полукруглый, окаймленный съ двухъ сторонъ лѣсомъ, напоминаетъ собою огромное, разбойничье гнѣздо. Позади кургана еще выше его поднимаются самыя высокія Жигулевскія горы, амфитеатромъ окаймляя устье рѣки Усы. Страшныя

скалы, словно сдвинутыя когда-то давно гигантской рукой, висятъ надъ водой съ вѣчной, неизмѣнной угрозой. Высоко на сосѣдней горѣ виднѣются причудливые камни, похожіе на развалины замка съ зубчатыми стѣнами и острыми башнями, съ неясными сказочными фигурами людей и небывалыхъ звѣрей.

Все здѣсь широко, привольно и романтично, природа словно дышитъ героическимъ настроеніемъ, и кажется, что только при такой декоративной обстановкѣ могли совершаться народные мятежи и разбойничьи подвиги.

Надъ этими горами еще носятъ величавыя тѣни далекаго прошлаго, еще бродятъ таинственно-безпріютныя горныя духи, еще живутъ они въ лѣсныхъ дѣбряхъ Жигулевскихъ горъ и въ лунныя весеннія ночи играютъ и ауются въ горахъ и купаются въ зеркальной Волгѣ подъ серебряными лучами мѣсяца среди таинственной ночной тишины. Хороводъ окружающихъ горъ, шевеля своими кудрявыми лѣсами, шепчетъ все еще прежнія величаво-печальныя исторіи.

Привидѣнія прошлаго стоятъ здѣсь близко-близко, дышатъ на васъ за вашими плечами и вмѣстѣ съ шопотомъ вѣтра и шелестомъ листьевъ, вмѣстѣ съ ропотомъ волнъ шепчутъ и они что-то невѣдомо-грустное...

Чуткая, торжественная тишина охватываетъ дѣвственныя горы и Волгу, и только слышится журчаніе быстро мчащейся воды, да горныя ключи бьютъ изъ камней и, звучно струясь, падаютъ въ рѣку.

Тишина и необъятная ширь.

Надъ серебряной, блестящей на солнцѣ, гладью рѣки опрокинулась голубая чаша неба, и въ ея безграничной вышинѣ мчатся бѣлыя стада облаковъ.

А внизу—мѣрныя волны, неслышно приходя одна за другой, таинственно бормочутъ о чемъ-то...

„Гусли-самогуды“, качаясь на деревѣ, отвѣчаютъ что-то невидимкѣ-вѣтру...

Савоська рассказываетъ.

Всѣ огарки лежатъ подѣ тѣнью дуба, надѣ обрывомъ утеса, въ различныхъ позахъ... Толстый въ фескѣ и коричневыхъ запорожскихъ штанахъ... Сѣверовостокъ въ испанской рубашкѣ и черной широкополой шляпѣ, дѣлающей его похожимъ на опернаго бандита.

Рядомъ пылаетъ костеръ и кипятится въ котелкѣ „уха“.

Около котла хлопчутъ Сокдль и Небезызвѣстный.

Савоська сидитъ, поджавши подѣ себя ножки, лицомъ ко всей компаніи, величественно протягиваетъ передѣ собой руку и квакаетъ:

— Э!.. Хорошо быть вальдшнепомъ, хорошо летѣть высоко-высоко въ небѣ и мчаться на легкихъ крыльяхъ въ необъятной небесной пустынѣ, мчаться надѣ спящей печальной Россіей все дальше и дальше на югъ, въ далекій теплый край, за теплое море... Э!... Хорошо!... Харгъ!... Харгъ!...

Звуки земли становятся все тише и глуше, поля, лѣса и рѣки заволакиваются туманомъ, и слышенъ только нѣжно-задумчивый шелестъ... Что это? шелестъ грустныхъ камышей, склонившихся надѣ зеркальнымъ озеромъ, или знакомый лѣсъ шелеститъ своими махровыми вѣтвями? вѣтеръ ли въ степи звенитъ высокою, сочной, зеленой травой?.. Харгъ!... Харгъ!...

Савоська растопырилъ обѣ руки, какъ крылья, и, воображая себя летящимъ въ небѣ вальдшнепомъ, продолжалъ вдохновенно:

— Далеко-далеко внизу вьется широкая блестящая лента Волги... Зеленѣютъ горы... Желтѣютъ песчаныя косы... Сѣрѣютъ печальныя деревни... Стонетъ пѣсня Волги—„дубинушка“... Дальше... дальше... Харгъ!... Харгъ!...

Широкія зеленыя степи, старыя степныя могилы...

хутора... стройные тополи... бѣлыя хохлацкія хаты, окутанныя вишневыми садами...

Парубки въ сивыхъ шапкахъ и дѣвчата въ яркихъ нарядахъ, съ цвѣтами и лентами въ русыхъ волосахъ, водятъ хоробы и поютъ печальныя пѣсни... Дальше!... все дальше!... Харгъ!... Харгъ!...

Море! вотъ оно, густо-синее, излишне синее южное море!... Солнце!

Яхонтовья струи лѣниво говорятъ что-то на своемъ магометанскомъ языкѣ и со звономъ разливаются по золотистому песку!

Ширь морская въ необъятной дали сливается съ безоблачнымъ небомъ и, слабо дыша, колыхаетъ на своей груди, словно бѣлыхъ птицъ, турецкія парусныя лодки, а южное солнце потоками мягкихъ лучей заливаетъ эту лазурную громаду, играя радужными брызгами... Э!... Хорошо!

Теплый, влажный вѣтеръ, пропитанный запахомъ пряныхъ травъ и соленого моря, страстно шепчется съ рядами стройныхъ кипарисовъ... Смуглые люди... Южныя женщины, еще хранящія въ своихъ чертахъ античные типы... Э!... Хорошо любить жизнь, красоту и море!... Харгъ!... Харгъ!...

Дальше!... все дальше!... море!... все только волны и небо, небо и тучи!... Взмолнованная громада глубоко дышитъ крупными тяжелыми волнами, по небу мчатся косматая, разорванная тучи, и кажется, что на горизонтѣ онѣ опускаются въ пучину и волны, вздымаясь, касаются тучъ... Какъ чудовища, низко ползутъ онѣ надъ волнами... Волны прыгаютъ и режутъ, какъ бѣлогривые звѣри...

Кажется, что царь морской возненавидѣлъ надводный міръ—такъ гнѣвно дышетъ море своею мощною грудью.

И поетъ море... Поетъ, какъ органъ, могучую торжественную, вѣчную пѣснь... И пѣснь эта—о тайнахъ

міра, о морской глубинѣ, о вѣчности звѣздъ, о торжествѣ всемогущей природы и ничтожествѣ чловѣка... Э!... Хорошо быть вальдшнепомъ!... Дальше!... все дальше!... Харгъ! Харгъ!...

Какъ хороша Розовая скала около Сорренто!...

— Хо-хо-хо!—не выдержали огарки:—а ты былъ въ Сорренто?

— Не перебивайте!..—въ отчаяніи возопилъ Савоська отрясая кулаками:—о, черти! все пропало! не могу, больше о вальдшн пѣ! дайте рюмку водки!

Передъ огарками на разостланной буркѣ иждивеніемъ Гаврилы была воздвигнута четвертная бутылъ водки и обильная закуска съ „икрой“. Всему этому они давно уже воздавали подобающую честь.

Савоська „тяпнулъ“ водки и углубился въ себя, вдохновляясь на новую тему.

— Видѣлъ ли ты море-то?—спросили его.

— Никогда!—отвѣчалъ Савоська.

— Расскажи лучше о твоей преступной связи съ аптекаршей!—невозмутимымъ тономъ посовѣтоваль Толстый:—или о томъ, какъ ты выстроилъ церковь!

Всѣ разсмѣялись.

— Э!—квакнулъ Савоська:—въ церковь, выстроенную мной, я никогда не взойду, а объ аптекаршѣ не стоитъ вспоминать: когда я пришелъ къ ней въ послѣдній разъ—квартира оказалась запертой. Я—въ аптеку, ну и, конечно, наткнулся тамъ на аптекаря. Однако не сморгнулъ глазомъ: гдѣ, спрашиваю, мадамъ такая-то? А аптекаръ мнѣ съ ядомъ: „уѣх-ха-л-ли“, говорить, въ Петербурхъ!.. И такъ это онъ скверно сказалъ, что я тотчасъ же въ тонъ ему отвѣтилъ: „кл-ли-зма“, повернулся, хлопнулъ дверью и ушелъ. Вотъ и все!—печально закончилъ Савоська.

— Хо-хо-хо!—гремѣли огарки.

— По-моему, любовь—это чепуха!—продолжалъ Са-

воська:—это—нѣчто буржуазное! Э!—хлопнулъ онъ себя по лбу:—хотите разскажу вамъ „лягушиную любовь?“

— Жары!... хо-хо-хо!... запустырявай!

Савоська подобралъ ноги подъ себя, протянулъ передъ собой руку и началъ торжественнымъ голосомъ:

— Тихо было на болотѣ... Солнце закатывалось... На вязкомъ грязномъ берегу отъ лошадинаго копыта остался глубокий слѣдъ, наполненный водой. И вотъ туда-то, въ это уединенное мѣсто, скрытое тѣнью колоссальнаго лопуха, и заплыли двѣ зеленныя молодыя лягушки помечтать на закатѣ солнца. Э!... Хорошо мечтается на болотѣ въ колдобойнѣ отъ лошадинаго копыта!

Тихо шевеля своими зелеными лапками, двѣ подружки тихонько напѣвали нѣжный лягушинный дуэтъ—шалуны! онѣ уже знали, что около колдобойны робко плаваютъ головастики, безумно влюбленный въ одну изъ нихъ!

Наконецъ, онъ не выдержалъ и тоже появился въ этой уютенькой лужицѣ съ только что пойманнымъ хрущомъ во рту.

Граціозно подплылъ онъ къ подругамъ и положилъ хруща къ ногамъ любимаго существа.

— Это для васъ!—выпуская пузыри, галантно прошепталъ головастикъ:—онъ еще живой-съ! Э!

Огарки разсмѣялись.

— Къ чорту лягушиную любовь!—загалдѣли они:—отхватай лучше стихи...

Соколъ, въ красной рубахѣ безъ пояса, въ высокихъ сапогахъ и безъ картуза, стоялъ на краю обрыва и давно уже задумчиво смотрѣлъ на Волгу.

— Никакими ты мнѣ стихами не опишешь того,—съ разстановкой, медленно вымолвилъ онъ,—какъ плыветъ тихая рѣка къ морю.

— Вѣрно!—поддержали его.

— Мнѣ теперь такъ вотъ кажется,—продолжалъ Со-

коль уже патетически,—что вот эти всѣ горы, и вот эта гора, вонъ-вонъ, что похожа на развалины дворца—все это вовсе не графа какого-то тамъ, а мое, наше, потому что предки наши здѣсь разбойничали, и всѣ эти мѣста имъ принадлежали. Они здѣсь были хозяева! Да!

— Дорогой мой, вы, какъ мнѣ кажется, смотрите на природу съ точки зрѣнія крестьянскаго малоземелья!—перевалъ его Небезызвѣстный.

Всѣ засмѣялись.

— Что жъ!—отважно возразилъ Сокѣль:—я говорю о самой истинной справедливости: кажется мнѣ вотъ, да и баста, что воротился я сюда какъ будто бы домой, въ свое владѣнье, къ этимъ развалинамъ дѣдовскимъ, и все это—мое! Но только что, конечно, забыли всѣ настоящаго-то владѣльца, не признаютъ его и въ грошъ не ставятъ, потому что давно уже онъ въ неизвѣстной отлучкѣ, въ бѣдности и униженіи, жизнь ведетъ огарческую, цыганскую, какъ есть—цыганскій баронъ! Вотъ онъ придетъ когда-нибудь и скажетъ: давъ сюды мое графство!

— Держи карманъ!

— Огребай плотву, яко щучину!—прогудѣлъ Сѣверовостоковъ.

— У моего папаши земли тоже цѣлое графство!—пропищалъ Гаврила:—а попробуй-ка сказать ему „давъ“, какъ онъ завизжитъ!

— Палилъ чортъ свинью: визгу много, а шерсти мало!—отозвался Толстый.

— Хо-хо-хо!

— А все-таки этотъ курганъ—мой!—не унимался Сокѣль, сверкая глазами:—и горы—мои и скалы—мои! все здѣсь—мое!

Слегка выпившій, возбужденный и дикій, онъ говорилъ это полусхута, полусерьезно. Черные густые

волосы его стояли дыбомъ, вѣтеръ трепалъ красную распоясанную рубаху.

— Я—сынъ моихъ предковъ, промышлявшихъ грабежомъ!—гордо воскликнулъ онъ, принимая торжественную, бессознательно-театральную позу:—они хоть и разбойники были, а все-таки я ихъ люблю и уважаю: они умѣли грѣшить—умѣли и каяться! злодѣйствовали, а потомъ постригались въ монахи, или шли на эшафотъ! въ пустынниковъ и праведниковъ передѣлывались! Я такъ понимаю ихъ, что герои это были, соколы, большіе люди! да! Вотъ здѣсь,—пнулъ Соколъ камень, на который опирался ногой,—вотъ, можетъ быть, на этомъ самомъ мѣстѣ стоялъ каменный стулъ батюшки Степана Тимофеевича, и онъ изволилъ тутъ судъ рядить и ослушниковъ казнить: прямо въ Волгу ихъ отсюда сбрасывали! Ого!—радостно крикнулъ онъ.

— Это въ тебѣ разбойничья кровь говорить!—спокойно замѣтилъ Толстый, полулежа на землѣ и наливая себѣ водки въ свинцовую чарку:—истинно говорю тебѣ: долбанешь ты когда-нибудь какое-либо начальство шкворнемъ по башкѣ!

— Долбану!—согласился Соколъ.

— Пойдите-ка! — вдругъ вскрикнулъ Савоська и, склонивъ голову на бокъ, прислушался:—слышите?...голоса!.. тамъ, внизу—драка!..—рѣшилъ онъ, вставая:—плюньте мнѣ въ морду, если вру: у меня ухо охотничье!..

Всѣ прислушались.

Сквозь шумъ волнъ, дѣйствительно, чудилась человеческая ругань, крики и чей-то плачь.

Огарки вскочили на ноги.

Черезъ минуту они уже спускались по затылку Молодецкаго кургана къ берегу Усы.

Впереди всѣхъ былъ Сѣверовостоковъ. Противъ кургана стояла на Усѣ барка, грузившая камень, а на-

берегу шумѣла толпа бурлаковъ-крючниковъ съ этой барки, человѣкъ двѣнадцать. Одни изъ нихъ смѣялись, другіе ругались. Плакали и визжали трое деревенскихъ мальчишекъ: крючники поймали ихъ, держали за шиворотъ и за что-то били, поднимая за волосы на воздухъ...

— Москву имъ надо показать! — со смѣхомъ галдѣли крючники.

Вдругъ съ горы загремѣлъ голосъ Сѣверовостокова: — Гей, вы! ухорѣзы! не смѣйте бить дѣтей!..

Крючники задрали головы кверху: въ полугорѣ стояли, выжидая, огарки, а по тропинкѣ спускался съ кургана „баринъ“—человѣкъ въ широкополой шляпѣ; шляпа возбудила въ крючникахъ ненависть.

Въ отвѣтъ на грозный окрикъ пѣвчаго посыпался градъ вызывающихъ, скверныхъ ругательствъ, такихъ изысканныхъ, какія можно слышать только отъ бурлаковъ на Волгѣ.

— Эй, шляпа!.. убирайся на легкомъ катерѣ къ чортовой матери!.. твоего бы отца величать съ конца!.. барскій нищій съ худой голенищей!..

Ругань была рифмованная, художественно-артистическая, перебивавшая всю родословную, полная самыхъ невозможныхъ пожеланій.

Изъ толпы выдѣлился здоровенный паренъ и принялъ вызывающую позу.

— Потрафъ ему въ морду!—просили его товарищи:— „д-дай“ ему!

Крючники хотѣли воспользоваться случаемъ—поколотить „барина“.

Сѣверовостоковъ преобразился—онъ сразу вспыхнулъ, разсвирѣпѣлъ и пришелъ въ состояніе величайшей ярости: смуглое лицо его покрылось мертвенной блѣдностью, брови грозно сдвинулись, глаза освѣтились огнемъ. Онъ быстро сбросилъ съ себя пиджакъ и шляпу, окинулъ толпу молніеноснымъ взглядомъ,

потомъ оглядѣлся кругомъ, и взглядъ его упалъ на разбитый остовъ челнока-душегубки, валявшейся на пескѣ. Это было дно маленькой, черной долбленой лодки, съ расколотою носовою частью. Какъ тигръ, прыгнувъ онъ къ ней, наступилъ ногой на одну половинку, схватилъ другую обѣими руками, съ трескомъ разодралъ челнокъ пополамъ и въ неподражаемо-гордой позѣ замахнулся этой половиной лодки, намѣреваясь ею истребить своихъ враговъ. Онъ былъ удивительно красивъ, живописенъ и страшенъ въ эту минуту, ловкій, гибкій, какъ хищный звѣрь, блѣдный, съ горящими глазами и цѣлой гривой развѣвающихся кудрявыхъ волосъ.

Крючники въ ужасѣ бѣжали отъ него. Сѣверовостоковъ не сталъ ихъ преслѣдовать, но, чтобы разрядить свой гнѣвъ, грянулъ половинкой челнока о большой камень, и она разлетѣлась въ щепки.

Убѣжали и крючники и побитые ими ребятишки.

Издали слышались голоса:

— Это самъ Окаянный!

— Эхъ, паря, на какого чорта наткнулись!

— Они всѣ, должно, такіе!..

— Хо-хо-хо!—ржали огарки, спускаясь къ рѣкѣ: — нашъ ударъ!

— И зачѣмъ ты ихъ распугалъ?—укоризненно сказалъ Сѣверовостокову Сокдль: — какая бы драка-то хорошая была!

Послѣ такой легкой побѣды надъ крючниками, огарки раздѣлились и стали купаться въ зеркально-чистой Усѣ, около своей лодки.

Сѣверовостоковъ бросился въ воду первый и сразу же поплылъ вдаль, мимо кургана, къ Волгѣ. Плавалъ онъ великолѣпно, легко разсѣкая спокойную гладь рѣки своими богатырскими руками и взбивая грудью пѣнистую волну. Огарки долго любовались, какъ послѣ cadaго замаха руки показывалась надъ водой его

могучая смуглая спина, влажная и блестящая на солнцѣ, вся изъ напряженныхъ мускуловъ.

Наконецъ, онъ пропалъ изъ глазъ.

Прошло съ четверть часа, а Сѣверовостоковъ не возвращался.

Огарки вылѣзли изъ воды, одѣлись, а его все не было.

Тогда они стали беспокоиться.

— Что за чортъ? куда онъ дѣлся? — недоумѣвали огарки:—не утонулъ же въ самомъ дѣлѣ?

И они всѣ хоромъ, разными голосами, надрываясь, начали кричать, издавая протяжные, дикіе звуки:

— Ого-го-го-го!

Но никто не отзывался—только эхо гудѣло въ горахъ.

Тревога ихъ стала возрастать.

— Поѣдемте за нимъ на лодкѣ!—предложилъ Толстый:—заплылъ, должно быть, далеко, чортъ!

Они усѣлись въ лодку, отчалили и направились черезъ Волгу къ ея чуть видному песчаному берегу.

Ѣхали, уныло всплескивая четырьмя веслами, озирались кругомъ, кричали, махали рубахой, привязанной къ багру.

Но кругомъ разстилалась и молчала огромная водная ширь, блестящая подъ лучами солнца.

Молодецкій курганъ остался далеко позади ихъ, сдѣлался маленькимъ, а песчаный берегъ былъ еще далеко: Волга здѣсь разливалась версты на три.

Доплывъ до середины рѣки, они долго кричали, пока не охрипли.

Сѣверовостокова нигдѣ не было.

Огарки бросили весла, умолкли и задумались.

Сокѣль, снявъ шапку, перекрестился.

— Царство небесное!—сказалъ онъ строго и мрачно.

Тогда и остальные, при всемъ ихъ равнодушій къ религіи, обнажили головы и тихо прошептали:

- Царство небесное!
- Хорошій былъ огарокъ, а какъ умеръ глупо!
- Главное—молодой еще... жалко!
- Некрологъ напишу!—сказалъ Небезызвѣстный.

Они повернули лодку обратно и поплыли опять къ Молодецкому кургану въ глубокомъ, печальномъ безмолвіи.

Но лишь только подѣхали они къ берегу, какъ откуда-то издалека доплылъ до нихъ могучій, знакомый голосъ...

— Это онъ! — радостно закричали огарки, подняли весла и прислушались.

На далекомъ песчаномъ берегу Волги пѣлъ Сѣверовостоковъ, и голосъ его разносился на три версты кругомъ:

Межъ крутыхъ бережковъ
Волга-рѣчка течетъ,
А за ней по волнамъ
Легка лодка плыветъ...

— Ореть!—радостно закричали огарки:— у, Балбесъ проклятый, сколько людямъ крови испортилъ, подавиться бы тебѣ!... Айда, ребята, скорѣе къ нему!... Хорошо, что хоть хайло-то у него, какъ у влюбленнаго осла!..

И огарки, дружно работая веслами, снова поплыли за три версты.

А Сѣверовостоковъ оралъ все громче и ужаснѣе, забираясь на самыя верхнія ноты:

Въ ней сидѣлъ молодецъ,
Волны рѣзаль весломъ;
Шапка съ кистью на немъ
И кафтанъ съ галуномъ.

Это была волжская разбойничья пѣсня. Огарки мчались прямо на голосъ.

А въ боярскомъ дому
Отворялось окно,

По веревкѣ краса
Молодца приняла...

Гремѣло по рѣкѣ.

Степка Балбесъ долго пѣлъ еще и кончилъ пѣсню громовой размашистой нотой.

Только черезъ часъ переплыли они Волгу и причалили къ песчаной отмели лугового берега.

Подъ лучами полуденнаго солнца Сѣверовостоковъ давно уже спалъ нагой на пескѣ. Онъ лежалъ внизъ лицомъ, положивши косматую голову на вытянутыя могучія руки; голова его и грудь были на берегу, а все тѣло по поясъ лежало въ водѣ; лѣнивыя волны медленно перекачивались на его спину и снова сбѣгали съ худого, мускулистаго, словно вылитаго изъ бронзы, тѣла. И казался онъ какой-то символической фигурой, страннымъ исчадіемъ Волги, наполовину принадлежащимъ ей и заснувшимъ въ энергичной позѣ стремленія впередъ.

VII.

Отъѣзжавшихъ огарковъ пришли провожать на конторку парохода Павлиха, Соколъ и Гаврила.

Явились еще пѣвчіе—девять басовъ архіерейскаго хора, вся басовая партія, и регентъ Спиридонъ—провождать Сѣверовостокова.

Опять было прелестное весеннее утро. Волга дышала привольемъ, свѣжестью, отрадой.

Огромный двухъэтажный пароходъ, бѣлый, какъ лебедь, пыхтя и выпуская въ воду пары, зашевелилъ могучими лопастями колесъ и сталъ медленно отходить отъ конторки.

На верхней площадкѣ его сгрудилась густая толпа отъѣзжавшихъ, внизу, на конторкѣ, не менѣе густая толпа ихъ родныхъ и знакомыхъ. Слышались восклицанія, привѣтствія, прощальныя пожеланія.

- Царство небесное!
- Хорошій былъ огарокъ, а какъ умеръ глупо!
- Главное—молодой еще... жалко!
- Некрологъ напишу!—сказалъ Небезызвѣстный.

Они повернули лодку обратно и поплыли опять къ Молодецкому кургану въ глубокомъ, печальномъ безмолвіи.

Но лишь только подъѣхали они къ берегу, какъ откуда-то издалека доплылъ до нихъ могучій, знакомый голосъ...

— Это онъ! — радостно закричали огарки, подняли весла и прислушались.

На далекомъ песчаномъ берегу Волги пѣлъ Сѣверовостоковъ, и голосъ его разносился на три версты кругомъ:

Межъ крутыхъ бережковъ
Волга-рѣчка течетъ,
А за ней по волнамъ
Легка лодка плыветъ...

— Ореть!—радостно закричали огарки:— у, Балбесъ проклятый, сколько людямъ крови испортилъ, подавиться бы тебѣ!... Айда, ребята, скорѣе къ нему!... Хорошо, что хоть хайло-то у него, какъ у влюбленнаго осла!..

И огарки, дружно работая веслами, снова поплыли за три версты.

А Сѣверовостоковъ оралъ все громче и ужаснѣе, забираясь на самыя верхнія ноты:

Въ ней сидѣлъ молодецъ,
Волны рѣзали весломъ;
Шапка съ кистью на немъ
И кафтанъ съ галуномъ.

Это была волжская разбойничья пѣсня. Огарки мчались прямо на голосъ.

А въ боярскомъ дому
Отворялось окно,

По веревкѣ краса
Молодца привяла...

Гремѣло по рѣкѣ.

Степка Балбесъ долго пѣлъ еще и кончилъ пѣсню громовой размахистой нотой.

Только черезъ часъ переплыли они Волгу и причалили къ песчаной отмели лугового берега.

Подъ лучами полуденнаго солнца Сѣверовостоковъ давно уже спалъ нагой на песокъ. Онъ лежалъ внизъ лицомъ, положивши косматую голову на вытянутыя могучія руки; голова его и грудь были на берегу, а все тѣло по поясъ лежало въ водѣ; лѣнивыя волны медленно перекачивались на его спину и снова сбѣгали съ худого, мускулистаго, словно вылитаго изъ бронзы, тѣла. И казался онъ какой-то символической фигурой, страннымъ исчадіемъ Волги, наполовину принадлежащимъ ей и заснувшимъ въ энергичной позѣ стремленія впередъ.

VII.

Отъѣзжавшихъ огарковъ пришли провожать на конторку парохода Павлиха, Сокѣлъ и Гаврила.

Явились еще пѣвчіе—девять басовъ архіерейскаго хора, вся басовая партія, и регентъ Спиридонъ—провождать Сѣверовостокова.

Опять было прелестное весеннее утро. Волга дышала привольемъ, свѣжестью, отрадой.

Огромный двухъэтажный пароходъ, бѣлый, какъ лебедь, пыхтя и выпуская въ воду пары, зашевелилъ могучими лопастями колесъ и сталъ медленно отходить отъ конторки.

На верхней площадкѣ его сгрудилась густая толпа отъѣзжавшихъ, внизу, на конторкѣ, не менѣе густая толпа ихъ родныхъ и знакомыхъ. Слышались восклицанія, привѣтствія, прощальныя пожеланія.

- Царство небесное!
- Хорошій былъ огарокъ, а какъ умеръ глупо!
- Главное—молодой еще... жалко!
- Некрологъ напишу!—сказалъ Небезызвѣстный.

Они повернули лодку обратно и поплыли опять къ Молодецкому кургану въ глубокомъ, печальномъ безмолвіи.

Но лишь только подѣхали они къ берегу, какъ откуда-то издалека доплылъ до нихъ могучій, знакомый голосъ...

— Это онъ! — радостно закричали огарки, подняли весла и прислушались.

На далекомъ песчаномъ берегу Волги пѣлъ Сѣверовостоковъ, и голосъ его разносился на три версты кругомъ:

Межъ крутыхъ бережковъ
Волга-рѣчка течетъ,
А за ней по волнамъ
Легка лодка плыветъ...

— Ореть!—радостно закричали огарки:— у, Балбесъ проклятый, сколько людямъ крови испортилъ, подавиться бы тебѣ!... Айда, ребята, скорѣе къ нему!... Хорошо, что хоть хайло-то у него, какъ у влюбленнаго осла!..

И огарки, дружно работая веслами, снова поплыли за три версты.

А Сѣверовостоковъ оралъ все громче и ужаснѣе, забираясь на самыя верхнія ноты:

Въ ней сидѣлъ молодецъ,
Волны рѣзали весломъ;
Шапка съ кистью на немъ
И кафтанъ съ галуномъ.

Это была волжская разбойничья пѣсня. Огарки мчались прямо на голосъ.

А въ боярскомъ дому
Отворялось окно,

По веревкѣ краса
Молодца приняла...

Гремѣло по рѣкѣ.

Степка Балбесъ долго пѣлъ еще и кончилъ пѣсню громовой размахистой нотой.

Только черезъ часъ переплыли они Волгу и причалили къ песчаной отмели лугового берега.

Подъ лучами полуденнаго солнца Сѣверовостоковъ давно уже спалъ нагой на пескѣ. Онъ лежалъ внизъ лицомъ, положивши косматую голову на вытянутыя могучія руки; голова его и грудь были на берегу, а все тѣло по поясъ лежало въ водѣ; лѣнивыя волны медленно перекачивались на его спину и снова сбѣгали съ худого, мускулистаго, словно вылитаго изъ бронзы, тѣла. И казался онъ какой-то символической фигурой, страннымъ исчадіемъ Волги, наполовину принадлежащимъ ей и заснувшимъ въ энергичной позѣ стремленія впередъ.

VII.

Отъѣзжавшихъ огарковъ пришли провожать на конторку парохода Павлиха, Сокѣлъ и Гаврила.

Явились еще пѣвчіе—девять басовъ архіерейскаго хора, вся басовая партія, и регентъ Спиридонъ—провождать Сѣверовостокова.

Опять было прелестное весеннее утро. Волга дышала привольемъ, свѣжестью, отрадой.

Огромный двухъэтажный пароходъ, бѣлый, какъ лебедь, пыхтя и выпуская въ воду пары, зашевелилъ могучими лопастями колесъ и сталъ медленно отходить отъ конторки.

На верхней площадкѣ его сгрудилась густая толпа отъѣзжавшихъ, внизу, на конторкѣ, не менѣе густая толпа ихъ родныхъ и знакомыхъ. Слышались восклицанія, привѣтствія, прощальныя пожеланія.

Въ воздухѣ мелькали платки.

На кормѣ стояли Сѣверовостоковъ, Савоська, Толстый и Небезызвѣстный.

На конторкѣ съ растроганными лицами замерли Сокдлъ и Гаврила. Подлѣ нихъ тихо плакала Павлиха.

Пароходъ пошелъ. Огарки кланялись, махая шляпами и платками.

Когда, наконецъ, пароходъ отошелъ на середину Волги и сталъ круто поворачивать внизъ по теченію, архіерейскіе басы выстроились всѣ в рядъ, регентъ поднесъ къ уху камертонъ, задалъ тонъ и взмахнулъ рукой: басы мощно и стройно, всѣ въ разъ и въ одну ноту заревѣли оглушительными голосами:

— Про-ща-а-ай!

Толпа шарахнулась отъ нихъ.

Сѣверовостоковъ долго не отвѣчалъ имъ. На кормѣ парохода едва можно было различить его картинную фигуру въ широкополой шляпѣ.

Только когда пароходъ совсѣмъ перевалилъ на другую сторону рѣки, оттуда доплылъ густой, круглый и могучій отвѣтъ въ ту же самую ноту:

— Про-ща-а-ай!

Голосъ его, плотный, цѣльный и громадный, дошелъ, какъ волна, издалека и долго катился по рѣкѣ.

И сразу всѣ почувствовали превосходство этого благороднаго, кованаго голоса надъ всѣми девятью архіерейскими басами.

Пароходъ быстро удалялся и скоро исчезъ вдали, за изгибомъ рѣки.

Съ конторки всѣ разбрелись.

— Эхъ, сокдлы! улетѣли вы!—все еще глядя на блестящій горизонтъ, съ чувствомъ воскликнулъ кузнецъ:—подались наши на новыя мѣста!

— На вольныя земли!—грустно отозвался Гаврила. Павлиха молча вытирала слезы.

— Эхъ, Павлиха-соколиха!—обнялъ старуху Сокдлъ:—

какъ ты теперь безъ огарковъ жить будешь?... заску-
чаешь!

— Вотъ! — возразила Павлиха, улыбаясь послѣ
слезъ:—мало что ли огарковъ на свѣтѣ?... новыхъ на-
беру!

— Правда твоя, мать огарческая! — подтвердилъ
Гаврила:—новыхъ набирай!.. только вотъ ужъ я...

Гаврила запнулся, подбородокъ его задрожалъ, на
глазахъ навернулись слезы.

— ...Я ужъ останусь одинъ...—онъ овладѣлъ собой
и улыбнулся:—какъ собака на заборѣ!

— Д-да! посидимъ пока что, какъ греки подъ бере-
зой!—толковалъ кузнецъ:—а потомъ и мы... куда-ни-
будь... улетимъ... въ сіяньи голубого дня...

Такъ шли они домой и говорили словами своего
атамана.

Черезъ недѣлю Гаврила застрѣлился изъ ружья у
себя на хutorѣ, въ степи...

Огарческій періодъ жизни кончился для огарковъ.
Разбросанные въ разныя стороны свѣта, они вступили
въ новый фазисъ своего развитія. Ихъ ждала новая
жизнь, совершенно отличная отъ жизни огарческой.

Черезъ нѣсколько лѣтъ, когда пришла великая рус-
ская революція, они исполнили свое обѣщаніе: под-
няли знамя, держали его твердо, шли честно и—нашли
себѣ поле...

Миръ имъ!

27-го марта 1906 г.

ДЕШЕВАЯ БИБЛИОТЕКА ТОВАРИЩЕСТВА «ЗНАНИЕ»:

Цѣна.

1. М. Горькій.	Пѣсня о соколѣ.—Пѣсня о буревѣстникѣ.—	
	Легенда о Марко	2 к.
2. М. Горькій.	Человѣкъ	2 "
3. М. Горькій.	Макаръ Чудра	3 "
4. М. Горькій.	О Чижѣ, который лгалъ, и о Дятлѣ, люби-	
	тель истины	2 "
5. М. Горькій.	Емельянъ Пиляй	3 "
6. М. Горькій.	Дѣдъ Архипъ и Ленъка	5 "
7. М. Горькій.	Челкашъ	7 "
8. М. Горькій.	Старуха Изергиль	5 "
9. М. Горькій.	Однажды осенью	3 "
10. М. Горькій.	Мой спутникъ	6 "
11. М. Горькій.	Дѣло съ застѣжками	3 "
12. М. Горькій.	На плотяхъ	3 "
13. М. Горькій.	Болезнь	2 "
14. М. Горькій.	Тоска	10 "
15. М. Горькій.	Коноваловъ	10 "
16. М. Горькій.	Ханъ и его сынъ	2 "
17. М. Горькій.	Супруги Орловы	12 "
18. М. Горькій.	Бывшіе люди	12 "
19. М. Горькій.	Озорникъ	5 "
20. М. Горькій.	Варенька Олесова	—
21. М. Горькій.	Товарищи	4 "
22. М. Горькій.	Въ степи	3 "
23. М. Горькій.	Мальва	10 "
24. М. Горькій.	Ярмарка въ Голтвѣ	3 "
25. М. Горькій.	Зазабрина	3 "
26. М. Горькій.	Скуки ради	5 "
27. М. Горькій.	Кантъ и Артемъ	6 "
28. М. Горькій.	Дружки	4 "
29. М. Горькій.	Проходимецъ	7 "
30. М. Горькій.	Кирилка	3 "
31. М. Горькій.	Васька Красный	5 "
32. М. Горькій.	Двадцать шесть и одна	5 "
33. М. Горькій.	Рассказъ Филиппа Васильевича	5 "
34. М. Горькій.	Тюрьма	8 "
35. М. Горькій.	Трое	—
41. Скиталецъ.	Стихотворенія. Книга I	5 "
42. Скиталецъ.	Стихотворенія. Книга II	6 "
43. Скиталецъ.	Сквозъ строй	12 "
44. Скиталецъ.	За тюремной стѣной	5 "
45. Скиталецъ.	Октава	12 "
46. Скиталецъ.	Ранняя обѣдня	3 "
47. Скиталецъ.	Полевой судъ	5 "
51. Л. Андреевъ.	Набатъ	2 "
52. Л. Андреевъ.	Ангелочекъ	3 "
53. Л. Андреевъ.	Молчаніе	3 "
54. Л. Андреевъ.	Валя	3 "

ДЕШЕВАЯ БИБЛИОТЕКА ТОВАРИЩЕСТВА «ЗНАНИЕ»:

Цѣна.

55. Л. Андреевъ. На рѣкѣ	4	к
56. Л. Андреевъ Въ подвалѣ	3	"
57. Л. Андреевъ. Петька на дачѣ	3	"
58. Л. Андреевъ. У окна	5	"
59. Л. Андреевъ. Жили-были	5	"
60. Л. Андреевъ. Въ темную даль.	4	"
61. С. Гусевъ-Оренбургскій. Омѣтъ	3	"
62. С. Гусевъ-Оренбургскій. Конокрадъ.	2	"
63. С. Гусевъ-Оренбургскій. Миша.	2	"
64. С. Гусевъ-Оренбургскій. Последній часъ	6	"
65. С. Гусевъ-Оренбургскій. На родину	4	"
66. С. Гусевъ-Оренбургскій. Сквозъ преграды	2	"
67. С. Гусевъ-Оренбургскій. Кахетинка	3	"
68. С. Гусевъ-Оренбургскій. Бѣдный приходъ	2	"
69. С. Гусевъ-Оренбургскій. Злой духъ.	4	"
70. С. Гусевъ-Оренбургскій. Жалоба	5	"
71. А. Серафимовичъ. Въ камышахъ.	3	"
72. А. Серафимовичъ. Местъ.	4	"
73. А. Серафимовичъ. На льдинѣ.	4	"
74. А. Серафимовичъ. Степные люди.	5	"
75. А. Серафимовичъ. Ночью.	3	"
76. А. Серафимовичъ. Спѣшникъ	3	"
77. А. Серафимовичъ. На заводѣ.	5	"
78. А. Серафимовичъ. Подъ землей	6	"
79. А. Серафимовичъ. Подъ уклонъ	3	"
81. А. Купринъ. Дознаніе.	3	"
82. Н. Телешовъ. Пѣснь о трехъ юношахъ	3	"
83. Н. Телешовъ. Противъ обычая	3	"
84. Н. Телешовъ. Домой.	3	"
85. Н. Телешовъ. Хлѣбъ-соль	3	"
86. С. Елпатьевскій. Спирька	8	"
87. С. Елпатьевскій. Пожалѣй меня	2	"
88. С. Елпатьевскій. Присяжнымъ засѣдателемъ	3	"
89. Ив. Бунинъ. Стихотворенія.	4	"
90. К. Бальмонтъ. Стихотворенія	3	"
91. С. Юшкевичъ. Невинные.	4	"
92. С. Юшкевичъ. Убійца.	3	"
93. С. Юшкевичъ. Кабатчикъ Гейманъ	7	"
94. С. Юшкевичъ. Ита Гайне	—	"
95. С. Юшкевичъ. Человѣкъ	—	"
96. С. Юшкевичъ. Евреи.	—	"
98. А. Черемновъ. Стихотворенія. Книга I.	—	"
99. А. Черемновъ. Стихотворенія. Книга II.	—	"
100. Е. Чириковъ. Евреи.	12	"

и другія книги.

